ISSN 0130–6545

2.1993

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

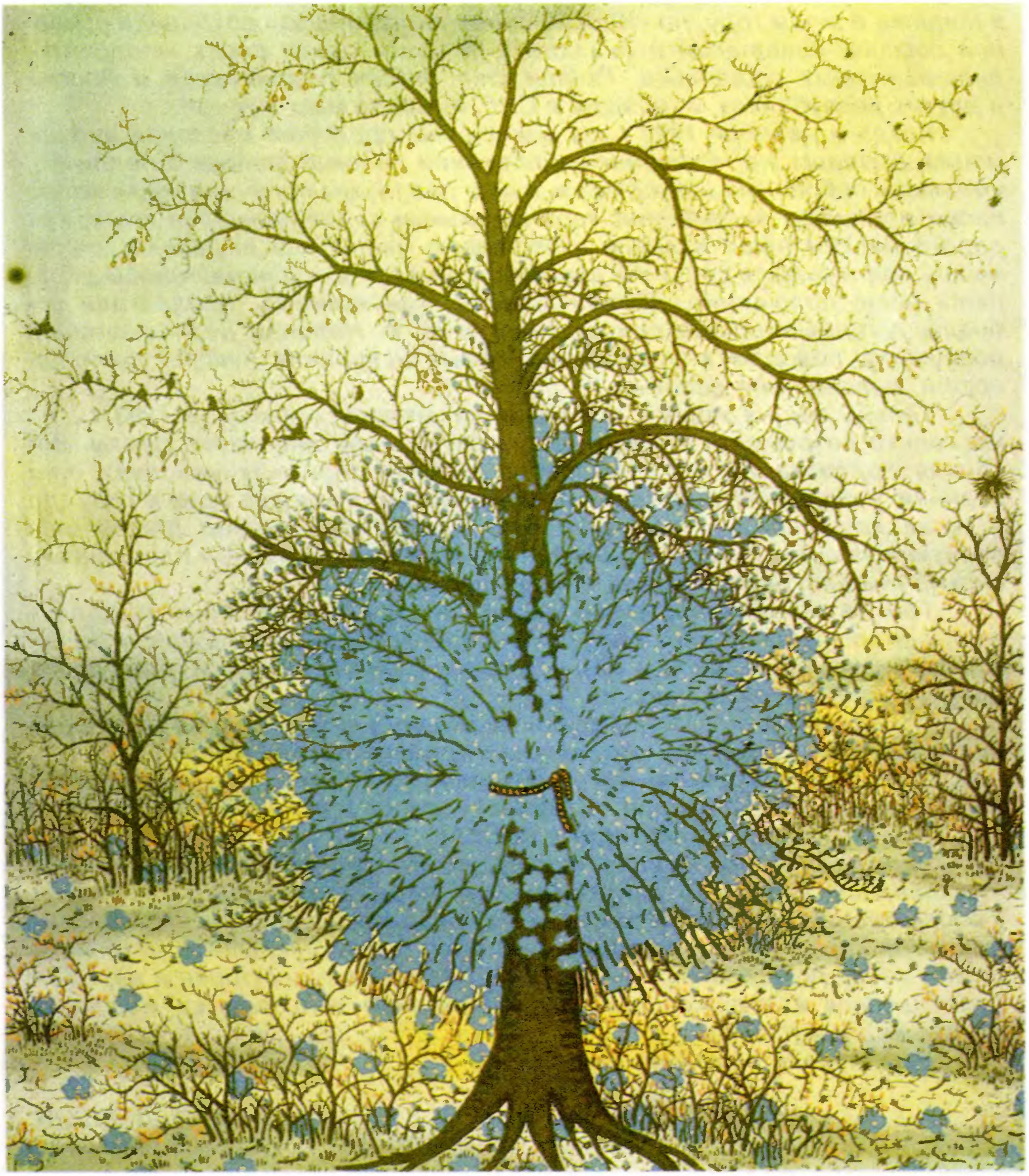
В номере:

БОББИ ЭНН МЕЙСОН

Там и здесь

РОМЕН ГАРИ
Обещание на рассвете

ЯН ЛИПСКИЙ
Две родины — два патриотизма



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы признательны всем тем, кто в нынешних непростых обстоятельствах не изменил своей благородной привычки к серьезному чтению, разнообразию интересов и духовной пытливости и подписался на наш журнал, несмотря на все тяготы материальных условий и скудного радостями современного быта. Мы ценим верность «Иностранной литературе» многолетних наших подписчиков, и среди них некоторых, выписывающих журнал, как можно судить по письмам в редакцию, уже свыше тридцати лет, со дня его основания. Но не менее горячо приветствуем мы и тех, кто впервые становятся нашими читателями, и постараемся не обмануть их ожиданий.

Подписка на первую половину 1993 года прошла с успехом, заметно превысившим наши предположения. Почти все издания понесли урон в тираже в этом году, но «Иностранная литература» сохранила основной состав читателей и оказалась лидером среди своих «толстых» литературных собратьев. Почти сто тысяч подписчиков в России и других республиках, входящих в СНГ, выбрали наш журнал.

Когда в декабре 1992 года некоторые средства массовой информации, ссылаясь на «Роспечать», объявили ложные данные о подписке, уменьшив собранный нами тираж в сто раз (!), мы получили множество писем и звонков читателей, трогательные свидетельства того, как дорого многим наше издание. Некоторые читатели выразили готовность подписаться сразу на два-три комплекта журнала, чтобы укрепить наше положение, давали советы, как выжить, предлагали собрать дополнительные суммы денег и т. п. Нелепая дезинформация послужила поводом к выражению самых искренних чувств солидарности, высоко нами ценимых.

Теперь мы на пороге подписки на второе полугодие 1993 г., по несколько возросшим, вследствие необузданной инфляции, ценам. Весенняя подписка будет проходить в более трудных условиях, чем осенняя: у людей еще нет привычки подписываться два раза в году. Да и наши кошельки не стали за это время полновеснее (разве что распухли за счет дешевых денег), а нужда в каждодневном пропитании сильно теснит потребность в пище духовной.

Тем не менее я призываю наших читателей, которые остались верны «Иностранной литературе», не пропустить срок подписки, навестить ближайшую почту в марте-апреле и выбрать наш журнал среди других литературных изданий.

Мы надеемся не разочаровать вас своими публикациями во второй половине года: среди них специальные номера, посвященные современной французской и итальянской литературам. Книги, недавно нашумевшие в литературном мире, и другие — давно признанные за рубежом классикой, но еще неизвестные у нас.

Читая «Иностранную литературу», вы, гражданин России, будете чувствовать себя еще и гражданином мира. Самый надежный путь к возрождению нашей страны — не замыкаться в узком изоляционизме. Сохраняя верность национальным корням, быть открытым духовному опыту мира, впитать все ценное в традициях других стран и народов, приобщиться к художественным открытиям выдающихся мастеров словесного искусства.

Наш журнал поможет вам в этом.

В. Я. ЛАКШИН,
главный редактор

МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

А. Н. СЛОВЕСНЫЙ — заместитель главного редактора
Н. Н. СКУРСКАЯ — ответственный секретарь
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заведующий отделом критики и публицистики

Л. А. ЖМЫРЕВ — коммерческий директор

Общественный редакционный совет:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, В. П. АКСЕНОВ, М. Н. ВАКСМАХЕР, Е. Ю. ГЕНИЕВА,
В. П. ГОЛЫШЕВ, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, А. Н. ЕРМОНСКИЙ, В. В. ЕРОФЕЕВ,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. Э. ИВАНОВА,
В. Б. ИОРДАНСКИЙ, А. В. КАРЕЛЬСКИЙ, Т. П. КАРПОВА, Л. З. КОПЕЛЕВ,
А. С. МУЛЯРЧИК, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. Л. САЛГАНИК,
Е. М. СОЛОНОВИЧ, Н. Л. ТРАУБЕРГ, Б. Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета
ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария),
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения),
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба),
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал), УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ
С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ
ТРУДОВОЙ
КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ

2 февраль 1993

СОДЕРЖАНИЕ

БОББИ ЭНН МЕЙСОН — Там и здесь (*Роман. Перевод с английского М. Д. Литвиновой и М. А. Литвиновой*) 5

НИКОЛАЙ КЫНЧЕВ — Стихи (*Перевод с болгарского А. Макарова-Кроткова и М. Тарасовой. Вступление Геннадия Айги*) 60

РОМЕН ГАРИ — Обещание на рассвете (*Роман. Перевод с французского Е. Погожевой*) 65

Литературное наследие

ДЖУЗЕППЕ ДЖОАКИНО БЕЛЛИ — Сонеты (*Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича*) 211

Публицистика

ЯН ЮЗЕФ ЛИПСКИЙ — Две родины — два патриотизма. Заметки о национальной мегаломании и ксенофобии поляков (*Перевод с польского и вступление Владимира Британишского*) 217

Критика

Г. КНАБЕ — Энтелехия как явление мировой культуры 240

К нашим иллюстрациям

Л. САВЕЛЬЕВА — Иван Лацкович-Кроата 250

У книжной витрины 251

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1993

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»

В мартовском номере журнала будет опубликована пьеса лауреата Нобелевской премии 1992 года поэта и драматурга ДЕРЕКА УОЛКОТТА «День поминовения» и эссе о нем другого Нобелевского лауреата — ИОСИФА БРОДСКОГО.
Комментируя стихи Уолкотта, «лучшего англоязычного поэта современности», и рассказывая о родине поэта, Вест-Индии, Бродский пишет, что это край, «который открыл Колумб, колонизировали британцы и обессмертил УОЛКОТТ».

Рассказ АЛЬБЕРА КАМЮ «Ренегат, или Смятенный дух».

«Литературный гид» номера посвящен теме «Феминизм: идеи и образы». В этом спецвыпуске читайте: вступление к книге СИМОНЫ ДЕ БОВУАР «Второй пол», повесть ФЭЙ УЭЛДОН «Лишний! или Месть жены», стихи ЭРИКИ ДЖОНГ, эссе МАРГАРЕТ ЭТВУД и ДЖОНА АПДАЙКА «Женское тело», а также другие материалы.

На 1-й, 2-й и 4-й страницах обложки воспроизводятся работы хорватского художника ИВАНА ЛАЦКОВИЧА-КРОАТЫ. См. статью о нем в номере.

По всем вопросам, связанным со сроками выхода и распространения журнала, редакция просит обращаться в издательство «Известия».

Художественный редактор **С. И. Мартемьянова**
Технический редактор **Г. И. Голосовская**

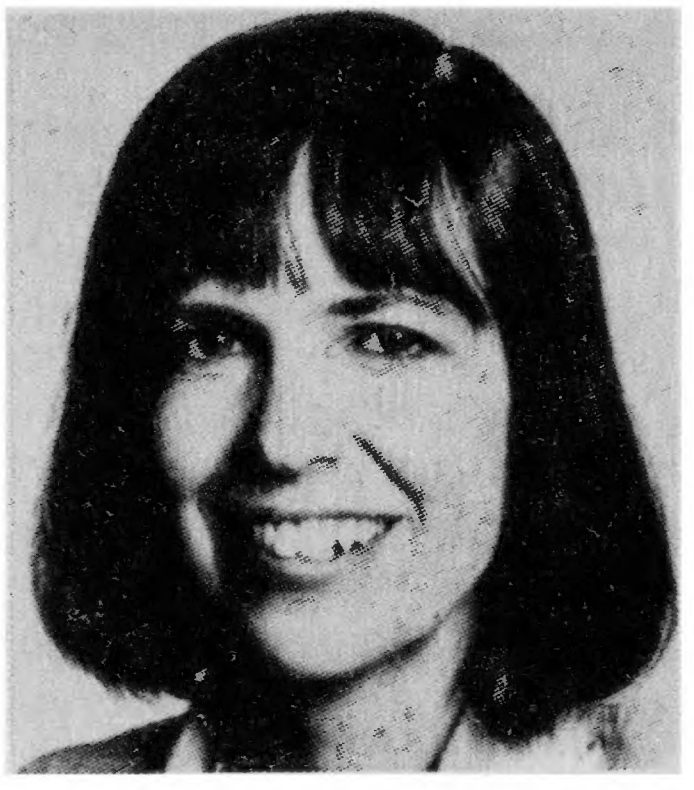
Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47.

Журнал выходит один раз в месяц.
При участии издательства «Известия», Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 06.10.92. Подписано в печать 11.01.93. Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,40.
Усл. кр-отт. 23,45. Уч.-изд. л. 25,58. Заказ № 3263.

Тираж 105 000 экз. Цена по подписке 33 р.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика». Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



БОББИ ЭНН МЕЙСОН

Там и здесь

РОМАН

Перевод с английского М. Д. ЛИТВИНОВОЙ и М. А. ЛИТВИНОВОЙ

Десять лет я сгораю в пути —
Не сбежать, никуда не уйти.

Брюс Спрингстин. «Рожденные в США».

Часть первая

1

— Милая,— бабушка тронула Сэм за плечо,— мне опять нужно остановиться.— Сэм Хьюз вела машину, а Эммет Смит, ее дядя, дремал рядом, на переднем сиденье.

— Мы где? — пробормотал он.

— Все еще на автостраде Ай-64. Бабушке надо выйти.

— Я прошлый раз забыла принять таблетку.

— Хочешь, я поведу? — Эммет вытряхнул сигарету из пачки. Он курит «Кент». За два часа дороги семь штук выкурил.

— Если поведет Эммет, я сяду впереди,— бабушка просунула голову между спинками сидений.— А то я здесь как сосиска в банке.

— Ты правда хочешь вести?

— Мне все равно.

— А мне — нет. Я только вошла во вкус,— проворчала Сэм. Ведь это ее собственная, только что купленная машина! В Лексингтоне за рулем сидел Эммет, потому что Сэм еще не наловчилась водить машину в городе. А здесь, на шоссе — другое дело. Так бы и проехала насквозь всю Америку — от океана до океана. У съезда с автострады вывески бензоколонок — «Эксон», «Шеврон», «Саноко»; огромные лица на рекламных щитах. И закусочные: «Сельская кухня», «Макдональдс» и «Стаки». Сэм слыхала, в «Стаки» кормят отвратно, а в «Сельской кухне», наоборот, хорошо. Показался холм, на нем, в тени деревьев, белые коробочки. Не то пасека, не то маленькое семейное кладбище. На повороте к стоянке Сэм почти не сбросила скорость, и шины душераздирающе завизжали. Бабушка вскрикнула и вцепилась в спинку сиденья, а Эммет только подергал пуговицу старой армейской куртки, лежавшей на коленях. Эту куртку накануне отъезда он вытащил из чулана — сказал, что в Вашингтоне может быть холодно. Стояло лето, и Сэм его объяснению не очень поверила.

Сэм подрулила к автозаправке «Саноко», остановилась и поспешила на помощь бабушке. У бабушки толстенные ляжки, и вокруг талии валик жира. Она такая толстая, что спать ей приходится в специальном лифчике. Бабушка вытряхнула ноги из машины и протянула руки. На ней была цветастая блузка, трикотажные брюки персикового цвета, белые носочки и голубые теннисные туфли. Сэм знает бабушку Хьюз не так хорошо, как бабушку Смит, мать Эммета. Ту она зовет «бабуля». А бабушка Хьюз,

© 1985 by Bobbie Ann Mason

кажется, знает о ней все. Жуть какая-то. Бабушка то и дело восклицает: «Ну, Сэм, ты вся в этом!» или «Боже мой, точь-в-точь отец». И Сэм тогда кажется, что все эти годы бабушка Хьюз за ней шпионила. Это Эммет решил взять бабушку Хьюз в Вашингтон. А сейчас сидит и смотрит на птицу, парящую над бензоколонкой, как ни в чем не бывало.

— Обычного? — спросил парень в рубашке с эмблемой «Саноко».

— Да. Полный бак.

Приятно говорить: «Полный бак». В конце концов, покупать бензин — еще одно удовольствие, дарованное автовладельцу.

— Пойдем, бабушка,— Сэм взяла бабушку под руку.— Эммет, присмотришь за машиной, ладно?

Эммет кивнул. Он все не отрывал глаз от птицы.

Дамская комната оказалась запертой, Сэм вернулась и взяла у парня ключ. На ключе болтался брелок с эмблемой «Саноко». Дамская комната розовая, грязная, пол липкий. В кабинке туалета на стене помадой выведены телефонные номера. И еще Сэм прочитала что-то вроде стихотворения:

Задницы масса плюс газа напор
будет равняться — хоть вешай топор.

Жаль, она не знала этот стишок в школе, а то бы прочитала его на уроке алгебры.

Бабушка пи́сала громко, как корова. Эта поездка — безумие. Как в этом фильме с Чеви Чейзом [1] про семью, которая едет отдыхать. С ними бабка. Такая древняя, что не вынесла тягот пути и умерла. Пришлось закатать ее в одеяло и везти на крыше пикапа: дети отказались сидеть рядом с трупом. Вот и эта поездка вроде того. Месяц назад Эммет и за миллион не согласился бы ехать в Вашингтон. Но после всего, что случилось в последний месяц, его как подменили: сам предложил ехать в Вашингтон. Да еще настоял, чтобы взяли с собой бабушку Хьюз.

— Я чуть не лопнула,— сообщила бабушка, выходя из кабинки.

Она все выдумала про таблетку. Просто постеснялась сказать при Эммете, что ей надо в туалет.

Отдав ключ, бабушка подошла к автомату и купила картофельных чипсов:

— Айрин нас плохо покормила утром. А ты чего-нибудь хочешь?

— Нет, я не хочу есть.

— Ты, Сэм, ужасно тощая. Глаза ввалились...

Айрин — это мама Сэм, сестра Эммета. Они ночевали у нее в Лексингтоне, в новом кирпичном доме с патио и коврами от стены до стены. Айрин в тридцать семь родила второго ребенка. Девочка миленькая, а вот новый муж Айрин преснятина. Его зовут Ларри Джойнер, а Сэм называет его Лоренцо Джонс. На уроках социологии они часто слушали кассеты с записями старых радиопередач. «Лоренцо Джонс» — допотопная мыльная опера; мамина жизнь, на взгляд Сэм, тоже мыльная опера. Если бы Айрин поехала с ними, все было бы иначе. Но у Сэм только ее кредитная карточка. Наверное, уже дыру в кармане прожгла. Сэм еще ее не вынимала. Она на крайний случай.

Эммет включил мотор. Он сидел за рулем и потягивал пепси из банки.

— Готовы? — Он стряхнул пепел в окно. Слава Богу, хоть отъехал от бензоколонки, но не очень далеко; и Сэм тут же представила оглушительный взрыв, пламя до неба, словно взлетел на воздух склад боеприпасов.

— Дай глотнуть,— попросила она.— Заплатил за бензин? — Она отпила из банки и протянула ее обратно Эммету.

— Заплатил. Шесть долларов тридцать центов. Я записал, сколько мы проехали миль. Получилось — один галлон идет на тридцать одну милю.

— Хорошо!

Указатель уровня бензина не работал. Сэм всю дорогу наугад прикидывала, сколько бензина в баке. И для верности каждые двести миль заправлялась. Ее «фольксваген» семьдесят третьего года, но двигатель после

---

[1] Знаменитый комический актер. (*Здесь и далее прим. переводчиков.*)

капитального ремонта. Две недели назад она купила машину у Тома Хадсона. Его отпечатки пальцев, должно быть, до сих пор сохранились на двигателе и рычаге передач. И он словно все время здесь, рядом с ними.

— Я люблю свою машину,— Сэм ласково шлепнула капот.— Моя славная птичка.

И вдруг подумала: как странно прозвучали эти слова. Эммет вечно наблюдает за птицами, записывает их в дневник, он ищет одну экзотическую птицу. Он говорит, что во время перелета во Флориду они иногда останавливаются на отдых у них, в штате Кентукки. Сам он, правда, ни разу не видел. Сэм сказала, можно в Вашингтоне сходить в зоопарк, посмотреть; но Эммет говорит, в зоопарке совсем не то, что на воле.

Сэм забралась на заднее сиденье. Бабушка тоже хотела было сесть, но спохватилась:

— Посмотрю, как там мои цветы. Надо было полить их утром.

Она обошла машину и заглянула в заднее стекло.

— Не увяли,— сказала Сэм, взглянув на горшок герани, примостившийся под стеклом.

— Кажется, ничего,— с сомнением сказала бабушка.— Боюсь, как бы цветки не опали, пока доберемся.— Она села на переднее сиденье.— Мне до сих пор стыдно, что я с этими цветами устроила такое безобразие у Айрин. У нее такая чистота! Айрин, наверное, подумала: «Вот деревенская грязнуля!»

Эммет затушил сигарету, тронулся с места и, въехав на автостраду, включил четвертую передачу.

— Когда же мы доедем? — вздохнула бабушка.— А вдруг заблудимся?

— Не волнуйтесь, миссис Хьюз. У нас есть карта.

— В Соединенных Штатах не заблудишься,— сказала Сэм.— А мне бы хотелось! Проснуться и не знать, где ты.

— Боже, детка, где ты набралась таких мыслей? — воскликнула бабушка.

Эммет крутил руль молча, сосредоточенно, словно водитель автобуса. Он высокий, плотный, ему тридцать пять, а лицо в прыщах. Всю дорогу он какой-то притихший. Наверное, бабушка действует ему на нервы, а нервы у него слабые.

— Коробка передач не в порядке,— Эммет оглянулся на Сэм.— Четвертая скорость выскакивает.

— Том сказал, что отрегулировал коробку передач. Все должно быть в порядке.

— Тем не менее выскакивает. Я подумал, надо тебе сказать об этом.

— Ну и что! Я не жалею, что купила эту машину! И нечего все время тыкать мне, что она старая!

Сэм откинулась на подушку, которую они прихватили у Айрин, повернула голову и стала смотреть на огни проезжающих машин. На обочинах валяются старые шины грузовиков, обрывки резины, словно выброшенные игрушки. Вдали — небольшие холмы, круглые, как шарики мороженого. А у них вокруг Хоупвелла равнина. Она никогда прежде не бывала так далеко от дома. Ей скоро восемнадцать, пора и мир повидать. Вот бы уехать подальше — в Майами или, может быть, в Сан-Франциско. Жить где угодно, только не в Хоупвелле. И вот теперь, в дороге, все кажется таким настоящим. Будто до того вечера на прошлой неделе, когда Сэм убежала из дому, она жила словно в полусне. Как на аэробике в прошлом году. Делали упражнения для бедер и таза. Стоят девчонки, согнуты пополам, задницы кверху. Тренер, мисс Хотпэнтс, у нее еще такое трудное иностранное имя, говорит: «Напрягите ягодицы!» И они, стиснув зубы, напрягают. Считает до пяти и опять говорит: «А теперь, три-четыре! Напрягите еще!» И тогда у нее родилось это ощущение: миг назад казалось — взят последний рубеж, но стоило напрячься — и горизонт опять отодвинулся.

Дым от Эмметовой сигареты летел ей в лицо. Спустя немного она опять села за руль. Сэм гордилась своей машиной. Белая, в ярко-оранжевых пятнах там, где загрунтована ржавчина. А как весело гудит мотор! Сэм сказала:

— Вот покрашу — будет еще красивей.

— В какой цвет, детка? — полюбопытствовала бабушка.

— В черный.— Наступит зима, подумала Сэм, она купит черную кожаную мотоциклетную куртку, перекрасит старые желтые ботинки в черный цвет. Они на шнуровке, и вид у них будет — что надо. С грохотом и гудками пронесся мимо грузовик, который она обогнала двумя минутами раньше. Сэм в ответ нажала на клаксон и буркнула: «Тоже мне лихач!»

— Эй, глядите.— Эммет показал на фургончик с прицепом. На прицепе громоздилась параболическая антенна.— Номер аризонский. Вон откуда тащит. Вот бы нам такую! Можно ловить передачи хоть с Северного полюса.

— Собственность Старшего Брата,— сказала Сэм.

— Ага. У него наверняка была такая же. И свой спутник, конечно,— серьезным тоном подхватил Эммет.

— Брата? Какого брата? — заволновалась бабушка.

— Старшего Брата. Из «1984». Мы проходили по английской литературе...

— Вот, слышишь? Коробка передач опять барахлит,— перебил ее Эммет.

— А, черт! — пробормотала Сэм, чтоб бабушка не услышала. Бабушка не выносит, когда чертыхаются.

Сэм до нынешнего лета почти не ругалась. А теперь она сама не своя. В ней столько злости и всяких дурацких мыслей, что иногда приятно выругаться, пусть даже вполголоса.

2

По радио передавали музыку «ретро». Пел Марвин Гэй, потом Джуниор Уокер и «Все звезды». И еще какой-то Джуниор, фамилию Сэм не расслышала: волна стала пропадать. Машина карабкалась на холмы Западной Виргинии.

Сэм за рулем, Эммет — рядом. Поджал свои длинные ноги и стряхивает пепел в окно. Курить он начал в армии. Интересно, пойди Сэм в армию, стала бы она курить? Наверное, нет. Хотя она и так, скорее всего, умрет от рака легких, потому что все вокруг курят. Эммет и Айрин дымят, как паровозы, а ее все время предупреждают: не вздумай курить, от этой дурной привычки потом не избавишься. Айрин, правда, бросила, когда забеременела. Травка — другое дело. Бабушку инфаркт бы хватил, узнай она, что́ лежит у Сэм в сумочке. Если вдруг их остановит полиция, Сэм выбросит пакетик через дырочку в полу машины. Впереди замаячил рекламный щит: мотель с бесплатным кабельным телевидением.

— К ночи будем в Вашингтоне. Немного осталось,— поспешил сказать Эммет.

— Там ночевать в гостинице очень дорого. Переночуем здесь, завтра выедем пораньше, побудем день в Вашингтоне, а вечером обратно.

— Сэм права,— вступила бабушка.— Там гостиницы очень дорогие.

Сто раз уже повторялся этот разговор. Эммет говорил, что в Вашингтоне живет его старый армейский приятель, у него они и остановятся. Только вот у Эммета нет адреса, а звонить по междугородней не хочется. Приедем в Вашингтон, сказал Эммет, и сразу позвоним.

Коробка передач совсем никуда. Четвертая скорость все время выскакивает. Какое-то время Эммет прижимал рычаг, но скоро устал, и Сэм попробовала справиться сама — левая рука на руле, правая — на рычаге. Рука у нее скоро онемела.

— Если не держать, потащимся на третьей, так и за неделю не доберемся,— сказал Эммет и опять взялся за рычаг.

— А вдруг застрянем? — заволновалась бабушка.

— Не застрянем,— отозвалась Сэм. Из приемника послышался голос Брюса Спрингстина, и она сделала звук погромче. Но не так громко, как хотелось,— из-за бабушки.

— Домчимся с ветерком.— Эммет скорчил рожу и вместе с Брюсом запел «Победные дни». Сэм засмеялась, и рычаг опять выскочил.

— До сих пор не могу опомниться: явились, сунули меня в машину и увезли,— сказала бабушка.

— Ты не рада, что мы едем?

— Рада, только не знаю, выдержу ли, если прямо сейчас ехать в Вашингтон. Ноги у меня болят.— Бабушка пьет таблетки от судорог в ногах.— Лучше отдохнем здесь и приедем в Вашингтон утром, ведь, наверное, там придется много быть на ногах.

Начались новости. Сэм послушала про ход предвыборной президентской кампании, про ураган в Техасе. Покрутила ручку и нашла «Родхауз блюз» группы «Дорз». О Господи! Будь Джим Моррисон жив, она бы поехала прямо к нему, где бы он сейчас ни был. «Люби меня, бэби, всю ночь». Сэм представила себе его в черном пиджаке. Жаль, не вернешь того времени, когда он обнажался на концерте и его забирала полиция прямо на сцене.

Остановились у мотеля «Говард Джонсон». Рука у Сэм совсем затекла. Около четырех за руль сел Эммет, и Сэм сообразила накинуть на рычаг ремешок сумочки и тянуть. Гораздо легче, чем придерживать рукой. Бабушка предложила протянуть от рычага до крючка между окнами какой-нибудь тросик, но тросика не обнаружилось. Да, незадача: покупаешь машину, а у нее барахлит коробка передач. Вот бы спортивный автомобиль, вроде «транс-ам», как у мамы. А у Лоренцо Джонса — форд «кобра», и он член автоклуба. Но машину водит отвратно.

— С такой коробкой передач далеко не уедешь,— сказал Эммет.

Они сидели в машине на стоянке и решали, что делать. Эммет предложил снять одну комнату, так выйдет дешевле, но бабушка запротестовала.

— Бабушка, не волнуйся,— сказала Сэм.— Я посплю на раскладушке, а вы с Эмметом — на кроватях.

— Не знаю, можем ли мы спать в одной комнате с мужчиной, Сэм.

— Боже мой, да я всю жизнь живу в одном доме с Эмметом. Ты думаешь, я никогда не видела его в пижаме?

На самом деле Эммет сроду не носил пижамы.

— А я никогда не спала в одной комнате с мужчиной. Только с мужем,— засмеялась бабушка.— Что скажут дома? Подумают, старуха сошла с ума, пустилась во все тяжкие. Я даже халата не взяла.

— Я тоже.

Эммет пошел справиться, сколько стоит комната.

— Смотри-ка, он уже возвращается! — немного погодя сказала бабушка.— Может, не разрешили, раз мы с Эмметом не родственники.

— Вы родственники. Он родной брат твоей невестки.

— Бывшей невестки.

— Ну, хорошо. Дядя твоей внучки. Тоже годится.

— Им нужен номер водительских прав,— Эммет всунул голову в окно.— Одноместный — сорок четыре; а двухместный — сорок девять. За раскладушку еще три доллара.

— Я посплю на раскладушке,— сказала Сэм.— Там две кровати?

— Две двуспальные. И всего на пять долларов дороже одноместного. За два одноместных мы бы заплатили сто восемь.

— Думаю, устроимся,— сказала бабушка.— Завернусь в покрывало, в конце концов. И выключим свет.

Комната оказалась большая и красивая, стеклянные двери выходили на автостоянку. На стенах — темные обои в полоску. Над кроватями картины — сценки парижской жизни. Даже в ванной красиво. Унитаз бежевого цвета, через него протянута бумажная ленточка. Сэм дернула ее, и ленточка лопнула, приятно хлопнув.

— Зачем это? — спросила бабушка.

Сэм объяснила. Бабушка мало ездила на своем веку. Вчера остановились перекусить в придорожном кафе, и бабушка первый раз в жизни увидела маленькие тюбики с искусственными сливками.

Пока бабушка в ванной охаживала герань, Сэм прилегла на кровать. Эммет крутил переключатель телевизора. Постучали в дверь — дежурная принесла раскладушку.

— Новости будут только в полседьмого,— сказал Эммет.

— Никак не приду в себя,— сказала бабушка.— Попала в другое измерение. Мое кончилось вчера, когда мы приехали в Лексингтон.

Сэм собралась на вечернюю пробежку. Машин на шоссе было немного. Надела спортивные трусы, пошла к двери, и бабушка забеспокоилась, вдруг Сэм заблудится.

Сэм очень нравился их номер, даже странно, что ей захотелось побегать. Комната такая чистая; и никаких признаков, что в ней до них кто-то жил. А ведь она соглядатай тысяч жизней: ее коврики, стены помнят тысячи лиц, запахов, жестов.

Сэм миновала автозаправку. Там заправлялись большой «бьюик» и красный «сааб». У «сааба» на крыше багажник самодельный, топорный, похожий на санки. Наверное, нет денег купить нормальный, подумала Сэм. Вот и Эммет собирает всякий хлам, каждый цент экономит. У них даже катушка для туалетной бумаги сколочена из планок и палки, отпиленной от метлы. «Сааб» отъехал от колонки и просигналил другому «саабу», проезжавшему мимо. Но тот не ответил.

День стоял жаркий, влажный, и Сэм быстро вспотела; но впереди еще четыре мили. У нее часы с таймером. Мимо грохотали тяжелые грузовики. Сэм вспомнила, что у предыдущей развилки они проезжали торговый центр. Жаль, далековато; сбегать бы и спросить, а вдруг у них есть та песня битлов, которую она повсюду ищет.

3

Теленовости кончились. Спустились вниз, в гостиничный ресторан, и сели за столик в кабинке с оранжевыми стенами. Эммет заказал вино.

— Буду спать в одной комнате с пьяным! — притворно ужаснулась бабушка. Сэм долго выбирала, что заказать. Наконец остановилась на жареных моллюсках — здешнее фирменное блюдо. Только вот плоские заказать или круглые? Ну и, конечно, мороженое.

— Все так дорого,— ворчала бабушка.

— У нас есть мамина кредитная карточка,— напомнила Сэм.— На случай, если деньги кончатся.

— Жареные цыплята — пять тридцать пять. Я на эти деньги двух покупаю у нас в магазине. А ты что возьмешь, Эммет?

— Бифштекс с жареной картошкой. Заказывайте цыпленка, миссис Хьюз. Плачу я.

— А я буду есть, чего никогда не пробовала,— сказала Сэм.

Появилась официантка, немолодая и усталая, как будто сто лет не присела. Сэм знает, какая у нее тяжелая работа: после школы сама работала официанткой в «Бургер-бое» [1].

— Передержали цыпленка,— ворчала бабушка за едой.— Такой жесткий.

— А моллюски вкусные.

— Похожи на червяков,— сказал Эммет.— Ну и хорошо. В червяках сплошной белок.

Ели молча. Бабушка подобрала кусочком булки остатки подливки и сказала:

— Я все думаю про Дуэйна. Будь он жив, все было бы иначе. Жили бы они с Айрин на ферме, и ты бы, Сэм, там росла, и тогда, детка, я бы знала тебя куда лучше. И у тебя были бы братья и сестры.

Сэм поежилась: сидеть на ферме, вести хозяйство, работать в поле, в городе почти не появляться! Она проглотила моллюска и сказала:

---

[1] Сеть придорожных закусочных.

— Почему ты думаешь, что он стал бы жить на ферме? Может, он переехал бы в Новый Орлеан? И я бы росла тогда во Французском квартале.

— Вряд ли. Жизнь там такая дорогая!

— А вдруг бы он разбогател! Стал знаменитым летчиком, например. Или кинорежиссером.

Бабушка громко рассмеялась.

— У него была одна мечта — скорее вернуться с войны. Он был бы прекрасный фермер. Выращивал бы табак.

Вдруг, как из-под земли, появилась официантка:

— Чем-нибудь недовольны?

— Цыпленок жесткий. Пережарили,— сообщила бабушка.

— Ее интересует, не попался ли вам в салате осколок стекла,— сказал Эммет, когда официантка ушла.— Вдруг что не так, и вы затеете против них тяжбу.

— Знаете, что я тут слыхала по телевизору,— сказала бабушка, когда официантка убрала посуду.— Про одну солдатскую мать, у нее тоже золотая звезда [1]. Она не знала, как погиб сын. А у сына был друг, и сын умер у него на руках. Друг обещал, если вернется, поехать к его матери и рассказать. А когда вернулся, все не мог решиться написать ей. И написал только через десять лет.

— И что дальше?

— Она узнала, как погиб сын, и ей стало легче. Потом друг приехал ее навестить. И, подумайте, ей стало так хорошо, как будто вернулся сын. Они часто виделись, вместе обедали и подружились.— Бабушка водила пальцем по страничке меню с десертами.— Такая замечательная история. Не могу забыть.

Сэм изучала сорта мороженого. Она закажет ежевичное и пралиновые вафли. Странное сочетание, но почему бы не рискнуть. Эммет зажег сигарету и уставился в окно.

4

И вот они в Мэриленде, на бензоколонке, уже час поджидают механика по имени Билл, чтоб он посмотрел машину. Сэм и бабушка приехали сюда на грузовике, к которому прицепили «фольксваген», а Эммет догнал их на попутке. Бабушка взяла с собой в кабину горшок с геранью, и Сэм сидела, зажатая между ней и водителем грузовика, болтливым толстяком. Он пытался с ней заигрывать, но Сэм была не в духе. «Фольксваген» ехал следом на задних колесах, трогательный, как песик на задних лапах.

Бабушка пошла в туалет, а Сэм бродит вокруг закусочного столика.

— Успокойся,— сказал Эммет.— Ты так хорошо держалась всю дорогу.

— Я сейчас кричать начну. Хоть бы скорее кончилась эта поездка. Бабушка меня с ума сведет.

— Ну что ты, Сэм. Она никогда никуда не ездила, поэтому и не знает, как себя вести.— Эммет говорил на удивление спокойно, даже участливо. Сэм его не узнавала.

— Будем теперь сидеть с ней в одной комнате. Коробку сто лет не починят, а мы даже не можем снять разные номера. При ней и радио по-человечески не послушаешь.

— Послушай плейер,— Эммет протянул ей магнитофон.

— Сейчас не хочется.— Сэм глотнула «Горной росы», и у нее защекотало в носу.— Позвони своему вашингтонскому приятелю, чтоб нам было где остановиться.

— Честно говоря, я даже не знаю, живет ли он там еще. Приедем, позвоню.

— А что, если ей сделать липоскульптуру?

— Чего-чего?

---

[1] Золотая звезда на флаге вооруженных сил, который вывешивали на доме, говорила о том, что член семьи погиб на войне.

— Операцию по откачке жира.

Эммет бросил банку из-под пепси в мусорный ящик. Под мышками у него темнели круги пота. Они пересекались с полосками футболки, и получилось что-то вроде абстрактного геометрического узора. Он сидел на столе, обхватив голову руками. Целый день сжимает виски, как будто головная боль, мучившая его все лето, стала еще сильнее.

— Может, Тому позвоним? — спросила Сэм.

— Чего ради?

— Не знаю, просто хочу ему позвонить и не знаю, что сказать.

Сэм хотела позвонить Тому перед отъездом, но случайно услышала, что он уехал в Сент-Луис повидать брата.

— Скажи, пусть приедет и отбуксирует нас в Вашингтон.

— Я серьезно.

— И я серьезно. Коробка передач обойдется в несколько сотен. А ты говорила, он все привел в полный порядок.

— Он и привел. Но машина ведь старая, естественно, что передача заедает.

— Откуда ты знаешь, что заедает?

— Знаю, и все.

— Ты готова все Тому простить. Не хочешь признаться, что он продал тебе никуда не годную рухлядь.

— Это не рухлядь. Это прекрасная машина. Вот покрашу ее в черный цвет, тогда увидишь.

Подошла бабушка. Поставила ногу на скамейку и стала растирать щиколотку:

— Ох, Господи! Нога совсем затекла.

— Как голова, Эммет? — спросила Сэм.

— Побаливает.

— У Эммета страшные головные боли,— объяснила Сэм.— Немного отпустит, а потом опять с новой силой. Врачи ничего не могут понять.

— А-а, пустяки,— сказал Эммет.— Иногда пульсирует, вроде пищалки в часах у Сэм.

— Мне это знакомо,— заявила бабушка.— Вдруг возьмет и стрельнет над ухом, да?

— Вроде того.

— Это невралгия. У деда то же самое. От сквозняков.

— Нет,— сказала Сэм.— У Эммета от другого.

— Деду становится хуже, когда погода меняется. У меня тоже так было пару раз, а потом прошло.— Бабушка поправила бретельку лифчика и тревожно поглядела на дорогу.— Как ты думаешь, Эммет, надолго мы тут застряли?

— Не волнуйтесь, миссис Хьюз,— успокаивал ее Эммет.— Мы не на необитаемом острове. Все будет хорошо.

— На ремонт нужны сотни долларов. У меня таких денег нет, да и у вас тоже.

— Есть пластиковые,— сказала Сэм. Ей уже надоело напоминать про кредитную карточку.

Бабушка поставила герань под стол, укрыла в тень. Тонкий месяц, похожий на отрезанный ноготь, белел на выцветшем дневном небе. Эммет надел наушники и включил плейер. Он слушал и отбивал ритм рукой.

— Что у тебя там, Эммет? — спросила Сэм.

— «Сожженный дом».

— Скажи, если будет та битловская песня.

К бензоколонке подкатил грузовичок. Из кабины выпрыгнул парень в зеленом спортивном костюме.

Эммет снял наушники.

— Должно быть, это и есть знаменитый Билл.

Минут десять Билл осматривал «фольксваген» и затем сообщил, что с коробкой дело плохо.

— Но до четырех я не смогу вами заняться. Тут одному надо посмот-

реть тормоза, а потом съездить по вызовам. Вашу коробку посмотрю в конце дня.— Он подсчитал на пальцах.— Думаю, завтра днем будет готово. Вы спешите куда-нибудь?

— Сколько это будет стоить? — спросила Сэм.

— Смотря какая работа. Постараюсь уложиться в три сотни. Жучок старенький, бывает, коробку передач никак не вытащишь.

— Знаю, заедает,— Сэм взглянула на Эммета.

И вот они в «Холидей инн», гостинице на той стороне шоссе. Номер стоит сорок шесть долларов. Но с кредитной карточкой Айрин это не страшно. И до Вашингтона осталось всего сто миль. Холмы тут длинные, голубоватые, словно нарисованные. Бабушка и Эммет остались у телевизора, а Сэм спустилась вниз, к бассейну, и присела посмотреть на дорогу, на бесконечный поток машин. Семьи на отдыхе, коммивояжеры, большие фургоны, везущие товар, и просто чудаки, гоняющие без дела. Вся Америка здесь, на дороге. Сэм любит это чувство отрешенности. Они втроем на большом перекрестке: магистраль с запада на восток тянется через всю страну, ее пересекает главная дорога штата. Сэм заточена в сердцевине огромного бурного водоворота. И моторы грузовиков звучат, как композиция в стиле рок.

Вечером стало немного прохладней, и Сэм пошла пробежаться. Поставила таймер на милю за шесть минут. Жарко, вряд ли сможет бежать так быстро, хотя на соревнованиях удавалось. Прихватила с собой плейер Эммета. Настроилась на какую-то пенсильванскую станцию. Когда песни прерывала реклама, Сэм снимала наушники и слушала музыку автострады.

Вечером они ели крекеры с сыром, печенье из «Севен-элевен» [1] и запивали кока-колой из гостиничного автомата. Ресторан в «Холидей инн» слишком дорогой. Попозже Эммет притащил еще кока-колы. Пепси в автомате не оказалось.

— Иди сюда, Сэм,— Эммет поманил ее из-за перегородки, отделяющей кровати от умывальника.— Хочешь вкусненького? — добавил он шепотом.

— В смысле «сладенького?» — Эммет называет марихуану «сладенькое».

— Нет.— Он рассмеялся и вытащил из спортивной сумки бутылку «Старого ворона» [2].— Давай сюда твою кока-колу.

Сэм засомневалась, но он сказал:

— Нормально, нормально. Станет немножко веселее. И потом, ты уже взрослая.

Он плеснул ей и себе виски и, протянув Сэм банку, подмигнул. Бабушка дремала, сидя на кровати. Ее герань, стоящую возле умывальника, покрывали пышные красные цветы.

Сэм и Эммет устроились на другой кровати и, откинувшись на подушки, потягивали кока-колу с виски и смотрели телевизор. «Блюзы Хилл-стрит» заменили передачей, посвященной выборам. Телекомментаторы обсуждали, не помешает ли демократам решение Уолтера Мондейла баллотироваться по одному списку с женщиной.

— Не выберут ее,— сказала бабушка.— Не время еще, чтобы женщина занимала такой важный пост.

Сэм напомнила ей, что в штате Кентукки губернатор — женщина.

— Джеральдина — просто супер,— сказал Эммет, когда на экране замелькало лицо Джеральдины Ферраро.— Нравится мне, как она говорит.

— Главное, если выберут женщину, никаких войн больше не будет,— сказала Сэм.— А Рейган не против войны.

По телевизору все болтали и болтали, и когда, наконец, пошли кадры с Ферраро, выступавшей на предвыборном съезде демократов, Сэм улыбнулась. Ей вспомнился этот съезд. Предвыборные партийные собрания невероятно смешные. Все участники — как сумасшедшие в своих

[1] Сеть магазинов, работающих круглосуточно.

[2] Сорт виски.

одинаковых партийных шляпах. Шум страшный: пункты программы, очередность выступлений — все надо брать с бою. Сэм еще не разобралась в Джеральдине Ферраро. А что, если она такая, как все, работает на публику? Политика — сплошная показуха. Хотя Сэм нравится мягкое произношение Джеральдины, и еще она так красиво поднимает ладонь. Только хорошо бы бросила носить эти отвратные старушечьи костюмы.

Бабушка сказала:

— Над чем это вы все время смеетесь? Я что-нибудь пропустила?

— Бабушка, тише,— проговорила Сэм сквозь смех.— Передача очень хорошая.

— Сэм, выпьешь еще кока-колы?

— Пока не хочется.

— Оставь мне глоточек, милочка,— попросила бабушка.— Таблетку нечем запить.

— Ой, банка уже пустая! Я тебе воды принесу.— Сэм подбежала к умывальнику и улыбнулась своему отражению. Щеки горят: здорово обманула бабушку! Бабушка считает, что пользоваться кредитной карточкой — все равно что платить фальшивым чеком.

Утром Сэм помогла ей дозвониться домой. Бабушка сказала деду, что ноги ее убивают, но зато она повидает мир. «Дед говорит, дома дождь идет,— сообщила она потом.— Вот бы и нам сюда этот дождичек». И днем еще раза два вспоминала про дождь, который идет дома.

А здесь, в Мэриленде, вечер ясный. И номер красивый. В голубых и зеленых тонах, на полу пушистый ковер. Ванная сияет чистотой, выложена желтым кафелем. Кондиционер не брызгает воду на занавески, и унитаз не засорен.

Эммет говорит, глядя на экран:

— Надо же, вместо Джонни Карсона — Джоан Риверс. Видно, обновили состав. Ничего нет настоящего в жизни. Все подделка. Не выношу Джоан Риверс.

А Сэм же, наоборот, как только они выехали из Хоупвелла, все казалось настоящим. И еще она не могла отделаться от мысли, что̀ было бы с бабушкой, окажись она здесь одна. Сумела бы она совладать с непонятным для нее миром?

На Джоан Риверс было нечто из черной тафты, расшитой жемчугом, с гофрированной оборкой вокруг бедер. Джоан сострила, это спортивный костюм Боя Джорджа. Выглядела она красавицей и яркой блондинкой. А в жизни — ни то, ни другое. Еще она сказала, что в Лос-Анджелесе идет дождь, значит, Вилли Нельсон [1] наконец вымоет голову. А то на шее у него, сказала она, уже тараканы развелись. Пожаловал первый гость, комик Дон Риклз. Он сказал: «Джоан, наверное, Джонни взял тебя на работу, потому что это никому ничем не грозит!» Он сказал, что Джонни сейчас дома, красуется в плавках и приговаривает: «Ну, и как вам мое тело?» Потом Джоан сказала, что женщине довольно иметь смазливую мордашку и красивую попку. Дон возразил, что главное — образование. Поэтому его дочь и учится в колледже. Потом началась реклама еды для кошек.

— Соскучился я по нашему Бублику,— сказал Эммет. В их отсутствие кота согласилась кормить соседка.

— А я бы сейчас хотела быть дома,— вздохнула бабушка.— Скучаю по дому...

«А я скучаю по Тому»,— думала Сэм, укладываясь на раскладушке. Глаза у нее слипались. Эммет пошел за кока-колой: он оставил банку в ванной. Бабушка, вся в бигуди, обернула шею полотенцем: от кондиционера такой сквозняк. У Сэм кружилась голова. Бабушка и не подозревала, какая она пьяница и наркоманка. В темноте Сэм вспомнила Тома, и сердце у нее екнуло. Эммет сидит на кровати, волосы убраны под кепку с надписью «Пепси». Тянет себе кока-колу из банки, гонит прочь головную боль. Бабушка уже похрапывает, а Сэм борется со сном. Пусть ночь никогда не кончается, пусть никогда не починят эту машину. Ей было страшно ехать в Вашингтон.

---

[1] Бой Джордж, Вилли Нельсон — эстрадные певцы.

Часть вторая

1

Летом Майкл Джексон гастролировал по стране с песнями из альбома «Виктори», а Брюс Спрингстин ездил с новым концертом «Рожденные в США». Сэм так и не удалось увидеть ни того, ни другого. На выпускной церемонии у них в школе методистский священник молился, чтоб страна процветала, набиралась мощи, говорил, что надо уметь жертвовать собой. Сэм разволновалась. Вот тогда она впервые и задумалась о войне, и эти мысли не оставляли ее все лето.

Эммет вернулся с Вьетнамской войны, а ее отец — нет. Демобилизовавшись, Эммет только две недели пробыл у родителей, а потом уехал куда-то. Не ужился. Вернулся через несколько месяцев, и Айрин позвала его жить к себе — она купила на страховые деньги, полученные за мужа, дом. И Эммет согласился, стал помогать по хозяйству. Люди говорили, Айрин его балует. Нянчится, как с больным, не гонит на работу. Айрин отвечала, что война сбила его с толку. Айрин тогда работала в приемной зубного врача и получала пенсию за убитого мужа. Странные были те времена. Эммет к ним приехал не один, а со своими друзьями хиппи. В Хоупвелле тогда еще не водилось ни хиппи, ни пацифистов, и явление Эммета в компании трех грязных, увешанных бусами оборванцев с прическами «конский хвост» произвело сенсацию. Хиппи приехали с запада — из Юджина, Альбукерке и Санта-Круса. А в Хоупвелле парни даже длинные волосы стали носить только в начале семидесятых. Правда, и у них это скоро вошло в моду. Сэм хорошо помнит Эммета в армейской рубахе и черных ботинках, с лиловым налобником, едва видным из-под копны волос. Еще она помнит, как друзья-хиппи выгружались из диковато раскрашенного фургона, вот и все, пожалуй, что сохранилось у нее в памяти. А в городе до сих пор не могут забыть день, когда Эммет с друзьями вывесили вьетконговский флаг на башне мэрии. День стоял пасмурный, в начале зимы. Они вошли в здание через разные двери и встретились у лестницы, ведущей наверх, на часовую башню. Секретарша окружного суда увидела их и сразу подумала: что-то должно случиться. Они прилепили флаг к стене башни клейкой лентой так, что он, свесившись, почти закрыл часы. Торговцы на площади шумели, требовали арестовать «нарушителей общественного порядка». Самое смешное, говорит Эммет, никто и не понял, что это вьетконговский флаг. Он сшил этот флаг у портного в Плейку [1], просто заказал, как заказывают, к примеру, свадебный костюм. Немного спустя после случая с флагом какие-то воры вышибли окна строительной фирмы на Мэйн-стрит и ограбили ее. На Эммета и компанию опять стали поглядывать искоса, но никаких улик против них не было.

Потом хиппи уехали, и Эммет притих. Года два занимался в Муррейском университете, а потом бросил. Взялся было стричь газоны, делать мелкий ремонт, но потом и это забросил. И всегда про него ходили всякие слухи. Однажды даже соседи решили, что у Эммета и Айрин прячется Патти Херст. Примерно неделю Сэм стеснялась появляться в школе. Позже она, наоборот, стала гордиться Эмметом. Он всегда был ей как брат. Они и сейчас друзья и музыку любят одну и ту же — в основном «золотой век рока» [2]. А из современных групп — его любимые «Карз» и «Токин хедз».

У нынешнего мужа Айрин в Лексингтоне хорошая работа, но Сэм отказалась переезжать с ними. Кто-то ведь должен присматривать за Эмметом, заявила она; и потом, ей не хотелось менять школу на последнем году учебы. За дом выплачено, и Сэм все еще получала пенсию от государства. В прошлом году Айрин уехала. Эммет и Сэм каждый вечер проводили

---

[1] Город в Южном Вьетнаме.

[2] Музыка 60—70-х годов.

у телевизора, повторяли показ сериала «Полевой армейский госпиталь» [1]. Обычно они жарили что-нибудь на ужин, смотрели новости, очередную серию П*А*Г и какой-нибудь фильм по телеканалам «Хоум бокс офис» или по «Синемаксу». Часто к ним заходил приятель Сэм, Лонни Мэлоун, но потом вечерами он стал работать в магазине «Крогер». У Сэм есть любимая серия П*А*Г — та, в которой героиня, Хот Липс Хулигэн, вышибает ногой дверь, узнав, что ее муж Дональд Пенобскотт без ее ведома подал рапорт о переводе в Сан-Франциско. А Эммету больше нравятся первые серии, где участвуют полковник Генри Блейк и Фрэнк Бернс. Бернс, говорил Эммет, точь-в-точь его ротный командир во Вьетнаме, круглый идиот. Вот и все, что Эммет тогда говорил про Вьетнам. Эммет иногда смеется почти как Хоки на экране. А у Хоки смех такой заразительный! Порой они с Ловкачом Джоном как закатятся, и Сэм с Эмметом давай смеяться, хохочут и остановиться не могут.

Несколько лет назад, когда в фильме убили полковника Блейка, Сэм неделю ходила как оглушенная. Она тогда была маленькая, и смерть полковника Блейка на экране была для нее жизненнее, чем гибель отца. И потом, когда серию повторяли, эта сцена всякий раз сильно волновала ее. Она все яснее стала сознавать: да, отец убит на войне. Конечно, это ей всегда было известно, но настоящее понимание его гибели пришло постепенно. Рейдар говорит в операционной, что самолет полковника упал в Японское море, а у нее щемит сердце, ведь для Рейдара полковник был все равно что отец. «Веди себя хорошо, Рейдар,— последние слова полковника Блейка,— не то отшлепаю, когда вернусь».

Лето в этом году выдалось сырое. В начале июня налетел торнадо, и на шоссе чуть южнее Хоупвелла свалило в кучу несколько грузовиков. Но обошлось без жертв. Метеостанция обещала через неделю еще один ураган, весь вечер Эммет слушал по радио погоду и ужасно нервничал. Вечер стоял душный, предгрозовой. Часы на кухне показывали десять двадцать четыре. Гудел вентилятор, и телевизор был включен, но Сэм все равно расслышала, как к дому сворачивает пикап Лонни. У него не в порядке зажигание: когда Лонни выключает зажигание, мотор продолжает работать, гудит упрямо, как непослушный ребенок.

— Ты что, раньше ушел с работы? — крикнула Сэм, выходя на освещенное крыльцо. В прихожую влетел мотылек и закружился вокруг лампочки под потолком.

Лонни работал в «Крогере» у кассы, складывал покупки в пакеты. Сейчас он стоял перед ней, держа в одной руке упаковку с шестью банками пива, в другой — открытую банку. Волосы у него темные, волнистые, рост пять футов одиннадцать дюймов. По мнению Сэм, он очень сексуальный. На груди у него родимое пятно, похожее на аллигатора, как эмблема фирмы «Айзод».

Он поднялся на крыльцо. Сэм отстранила с его лица прядь волос и чмокнула в губы. От него пахло пивом.

— Я увидел полицейского на автостраде Ай-24,— рассмеялся он,— и помчался со скоростью шестьдесят миль в час.

— Твое счастье, что он не засек тебя с пивом,— сказала Сэм. Дверь за ними захлопнулась, и тут же, словно эхо, в небе загрохотал гром.— Где ты раздобыл эти банки?

— В Нижнем районе. Есть там один чумной парень, он мне сбывает. Ездит пьяный, колеса враскорячку, потягивает себе «Джим Бим», бутылка виски в пакет спрятана, и плевал он на всех.

— А как там ураган?

— Не начинался. Служба торнадо наготове, но думаю, до нас не дойдет.

В двери появился Эммет, загородив свет, идущий из кухни.

---

[1] «Полевой армейский госпиталь», П*А*Г — знаменитый американский телесериал, полюбившийся зрителям так, что потом пришлось снимать продолжение. Действие происходит в Корее, во время войны, в полевом госпитале.

— Эй, вы,— сказал он, — скоро будут готовы муффелаты [1]. Будешь, Лонни?

— Да, я ужасно проголодался. На ужин только гамбургер съел.— Лонни вытащил банку пива из упаковки и протянул Эммету.— На, Эммет, дружище, выпей.

Эммет открыл банку, отпил немного. Вдруг заметил моль, ударил кухонной рукавичкой и промахнулся. Лонни сделал двойной глоток, и только теперь увидел, что Эммет в юбке — длинной, из тонкой индийской ткани с узором из слонов и павлинов.

— Эммет, откуда это? — захохотал он.

— Он подражает Клинджеру из П*А*Г. Тот тоже ходит в платьях,— сказала Сэм.

С сигаретой в зубах Эммет подошел к двери и встал в позу манекенщицы.

— Я ее купил в Падукском пассаже.

Сэм подозревала — Эммет ходит в юбке, чтобы отвлечь внимание от прыщей. Они становились все обильнее. Ей до смерти хотелось выдавить хоть один, но она знала, что он не позволит.

Эммет отправил муффелаты в духовку, повернулся и, демонстрируя юбку, принялся покачиваться, как Бой Джордж. Лицо у него сияло, точно он кого-то убил и сумел спрятать концы в воду.

— Потрясающе,— смеялся Лонни. Лонни вечно соревновался с Эмметом. Они часто играли в баскетбол в школьном зале, спорили, кто больше забросит. Лонни даже носил армейскую куртку, которую купил на барахолке. Но юбку он все-таки не станет носить в подражание Эммету. Это уж слишком. Кроме того, Лонни не любил Боя Джорджа.

— Но как ты вырвался в такое время? — спросила Сэм, садясь на бугристую кушетку в гостиной. Кушетка наклонилась набок.

— Я уволился.— Лонни смотрел в сторону, на экран, где рок-группа каталась на роликах. Потом он сделал такой глоток, что раздулись щеки.

— Ах ты черт,— расстроилась Сэм.

— Что на этот раз, Лонни? — спросил Эммет с участием.

— Не для меня это. Я мечтаю завести свое дело, а там мне ничего не светит.— Лонни закурил.— Как в тюрьме. Хочу быть сам себе хозяин. Ни от кого не зависеть.

— Дай тебе Бог,— отозвался Эммет.

Лонни рассмеялся и еще глотнул пива.

— В конце концов, буду играть с парнями в видеоигры, если наскребу денег.

— Можешь играть с Эмметом,— предложила Сэм.

— У Эммета мало видеоигр: ни «Донки Конга», ни «Хард Хэт Мак».

— А я сегодня в «Пэк-Мэн» заработал пятьдесят тысяч очков,— сказал Эммет.

— Ого! — Лонни медленно выдохнул дым.— Нет, мне никогда тебя не догнать. Ты ас.

— Я разгадал секрет «Пэк-Мэна». Самое главное, забыть про витаминное драже. А то смотришь на шарики и думаешь, сейчас хоть что-нибудь выиграю. Это приманка для дураков.— Эммет отпил пива и добавил: — Вот в чем секрет «Пэк-Мэна».

— Можно попробовать.

— Ужасно, что ты бросил работу, Лонни,— сказал Эммет.— Не у кого будет занять денег и вернуть государству долг.

— А сколько ты должен?

— Больше пятисот долларов.— Эммет обмахнул ноги подолом юбки.— Они меня как оглушили этим долгом. Я и думать про него забыл.

— Он учился в Муррейском университете,— объяснила Сэм.— А потом взял и бросил. Но каждый месяц весь семестр исправно получал чеки от УВ [2].

---

[1] Лепешки с острой приправой.

[2] Управление по делам ветеранов.

— Но в суд-то они меня не потащат. Сумма невелика, не захотят связываться. Да и взять с меня нечего: ни зарплаты, ничего.

— Возьми мое пособие на образование и заплати,— сказала Сэм.— Обойдусь без университета, ты для меня важнее.

— Да, знаешь, Сэм, когда ты сегодня бегала, звонила мама. Интересуется, будешь ли ты поступать в Кентуккский университет.

— Не хочу я учиться в том городе, где живет мама. Какие-то глупости. Она ждет моего звонка?

— Нет. Она ждет тебя. Хочет, чтоб ты приехала.

— Не уезжай, Сэм.— Лонни взял ее за руку.— Ты мне очень нужна здесь. Поможешь, когда я начну свое дело.

— Я и не собираюсь в Лексингтон. В Муррее команда бегунов лучше. Но дело даже не в этом.— Сэм приняли и в Кентуккский университет, и в Муррейский, но Муррей ближе к дому. Так что она на дороге сэкономит.

Эммет протянул ей банку пива:

— Выпей-ка пива, Сэм. Я разрешаю. Там углеводы, завтра будешь хорошо бегать.

Сэм отпила чуть-чуть. На вкус не такое плохое, а пахнет противно. Лонни сидел рядом с ней на кушетке. Голой ногой она касалась его джинсов, и ее вдруг потянуло к нему. Кушетка потертая, царапает ноги. Эммет нашел ее на распродаже. Он покупает вещи только на распродажах, и потому вся мебель в доме — допотопная рухлядь. На душе у нее стало горько и пусто. У Лонни теперь нет работы, и учиться дальше он не собирается. Сэм после уроков два года ходила работать в «Бургер-бой», а в марте уволилась, чтоб было время на подготовку. Осенью ее обещали взять на прежнее место.

Эммет вытащил муффелаты из духовки и переложил на алюминиевые тарелки, которые оставила Айрин. Всю хорошую посуду она забрала с собой. Эммет внес тарелки и подал Сэм и Лонни.

— Спасибо, Эммет,— Лонни затушил сигарету в пепельнице с видами Кентуккского озера,— вот это, я понимаю, обслуживание.

— Не стоит благодарности,— отозвался Эммет.

Сэм, честно говоря, не понравился вкус пива, а вот муффелаты — объедение. Эммет в готовке толк знает. Надо много лука и оливок. Айрин никогда не стряпала муффелатов.

Эммет принес себе тарелку и сказал:

— Наверное, урагана не будет.

— Что по кабельному? — спросил Лонни.— А то по музыкальному каналу чушь одна.

Билли Джоэл пел «Городскую девчонку». Он был в комбинезоне автомеханика и увивался вокруг Кристи Бринкли. Сэм сказала:

— И по кабельному не лучше. «Гуманоиды из бездны». Зато по «Синемаксу» в двенадцать будет фильм «детям до шестнадцати».

— Отлично! — Родители Лонни не стали обзаводиться кабельным телевидением именно из-за этих фильмов. Две недели назад кто-то подложил в почтовый ящик техника кабельного телевидения петарду, и она взорвалась.

Эммет нажимал по очереди кнопки. На экране мелькнули серфингисты, потом полицейские. Эммет остановился на Джонни Карсоне и с тарелкой в руках примостился рядом с котом. Полы его юбки скользнули по мордочке Бублика, но тот и не шевельнулся. Бублик черный, только под передними лапками белые пятна, а морда у него круглая, как блюдце. Эммет обожает кота, даже спит с ним в обнимку. В четыре часа ночи Бублик просыпается и просит есть. Раньше Эммет вставал и кормил его, а теперь наловчился — с вечера положит коробку с едой под подушку, придвинет миску к кровати и кормит Бублика почти не просыпаясь.

— А ты откуда знаешь, что «Гуманоиды из бездны» чушь? — спросил Лонни.

— Геморроиды из бездны,— сказала Сэм.— Я видела. Фу, мерзость.

Ой, посмотрите, какой у Джонни костюм! — Костюм Джонни Карсона сиял всеми цветами радуги и переливался, как разноцветные пятна на бензиновой луже. Похоже на «Юпитерскоп», который мама подарила ей в прошлом году, купила его в музее в Цинциннати. «Юпитерскоп» — прозрачный полукруг, вроде большой контактной линзы. Если смотреть сквозь него, все окрашивается в радужные цвета. На редкость дурацкий подарок.

Лонни рассмеялся:

— Представляете Джонни в юбке? Эммет, а слабо тебе в таком виде показаться на публике?

— Носить юбку полезно для здоровья,— сказал Эммет со знанием дела.— А то ходишь весь как туго спеленутый.

Сэм сказала Лонни:

— Меня очень тревожат прыщи у Эммета. А ему, конечно, наплевать.

— Что у тебя с лицом, Эммет? Я раньше не замечал.

— Переходный возраст,— пропищал Эммет.— Слышите, голос ломается.

— Не нервничай,— сказала Сэм.— Это у тебя от «апельсина» [1]. Прыщи точь-в-точь как описывали в новостях.— Она очень боялась «апельсина». Про него последнее время часто говорили по радио и телевизору.

— Я не был там, где его распыляли,— сказал Эммет.

— А может, был. Просто не знаешь.

— А вдруг тебе за это полагается компенсация,— сказал Лонни.— Тогда бы ты смог вернуть долг. Надо узнать.

— Что-то не хочется. Будут тянуть волынку, да и кончат тем, с чего начали. Пусть сидят на своих денежках.— Он потрогал сыпь.— А это ерунда, пройдет.— Он поежился, взъерошил волосы. За окнами прогремело. Погладил Бублика и прибавил: — Греки и римляне вообще ходили в платьях.

Сэм рассмеялась:

— А слабо пойти в юбке завтракать в «Макдональдс»!

Эммет обычно завтракал в «Макдональдсе», встречался там с друзьями.

— Слабо. Еще подумают что-нибудь.

Сэм с Лонни рассмеялись. Лонни спросил:

— Что же они подумают, а, Эммет?

Известное дело, что думают люди. Про Эммета чего только не говорили. Эммет первый наркоман в городе. Спит с племянницей. Живет за счет сестры. Соблазняет старшеклассниц. А во Вьетнаме убивал младенцев. Зато он — местная достопримечательность. Но на слухи Эммету наплевать.

Эд Макмэхон расхохотался своим оглушительным утробным смехом, и тут же раздался страшный удар грома, так что мигнула лампочка. Эммет вдруг согнулся и схватился за грудь.

— Что случилось, Эммет? — встревожился Лонни.

— Опять изжога! Это все твои лепешки.— Сэм повернулась к Лонни и объяснила: — И еще боль под ложечкой и газы. Я ему говорила не есть острого. У него от такого соуса всегда изжога с болью.

— Да, ты, наверное, права.— Эммет выпрямился, расправил плечи. Снова загрохотало, и он опять скрючился. Сэм перепугалась. У нее самой никогда не было изжоги, и она подумала, а вдруг это кончится сердечным приступом.

— Ну как ты, Эммет? — спросил Лонни.— Смотри не помри без завещания.

— Все в порядке,— отозвался Эммет.— Уже прошло.

Эммет высокий, плотный, большой. В юбке. Надежный, как мать семейства. Сэм и Лонни сидели на кушетке в обнимку. Эммет осторожно опустился на стул и стал обмахиваться подолом юбки.

— Минуту спустя мы опять будем с вами,— посулил с экрана Джонни Карсон.

[1] Газ «оранж», дефолиант, применявшийся во время Вьетнамской войны для демаскировки врага. Отравляющее вещество.

2

Вскоре разразилась гроза. Сэм и Лонни обошли дом и отключили электроприборы. Всю грозу Эммет просидел на лестнице, съежившись и прижимая к себе Бублика. Так сильно лило, что вода из водосточных труб затопила двор. И, наверное, опять подмыло фундамент.

Во тьме коридора Лонни обнял Сэм и притянул к себе. Они поцеловались. Лонни спросил:

— Ты разочаровалась во мне?

— Я думала, тебе нравится работать в «Крогере». Тебе ведь там было лучше, чем на «Шамли».

После школы Лонни пошел на большой завод сельскохозяйственного оборудования. Для работы в цехе пришлось потратиться на спецобувь, а потом он взял и уволился. Теперь эти ботинки некуда девать — такие тяжелые, с огромными круглыми носами.

— «Крогер» — настоящее болото,— сказал Лонни.— Надоело, и я свалил. А напоследок со злости побросал все покупки в один мешок.

— Я не в тебе разочарована. А так, вообще.

— Наверное, попробую наняться в «Ингерсолл-Рэнд».

— Они не принимают.

— Мама с папой с ума сойдут.

Родители хотели, чтобы Лонни пошел в ремесленное, получил специальность. А Лонни больше всего любил баскетбол. С тех пор как перестал играть, ему все стало безразлично. Он прославился тем, что однажды из двенадцати забитых мячей забросил десять, и все в прыжке. Именно в тот раз команда Хоупвелла обыграла своих главных противников, «Бульдогов Бингли». В Хоупвелле до сих пор вспоминают, какой блестящий игрок был Лонни.

Сверкнула молния, и тут же прогремел гром: гроза прямо над домом. Сэм стояла в коридоре, прижавшись к Лонни. Вспышка молнии осветила Эммета — он курил сигарету на лестнице. Так они стояли в темноте долго-долго; наконец дождь перестал, только слабо вспыхивали далекие сполохи.

Когда гроза затихла, Лонни поцеловал Сэм и сказал:

— Знаю, что я сейчас сделаю.

— Что?

— Выпью.

В темноте он открыл холодильник и вытащил банку пива.

— Эй, Эммет,— позвал он.— Гроза прошла. Поехали куда-нибудь.

— Скоро будет П *А *Г, в одиннадцать тридцать,— отозвался Эммет. Он опять курил. Они с Бубликом уже перешли на кушетку.

— А нельзя разок пропустить?

— Но я даже оделся специально для П *А *Г.— Эммет расправил юбку.— Я не могу жить без П *А *Г. Помню, когда кончилась последняя серия, совсем затосковал.

— Но они же не могли всю жизнь воевать в Корее, Эммет,— сказал Лонни.

Эммет сгреб пачку сигарет со стола и положил в карман юбки.

— Ну, хорошо, поехали. Куда едем? В Нижний?

— Я уже был там сегодня. Поехали, посмотрим, что натворила гроза.

— Я придумал,— Эммет вытащил из холодильника последнюю банку пива.— Едем на Каувудское озеро.

— Ты что, серьезно? — удивился Лонни.— Я думал, на тебя это место жуть нагоняет.

Сэм и Лонни любили останавливаться у Каувудского озера. На самом-то деле это не озеро, а топкое, кишащее змеями болото. Сэм слыхала, там и аллигаторы водятся. Эммет, когда был мальчишкой, часто ходил туда, а потом совсем перестал. Что на него сейчас нашло, удивлялась Сэм.

— Нет, я не боюсь,— сказал Эммет.— Поехали. Только гляну, нет ли под рукой чего сладенького.— Он взял на кухне банку из-под какао и заглянул внутрь: — Ага, есть!

Потом нашел футболку с длинными рукавами, понюхал под мышками, надел и потрогал лицо. Один прыщик вот-вот лопнет.

— Ну, едем на озеро,— скомандовал он.

Вышли на крыльцо.

— Не выпустите Бублика,— сказал Эммет.— Как раз ночью кошки и попадают под машину. Пугаются фар.— Эммет так и не снял юбку. Он такой высокий, и в юбке вид у него совсем дурацкий. Сэм прыснула.

Уличные огни отражались в свежих лужах. Сэм была в кроссовках, и они сразу промокли. От пива голова шла кругом. Она легла на матрас, который Лонни постелил в кузове; а Лонни и Эммет сели спереди. Она подпрыгивала на матрасе, и ей казалось, что она солдат и едет в бронетранспортере, потому что не видно, куда тебя везут. Эммет рассказывал, как страшно сидеть в бронетранспортере. Дюжина парней на скамейках, притиснуты друг к другу, упираются друг в друга автоматами, а один ведет машину, скорчась в крошечной кабине и глядя в перископ, чтоб не сбиться с пути. Все равно как в подводной лодке.

— Смотрите, бульдозер,— сказал Эммет. Они съехали на посыпанную гравием дорогу.— Власти осушают болото, прокладывают дорогу ручью. А биологи говорят, тогда змеи передохнут и журавли не будут прилетать.

— Я и без змей проживу,— сказала Сэм.

Каувудское озеро назвали по имени печально знаменитого преступника, Эндрю Каувуда. Он здесь прятался и, говорят, утонул в трясине. Студенты-биологи из университета расчистили место для стоянки машин и сделали вокруг болота деревянные мостки. Сэм с Лонни несколько раз ночевали здесь в машине.

— Слышите, комары пищат,— сказал Эммет.— Это они про меня болтают. Знаю, потому что у меня уши горят.

Лонни поддразнил его:

— Они говорят: что за чудило в юбке к нам пожаловало.

Лонни погасил фары. Они сидели в тишине и смотрели на заболоченный лес, окаймляющий посыпанную гравием стоянку.

Эммет и Лонни перелезли через спинку сиденья и уселись в кузове рядом с Сэм. Эммет вытащил «сладенькое» из сигаретной пачки, закурил, затянулся и передал папироску Лонни. После дождя стояла чудная ночь, дул легкий ветерок, и слышен был стук капель, падающих с листьев.

— А где же птицы, Эммет? — спросила Сэм.

— По ночам они спят. Все, кроме сов.

— А где спят птицы? — улыбнулся Лонни.

— В птичьих постельках.

— Эммет, расскажи про птицу, которую ты хочешь найти,— сказала Сэм.— Может, как раз сейчас здесь есть одна такая.

— Ночью все равно не видно.

— Но она же белая. Как привидение.

— Что это за птица? — спросил Лонни.

Эммет помедлил. Потом ответил:

— Белая цапля.

— Ты уверен, что они здесь водятся? — спросил Лонни.— Какие они?

Эммет глотнул пива и сказал:

— По-моему, белая цапля — символ штата Флорида.— Лонни передал ему папироску, Эммет раскурил ее и затянулся.

Сэм сказала Лонни:

— Он часто их видел во Вьетнаме.

— Правда?

Эммет медленно выдохнул.

— Да. Стоят на рисовых полях, головы в воду опустят и ищут, чего поесть.

— Значит, они и здесь, на болоте, могут водиться,— сказал Лонни.

Сэм осторожно спросила:

— Эммет, зачем тебе эта цапля?

— Очень они красивые. Самые красивые птицы на свете. Белые,

длинноногие.— Эммет откручивал язычок на банке пива.— Немного похожи на журавля, но те не такие красивые. Иногда смотришь: стоят буйволы, и рядом с каждым, как собачонка, белая цапля.

— Зачем? — спросил Лонни.

— Они едят то, что выроет буйвол, и склевывают клещей у них с голов. Порой садятся буйволу на спину, а те и не против.

Сэм сказала:

— А если увидишь цаплю, не станет вспоминаться плохое?

— Да нет. Наоборот. Эти птицы — единственное хорошее воспоминание. Кругом война, такой ужас, а она летит себе по небу по своим делам. Бывало, летит над головой целая стая, вытянув шеи.— Эммет катал в ладонях пивную банку.— Раз как-то снаряд упал среди деревьев, и эти птицы, словно перепелки, взлетели и врассыпную. Мы подумали, снег пошел, только не вниз, а вверх.

Лонни спросил:

— Ты часто попадал под обстрел?

— Пару раз чуть не прострелили задницу.

— Расскажи.

— Да ну, неинтересно.

Сэм передала папироску Лонни, выдохнула и закашлялась. Белая цапля словно стояла у нее перед глазами. Стало тепло, покойно; только вот Эммет... Никогда он так много не говорил про Вьетнам. Вспомнил, наверное, потому, что каждый вечер смотрит П *А *Г. У Эммета была подружка, Анита Стивенс. Но на Рождество они расстались. И он не сказал почему. Он водил ее на ужин с креветками в «Холидей инн» и подарил однажды корзинку с сыром, купил в универсаме в Падуке. Она смеялась, называла ее «моя пасхальная корзинка» и все спрашивала Эммета, где же там спрятано «сладенькое». В корзине было столько сыра и салями! Наверное, до сих пор еще лежат в холодильнике у Аниты. Сэм вдруг сказала:

— Слушай, Эммет! А вот бы Анита была с нами. Давай ей позвоним.

— Давай. Где телефон?

— Я серьезно. Почему бы тебе прямо завтра не позвонить ей?

— Зачем Аните птицелов в юбке,— бесстрастно сказал Эммет.

— Ну так не носи юбку.

Эммет что-то буркнул в ответ. Он сидел в кузове, прислонившись к запасному колесу. Огонек его сигареты напомнил ей Марс в ночном летнем небе, оранжево-красный, будто летящий к земле.

Лонни включил радио, запел Брюс Спрингстин. Что-то из нового альбома. Потом слушали университетскую музыкальную передачу и подпевали. Сэм глядела на луну в просветах между туч. Небо прояснялось. Передавали «Не хочу больше танцевать с огромной толстой женщиной». Эммету нравится эта песня. Но Анита вовсе не огромная и не толстая. Она красивая. Сэм уверена, Анита до сих пор любит Эммета. Лонни вдруг потянулся к ней, попытался обнять, но у нее кружилась голова, и она не отозвалась на его поползновение.

Потом Эммет и Лонни куда-то пошли, и Сэм потеряла счет времени. Может, даже вздремнула. И вдруг ей стало страшно. Такая луна, будто рядом, ну точно сцена из фильма ужасов. Она прислушалась: по радио звучит песня, голоса знакомые, а песня — нет. Конечно, это битлы. Но песню Сэм ни разу не слышала. А она-то думала, что знает все битловские песни, ведь у Айрин были все их пластинки. Перед отъездом в Лексингтон она их все оставила Сэм. «Отстань от киски моей» пели они сейчас. Не может же быть, что у битлов новая пластинка, пьяно подумала Сэм.

Эммет с Лонни вернулись.

— Тише, тише, Лонни,— бормотал Эммет,— спрячь сигарету в кулак. Не дай Бог заметят.

— Успокойся, Эммет. Все в порядке.— Лонни сел за руль и завел мотор.

— Черт побери, Лонни! — Эммет говорил громким, горячим шепотом.— Да тише ты! И не включай фары. Приглуши мотор! Съедем потихоньку на шоссе номер один.

— Успокойся. Возьми себя в руки.

— Что ты там увидел, Эммет? — Сэм тронула его за плечо.

Он дернулся, отпрянул.

— Не трогай меня!

— Ему померещилось,— сказал Лонни, выруливая со стоянки.— Там ничего нет.

— О Господи! — сказала Сэм.— Ну что, Эммет, все в порядке?

— Едем скорее,— буркнул он.— Я этого не вынесу.

Выехали на шоссе. И Лонни сказал:

— Мы едем домой, Эммет. Поправь юбку.

3

— Ой, больно!

— Прости. Посиди спокойно хоть минуту, Сэм,— сказала Дон.— Я подержу лед подольше. Наверное, еще не заморозилось.

Дон прижимала пластмассовую коробочку со льдом к мочке уха Сэм.

— Если отморожу ухо и оно отвалится, подам на тебя в суд.

— Сиди спокойно. В торговом центре с тобой не стали бы так возиться,— сказала Дон.— Проткнули бы без всякой заморозки. Ну вот и все. А ты и не заметила, правда?

— Да, совсем было не больно.— Сэм поежилась. Теперь ухо у нее горело.

Дон Гудвин, подруга Сэм, проколола ей уши в прошлом году, а теперь делала вторую пару дырок. У самой Дон в каждом ухе по четыре дырки. Они обрисовывают мочку и похожи на дырочки в ремне. Сэм с Лонни и Дон с ее приятелем Скоттом раньше дружили вчетвером, но потом Дон порвала со Скоттом и стала встречаться с Кеном Вильямсом. А Лонни с Кеном не ладили. И четверка распалась. Дон хорошенькая, но говорит всегда, что Сэм красивее. Сэм не согласна — лицо у нее слишком круглое и зубы какие-то кроличьи.

— В торговом центре четвертую дырку не прокалывают,— сказала Дон.— Боятся попасть в хрящик. Даже медсестра из больницы не согласилась бы. Но мне можно, у меня мочки большие. А уши у меня гноились только один раз, когда я проколола первые дырки. Между прочим, в торговом центре. Но я тогда не протирала спиртом, а надо протирать трижды в день. Ты смотри протирай. Ну как сейчас?

— Нормально.— Сэм вздохнула с облегчением — вторая иголка вошла быстро.— Уши у меня ярко-красные.— Она рассмеялась, глянув на себя в зеркало. Лицо круглое, как у Эммета и Айрин. Волосы короткие, пшеничного цвета.

— У тебя тоже большие мочки,— сказала Дон.— Запросто получатся четыре дырки.

Дон живет в старом скрипучем доме. Он еще обшарпанней, чем дом Сэм и Эммета; но зато у Дон большая спальня, оклеенная обоями с узором из голубых и золотых цветов, и туалетный столик с зеркалом.

— Теперь, если будешь паинька, все вмиг заживет,— сказала Дон.— Сережки эти не снимай и три раза в день протирай спиртом мочки. Протирать надо две недели. И дужки не забывай крутить.

— Буду носить длинные сережки и короткие.— Сэм рассматривала уши в зеркале.— У меня есть длинные, как мечи. Их я буду носить в старых дырках, а в новых маленькие звездочки.

А у Дон в ушах были все четыре масти разных цветов и размеров. Пики — из черной эмали, трефы — длинные, усыпанные блестящими хрусталиками. Бубны из золотой проволоки, а черви — маленькие вставные сердечки. У Дон целая коллекция сережек. Пар пятьдесят, серебряные, золотые и даже клуазоне [1]. Сэм нравились ее сережки.

Дон сказала:

---

[1] Изделие из французской эмали.

— Я иногда беру старые бусины, нанизываю и делаю петлю длиной сантиметров в десять. Или просто нанижу и ношу, как подвеску. Они путаются в волосах, иногда я даже беру их в рот. Хочешь, подарю тебе сережки? Я купила их на ярмарке ручных ремесел, которая была в прошлом году на озере. Представляешь себе, они сделаны из гвоздя для подковы.— Дон перебирала сережки в коробке.— Очень мне нравились, а теперь надоели.— Дон засмеялась.— Мне все быстро надоедает. И тогда я беру иголку и прокалываю еще дырку.

— Спасибо.— Сэм убрала сережки в сумочку.

— Помнишь того парня, которого исключили из школы за то, что он ходил в безрукавной майке?

— Да,— засмеялась Сэм.— Для Хоупвелла это было чересчур.

— Я слыхала, у него проколот сосок, и он носит там маленькое золотое колечко.

— Ух ты!

— Не нравится мне этот парень. Придурок. Помню, приперся в «Бургер-бой» и стал клеиться ко мне. Что ему было нужно? Не сомневаюсь, что он голубой. Я тоже, конечно, не ангел, но это уж слишком.

Глянули в зеркало. Дон выше, чем Сэм. И захихикали:

— Мы самые скверные девчонки во всем Хоупвелле.

— Мой дядя мне все позволяет. Знает, что я сплю с Лонни, и ничего. Лонни, как бросил работу, уже три дня живет у нас.

— Отец бы меня убил.— Дон выбросила вату в мусорную корзину.— Пойдем вниз, надо убраться на кухне до папиного прихода. Он мне задаст, если будет беспорядок. Можно, конечно, уйти, тогда он подумает, что я на работе.

Дон работала в «Бургер-бое». Сэм тоже хочет вернуться туда. И тогда они с Дон будут работать вместе. Отец Дон — оператор пончиковой машины на кондитерской фабрике, а мама умерла. У нее четыре брата, но дома с ними только один. И у Дон, и у Сэм нет в доме взрослой женщины. Это бывает редко. Потому они и такие независимые. Но Дон домовитая, не то что Сэм, и готовит хорошо.

Внизу, за мытьем посуды, Сэм рассказала, как ее беспокоит Эммет и его прыщи. Дон пришла в ужас:

— Да ты что, подруга!

Она впервые слышала про «апельсин».

— Думаешь, это может проявиться через столько лет?

— Может. Я брала книжку в библиотеке. Там сказано: у тех, кто был в зараженном месте, рождаются больные дети.

— Наверное, потому твой дядя и не женится. Наверное, знает, что бывает после Вьетнама.

— Наверное. Хотя про «апельсин» открыли совсем недавно.— Сэм вытирала стакан. Все стаканы у Дон бесплатные, их дают в забегаловках как премию.

Дон сказала:

— Мой двоюродный брат тоже воевал во Вьетнаме, но по нему ничего не скажешь. Такой же, как все. Работает посменно на карбидном заводе. Что же теперь делать с этой «апельсиновой» дрянью?

— Не знаю. У Эммета часто болит голова. Меня это очень пугает. Вдруг как-то дернется, сморщит лоб — значит, опять разболелась. И аспирин не помогает. Он говорит, болит не больше, чем заусеница, а я боюсь, вдруг это опухоль мозга.

Дон яростно чистила порошком ржавое пятно на кастрюле.

— Я знала парня, у него была опухоль мозга,— сказала она.— В Боулинг-Грин, я там гостила летом у тетки. Этот парень часто приходил на пляж, очень симпатичный. Я когда узнала, что с ним, чуть не умерла. А другой парень, мой знакомый, как-то взял и сказал, что ему осталось жить два года — тоже опухоль мозга. Но он врал. Хотел произвести впечатление.

— Как думаешь, лучше умереть от опухоли мозга или на войне?

Дон в раздумье скребла кастрюлю.

— Не знаю. Мне порой кажется, самое лучшее — быстрая смерть. Мама болела очень долго и, говорят, очень мучилась. Я не помню, маленькая была.

Дон покончила с кастрюлей и вытащила из холодильника кока-колу и лед. Холодильник у Дон маленький, старый, у морозильника нет отдельной дверцы. Пошли в гостиную, стали пить кока-колу. Сэм взяла старые пластинки, принадлежавшие братьям Дон,— Вилли Нельсон, Кристофер Кросс, Элтон Джон... Сэм этих певцов терпеть не могла.

— Я бы купила новый альбом Спрингстина,— вздохнула она.— Но надо копить на машину.

— Я слышу часто его по радио на работе.

— Помнишь первую песню, про Вьетнам?

— «Рожденные в США»?

— Да. Там про него, как его брата убили на войне, а сам он вернулся, не мог найти работу, и кончилось все тюрьмой. Отличная песня.

— А мне нравится про мойщика машин, помнишь, где все время идет дождь, его уволили с работы и бросила девушка. Грустная такая песня. За душу берет.— Дон поежилась и звякнула льдинками в стакане.— Брат утащил все мои записи. И украл магнитофон из моей комнаты. А радио у меня сломалось.

— А я слушаю мамины старые пластинки,— сказала Сэм.— Она там радуется жизни в Лексингтоне и совсем забыла про Эммета. Вот отчего мне так тошно.

— Ты очень по ней скучаешь?

Сэм потрогала новые дырочки в ушах.

— Очень. Помню, давно, субботними вечерами, мы всегда вместе смотрели телевизор. Она жарила кукурузу, и мы часа три сидели и смотрели постановки, одну за другой. Сперва «Всю семью», потом П *А *Г, потом Мэри Тайлер Мур и Боба Ньюарта, а потом, примерно с час, Кэрол Бернетт. Это было здорово. Но скоро передачи стали другие, а пару лет назад появился Лоренцо Джонс. Он приходил, садился и начинал говорить, а мы все равно пытались смотреть телевизор. Пока шли новости, он тоже все вещал, забивал комментатора.

— У меня брат такой же.

— Давай что-нибудь выкинем,— сказала Сэм.— Найдем работу во Флориде или еще где-нибудь, будем каждый день ходить на пляж. Правда, здорово? Можно еще устроиться в Диснейленд.

— Лонни с Кеном очень обрадуются!

— Что мне нужно, так это деньги,— сказала Сэм.— Целая куча денег.

— Ну, в «Бургер-бое» не разживешься.

— Не знаю, что делать! — Сэм вскочила.— Ехать в Лексингтон? Но на мне Эммет и еще Лонни. Я думаю, он хочет, чтоб мы поженились. Когда он найдет работу.

— И завели детей.

— Нет, я пью таблетки. Знаешь, в прошлом году, когда мама забеременела, она отправила меня к доктору, чтоб выписал мне таблетки. И даже ничего не спросила.

— Ты не боишься таблеток? Я, например, боюсь побочных эффектов.

— Мне плевать. Ребенок, по-моему, самый главный побочный эффект.— Сэм засмеялась и потрогала живот.— Хотя не побочный, а самый прямой! — Она выбросила лед в мойку на кухне и сполоснула стакан.

— Ты хочешь замуж за Лонни? — спросила Дон.

— Не знаю,— протянула Сэм.— Лонни сейчас не первая моя забота.— Она подняла с полу бумажное полотенце.— Но он такой милый, так ко мне относится. Не переживет, если я его брошу.

— Лонни — красавец мужчина,— сказала Дон.— Если выйдешь за него, станешь Сэм Мэлоун, как тот парень из фильма «Весельчаки».

— Да. Раньше я думала, это будет потрясно, а теперь мне все равно.

Дон протерла стол тряпкой.

— Знаешь, подруга, что можно сделать? Попросить у моего брата машину и поехать в какой-нибудь бар в Падуке, где останавливаются проезжие бизнесмены. Наденем самые крутые шмотки, подумают, что мы старше. Может, угостят обедом или денег дадут.

— Я бы просто прогулялась по пассажу,— сказала Сэм.

— Да. У нас в Хоупвелле нет пассажа.— Дон выжала мокрую тряпку и вздохнула: — А какой же это город — без пассажа.

4

Сэм вернулась от Дон и увидела: Эммет копает канаву вдоль стены дома. Он яростно вгрызался лопатой в землю и отбрасывал ее на траву.

— Что ты делаешь?

— Пытаюсь найти, где течет. И потом, хочу осмотреть подпол под кухней.

Футболка на нем взмокла от пота, лицо покраснело. Их соседка, миссис Биггс, вдова, живущая на пособие, подозрительно посматривала со своего крыльца. Миссис Биггс ни на минуту не отпускает страх, что президентом выберут Джэксона [1].

Эммет увидел уши Сэм и сказал:

— Отец вот так метил скот.

— А в следующий раз я сделаю дырку в соске и вдену колечко,— пообещала Сэм.

Голова миссис Биггс вынырнула из-за забора. Маленькая, с седыми мелко завитыми кудряшками, она прощебетала:

— Хотите прорыть туннель до Китая?

— То, что я делаю, называется «земляные работы»,— разъяснил ей Эммет.— Это благородный труд. Древние египтяне и римляне были большие специалисты по части земляных работ. И великие строители. Как видите, старая добрая традиция.

— Ваш кот снова шастал по моим петуниям.

— От кота прекрасное удобрение, миссис Биггс. Бублик удобряет ваши цветы высококачественным туком.— Эммет довольно хмыкнул, оглядев свою работу.— В Древнем Египте кошки считались священными животными. Почитание кошек и земляные работы всегда идут рука об руку,— и он галантно приподнял кепочку.

Эммет копал дотемна. Только раз прервался перекусить — Лонни привез пиццу,— так он увлекся. Твердую глину разбивал лопатой, камни выворачивал киркой. Сэм никогда не видела, чтобы он так усердствовал. Обливался потом и ругался, наткнувшись на камень. Иногда он замирал и тер висок, ожидая, когда отпустит боль. Казалось, он вслушивался в музыку, которая звучала у него в ушах. Работал он в плейере, слушал «Рок-95», сказал, что той песни «Битлз» не было. Сэм с тех пор тоже ее не слыхала. Эммет уверял, что она ошиблась, не может быть такой песни. Она спросила, что́ на него нашло тогда на Каувудском озере, а он беспечно ответил: «Ты же знаешь, я сто лет как спятил». Сэм думала, как бы разговорить его о войне: ему ведь наверняка надо излить душу. Когда она была маленькая, до того как Эммет угомонился и жизнь как-то упорядочилась, Эммет часто говорил о войне. «Ему бы лучше выговориться»,— как-то сказала она Лонни. Доктор Сидни Фридман из П *А *Г «разговаривал» пациентов, которых что-то тревожило. Но Сэм знала, по телевизору люди всегда находят подходящие слова для выражения чувств, а в жизни это мало кому удается. Ведь там, на телевидении, сценарий пишут сценаристы.

На другой день Эммет опять чуть свет пошел копать. Даже пропустил завтрак в «Макдональдсе». Сэм отправилась на пробежку и, вернувшись, застала у них дедушку Смита, отца Эммета. Он стоял и смотрел на сына. Приехал просить Эммета помочь перевезти телят, но Эммет под каким-то

---

[1] Имеется в виду Джесси Джэксон — известный негритянский политический деятель.

предлогом отбоярился. Пару лет назад они даже поссорились из-за соевых бобов, которые Эммет не пожелал прореживать.

— Перестал бы ты валять дурака и нашел работу, как все люди,— ворчал дедушка Смит.

— Не стоит овчинка выделки,— Эммет отбросил землю к ногам отца.— Любую работу возьми — все они дурацкие. Только истребляют природные ресурсы. Губят планету.— Он переменил тему.— Как мама?

— Донимает меня Флоридой. Едем, и все тут.

— Поезжайте обязательно. У вас был ураган?

— Нет. Только сильная гроза. Повалило сухое дерево возле забора, и пес просто обезумел. Наверное, придется его пристрелить.

— Бастера?

— Нет, Рыжего. Того криволапого, что я купил прошлым летом. На всех бросается.— Дедушка повернулся к Сэм.— Сэм, приезжай к нам, мы тебя подкормим. Больно ты худая.

— Приехала бы, будь у меня машина.

— Мы сами за тобой приедем. Бабушка приготовит деревенский окорок и пирог со сливами. А Эммету ничего не дадим.

— Только если хотите пристрелить свою собаку, я к вам не поеду.

— Да нет, не пристрелим. Хотя ума у Рыжего ни на грош.

Сэм видела в городе огромный плакат: «ОТРАВЛЕННЫЕ И ОБМАНУТЫЕ». Сказала об этом Эммету, он хмыкнул и продолжал копать. Лицо, намазанное мазью, блестит. Сэм подумала: не все, кто вернулся из Вьетнама, такие странные, как Эммет. Старшие братья ее одноклассников, бывшие солдаты, сумели приспособиться к жизни. У них прекрасные дома, жены, дети. Они не носят юбок, даже в шутку; работают, покупают автомобили. Например, Аллен Уилкинз. Держит магазин мужской одежды да еще подрабатывает тренером в «Малой лиге». Его дочь — манекенщица. Показывает подростковую одежду по шестому каналу телевидения. Должно быть, не Вьетнам виноват, а просто семья у них с Эмметом такая безумная.

Наутро вместо пробежки она пошла с Эмметом в «Макдональдс». Ей хотелось поглядеть на его друзей-ветеранов. Конечно, она и раньше их знала, но не воспринимала как бывших солдат.

Пришли раньше всех. Маленький лысый человечек, он работает с отцом Лонни в хозяйственном магазине, остановился возле их столика и, кивнув на Сэм, поддразнил Эммета:

— Ну как новая подружка?

— Держит в ежовых рукавицах.— Эммет подтолкнул Сэм локтем.

— Я слыхал, Эммет, на кондитерской фабрике нужны рабочие.

— Пошла она на хрен, эта долбаная фабрика,— пробурчал Эммет с набитым ртом.

Человечек подмигнул Сэм.

— Ты позволяешь ему, Сэм, говорить дома такие слова?

Сэм пожала плечами.

— Так и по кабельному говорят.

— Он разрешает тебе смотреть кабельное телевидение?

— Ему-то что,— раздраженно ответила она.

— Будь у меня кабельное телевидение, я бы не разрешил жене смотреть.

Он прошел дальше, а Эммет сказал:

— Не обращай внимания, Сэм. У него голова опилками набита.

К ним подсели Пит Симз и Том Хадсон. Взяли кока-колу и яблочные пирожки. Пит работает в шоссейно-ремонтной бригаде, а Том — автомеханик, у него своя мастерская. Сэм слыхала, Тома ранило на войне, но по нему не скажешь, разве что спину чересчур прямо держит.

— Можно сесть с тобой рядом, Сэм? — спросил Пит.— Не бойся, не укушу.

— Можно, если покажешь татуировку,— вдруг пришло в голову Сэм.

Эммет как-то рассказывал про татуировку Пита. Пит, когда был во Вьетнаме, выколол на груди карту западного Кентукки.

— Прямо здесь? — подмигнул Пит.— Меня же арестуют. Пойдем в машину, покажу.

— Какая у тебя машина?

— Форд «рэнджер». А что?

— Мне нужна машина,— сказала Сэм.

— Дырка в башке тебе нужна,— вмешался Эммет.

— Почему никто не догадается вытатуировать на груди собственное лицо? — сказала Сэм.— Как картинка на майке.

— Знаешь,— сказал Пит,— много бы я отдал, чтобы эта карта была у меня на майке, а не на груди.— Он откусил кусок пирога.— Ох, какой горячий! Что здесь делает твоя длинноногая племянница, а, Эммет?

— Шило у нее в заднице.

— А у него «апельсин». Посмотрите на его лицо.

— «Апельсин» — это у меня,— дурачился Пит.— В голове,— он засмеялся и подавился пирожком.— У меня было пятно на ноге, коричневое такое. Потом сошло. Наверное, перешло на кость, а?

— Тебе все нипочем, Пит,— сказал Том.— Ты как тот парень по телевизору, который велосипед съел.

— В передаче «Невероятное»! — сказала Сэм.— Я сама его видела.

— Интересно, что его потянуло на велосипеды? — усмехнулся Пит.

— А скажите, кто-нибудь из вас был там, где распыляли этот «апельсин»? — напрямик спросила Сэм.

Пит и Том одновременно потянули кока-колу через соломинку. Наконец Том сказал:

— Не думаю,— и вытряхнул сигарету из смятой пачки.

Эммет захлопнул коробку из-под завтрака.

— Сэм свихнулась на Вьетнаме. Прочитала кучу книжек и теперь пристает ко мне.

— Что же ты там вычитала, Сэм? — Том глядел ей в глаза.

— Ничего. Очень скучные книжки,— смутилась Сэм.— В книгах не написано, что значит воевать. Там даже нет фотографий.

Пит сказал:

— Черт возьми, я помню, как «апельсин» распыляли. Нам велели укрыться в помещении, но никто не послушал. У «апельсина» приятный запах. Действительно, пахнет апельсинами.

— Бадди Мангрем полбанки пива не может выпить, ему сразу плохо,— сказал Том.— Говорят, это от «апельсина».

В кафе начался шум, собрались дети на день рождения. Сэм пыталась представить себе этих парней в джунглях, в бою, Эммета с автоматом в руках — и не могла. А вот дедушка так спокойно сказал: надо пристрелить собаку. Правда, Эммет уверяет, что дед пошутил.

— У меня, наверное, аллергия на блох.— Эммет поежился.— У нашего кота блохи. А он спит прямо у меня на голове.

— Если бы у меня была машина,— сказала Сэм,— я бы свезла тебя в УВ. Привела бы прямо туда и показала им твое лицо. Полжизни отдам за машину.

— У Тома есть автомобиль на продажу,— сказал Пит.

— Жучок, что ли? Если хочешь, я тебе продам.— Том и Пит поглядели друг на друга и расхохотались.— «Фольксваген». Кое-что надо подправить, и забирай его за шесть тысяч.

— Смотри, чтобы он тебя не нагрел, Сэм,— сквозь смех говорил Пит.— Не слушай его. Машина — семьдесят третьего года.

— Сделка честная, Сэм, не пожалеешь,— сказал Том.— Отдаю всего за шестьсот. Бегает нормально. Чуть-чуть только подремонтировать.

— У меня нет столько денег.— В банке у Сэм лежало триста долларов, но на них жить целое лето.

— Приходи, посмотришь машину.

Том смотрел ей прямо в глаза, и она отвела взгляд, водя соломинкой

по дну стакана. Что-то в Томе ужасно привлекало ее, но что именно, она не могла понять. Он так смотрит, будто и впрямь хочет, чтоб у нее была машина. И Сэм почувствовала, что краснеет.

Эммет расплющил коробку из-под завтрака и вышел в туалет.

— Так ты хочешь посмотреть татуировку, Сэм? — подмигнул ей Пит.

— Еще бы.

— Вот моя улица.— Пит задрал майку.— А маленькая красная букашка — это мой старый «корветт». Жена продала его, пока меня не было. Сейчас был бы музейной редкостью.

Сквозь самый центр округа пробивались волосы. Татуировка была размером с журнал «Нэшнл джеографик». Линии голубые, а города отмечены красным. Пит сказал:

— Я ее вижу только вверх ногами. А в зеркале вообще все справа налево. Это, наверное, моя самая большая глупость в жизни.— И он опять рассмеялся.

Том тоже рассмеялся:

— В молодости всегда так. Делаешь глупость и думаешь: вот клево! А потом всю жизнь каешься.— Он пожал плечами. А он ничего, подумала Сэм. Лет примерно столько же, сколько Эммету.

— Подумай насчет машины, Сэм,— сказал Том, прощаясь.— Если хочешь, приходи посмотреть.

По дороге домой Сэм спросила Эммета:

— Что, твои друзья все с приветом?

— Просто любят пошутить. Они славные ребята.

— Я хочу этот «фольксваген».

У мамы раньше был «фольксваген». Сэм училась на нем ездить.

— Не думаю, что тебе можно покупать машины. Ты несовершеннолетняя.

— Можно, если ты за меня поручишься.

— Поручусь, поскольку я человек почтенный и у меня куча денег. Не зря на меня УВ собирается подать в суд.

— Так ты поручишься, если я куплю машину?

— Сперва достань деньги, а потом спрашивай.

Сэм заметила возле похоронного бюро голубой «фольксваген». Да, она бы от такого не отказалась.

Сэм вдруг вспомнила слухи про Пита и осторожно спросила:

— Эммет, правда, что Пит угрожал жене пистолетом, выгнал из дома?

— Нет, это она его прогнала. Он стрелял во дворе. Не в нее. Просто стрелял, и все. Синди возмутилась и сказала, или пусть прекратит, или — она уйдет от него.

— А зачем он стрелял?

Они перешли улицу. В зубном кабинете на углу когда-то работала мама. Сэм повторила:

— Зачем он стрелял?

— Сказал, нашло что-то на него. Он вышел и давай стрелять. Так ему легче.

За квартал до дома Эммет вдруг сказал:

— У него в комнате висела карта Вьетнама, а Синди сорвала ее. Ей казалось, она не идет к обстановке. Звучит дико, но, по-моему, он хотел бы обратно, во Вьетнам.

— А ты хотел бы?

— Нет. Ты что, смеешься?

На углу Эммет остановился: увидел что-то на лугу возле поливальной машины, возможно, свою птицу, еще и прислушивался к чему-то, и Сэм вспомнила Рейдара О'Рейли из П *А *Г, как он раньше всех слышал шум вертолета с ранеными.

Эммет может долго смотреть на что угодно: птицу, розовый куст, красный свет, на счет от «Крогера», словно перед ним самая загадочная вещь на земле. Он умеет сосредоточиться, потому так хорошо и играет в «Пэк-Мэн». И на птиц смотрит точно так же — подкрадется и долго ждет.

Достаточно взмаха крыла, яркого горлышка, грудки — и он уже вообразил всю птицу. Эммет вроде Джеймса Стюарта из фильма «Харви», подумала Сэм. Этот старый фильм они смотрели по седьмому каналу в «Полночном театре». Харви — кролик-невидимка. Повсюду ходит с Джеймсом Стюартом. Наверное, у Эммета тоже есть невидимка, который водит его. Но только не кролик. Скорее всего, это их кот.

Когда Сэм было восемь лет, они с Эмметом собирали марки. Часами просиживали над целлофановыми пакетиками с экзотическими марками, которые как образцы присылали филателистические общества. Альбом был старый, на марках допотопные названия стран — Цейлон, Бельгийское Конго, а Вьетнам был индокитайским. Они играли в марки, и Эммет рассказывал истории про войну, про бомбы, пулеметы и гранатометы, транспортные самолеты С-130 и любимые Сэм плавучие бронетранспортеры, которые Эммет в шутку называл желтыми подводными лодками. Сэм слушала Эммета и представляла себе Вьетнам: красота вроде Флориды, пляжи и пальмы, рисовые поля и зеленеющие горы. А небо кишит чудесной военной техникой — транспортные самолеты, вооруженные скорострельными пушками, вертолеты маленькие и большие.

Эммет любил клеить пластмассовые модели вертолетов и реактивных истребителей, передвигал их, рассказывал военные эпизоды. Айрин запрещала эту забаву, не хотела, чтоб ей напоминали про войну, но для Сэм Вьетнам стал реальностью только после того, как купили цветной телевизор. Ей было тогда восемь или девять. В вечерних новостях передавали репортаж из Вьетнама — должно быть, это было в семьдесят пятом, в те дни, когда пал Сайгон. Она видела людей с узлами за спиной, бредущих по дороге. Некоторые с детьми на руках. Армейские джипы, пыхтя, едут мимо. Пейзаж обыкновенный: холм вдалеке, мощеная дорога с узкими, пыльными обочинами, поле, что-то зеленеет на нем. Дорога напоминала старую хоупвеллскую, ту, что вьется по долине в сторону Падуки. Первый раз она увидела настоящий Вьетнам. Вот ребенок в одной рубашонке бежит по дороге, а мать зовет его к себе и сердится.

5

Сэм снова услышала по радио эту песню битлов. Они с Дон и Лонни пили кока-колу в «Бургер-бое». Оказалось, это действительно «Битлз» — никогда раньше не звучавший отрывок записи шестьдесят четвертого года. Слушать было жутко, голоса словно с того света. Сэм вслушивалась, пытаясь разобрать слова, а Лонни и Дон болтали про дом, который Лонни помогал строить дяде, и не замечали, как далеко она сейчас от них. «Отстань от киски моей». Отличная песня. В ней вся энергия шестидесятых, жажда взрывать и строить. И еще какая-то веселая легкость,— словно тогда только и стоило быть молодым. У мамы есть подруга, которая в шестьдесят шестом была на концерте битлов.

Сэм, вернувшись, рассказала Эммету про песню. Он никак не мог поверить и сказал:

— Айрин, когда узнает, подпрыгнет до потолка.

Он готовил лепешки-тако на кухне. Резал лук тоненькими кружочками и стряхивал их с ножа.

— Где Лонни?

— Строит с дядей дом.

— Придет ужинать?

— Нет. Его мама сегодня зажарила курицу с клецками.

Эммет распечатал коробку с тако, положил шесть штук на противень и поставил в духовку. Священнодействовал, будто в духовке совершится волшебное превращение.

— Айрин опять звонила,— сказал он.

Сэм вытащила из морозильника апельсиновый леденец. Разломила его пополам, сняла обертку с половинки и откусила. Леденец оказался подтаявший.

— Опять не морозит.

— Айрин просила позвонить после девяти, за ее счет.

Сэм проглотила кусочек леденца.

— Она хочет приехать?

— Не сказала.

— Где уж ей расстаться с Лоренцо Джонсом. Он ее околдовал. Говорит, их с Уитни водой не разольешь, но я-то знаю, он всего-навсего работал у них на ферме конюхом, да и то сто лет назад.

— Ты просто ревнуешь.

— Нет, не ревную.

— Я вот что скажу про Ларри. Ему очень долго нечем было задницу прикрыть, а теперь — дом полная чаша. И Айрин довольна, что муж у нее большая шишка на «Ай Би Эм».

— Просто меня бесит, что она от нас сбежала. Если я поеду учиться в Лексингтон, я там по ночам спать не смогу. Не выношу, когда орут младенцы.

— Ты ревнуешь к девочке.

— Лоренцо младшая.

— Ее зовут Хезер. По-моему, очень приятное имя.

Сэм расхохоталась.

— Мама считала, Саманта тоже приятное имя. Не выносит, когда меня называют Сэм.

— Это твой отец назвал тебя Самантой.

— Да? Это правда?

Эммет раскупорил пепси и сделал глоток-другой.

— Дуэйн в письме Айрин написал, что хотел бы назвать тебя Самантой. Это его любимое имя.

— Я ничего об этом не знала.— Для Сэм это было полной неожиданностью. Леденец выскочил изо рта и шлепнулся на коленку.

Сэм всегда считала, что это Айрин назвала ее в честь актрисы по имени Саманта, у которой было хобби — бой быков. Однажды Сэм ободралась о колючую проволоку, убегая от быка, которого дедушка Смит арендовал для коров, и ей делали противостолбнячный укол.

«И зачем только ты назвала меня именем этой тореадорши?» — укорила тогда Сэм маму, но Айрин ответила, что имя Саманта никак не связано с отважной кинозвездой, и больше ничего не прибавила. Сэм была в смятении. Если не говорят даже, откуда взялось твое имя, чему вообще можно верить?

Эммет сунул ей под нос газету.

— Посмотри, что сегодня пишет доктор Доббс.— Он ткнул пальцем в медицинскую колонку на середине страницы.— Один тут жалуется на изжогу. Доктор Доббс отвечает, что это может быть синдром Титца. Вот, наверное, что́ у меня, а никакой не «апельсин».

— Может быть. Напиши ему, пусть объяснит, что значат эти хлопушки у тебя в голове. И еще спроси, почему твой прыщ на носу не проходит уже два месяца. И что это за сыпь сзади на шее? Спорим на что хочешь, он ответит, что это «апельсин».

— Да ну, эти доктора не верят ни в какой «апельсин».

Сэм сосала палочку от леденца. Из духовки запахло лепешками. И Сэм вдруг выпалила:

— Эммет, расскажи, что помнишь про Вьетнам. Только не надо больше про белых цапель.

Эммет заглянул в духовку.

— Зачем тебе?

— Просто интересно.

— Помню запах рыбного соуса. Рисовые поля в человеческом дерьме. И все кругом крутят педали велосипедов.

— И все? Расскажи еще что-нибудь. Про поросенка, например.— Сэм помнила эту историю. Солдаты взорвали дом. Фанерные ставни отвалились, запылали стены. В подвале дома прятались вьетконговцы. Вдруг

где-то завизжал поросенок. И началась, по словам Эммета, сцена из трех поросят. Рухнула крыша, поросенок выскочил и пустился бегать кругами. Его подстрелили, но он все кружился, пока не упал замертво. Потом его запекли.

— Не надо тебе этого знать, Сэм.

— Нет, надо.

— У тебя и так буйное воображение. Не хочу еще больше распалять его.

— Если не расскажешь, я еще не такое навоображаю!

— Не навоображаешь.

— Ну, ладно, расскажи про поросенка.

Эммет дернул дверцу буфета, захлопнул ее и распахнул другую.

— Ты не видала эту штуку, в которой я держу латук?

— Бублик таскал ее по улицам.

— Нет, я серьезно.— Эммет распахивал дверцы.— Тьфу ты зараза! А сито куда подевалось?

Потом они ели лепешки, запивали их пепси и смотрели П *А *Г. В этой серии у Джона открылась язва, Хоки был счастлив: значит, Джон может ехать домой. А он взял и вылечился в Токийской Центральной за три недели. Вот так всегда: кому-то из героев выпадет возможность поехать домой, а он придумает что-нибудь и останется в Корее. Рейдар был уверен: без него никто с подразделением не справится. Полковник Поттер не мог покинуть своего поста, хотя и тосковал по жене,— Милдред была далеко, в Миссури. Ясное дело, если все герои разъедутся по домам, кончится сериал; но, наверное, это не единственная причина: должно быть, в войне и правда есть что-то притягательное. Эммет сказал, Питу там было лучше. Сэм читала, как Штаты ввязались во Вьетнамскую войну. Все имена и названия у нее перемешались: Нго Динь Зьем, Бао-Дай, Дьенбьенфу, Хо Ши Мин. А от правительственных постановлений голова кругом шла.

В девять часов Сэм из кухни позвонила в Лексингтон за счет матери.

— Я только что уложила девочку.— Айрин не могла отдышаться.— У нее режутся зубки. Всю ночь не давала спать. Когда ты приедешь?

— Я же говорила, что не хочу в Кентуккский университет.— Сэм видела, что Эммет, в кепочке и с банкой в руке, открыл дверь и вышел.— Я думаю вернуться в «Бургер-бой».

— Сэм, сколько можно повторять, если хочешь всю жизнь носить подносы и считать чужие деньги, пожалуйста. Потом будешь жалеть, что не пошла учиться. Я благодарю Бога, что не работаю. Кончилась моя каторга.

— Мне нужна машина, и я буду ездить учиться в Муррей,— сказала Сэм.— И потом, пособие на учебу мне будут давать до двадцати шести.

Неправда, что после института легче устроиться на работу. Сэм знает парня, он развозит пепси в грузовичке и зарабатывает куда больше, чем те, кто с образованием. Это он подарил Эммету кепку с надписью «Пепси».

— Ты самая упрямая девочка на свете.

— Мне надо кое-что у тебя спросить,— вдруг сказала Сэм.

— О чем?

— О моем имени. Эммет сказал, это не ты придумала мое имя, а отец.

— Да, оно ему очень нравилось.

— Почему ты мне никогда этого не говорила?

— Разве я не говорила?

— Ты мне вообще никогда ничего не рассказывала — ни о нем, ни о Вьетнаме. Хочешь забыть, будто ничего и не было. Наверное, потому ты и бросила Эммета здесь.

— Я тринадцать лет угробила на Эммета и считаю, заслужила немножко счастья. Так что не говори со мной таким тоном, Сэм, Бога ради.

Счастья? С Лоренцо Джонсом? Сэм представила, как он стоит возле бара — у них есть бар! — и молится на коллекцию бутылок. Он собирает фигурные бутылки из-под виски «Джим Бим», которые продают на Рождество, и вечно хвалится, сколько они стоят. У него даже есть паровоз с локомотивом и вагонами, и все из бутылок.

— Эммет что-нибудь надумал насчет долга?

— Кто его знает. Ему пришло еще одно письмо из УВ. Они уже начисляют проценты.— Сэм рассказала, что в подполе вода, где-то протекают трубы. Наверное, сказала она, он копает, чтобы отвлечься и забыть о долге.— И еще меня беспокоит его сыпь.

— У меня бы тоже началась сыпь, если бы я пила столько пепси.

— А может, это «апельсин»?

— Ох, не знаю, Сэм.

— Я хочу сводить его в поликлинику ветеранов. Вдруг это рак?

— Ты слишком много думаешь об этом, Сэм. Приезжай к нам.

— Я не могу оставить Эммета.

Вздох на том конце трубки прозвучал подозрительно, словно Айрин выдохнула сигаретный дым.

У Айрин новый красивый дом. И младенец. А здесь, в Хоупвелле, вонючие пепельницы, засохшие куски в холодильнике и колченогая мебель. На кофейном столике Эммет оставил три помятые пивные банки.

— У Эммета странные головные боли.— Сэм рассказала какие.— А вдруг у него опухоль?

— Что-то похожее уже было несколько лет назад. Ну и воображение у тебя, Сэм.

— Что поделаешь, какое есть.

— Не думай слишком много про Вьетнам, Сэм. Не расстраивайся. Ведь Вьетнам тебя не касается, это было так давно.

Сэм не нашлась, что ответить.

— А Эммет где сейчас?

— Пошел на улицу, охотится за Бубликом. Уже темнеет.

— А у нас совсем темно,— сказала Айрин.— Ты от меня так далеко, у нас даже темнеет раньше.

Сэм хотела рассказать маме про новую песню «Битлз», но побоялась, а вдруг ей это неинтересно. Айрин оставила в Хоупвелле все свои пластинки. Ничего не хочет слышать о прошлом.

И Сэм сказала:

— Холодильник у нас опять не морозит.

У себя в комнате наверху Сэм перебрала старые мамины альбомы: «Битлз», «Кинкс», «Роллинг Стоунз», «Джефферсон Эаплэйн», Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс, Джерри и «Писмейкерз», пятерка Дэйва Кларка; была даже древняя долгоиграющая пластинка «Битлз» фирмы «Парлофон», выпущенная в Англии. Когда-то Айрин с ума сходила от битлов. У нее были все их песни. Кроме одной — «Отстань от киски моей».

Пришел Бублик. Сэм взяла его на руки и поднесла к лампе, чтобы поискать блох. Одну она раздавила, и из блохи брызнуло что-то белое. Другую разорвала пополам, и обе части продолжали шевелиться. Эта блоха насосалась крови. Бублик спрыгнул с ее колен, вскочил на кровать и разнеженно свернулся калачиком.

Сэм включила в торшере еще несколько ламп. Торшер высокий, с гроздью лампочек и пыльным лиловым абажуром. Мухи садятся на лампочки и поджариваются. Запах как от жареной баранины. Приятный, если только не знать, что это мухи.

Сэм взяла из шкафа словарь «В помощь студенту». Подарок мамы к окончанию школы — недвусмысленный намек, иди, мол, поскорее учиться. Мальчишкам дарят машины, а девчонке почти всегда приходится покупать ее самой, считается, что она выйдет замуж за парня с машиной. В словаре хранится единственная фотография отца.

На фотографии Дуэйн Хьюз в темной форме и фуражке, вроде той, что носила Сэм, когда работала в «Бургер-бое». Лицо худое, длинное, на переносице, где сошлись брови, точка — будто обозначение города на карте. Волосы у него такие короткие, что просвечивает кожа. Уши торчат, отчего голова похожа на кактус «курица с цыплятами», который бабушка Смит растит в специальном горшке с дырками по бокам.

Мальчику на фотографии девятнадцать. Лонни скоро будет девятнадцать.

Сэм разглядывала в зеркале свое лицо — пухлое, упрямое, круглое. А у отца лицо такое худое! Ничего общего.

6

Сэм проснулась и услышала, как за окном Эммет бормочет себе под нос: «Смотри, что делается, говнюк!» Он выкопал канаву в четыре фута глубиной, обнажив почти весь фундамент на северной стороне. Трещина, оказалось, идет по всей его длине. Эммет намешал тачку цемента и принялся замазывать трещину. В это время к дому подъехал Джим. Джим Холли — глава местного отделения УВ и агент по продаже недвижимости.

Он слышал про сыпь у Эммета и привез анкету, которую заполняли все, кто имел симптомы отравления газом «орандж». Толстяк Джим был в светло-коричневых брюках и рубашке с короткими рукавами. Он не ходил завтракать в «Макдональдс», Сэм встречала его на соревнованиях по баскетболу.

Эммет вылез из-под кухни, осматривал фундамент изнутри. Джинсы у него запачкались на коленях, с кепки свисала паутина, словно волосы у рождественских ангелочков. Сэм стояла на крыльце с бутылкой вишневой кока-колы.

Джим объяснил ей:

— Мы хотим, чтобы ветераны наконец объединились и у нас. Думаем собраться семьями, устроить пикник у озера. Захватим еду. А через пару недель будут танцы. Придешь, Эммет?

— У меня нет бальных туфель.

— Главное, наконец-то собраться вместе,— улыбнулся Джим.— Нам необходимо сплотиться. Может, даже пройдем по главной площади. Не в знак протеста, а просто — как парад. Как на праздник.— Джим поскреб туфлей о ступеньку, взглянул на подошву.— Мы у нас никогда ничего не устраиваем. А другие ветераны организовывают, например, рэп-группы.

— Рэп трупы?

— Рэп-группы, Эммет,— громко сказала Сэм.— Притворяется, что плохо слышит,— объяснила она Джиму.

— Мне показалось, он сказал «трупы»,— невинно проговорил Эммет.

— Ну, ладно, Эммет, иди сюда, заполни анкету,— сказал Джим.— Знаешь, как твоя племянница волнуется о тебе.

— Все равно получим от властей шиш,— сказал Эммет.— Они из кожи лезут вон, хотят доказать, что полезнее «апельсина» для здоровья ничего нет. А все эти вспомоществования от химкомпаний — капля в море.

— Дело не в деньгах, Эммет. Надо, чтобы нас услышали. Это не должно повториться. Надо, чтобы все поняли: мы не проигравшие. Знаешь, чего бы мне хотелось? Устроить в городе большой праздник «Добро пожаловать домой!». В тот год, когда в Вашингтоне открыли Мемориал, везде проходили праздники. Только не у нас.

— Всегда мы отстаем лет на десять,— сказал Эммет.

— Слыхал о маленькой девочке Бадди Мангрема? Ей собираются делать в Мемфисе операцию. Врожденные дефекты. Бадди и сам нездоров.

Сэм сказала:

— А у Эммета головные боли и газы.

— Да, Эммет, и с лицом у тебя плохо.

— Просто прыщи.— Эммет потрогал щеку.

— Похоже на хлорную сыпь,— сказала Сэм и объяснила: — Это симптом «апельсина».

Джим сказал:

— Знаешь, Эммет, было время, я тоже хотел все забыть. Не хотел ломать голову, кто прав, кто виноват. Но однажды глянул в зеркало и увидел, что седею.— Джим похлопал себя по голове.— Там, в джунглях, мы были мальчишки, но теперь выросли и должны наконец-то серьезно подумать о своей жизни.

— У мальчишек юношеские прыщи, а у взрослых хлорная сыпь! —

продекламировал Эммет, как актер в рекламном ролике, словно хлорная сыпь — нужная в хозяйстве вещь, вроде «Хлорокса». На лице у него засохшая глина. Косметическая маска из глины не помешает, подумала Сэм. Стоит, сжимает лопату — вышел защищать родное селение.

— В конце концов, заполнишь ты анкету или нет? — рассердилась она.— Ничего, рука не отвалится!

Сконфуженно улыбаясь, Эммет взял у Джима тетрадь и ручку.

— Вот какая у тебя племянница, Эммет. Огонь!

— Да, я во всем ее слушаюсь. Она очень-очень строгая. Я ее боюсь.

Эммет заполнил графы и показал на трещину в фундаменте.

— Посмотрите. Еще счастье, что дом стоит. Думаете, я забавы ради заделываю трещину? Наверно, придется вынуть кусок кладки и перебрать. Видите? Вот здесь.

— Ты боишься, дом может рухнуть? — спросила Сэм. Дома не падают. Если бы падали, она бы уже не один раз это видела.

— Может,— печально сказал Эммет.— Дом — слабая структура. В одном месте сломалось, и все сразу рушится.— Он сцепил и расцепил пальцы.

— Как в домино,— сказала Сэм.— Я читала об этом в одной книге из библиотеки, не помню в какой.

Джим взял мастерок, шлепнул цемент на фундамент и стал разглаживать.

— Будет держаться, Эммет,— сказал он.— Дом еще даже оседать не начал, не беспокойся, дружище.

7

— Сыпь у Эммета крупная, больше десятицентовика? — спросила Анита Стивенс, когда Сэм поделилась с ней своими опасениями. Сэм вдруг решила заглянуть к Аните. Анита живет в квартале от больницы, где работает медсестрой. Она должна знать, что делать с этой сыпью.

— Нет, маленькие пузырьки. Он прикладывал примочки из какой-то травы, взял у бабушки, но они не помогли.— И Сэм рассказала еще про головную боль, как Эммет все время трет виски.

— Конечно, надо пойти к врачу, но, может, ничего страшного,— сказала Анита.— Просто дергает нерв, без всяких причин. Но сперва пусть проверит глаза. Вдруг связано с глазами.

— А вдруг у него опухоль мозга?

— Опухоль дает очень сильные боли, и сразу резко ухудшается зрение.

У Сэм отлегло от сердца. Аните она верила. В этот вечер на Аните были темно-бордовые брюки с серебряным ремешком, туфли на шпильках, бледно-розовая блузка и много-много серебряных цепочек. Анита всегда элегантна. Хорошо одета, хотя никуда не собиралась идти. А Сэм была в шортах и полинявшей майке.

Анита предложила ей кока-колу и шоколадные пирожные.

— Это из смеси «Бетти Стокер»,— она улыбнулась.— Гораздо вкуснее, чем у Дункана Хайнза, старый он дурак.— Она засмеялась.

— Правда вкусно,— сказала Сэм.

У Аниты в гостиной висят картины в рамках: цветы и корабли.

Кофейный столик у нее стеклянный, с полочкой для книг. Анита сказала, что записалась в читательский клуб.

— Люблю книги со смыслом,— объяснила она Сэм,— а не эти слюнявые любовные романы. Побольше секса, немножко ужасов и немножко истории — то, что надо.

Анита смеется звонко, переливчато, словно ей во всем слышится шутка. А как они смеялись с Эмметом! Казалось, счастливее их нет никого в мире. По словам Айрин, Эммет расстался с Анитой, потому что он не ее круга, во всяком случае, он так сказал. У ее отца художественный салон, выросла она в большом красивом доме на Эджвью-брайт. Но Анита не зазнайка. С Айрин они подружились, даже менялись платьями.

Сэм сообщила Аните, что ветераны устраивают танцы, и стала звать ее.
— Хочу вытащить Эммета,— сказала она мечтательно.
Хорошо бы на танцах Эммет с Анитой помирились.
— Может, он не захочет пойти, если узнает, что буду я.
— Захочет. Я его вытащу,— сказала Сэм.
Анита пошла за салфетками.
— Что у тебя сейчас за мальчик? — крикнула она с кухни.
— Лонни Мэлоун.
— Тот, что забросил столько мячей?
— Ага.
— Симпатичный. Собираетесь пожениться?
— Не знаю. У него брат скоро женится. Я не была еще на настоящей свадьбе с подружками, подарками и кучей гостей. Посмотрим, как мне это понравится.

Анита плеснула себе виски из маленького бара в гостиной. Там у нее даже был лед. Все у Аниты так славно устроено, а сама она сидит посреди этих вещей и ждет. Словно на сцене, пока не поднимут занавес.

— У меня была такая свадьба,— сказала Анита тихо и села рядом с Сэм. Она больше не улыбалась.— Мне было восемнадцать. Тогда в моде были роскошные свадьбы. Я и не знала, что жениться можно иначе. Только ничего из этого не вышло.
— И что было на свадьбе?
Анита тихонько рассмеялась.
— Фейерверк, прием в загородном клубе и тому подобное.
— Наверное, красиво?
— Не помню, я ничего не замечала. А ночью Джеф сразу же уснул. Я так плакала! Это же такая важная ночь, и мне было так страшно. А он заснул.
— Долго вы были женаты?
— Довольно долго — четыре года. Он хороший парень, из хорошей семьи. Отец у него врач. Прекрасно играл в бейсбол и был чертовски красивый. Только не знал, как со мной обходиться. Хотел, чтобы я была красивой куклой. Он считал, это единственное, на что я гожусь,— всегда быть красивой.

Анита и правда красивая. У нее высокая грудь, свои локоны до плеч, безукоризненная кожа. Сэм спросила:
— Почему ты не уедешь отсюда?

Позор, что Анита должна здесь прозябать! В Нью-Йорке она наверняка стала бы манекенщицей.

— Сестра все время зовет к себе в Нашвилл. Но ведь здесь родители. Папа нездоров, у него сердце. Нехорошо их оставлять. Мне в Хоупвелле нравится. Люди хорошие, и вообще, здесь я дома.— Она протянула Сэм еще пирожное, откинулась на большую розовую подушку и начала вспоминать: — Я проходила в школе курс гигиены, сижу на уроке, вдруг входит Эммет и пишет на доске большими буквами: «Иволги». Знаешь, такая команда была на кубке мира. Я ужасно удивилась. Но он ничего не объяснил.
— Может, это просто птицы? Он любит птиц, а у нас за домом как раз иволги свили гнездо.
— Да, знаю, любит. Как называется та птица, которую он все ищет?
— Белая цапля.
— Да. Белая цапля. Помню.— Анита задумалась, отпила из бокала. Анита не курит, редкое исключение среди ее знакомых.— Эммет как-то подарил мне павлинье перо. Так мило! Я носилась с этим пером, словно он подарил мне кольцо с бриллиантом.
— У тебя есть сейчас кто-нибудь?
— Встречаюсь с одним полицейским из Бентона. Часами может говорить о грузовиках. Ни слова не помню из того, что он говорит. Обхохочешься — человек все время говорит о грузовиках. Но этому скоро конец. Он мужик и собственник.— Анита засмеялась.— Как почувствую, что мужик становится собственником,— расстаюсь. Вот почему мне было

так хорошо с Эмметом. Он не такой. С ним, наверное, я сама была собственницей.

— Он плохо спит,— сказала Сэм.— У него изжога и сильная отрыжка. Я уверена, это «апельсин».

— Не спеши с выводами. Может, у него ничего серьезного. Я запишу тебе фамилии окулиста и дерматолога, хорошо бы им его показать.— Она достала из ящика бумагу.— Эммет чудный человек. Больно смотреть, как он растрачивает свою жизнь. С ним так интересно.

— Хорошо бы вы опять были вместе.

Анита улыбнулась и тронула руку Сэм.

— Красивые у тебя сережки.

— У моей подруги Дон по четыре дырки в ухе. Приходи к нам в гости. Я скажу Эммету, он приготовит лазáнью.

Анита помолчала.

— Не знаю, хочет ли он, чтобы я пришла.

— Приходи, вместе уговорим его пойти на танцы.

— Ты сама обязательно пойди на танцы, в память об отце. Я думаю, ты можешь гордиться им.

Сэм посмотрела Анитины книжки. Ее стакан оставил мокрое пятно на бумажной обложке «Игры с огнем» Ширли Маклейн.

— Мама никогда не рассказывала про него — как он выглядел, что любил есть. Ничего. Даже не знаю, какого он был роста, какой у него характер. Он для меня просто человек на фотографии. А теперь я хочу знать о нем все.

— Я тебя понимаю. Когда от тебя что-то скрывают, еще сильнее хочется узнать.

— Мама ведет себя так, словно Вьетнамская война была во времена мрачного средневековья.

— Так оно и было, Сэм,— сказала Анита.— Хорошее сравнение.

— Ну так приходи в гости.

— Я подумаю, Сэм. Вот эти врачи.— Анита взяла бумагу и ручку, черкнула несколько строк. Ее кольца сверкали в лучах лампы. Легкая улыбка осветила лицо.— А потом посмотрим, не разучился ли он танцевать.

8

— Надо побыть одному у канавы,— продекламировал Эммет, неся из подвала кирку. Сэм вспомнила, откуда взялась эта строчка. Удаляясь принимать важное решение, полковник Блейк говорил: «Надо побыть одному и подумать».

Эммет уже замазал трещину в фундаменте и теперь углублял подпол под кухней. Он боялся, что пол стал прогнивать, и решил проверить балки, не трухлявые ли они. У него уже давно не было изжоги, зато он вычитал в газете про человека со смещением сердца. Сэм слыхала только про смещение матки, но если один орган может сместиться, наверное, может и другой, особенно если побывать там, где распыляют «апельсин». Лицо у Эммета по-прежнему все в мокнущей сыпи. Иногда он улыбнется, и пузырек лопнет.

— Надо бы вам помириться с Анитой.— Сэм наблюдала, как Эммет работает.— Она тебя очень любит.

Эммет хмыкнул. Он собирал в кучу выкорчеванные камни и ничего не ответил.

— Я, наверное, уеду в Лексингтон,— рассердилась Сэм.

— У тебя здесь гораздо больше обязанностей,— твердо сказал Эммет.

— Помнишь, когда я была маленькая, мама потащила меня в Лексингтон? С ней еще был твой приятель, хиппи.

— Помню.

— Кто он такой?

— Айрин с ума по нему сходила. Могла бы выйти за него замуж, но

тогда потеряла бы пенсию.— Он хмыкнул: — Твоя бабка упала бы в обморок: Айрин живет во грехе!

— Как его звали?

— Боб. Неплохой был парень. Думал лепить горшки и зарабатывать этим на жизнь. Он и Айрин почти убедил, но после месяца в Лексингтоне она опомнилась, забрала тебя и вернулась сюда.— Эммет присел на корточки и потыкал пальцем фундамент.— Я почти все сделал. Скоро можно закапывать канаву.

— А потом будешь думать, как отдавать долг.

— Подождут. Покрутим еще динамку.— Эммет зло рассмеялся.

Сэм пошла к себе в комнату. Взяла фотографию отца и сунула ее под рамку зеркала. Края фотографии обтрепаны, уголки загнулись. Только подумать, мать могла забыть его и влюбиться в хиппи по имени Боб! Сэм смутно помнила, как они брали ее в Лексингтоне на антивоенную демонстрацию. Толпа растянулась чуть не на милю, точь-в-точь стадо на пастбище у деда. Этот хиппи еще купил ей воздушный шарик, а она нечаянно отпустила нитку. Шарик улетел, он подымался все выше над университетским городком, и она заплакала. Ей было почему-то очень важно держать в руке ниточку шарика.

Солдат на фотографии не меняется. Вот почему он такой надежный. Только очень наивный.

И она стала ему рассказывать:

— Астронавты прилетели на Луну двадцатого июля шестьдесят девятого года. Армстронг, Олдрин и Коллинз. Коллинз не высаживался на Луну. Остался в орбитальной станции.— Отец никогда не узнает, что такое «орбитальная станция», подумала она, отчаявшись объяснить ему ход истории с 1966 года. Как только учителя это могут?

И, наверное, первый раз поняла, как интересно и важно, что люди ходили по Луне! Отец не застал уйму важных событий. Уотергейт, например. Сэм точно не помнит, в чем там дело. Мистер Харрис, историк, говорил: «Вот четыре главных события, случившихся уже при вашей жизни,— высадка на Луну, убийство Кеннеди, Вьетнам и Уотергейт!» Мистер Харрис говорил, после убийства Кеннеди все покатилось под гору. Сэм, наверное, могла бы припомнить и другие убийства.

— Ты не застал Уотергейта,— сказала отцу Сэм.— А я тогда была во втором классе.— Она вспомнила, как страстно следил Эммет за Уотергейтским делом. Не пропустил тем летом ни одних новостей по телевизору. Когда Никсон ушел в отставку, Эммет и Айрин были в восторге. А вот дед и бабуля голосовали за Никсона. Говорили, если его сместят, страна развалится. Сэм подумала, может, потому тогда и была безработица и вообще в мире началась неразбериха.

Сэм глядела на фотографию не отрываясь, чуть прищурившись, будто ждала, что отец оживет. Но Дуэйн умер, унес в могилу свои тайны. А Эммет свои носит в себе. Все, кто побывал на Вьетнамской войне, относятся к ней, как к чему-то очень личному, тайному. Словно стыдятся. Дед сказал — стыдятся, что проиграли войну. А Эммет ответил: стыдятся, что остались живые. Она проговорила, глядя на фотографию:

— Надеюсь, ты-то не стыдишься.

Лицо на фотографии царило над комнатой, как портрет президента в аудитории старших классов. Сэм включила «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Паппера».

— И этого ты не застал.

9

— Кукуруза созревает,— сказал Эммет.

Они ехали среди кукурузных полей. Лонни сидел за рулем, с сигаретой во рту, а Эммет трясся сзади. Когда пикап бросало, Сэм хваталась за ручку над дверью. Ремни не застегивались. Как-то Лонни забыл внутри ключ и пришлось кулаком вышибать боковое стекло. С тех пор он вообще не

запирает машину. Пикап ужасно грохочет, да и покрасить его не мешало бы.

Сэм сказала:

— Эммет, не забудь спросить у доктора все, что я тебе записала. И не стесняйся, расскажи ему про газы. Вдруг это связано с сыпью.

— Какая может быть связь между лицом и кишками?

— Не знаю, я же не училась в медицинском. Мы затем и едем к дерматологу, чтобы все узнать.

Пройти тест на заражение «апельсином» в поликлинике ветеранов можно было только после десятого октября. Девятого у Сэм день рождения, и она уговорила Эммета сходить до этого к врачам, про которых говорила Анита. Окулист сказал, с глазами у Эммета все в порядке, а что болит голова, так, может, это просто мигрень. Эммет купил таблетки, но от них его все время клонило в сон. Сэм где-то читала, что «апельсин» плохо влияет на обмен веществ. Нарушение обмена веществ — тоже мало приятного. «Апельсин», кроме того, может разрушить иммунную систему. И тогда будет почти что СПИД, сказала она Дон.

Они ехали по старому Хоупвеллскому шоссе, извилистой проселочной дорогой, петляющей вслед за руслом Гусиной Протоки, проезжали мимо старых ферм. Перед фермами красовались новые большие трейлеры. А фермерская техника валялась и ржавела возле кривобоких амбаров. Один амбар так покосился, что Эммет сказал:

— Гляньте. Поедем обратно — он будет уже грудой обломков.— Починив фундамент, возомнил себя знатоком строительного дела.

Эммет был в самом веселом расположении духа, а Сэм думала, это он делает вид, а сам наверняка уверен, что у него рак. Прыщи не проходят, а это один из семи симптомов. «Апельсин» может вызвать любую болезнь.

По дороге в Падуку Эммет расспрашивал Лонни, что он думает насчет работы, будто сейчас это было самое главное.

— А может, пойдешь в ремесленное? Твой отец будет очень рад,— говорил Эммет. Проехали силосную башню, накренившуюся на манер Пизанской.

— Поздновато его осенило — делать из меня электрика. У этой профессии нет будущего, ведь цены на электричество растут и будут страшно расти, судя по этим антиядерным кампаниям. Сколько атомных электростанций закрылось. Цены в ближайшие пять лет удвоятся на все. Люди не смогут строить, а значит, и проводку не будут заказывать. Станут жить дома, с родителями. Как я,— Лонни невесело рассмеялся и потянулся за сигаретой.

— Родители нечестно с тобой поступают,— сказала Сэм.— Хотят запихнуть в ремесленное, а брат учится в университете.

— Ну, так у него стипендия. А у меня аттестат плохой.

— Когда у Джона свадьба? — спросил Эммет.

— В День Труда. Мать в восторге, что он женится на этой фифочке из Боулинг-Грин.— Лонни ткнул сигаретой в пепельницу, и на пол посыпались окурки.— Дженнифер Дженкинс. Звучит, как кинозвезда.

— Моей маме понравилось бы.— Сэм оглянулась назад, на Эммета.

Лонни сказал:

— Моя мать радуется потому, что отец у Дженнифер богатый. У него патент на «Джерри» [1]. Свадьбу они устраивают в ресторане.

— Мне нечего будет надеть,— сказала Сэм.

— Надень то желтое, в котором ты была в день выпуска.

Сэм нахмурилась. Нельзя сказать, чтобы ей очень хотелось пойти на эту свадьбу. У нее нет денег на подарки, а Лонни говорит, надо купить что-то получше. И ко Дню Труда Эммет может совсем слечь. За ним придется ухаживать. Правда, она ужасно готовит, но ничего, будет варить обед по телерецептам. Как мало она знает о раке. Есть виды с очень быстрым течением, а другие могут тянуться годами.

---

[1] Право на продажу мороженого «Джерри».

Родители ее отца живут на ферме. Ферма стоит на такой же дороге, как эта, милях в двадцати от Хоупвелла. Сэм года два с ними не видалась. Раньше мама возила ее на Рождество. Прошлый раз они подарили ей бледно-лиловый мохеровый свитер с люрексом. Сэм стало стыдно, она так давно не навещала их. Они почти не рассказывали про Дуэйна, даже трудно поверить, что они его родные отец и мать. В этом убеждала разве что фотография на стене в столовой. Сэм представила себе их раскинувшиеся кукурузные поля, маленькую речушку, вьющуюся среди полей, и вдруг вспомнила телевизионный фильм про войну во Вьетнаме,— как она удивилась, увидев кукурузное поле, вдоль которого шагали солдаты. Початки четко рисовались на ясном голубом небе. Совсем спелые. Она никогда не думала, что во Вьетнаме растет кукуруза. То ли американцы сами посадили ее, то ли привезли семена и объяснили вьетнамцам, как выращивать, то ли она там и не растет вовсе, ведь фильм снимался в Мексике. В Мексике уж точно есть кукуруза. Кукуруза — индейское растение. Маис. Как трудно докопаться до правды! Растет кукуруза во Вьетнаме или нет?

Вьетнамский пейзаж нелегко вообразить. В библиотечных книжках мало говорится о травах, о деревьях. Сэм спрашивала у Эммета, он сказал, что там растут пальмы с длинными листьями, как лопасти винта у вертолета, и много болотных растений; а что вьетнамцы сеют, вспомнить не мог. И про кукурузу не знал. Он запомнил птиц по виду, но названия их выяснил, только когда вернулся и пошел в библиотеку.

Поликлиника оказалась новым сияющим зданием. Металлические скульптуры у входа слегка напоминали рыб. Должно быть, символ полосатой зубатки, гордости Кентуккского озера. В лифте играли скрипки. Сэм узнала мелодию «Карма-хамелеон», но в таком месте она звучит диковато. Кабинет доктора Кресko на втором этаже. Что за имя — доктор Кресko? Сэм не могла понять. Похоже на «Криско». Эммет, когда жарит рыбу, пользуется «Криско».

Эммет пошел заполнять анкеты, а Сэм и Лонни сели на красные пластмассовые стулья и взяли журналы. Девушки в регистратуре обсуждали прически. Кондиционер гнал ледяной воздух. Вошел мужчина, пряча нос в носовой платок.

— Волнуешься? — спросил Лонни, когда Эммета увела толстая смешливая медсестра.

— Да, но я рада, что мы наконец притащили его сюда.

— За него заплатит УВ?

Сэм помотала головой.

— Даже если доктор найдет у него рак, им будет наплевать. Они и не почешутся.

— Да ну тебя, какой у Эммета рак?

— Вполне может быть.

— Ужасно умереть от рака, когда еще не старый,— задумчиво сказал Лонни.— Я не знаю никого, кто умер в молодости. Хотя нет. У меня был приятель Джонни Тиббет. Попал в аварию и погиб. Но он сам виноват. Нечего так напиваться.

Сэм захлопнула журнал «Пипл», свернула его в трубку и шлепнула Лонни по ноге.

— Вот представь: несправедливая война. Но ты веришь, что справедливая, и едешь воевать. Выходит, это ты виноват, что тебя убили? Если война неправедная, а ты верил, что выполняешь свой долг, то заслуживаешь смерти, да?

— Что-то слишком путано, Сэм.

— Я не могу объяснить яснее.

Лонни взял ее руку.

— Не волнуйся. С Эмметом все будет хорошо.

Вошли еще люди. Они болтали и смеялись. Сэм подумала: наверное, многие кожные болезни — смешные. Пролистала три журнала, пока Лонни осматривал поликлинику. Он вернулся, купив банку кока-колы, и они выпили ее пополам. Вошел еще один посетитель — мужчина с девочкой на руках, у нее все лицо и ручки в струпьях.

Сэм сказала:

— Мама говорит, не думай о том, что случилось с Эмметом. Говорит, Вьетнам меня не касается. Ничего себе, не касается! Отец ушел и воевал за маму, Эммет воевал за маму и за меня, он мстил им. Если бы ты воевал, держу пари, ты бы тоже считал, что воюешь за меня. Но если ты собрался в армию, спроси сперва, что я об этом думаю. Даже у тех, кто вернулся, жизнь пошла кувырком, и все близкие страдают.

— Тише,— Лонни прижал ладонь к ее губам,— люди смотрят.

— Мне все равно. Нет, это слишком большая цена.

Лонни вынул из пачки сигарету и, не зажигая, смотрел на нее.

— Думаешь, я из-за Эммета такая сумасшедшая? — спросила Сэм. У нее в семье даже Айрин со странностями. Ходила на родительские собрания в майке и обтягивающих джинсах.

— Ты не сумасшедшая,— уверил ее Лонни.— Просто вбила себе в голову. Не совсем сумасшедшая. Наполовинку,— он ущипнул ее за колено.

— А мне плевать. Конечно, я не такая, как другие.

— Ш-ш,— сказал Лонни.— Вон идет Эммет.

— Шестьдесят три доллара,— сказал Эммет. Регистраторша заполняла его карточку.— И еще он посоветовал мне чаще мыть лицо. Как вам кажется,— обратился он к регистраторше,— у меня лицо грязное?

Она улыбнулась.

— Я не доктор, но, наверное, он не это имел в виду.

Эммету пришлось заплатить наличными: записать на его счет отказались. Пока они ждали лифта, Эммет нервно бухал кулаком в ладонь.

— Ну что, довольна, Самбо? Шестьдесят три доллара.

— Что он сказал? Не мог же он взять с тебя столько за один этот совет?

— Сперва прочел лекцию про кожные заболевания. По его словам, прыщи бывают и в моем возрасте. Совсем не обязательно это сыпь. Скорее всего, обычные, юношеские.

— Обыкновенные прыщи?

— Возможно.

Пока они ехали вниз, Эммет и Лонни прикуривали. Наконец, дверь лифта открылась.

— А отчего бывают прыщи? — спросил Лонни. Они вышли из лифта.

— Работа половых гормонов.— Эммет усмехнулся.— Вот почему они у мальчишек. Созревают половые гормоны. А у меня по-новой пошло. Вроде как вулкан. Или племенной жеребец.

— Да,— Лонни подмигнул Сэм.— Тут уж не до шуток!

— Сказал, возможно, и аллергия. Может, я что-то ем не то или что-нибудь в доме. Например, плесень. Прочитал список вопросов в милю длиной.— Эммет засмеялся и выдохнул дым в сторону рыбьих статуй.— Знаете, что за вопросы? Пользуюсь ли я лаком для волос? Или какой-нибудь косметикой? И спросил, нет ли у меня кота! Я сказал, что нет, а то бы он велел немедленно от него избавиться.

— Надо было показаться ему в юбке,— сказал Лонни.

Они залезли в пикап. Лонни включил зажигание. Стартер барахлил, но двигатель завелся.

Эммет нервничал, и Сэм подумала: вдруг он что-то скрывает? Доктор нашел у него рак, а он решил утаить это от них.

— Может, виноват фундамент,— сказал Эммет.— А может, что-то попадает в дом через вентиляцию. Вроде «болезни легионеров» [1]. А помнишь, Сэм, у тебя была аллергия на талую воду из холодильника? — Эммета передернуло, словно он увидел в зеркале заднего обозрения чудище из фильма «Чужой».

— Он прописал тебе что-нибудь? — спросила Сэм.

— Да. Жидкость — протирать лицо — и мазь. Сказал, если не поможет,

---

[1] Инфекция дыхательных путей, часто приводящая к летальному исходу.

надо идти к аллергологу. Вот как они зашибают деньги! Не хотят лечить, пока как следует не обработают. Пускают тебя по кругу, как на карусели, чтоб и другие свое получили. А сколько всяких анализов и обследований!

— Он сделал анализ?

— Сделал. Почему так дорого и получилось.— Эммет вынул из кармана листок бумаги.— Это листок, чего нельзя есть. Креветки. Орехи. Шоколад. Тиленол. Да я и так его не пью, черт возьми. И еще викс-нитол. Сроду не принимал. По-моему, пертуссин лучше. Особенно с мороженым.

— А пепси?

— Пепси можно.

— Мама думает, это из-за пепси. А что «апельсин», Эммет? Ты у него спрашивал?

— Да. Он только засмеялся. Я тебе говорил, что так и будет. Я даже побоялся заикнуться про хлорацетон. Этим врачам ничего не объяснишь. А ты думала, Сэм, все федеральное правительство будет мне аплодировать стоя?

— Но он же видел других ветеранов с сыпью,— сказала Сэм.— Неужели он ничего не понял? Ведь это же так просто.

— Это для нас с тобой просто, Сэм. А ученый медик не верит очевидному факту. Он будет пыхтеть лет десять в лаборатории, убьет девять миллионов мышей и крыс и тогда что-то поймет. Возьми что-нибудь очевидное, например, кошки мурлычут, когда им хорошо. Знаешь, что он на это скажет? «А доказательства есть? Сколько крыс убито в ходе эксперимента?»

Лонни сказал:

— Ладно, пусть. Но люди вообще ученым не верят. Откроют ученые, что такое-то вещество вызывает рак у десяти процентов крыс. А люди говорят: «Мы не крысы! Нам это можно». Разве не правда?

— А я им верю,— сказала Сэм.— Люди все равно что крысы. А крысы все равно что люди. Вот я и не пью диетнапитков.

— А знаете,— сказал Эммет,— биологи и правда не могут объяснить, почему кошки мурлычут. Это явление до сих пор для науки загадка. Они думают, у кошек нет разума, и мурлычут они так просто, безо всякой причины. А кошка мурлычет по многим причинам. Когда она счастлива. Когда настороже. И когда лукавит. Помнишь, Сэм, как Бублик влез на клен и запустил лапу в гнездо? А сам смотрел в другую сторону. Делал вид, что любуется восходом.— Эммет нервно засмеялся, потушил сигарету и тут же прикурил другую.

— Куда едем? — спросил Лонни. Они все еще были на стоянке.

— Я хочу в пассаж,— сказала Сэм.— Протащиться столько до Падуки и не заехать в пассаж! В конце концов, можем себе позволить.

— В конце концов можем,— кивнул Лонни, задним ходом выруливая со стоянки.

— Давайте поедим в «Трактире бедняка»,— предложил Эммет.— Там кормят хорошо, как дома. Хочется деревенской ветчины с кукурузной булкой.

— А мне свинины с бобами,— сказала Сэм.

— В армии нам все время давали свинину с бобами. Они там так осточертели, что мы их называли «свинина с раздолбаями».

— Подайте свинины с раздолбаями! — засмеялся Лонни.

— Тебя сразу и выставят,— заметил Эммет и прибавил, когда Лонни выехал на шоссе: — Знаете, что мне сказал доктор? К нему часто приходят ветераны с разными жалобами. Сказал, во всем винят «апельсин», от болячки на пальце ноги до лихорадки. Посмеялся надо мной и говорит: все это нервы. Ну что, Сэм, довольна?

10

На следующее утро Сэм встала рано. Было прохладно, и она отправилась пробежаться по аккуратным улицам района Феавью, до недав-

него времени бывшего кукурузным полем. У всех домов там гаражи на две машины. Деревья еще не подросли, стоят, укрепленные проволокой. Сэм любит бегать одна по утрам, не то что другие девочки в школе, те предпочитают держаться стаи, как гуси. Сэм бежала и чувствовала себя такой свободной и сильной, словно все ей по плечу. Другие бегуны встречались редко. На Плезант-Пойнт-драйв плотники настилали крышу, а радио развлекало их песнями Кенни Роджерса. Один из рабочих крикнул ей: «Шевели ножками, красотка!» Раз она бежала мимо кладбища, какой-то парень увидел ее и спустил штаны, а когда она пробежала, крикнул вслед: «Тоже мне, цаца!» В другой раз, прошлым летом, она даже испугалась: за ней в пикапе-развалюхе припустился толстяк. К счастью, навстречу ехал Аллен Уилкинз. Она подняла руку и доехала с ним до магазина, чувствуя себя идиоткой.

Сэм повернула к «Макдональдсу». Улицу между «Бургер-боем» и «Макдональдсом» Эммет называет «площадкой для токования». Он говорит, ребята мотаются на машинах от одной котлетной к другой — точь-в-точь глухари в пору брачных танцев. Кружатся в темноте в поисках пары. А сейчас, утром, по ней идут на работу служащие, продавцы, врачи, и движение гораздо меньше, чем вечерами. Пробегая мимо «Макдональдса», Сэм заметила кепку Эммета, но Тома там, кажется, нет.

Побежала дальше, мимо похоронного бюро, магазина электротоваров, библиотеки. Осталась позади большая контора по продаже недвижимости, антикварный магазинчик, «Подарки», скобяная лавка, «Жареные цыплята по-кентуккски». В витрине «Спорттовары Лейна» блеснули ряды призовых кубков. Сэм зовет его — «кубковый магазин». Рядом, в окне призывного пункта, дядюшка Сэм с плаката многозначительно тыкал в нее пальцем. Она погрозила ему в ответ и пробежала мимо. Где-то здесь мастерская Тома Хадсона. Она сбавила ход.

Раньше, пока врачи, юристы и бизнесмены не начали застраивать этот район, он считался исторической достопримечательностью. Дома здесь большие, старые, давно требующие ремонта; темные дворы заросли кустарником. Гараж Тома — за мастерской, где делают изгороди и садовые решетки, в конце улицы; все дома там обветшалые, с обшарпанными стенами. Она прошла мимо железной решетки и ажурного ящика для писем, свернула за мастерскую и пошла по дорожке. На стене старого дома с зияющим, как пещера, входом, нацарапана корявая надпись: «Ремонт после аварии». Здесь Том чинит автомобили. Ее заворожило зрелище груды деталей, пустых банок из-под машинного масла и других, казалось бы, ненужных предметов неизвестного назначения. Механики умеют собирать красивые машины из кучи грязных обломков металла, ржавых трубок и болтов. Как фокусник, который бросает в цилиндр часы и яйцо, а вытаскивает живого цыпленка.

Том сидел на корточках, спиной ко входу, и не заметил, как она вошла.

— Привет,— сказала она, когда он обернулся.

— Привет, Сэм,— он был удивлен ее приходу.— Как поживаешь?

— Хорошо. Я тут пробегала мимо,— неловко объяснила она.— А что ты делаешь?

— Не могу сдвинуть с места коробку передач. Видишь эту штуковину? Она здесь и должна стоять, но не так туго. Ее заклинило, и я не могу ее вынуть. Пришла взглянуть на «фольксваген»?

— Да.

— Ну смотри.— Том поднялся, открыл маленький холодильник и вынул две банки кока-колы.— По-моему, ты хочешь пить,— сказал он, протягивая ей одну. Руки у него были черные.

— Очень хочу,— она открыла банку.— Спасибо.

— Этот «фольксваген» обошелся мне в пятьсот. Нужно кое-что смазать, кое-что отрегулировать в коробке передач. Уж для тебя постараюсь.

Он показал на «фольксваген», припаркованный у гаража. Бежевый, с пятнами ржавчины на крыльях. Если она решится купить его, надо попросить Тома почистить ржавчину и загрунтовать пятна. Ржавчина может сожрать машину целиком.

Она осмотрела машину, и Том спросил:

— Ты ведь дружишь с Лонни Мэлоуном?

— Да.

— Баскетбольная секция в Муррее дала ему стипендию?

— Нет. У него аттестат не дотягивает.

Том закурил и прислонился к шаткому столику, заваленному гайками и шурупами. И лицо, и даже сигарета у него вымазаны машинным маслом. Он предложил ей «Кэмел», но она отказалась и рассказала про поход к дерматологу.

— Эммет расстроился. Говорит, доктор посмеялся над ним. Хорошо хоть выписал мазь.

— А вдруг и поможет.

— Как ты думаешь, это у Эммета от «апельсина»?

Том глядел на нее так пристально, что ей стало не по себе. И она в смущении стала ковырять ногтем под ремешком часов.

Он пожал плечами.

— Ему надо бы сделать анализы в УВ. Миллионы ветеранов умирают от рака, отравленные газом, а чиновники говорят, нет никаких доказательств, что виноват Вьетнам.— Том горько усмехнулся.— Эммет не верит властям. Говорит, они знать не хотят, что творится в стране. Не станет он больше связываться с УВ.

— Он упрямый. Мама говорит, это семейное.

Том кивнул и стал смотреть куда-то в пространство. Она часто замечала у ветеранов этот отсутствующий взгляд — будто направленный в никуда. Она спросила Тома, знает он, где Куангнгай; он улыбнулся, вспоминая, и кивнул.

— Там погиб мой отец,— сказала она.— Или где-то рядом.

— Знаю. Эммет рассказывал. Я воевал севернее.

— Тебе там нравилось? — невпопад спросила она. Что там может нравиться? Нравится,— все равно как, скажем, поездка в Лексингтон. Пока он раздумывал, что ответить, она спросила:

— А ты перед боем выпивал или, может, кололся? Эммет говорил, после шестьдесят девятого вся армия ходила под кайфом.

Том покачал головой:

— Ни то, ни другое. Это лучший способ взлететь на воздух.

— Отец погиб, когда я еще не родилась. А все молчат об этом, словно это великая тайна. Я про него почти ничего не знаю.

— Да, многие забыты,— сказал Том.— А тот, кто вернулся, чувствует себя виноватым, что остался в живых.

— И ты?

— И я.

— Ты, когда пошел на войну, думал, что поступаешь правильно?

— Я тогда не понимал, что делаю.— Он задумался, достал сигарету, закурил и медленно выдохнул дым.— Но все это в прошлом.

Сэм потрогала деталь от машины, показавшуюся знакомой. Пусть бы он лучше рассказал ей про Куангнгай.

Он сказал:

— Дня не проходит, чтобы я не подумал о друзьях, которые не вернулись. Иногда принимаю душ или веду машину, а они как будто рядом. И вспоминается то, что вроде бы давно забылось.

— И тогда ты плачешь? — Сэм попыталась вспомнить, что она читала о солдатах.

— Только когда один и если уже не могу сдержаться. Иногда скучаю по тем временам. Глупо, я знаю.

— Эммет говорил мне что-то похожее про Пита.

— Что касается Пита, для него это были лучшие годы жизни. Про себя этого сказать не могу. Но знаешь, странно, все-таки там было что-то совсем особенное. И понимают это только те, кто через это прошел.

— Правда? Значит, вот почему вы собираетесь вместе и ездите пьянствовать в Нижний.

— Наверное.— Он пожал плечами и вытащил сигарету из кармана спецовки.— Хочешь купить мопед? Я тебе отличный соберу.

— Нет, мопед мне не нужен.

— Я знаю, что тебе нужно,— сказал он. Но не стал продолжать. Вертел в руке гаечный ключ.— Порой начну скучать по тем временам, сажусь на мопед и качу по лесу. И вспоминаю. Вроде как возвращаюсь к погибшим друзьям, и мы снова вместе. И становится легче. Надо только ехать куда-то, или в Нижний, или в лес на мопеде. В городе невозможно думать.— Он стряхнул пепел на заляпанный пол и сказал: — Сэм, не расспрашивай никого про войну. Никто тебе ничего не скажет. Все сто раз передумано, переговорено, можно жить спокойно и выбросить все из головы. Когда мы вернулись, к нам относились хорошо, никто в нашу сторону не плевал, особенно здесь, ведь в Хоупвелле не слишком сильны антивоенные настроения. У людей сложился образ ветерана, но под образ «вета» подходят далеко не все. Никого это не волнует. Никто не хочет раскачивать лодку.

— Но в мире так неспокойно,— сказала Сэм.— Достаточно посмотреть новости.

— Да, когда-нибудь и здесь грянет гром,— невозмутимо кивнул Том.

— Эммет говорит, Хоупвелл во всем опаздывает на десять лет.

— Здесь все живут прошлым. Американские древности, Гражданская война.— Он улыбнулся.— У моей матери в гостиной висит старая буйволова упряжь.

Сэм вспомнила хомут на стене в гостиной у родителей Лонни. В него вставлено зеркало. Почему в Хоупвелле все так любят времена Гражданской войны? Интересно, а будут когда-нибудь вешать на стены автоматы М-16 и изображения ракетных снарядов?

— Ты был в Вашингтоне у Мемориала?

Он мотнул головой и усмехнулся.

— Длинная черная дыра в земле, а наискосок — здоровенный белый член. Памятник Вашингтону.— Том бросил банку из-под кока-колы и раздавил ее тяжелым башмаком.— И здесь, в Хоупвелле, все через жопу. А таким, как Эммет, особенно трудно жить с людьми. Хочешь еще пить?

— Нет.

— Я видел, как ты бегаешь. Много пробегаешь?

— Обычно пять-шесть миль. Но могу и больше. Как-то пробежала десять, но потом очень болели ноги. Слишком резко увеличила расстояние.

— Не боишься упасть замертво, как загнанная лошадь, а, Сэм?

Он посмеивался над ней. И Сэм покраснела.

— Зачем тебе машина, раз ты можешь так далеко бегать?

— Чтоб ездить.— Сэм рассмеялась.— Машина всем нужна.

— А ты уверена, что не хочешь мопед? Мне что нравится в мопедах — с них падать не больно. Я тут собрал один, поехал и грохнул его, а потом запросто сделал второй. Задаром отдам, тебе он ничего не будет стоить.

— Все чего-нибудь да стоит,— сказала Сэм.

Том снова присел у застрявшей коробки передач и попытался вытащить ее.— Черт. Ну двигайся, зараза.— Сэм заметила седину у него в волосах.

— Хочешь прокатиться на жуке? — спросил он.

— Еще бы! С удовольствием.

— Подожди минуту, и поедем кататься.

— Вот здорово!

— Сейчас, только расшатаю эту штуку.

— Я подожду.

11

В Хоупвелле нет пассажа, но есть небольшой торговый центр — с десяток магазинов между «Пенни» и «Кей Март». Днем Сэм и Дон встретились в «Кей Март». Дон позвонила и сказала, что надо срочно увидеться. Они сели за столик, заказали кока-колу, и Дон сообщила, что, наверное,

беременна. Сэм до смерти хотелось рассказать про поездку с Томом на «фольксвагене», но сейчас это было бы явно не к месту. Поездка казалась нереальной, как в кино.

— Кену сказала? — с тревогой спросила она. Внутри у нее все дрожало.

— Нет еще.

— Отец не убьет тебя, если соберешься замуж?

— Да ну, ему просто жаль терять домработницу. Найдет кого-нибудь. Даже лучше, не надо будет изображать, что трудится с утра до ночи.— Дон засмеялась.— Старается подать хороший пример. Но если б не я, пустился бы во все тяжкие.

Сэм попыталась развлечь Дон и все-таки рассказала про Тома и «фольксваген». Он не дал ей вести машину, сказал, что она еще не совсем в порядке. Доехали до самой «Холидей инн», а потом он отвез ее домой.

— Он очень симпатичный. Чем-то похож на Брюса Спрингстина. Только его ранило на войне. Поэтому он слишком прямо держит спину, и движения немного скованны.

— Сколько ему лет?

— Примерно тридцать четыре.

— Ого! Старый уже.— Дон отпила из стакана и поерзала. Загорелые ноги были одного цвета с оранжевым линолеумом. В ушах сегодня серьги с лиловыми перышками.— Пошли со мной в аптеку,— предложила она.— Там продается хорошая бижутерия.

В аптеке Дон сказала шепотом:

— Я хочу купить ту штуку, которая проверяет на беременность.

— Я слыхала, можно смешать «Драно» с мочой, и узнаешь, кто будет, мальчик или девочка.

— Я тоже слыхала, но потом мне сказали, что это треп.

— Знаешь, на банке с «Драно» написано: не смешивать с водой, опасно! А Эммет смешивает. Но пока ничего не взорвалось.

— Они это пишут на всякий случай. Вдруг и правда взорвется, так чтобы не засудили. Все это не так страшно, как говорят. Страшно одно: спать с мужчинами,— говорила Дон, рассматривая полку с приборами для определения беременности.

— Возьму вот этот, самый дешевый. Надеюсь, меня не видит никто из знакомых. Ты знаешь эту продавщицу?

— Нет.

За стойкой стояла коротышка в очках и жевала резинку.

— Может, купишь мне? Я, по-моему, ее знаю, только не помню откуда.

— И она решит, что беременна я. Спасибо большое.

— Но ты же не беременна. Тебе все равно.

— Ну, ладно, давай. Меня это не смущает.

Дон дала ей десять долларов. Сэм взяла прибор и подошла к прилавку. К ее удивлению, продавщица нажала кнопку селектора, чтобы уточнить цену, и сказала Сэм:

— По-моему, его уценили. Сейчас он стоит дешевле.

Почему? Может быть, подумала Сэм, вышел срок годности? Коренастый паренек пошел с прибором в отдел женских товаров и вернулся, неся его в руках на глазах у всех.

Дон тем временем с невинным видом разглядывала игрушки, точно собиралась что-то купить.

На улице Дон рассыпалась в извинениях. Но Сэм утверждала, что ни капли не смутилась.

— Слышала бы ты наши с Эмметом разговоры,— сказала она,— или с мамой. Потом уже ничего не стесняешься.— Последнее время Сэм все меньше считалась с мнением людей.

— С меня причитается, Сэм.

Пошли в сторону «Пенни». Дон хотела взглянуть на одежду для беременных.

— Как мне тебя отблагодарить? — сказала она.

— Назови его в мою честь. Сэм — универсальное имя. Подойдет и мальчику, и девочке. И никакого «Драно» не нужно.

12

Ночью Сэм приснилось, что у них с Томом Хадсоном — ребенок. Вечером они готовят из него пюре, цветом как картофельное, а на ночь кладут в морозильник, утром он оттаивает и снова превращается в младенца. Во сне казалось — так и должно быть. Но когда она проснулась, ее мороз по коже подрал. Потихоньку сон уплывал из памяти. Уже почти рассвело, запели птицы. Чуть позже она услышала шорох бумаги — Эммет открыл коробку и насыпал еду в миску рядом с кроватью. И тут же лапки Бублика зацокали по линолеуму, заскребли пол от удовольствия. Как просто и легко ему живется, подумала Сэм.

Смотришь П*А*Г — там тоже все так просто! Накануне вечером доктор Сидни Фридман, военный психиатр, разбирался со странными припадками Хоки — тот ни с того ни с сего начинал чихать и не мог остановиться. Через десять минут доктор понял, что виноваты детские впечатления, извлеченные из подсознания запахом белья раненых. Хоки узнал причину и тотчас перестал чихать. Правда, у него началась истерика. В следующей серии, в шесть тридцать, какой-то снайпер пытался убить полковника Блейка. Хоки и Джон отправили полковника вертолетом на отдых. Вертолет вел неизвестный ковбой, и оказалось, это тот самый снайпер. Он давно невзлюбил полковника Блейка. Полковник когда-то не пустил его домой, а ему надо было проверить, верна ли ему жена. Ковбой хотел было сбросить полковника с вертолета, но Джон с Хоки сообразили, что происходит, и по рации стали его уговаривать. Прочитали нежное письмо жены, и он смягчился.

Эммет с годами тоже помягчел, подумала Сэм. Он теперь просто сидит и «смотрит, как вращаются колеса» — слова из песни Джона Леннона, одной из последних. Пока Леннон просто смотрел на колеса, все шло хорошо, но стоило ему опять вернуться в мир, как его застрелили. Если Эммет пойдет работать, чтобы заплатить государству долг, с ним тоже может случиться что-то ужасное — померещится, будто он опять идет на войну.

Сэм подумала: полковник Блейк в конце концов все равно разбился. И по иронии судьбы, как раз по дороге домой.

Что-то плюхнулось на кровать. Бублик. Он мурлыкал. Сел посередине кровати и принялся умываться. Хорошо быть кошкой! Она пробралась бы в гараж к Тому и узнала, что он там делает. И еще подсмотрела бы за мамой Лонни, Мартой, что та делает у себя в ванной. Ванная комната у них розовая, непромокаемая штора вся в оборочках, на полотенцах и шторе — бабочки. Сэм вспомнила кровать родителей Лонни. С пологом, подушки в виде сердец. Наверное, Марта высмотрела такие в «Курьере», там была фотография кровати, где Джон И. Браун в бытность губернатором спал с Филлис Джордж. У родителей Лонни есть специальный ящик, куда они на ночь кладут покрывало. Не спят под ним. Наверное, жаль помять такую прелесть.

Вечером Сэм ужинала у Лонни. Марта приготовила жареную курицу, кукурузный пудинг, салат из фасоли и цветную капусту со сливками. Сэм видела свое лицо в зеркале на противоположной стене, в том самом, у которого вместо рамки хомут. Обеденный стол у них дубовый, круглый. Марта отыскала его в старом амбаре. Он был весь в помете летучих мышей, но Марта отмыла его и починила, а в другом амбаре нашла стулья с плетеными спинками. У Лонни дома полно древней мебели, Марта ее собирает.

За ужином обсуждали свадьбу брата Лонни.

— Застолья не будет,— сказала Марта.— Решили сделать а-ля-фуршет.

Отец Лонни усмехнулся:

— Надеюсь, не опозоримся, а?

Он не переоделся после работы. На кармане рубашки вышито имя «Бад».

— Свадьба будет со своим «сюжетом»,— сказала Марта.— Все приезжают на джипах. Видели когда-нибудь такое? — Она рассмеялась: — Где бы нам раздобыть джип?

Сэм положила себе еще пудинга и кусочек курицы.

— Не боишься растолстеть? — поддразнил ее Бад, намекая на ее худобу. Лонни тоже пошутил, сказал, мама, наверное, на свадьбе упьется шампанским. Марта обиделась, и Лонни прибавил:

— Что ж такого, на свадьбе можно напиться.

— Сына Джима Шилда записали в АА [1].— Бад сокрушенно покачал головой.— От спиртного больше бед, чем от наркотиков.

— А родители у него такие порядочные и хорошие прихожане,— вздохнула Марта.— Вот позор.

Лонни спросил у Сэм:

— Помогло Эммету лекарство?

— Пока трудно сказать.

— А что, Сэм, твой дядя все болеет? — Марта достала из холодильника банку с фруктовым салатом и виновато объяснила: — Не было времени сделать приличный десерт.

— Я думаю,— обсасывая косточку, невнятно сказала Сэм,— это «апельсин».

— Ерунда,— сказал Лонни. Сэм изумленно посмотрела на него.

— Правительство не станет этим заниматься,— сказал Бад.— Слишком дорого. И потом, ветераны любят все сваливать на «апельсин».

— И правительство, и химические компании должны заплатить,— сказала Сэм.— Во сколько бы им это ни обошлось.

Бад ответил:

— Подавать в суд на правительство нельзя. Закон есть закон.

— А Эммет что, на инвалидности? — спросила Марта.— Я думала, он поэтому не работает.

— Нет. Он не был ранен.— Сэм попробовала салат. Всегда стыдно говорить, что Эммет живет на деньги сестры.— Он может пойти работать. Ему предлагали место на кондитерской фабрике, но он отказался.

— Почему?

— Не хочет. У него много дел дома.— Сэм поерзала. Лонни под столом толкнул ее ногой.

— Он, должно быть, богач? Завидую! — засмеялась Марта.

И они с Бадом стали вспоминать, как приходилось экономить и ужиматься в первые годы женитьбы. Бад работал на двух работах, а Марта уволилась только на последнем месяце беременности.

Сэм помалкивала. Так трудно все время заступаться за Эммета. Мама давно отчаялась. Лонни встал и взял из буфета печенье.

Марта сказала:

— Девушка, с которой я работаю в парфюмерном магазине, Каролина Круз, говорит, что Эммет ужасно симпатичный. И расстраивается, что он не обращает на нее внимания. Как-то раз, правда, принес ей овощей с вашего огорода. То-то она гордилась!

— Эммет и не глядит на женщин,— сказал Лонни матери.— Дружит только с армейскими приятелями.

— Он дружил с Анитой Стивенс,— вступилась Сэм.

Марта сказала Лонни:

— Если ты не найдешь работу, дело кончится армией, а я этого не вынесу.

— Надо будет, пойду и в армию,— отозвался Лонни.

— А потом тебя убьют,— сказала Сэм.— Очень глупо.

---

[1] Общество анонимных алкоголиков.

— Не могу спокойно думать, что мальчики должны идти на войну,— Марта вышла из-за стола.— Сэм, я должна тебе показать набор для специй, который я подарю Дженнифер.

Марта вышла из комнаты, и Сэм проглотила печенье, которое Лонни положил ей в рот.

— Последнюю неделю только и слышим про набор для специй,— Лонни улыбнулся, взглянул на отца. Тот понимающе улыбнулся в ответ.

— Если начнется война, ты пойдешь в армию? — спросила Сэм у Лонни.

— Смотря по обстоятельствам. Если нужно защищать Америку, не смогу же я оставаться в стороне, верно?

— Вот и Эммет так думал.

Бад сказал:

— Наверное, мое счастье, что я по возрасту не попал ни на ту войну, ни на другую. Но мне всегда было неловко из-за этого. Отец и дед воевали. Мне всегда казалось, я упустил что-то важное,— он облизнул край чашки с десертом.

— Не понимаю,— сказала Сэм.— Допустим, пятьдесят лет не было войны и два поколения не воевали. Что ж, по-вашему, для них затевать войну? Может, из-за этого и начинаются войны — чтоб у мужчин не было комплекса неполноценности.

— Сэм, пожалуйста, не придирайся к моим словам.

Вернулась Марта с набором ящичков.

— Мы для Дженнифер устраиваем чай. Гости принесут свои любимые специи и рецепты, куда их добавляют, а я подарю ей, как будущей хозяйке, этот набор. А еще испеку банановый торт и сделаю пунш из клюквы. Хорошо придумано, да? Отличный набор. Я купила в Падуке за двадцать долларов, а у нас в «Подарках» он стоит двадцать девять девяносто пять.

— Очень миленький,— сказала Сэм. Интересно, если она выйдет за Лонни, кто-нибудь подарит ей набор для специй? Что бы она с ним стала делать? Она и пяти специй не перечислит. Марко Поло вывез их из Китая. И почему-то ей вдруг вообразилась картина: Марта и Бад занимаются любовью на своей роскошной постели.

Позже вечером Лонни хотел отвезти Сэм домой, но она сказала, что лучше пройдется. Сбросит калории, объяснила она. Лонни догнал ее посреди улицы и остановил:

— Что случилось?

— Я устала оправдывать Эммета.

— Не бери в голову. Мои совсем его не знают.

— Ветеранов никто не понимает,— Сэм чуть не плакала.— Они другие, не такие, как все. Люди хотят, чтоб они вели себя, как все. А они не могут. Если б русские напали на нас с газовой атакой, это была бы настоящая война, но ведь Америка во Вьетнаме травила газом своих собственных солдат! И ты хочешь защищать такую страну!

— Наслушалась армейских дружков дяди.

— С чего ты взял?

— Слухи дошли. Ты же ездила кататься с Томом Хадсоном.

— Ну и что?

— Мне не нравится, что ты водишься с ними.

— Что ты такое говоришь!

— Ни к чему тебе это.

— А я буду водиться. Я думала, ты любишь Эммета. И куртку нашел такую, как у него, и вообще.

— Эммет мне очень нравится. Но вдруг он свихнется и что-нибудь выкинет? Помнишь, мы были в «Трактире бедняка»? Я с тех пор начал беспокоиться. Он все время нес околесицу! А что с ним было тогда на озере!

— Тогда почему ты хочешь идти в армию?

— Я же сказал: пойду, если буду нужен стране.

— Вот и Эммету говорили, что он нужен стране. Сам видишь, что получилось. Это ведь ты сказал, что он сходит с ума. Ты, а не я,— Сэм выдернула у него руку.

— На следующей неделе мы с ребятами едем на озеро. Будем жить в коттедже у родителей Кевина. Обещай, что не станешь кататься с Томом Хадсоном.

— О Господи! Он продает машину, а я хочу ее купить, вот и все.

— Наверное, я просто ревную. Как подумаю,— ты ездишь с кем-то другим... Пойди сюда, Сэм.— Он обнял ее и поцеловал. Она почувствовала вкус печенья «Орео». Он потянул ее за сережку: — Ух ты! Стильная вещь! — Прижав ее к себе, он проговорил: — Пойдем. Мы уже три дня не были вместе.

— В другой раз. Хочу завтра встать пораньше, побегать.

Она спешила домой. Убедиться, что с Эмметом все в порядке. Она все поняла про Лонни. Он восхищался Эмметом потому, что тот воевал. А то, что Эммет был хиппи и пацифистом, только пугает его. Лонни такой же, как все. В старшем классе на истории девяносто процентов ребят проголосовали за вторжение на Гренаду. Из страха перед русскими. Остаток дороги Сэм пробежала бегом.

Она распахнула дверь и увидела Эммета — он играл в полутемной гостиной в «Космических пришельцев». Около него сидел Бублик, его верный помощник. Хотя коты наверняка ничего не смыслят в этих играх. Эммет сидел и отстреливался, и Сэм первый раз представила себе, как он с М-16 в руках, там, в тропических джунглях, стреляет по врагам, прячущимся в банановых зарослях. А потом садится и ест свинину с раздолбаями.

13

Наступил День Флага [1]: лавки и магазины Хоупвелла вынесли товары на площадь около здания мэрии и окружного суда. Местные торговцы пытались вернуть своих покупателей, их почти всех переманил торговый центр и Падукский пассаж. Даже старый театр «Капитолий» закрылся после того, как в торговом центре построили новый кинотеатр. Над всеми магазинами развевались американские флаги, а Сэм все время думала про тот, вьетконговский, который много лет назад Эммет вывесил на часовой башне. Ей даже стало казаться, что она сама его там повесила. Война хоть и с запозданием, но настигла ее. Сэм как будто получила ее в наследство. Рано или поздно беда настигает человека — у тебя одна, у Дон другая. Прибор показал беременность. Полоска окрасилась в бледно-розовый цвет. Дон очень боялась сказать об этом Кену.

На тротуарах толпились покупатели, Сэм хотела купить носочки с помпонами. На лотке перед «кубковым» магазином они продавались по три пары на доллар. Нашла носки с лиловыми помпонами и отправилась на поиски другой выгодной покупки. Возле аптеки она задумалась, не купить ли за полцены лосьон для рук. Толстуха в желтых шортах нашептывала ей на ухо:

— Моя старшая как-то купила вон ту пену для ванны, и ее всю обсыпало.

Что бы такое вытворить, подумала Сэм.

Солнце сияло вовсю. И на площади уже кипела жизнь, хотя несколько магазинов стояли пустые и темные. Раньше тут был универмаг, Сэм так любила бывать в нем. Теперь вместо него лавка ручных ремесел, в витрине выставлена кукольная мебель и разные поделки. Сэм скучала по старому магазину. Там продавались игрушки и школьные пособия, а в глубине пряталась полка с книгами и журналами, Сэм проводила возле нее часы.

У кондитерской она купила шоколадный кекс и, откусывая, зашагала дальше. Помахала Аллену Уилкинзу. Он пытался продать майку даме в темных очках. Вдруг ее окликнул человек за лотком с детскими кроссовками:

— Эй, Сэм! Эммет нашел свою птицу?

---

[1] 14 июня, день принятия государственного флага США.

— Нет пока.

— Какая это птица? — Продавца зовут Джордж, а фамилии Сэм не знает. Эммет как-то косил у него во дворе.

— Белая цапля.

— Так здесь же неподалеку гнездятся журавли! За Обезьяньей Бровью заповедник. Под Рождество там собирается целая стая. А потом они куда-то летят.

— Цапля, а не журавль. Правда, они немного похожи.

— Да и у озера Рилфут полно журавлей.

— Ему не нужны журавли. Их везде сколько угодно. Он ищет белую цаплю. Белая цапля, символ Флориды.— Она скомкала полиэтиленовый пакет из-под кекса и бросила в помойное ведро возле автостоянки. Прямое попадание.

— Кажется, я их видел, когда возил детей в Диснейленд. Но здесь, по-моему, их нет. Что им здесь делать?

— Не знаю. Может, Эммет просто зациклился на них. У ветеранов это бывает. Взять хотя бы «апельсин». Не могут выбросить его из головы, и все.

Продавец посмотрел на Сэм с удивлением, а она уже бежала в сторону банка. Еще издалека она заметила Джима Холли за столиком перед банком, а теперь разглядела и Тома. Они были в маскировочных костюмах.

— Привет, Сэм,— сказал Том. В этой форме он смотрелся очень стильно. У нее перехватило дыхание.

— Привет. Что продаешь?

— Что тебе угодно,— улыбнулся он.

— Большой оранжевый апельсин. Нет, лучше целый галлон «апельсина».

— В такую жару только и пить «апельсин». Особенно в этом маскарадном костюме.

Том и Джим собирали подписи под петицией в защиту пострадавших от «апельсина». И деньги для дочки Бадди Мангрема — ей предстояла операция на кишечнике.

— У нас танцы в пятницу, Сэм,— сказал Джим.— Эммет пойдет?

— Говорит, танцевать не умеет.

— А Анита придет,— сказал Том.— Я ее видел утром, она сказала, обязательно придет.

— Отлично! — обрадовалась Сэм.— Я тоже пойду,— она поглядела на Тома.

— Будешь покупать машину? — спросил он.

— Да. Только подкоплю денег.

— Скажи, когда захочешь забрать, и я тебе ее подготовлю.

Том в военной форме очень красив, и руки сегодня чистые, только под ногтями машинное масло. Солнце светило вовсю, его черно-зеленый костюм казался совсем черным. Хорошо бы он пригласил ее на танцы. Лонни как раз уедет на озеро. Она бы еще раз прокатилась с Томом по городу. Людям будет о чем судачить. Может, поймут, кто она такая. Ей захотелось брюки, как у Тома. Такие стильные!

Под петицией стояло около тридцати имен. Сэм расписалась, и вдруг ей в голову пришла одна забавная мысль. Она повернулась к Тому:

— Пойдем со мной в мэрию. Поможешь мне кое-что найти.

— Пойдем,— улыбнулся Том,— если тебе не стыдно идти рядом со мной.

— Пошли, это ненадолго.

Они вошли в здание через цокольный этаж, с северной стороны. В лицо им ударил запах мочи и табака. Здесь в подвале собирались бродяги. Сэм заметила старика, он развалился на стуле и почесывал у себя в паху. Другой, в серой спецовке, лежал на зеленой пластиковой банкетке. Остальные играли в шашки.

— Охрана иногда заглядывает сюда, смотрит, не приносят ли они спиртное,— сказал Том, следуя за Сэм по длинному коридору.— А они пьют за кинотеатром. Напьются и возвращаются сюда как ни в чем не

бывало. Ты куда меня ведешь, Сэм? За решетку? — В дальнем конце коридора был вход в местную тюрьму.

— Нет. На башню. Хочу посмотреть, откуда Эммет вывесил вьетконговский флаг.

— На часовую башню?

— Да. Хочу представить себе, как это произошло.

— Помню тот день.— Том улыбнулся.— Эммет тогда был совсем дикий.

Сэм поднималась по лестнице и поглядывала назад, на Тома. Вот бы подниматься так долго, выше и выше, и, оглядываясь, видеть, что он идет следом за ней. Лестница кончилась на третьем этаже. Они шли по коридору мимо служащих в светлых рубашках с короткими рукавами и галстуках. Женщина со старомодной пышной прической и ярко-красными губами окликнула их, высунувшись из-за двери:

— Вы что-то ищете?

— Как пройти на часовую башню? — спросила Сэм.— Мы бы хотели подняться наверх.

Женщина была явно озадачена.

— Часовая башня? Не знаю даже...

— Она открыта для туристов? — невинно спросила Сэм, пряча руки в карманах шорт.

— Я и сама, по-моему, там никогда не бывала. Попробуйте вон по той лестнице, за секретариатом суда. Я, правда, не знаю, куда она ведет.

— Премного благодарны,— сказал Том. Он пошел первым. Лестница маленькая, узкая. За поворотом стали взбираться быстрее. Плечи у Тома скованы, руками не размахивает — движутся только ноги. Маленькое окошко наверху смотрит на площадь, дверь рядом заперта на висячий замок.

— Закрыто,— расстроилась Сэм.

Том пошутил:

— Наверное, боятся, вдруг кто опять вывесит вьетконговский флаг.

— Неужели кому-то может прийти в голову, что Эммет снова полезет на башню с флагом?

Том повернулся к ней.

— Ты все время думаешь про Эммета, да?

— Да.— Его штанина задела ее голую коленку, и у нее мурашки побежали по коже.

— Нелегко с ним жить, наверно,— сказал Том.— Но Эммет — личность.

— Я привыкла,— отозвалась Сэм и спросила: — А какой он, этот флаг?

— Красный, в середине золотая звезда. Ты разве не видела у Эммета?

— Не помню. Эммет потом отдал его соседке на распродажу.

— Ага. Теперь украшает, должно быть, чью-то стену,— ухмыльнулся Том.

— Зачем Эммет тогда вывесил флаг? Это что, измена родине, как говорили? Или знак протеста?

— А ты бы спросила у него.

— Боюсь. Не хочу его волновать, и вообще.

— Чего ты боишься, Сэм? — Она вдруг оказалась прижатой к стене. Он протянул руки с двух сторон, опершись на стену, но не касался ее и смотрел прямо в глаза.

— Не хочу, чтобы он вспоминал.

— Я же вспоминаю. Я тебе говорил об этом.

— Да, но у тебя это приятные воспоминания. Не как сцены из фильма ужасов.

— Ты слишком много смотришь телевизор, Сэм. Может, ты боишься, что он свихнется и кого-нибудь покалечит?

Сэм поежилась.

— Не думаю. Вот Лонни этого боится. Считает, что я в опасности.— Она смущенно рассмеялась, пожалев, что помянула Лонни.

— Вы собираетесь пожениться?

— Нет.

— А я слыхал, что вы поженитесь в сентябре.

— Это неправда.

Он отпрянул от нее и прислонился к стене напротив. Она спросила:

— А ты почему не женишься? Почему у всех ветеранов, которых я знаю, нет девушки?

— Спроси Эммета.— Он вытащил сигареты и закурил.— Да ведь и не у всех нет. Но я никогда не говорил, что не люблю женщин.

— Да? А у тебя есть подружка?

— Нет.

— Почему?

— Должно быть, я привередливый.

Сэм смотрела, как он курит. Прислонился к стене, чтобы правое плечо отдыхало. Даже сигарету держал в левой руке.

— Как трудно хоть что-нибудь понять.— Она разволновалась.— Хочу все знать про Эмметову птицу. И хочу знать все про «апельсин». Но никто ничего не рассказывает. Я измучилась.

— Зато ты знаешь, что чувствуют ребята, столько лет воюя с УВ. Бьются головой об стену.

— А я хочу знать, как там было на самом деле. Не могу себе этого вообразить. Ты мог бы рассказать мне?

— Там очень жарко. Я уже говорил. Жарче, чем здесь.

— А пальмы?

— Пальмы там всюду. Были, пока мы не уничтожили растительность.

— Я видела только открытку. Пальмы, рисовые поля. И больше ничего.

— Помню, пальма исчезла прямо у меня на глазах. Не поверишь. Стоит, как на твоей открытке, а через минуту — взрыв и ничего нет. Я сперва подумал, она перескочила в другое измерение. Вроде научной фантастики.— Он задумался. Потом сказал: — Там такая красота, красивее не видел. И вот пришли мы...— Он поглядел в окно.

— А ты был там, где «апельсин» распыляли?

— Я с ним не работал. Но рядом, наверное, был. Его распыляли довольно широко, он мог и в воду попасть. Как-то мы идем — и вдруг стоят деревья совсем без листьев. Помню, я подумал — это что, зима? Но в джунглях зимы не бывает. В джунглях всегда зелено, а тут все черно и мертво. Тогда я еще не слыхал про «апельсин». И только потом понял — это его действие.

Он раздавил окурок ботинком.

— Черт побери, мы пили ту воду. Но пока я ничего такого не чувствую. Надо постучать по дереву,— он постучал по оконной раме.— Иногда, правда, сильно устаю. И вот уже около года, как расстроюсь, болит голова. Знаешь, что страшно? Эммет все вспоминает цаплю, но там, в мертвых джунглях, когда мы пришли, не было никаких птиц. Никаких. Должно быть, на многие мили вокруг.

— Те птицы, Эммет говорит, ходили по рисовым полям.

— Может быть, не знаю. Вряд ли я тогда обращал внимание на птиц. Может, они и были там. Ну что, пойдем? Или ты меня сюда притащила сдавать экзамен на третью степень? — Он нервно улыбнулся.

— Расскажи, как тебя ранило.

— Просто оказался там, где и когда не надо было.— Он стал спускаться. Сэм двинулась за ним. Он сказал:

— Пойми, Сэм, об этом трудно говорить. И тебя жалко. Неохота вываливать на тебя весь этот ужас. Кое-кто из ветеранов даже отправлял сыновей в Канаду, чтоб не попали в армию. Не надо тебе без конца думать про войну.

— Просто я вижу Вьетнам только таким, как на открытках. А какой он в жизни — не знаю. Не могу поверить, что все было, как ты говоришь.

— Да, было. Но лучше этого не знать.

Он остановился и тронул ее руку.

— А ты красивая.

Сэм не нашлась, что ответить. Они шли по залу суда, мимо скамеек, вытертых до блеска, и у нее дрожали колени. На втором этаже прошли мимо комнат, где хранятся записи мэрии. Сэм подумала про документы в подшивках — свидетельство о браке родителей, свидетельства о смерти отца, о ее рождении. Вот бы получить хоть копии этих официальных доказательств ее собственного существования. Глупая мысль. Документы должны лежать в папках, в сейфах, а не дома. Их нельзя выставлять напоказ, как кубки в витрине спортивного магазина.

Тот старик на стуле заснул. Сутулый седой человек в полосатой футболке сгребал метлой окурки. Он обратился к Тому:

— Какое сегодня солнце!

В подвале нет окон. Свет шел только сквозь стеклянные двери в конце коридора. Человек с метлой посмотрел на Сэм и заговорил:

— Моя дочка в больнице. Родила ребенка, и такая беда: весь синенький, чуть не задохнулся. А ее муж не велел докторам ничего делать, сказал, пусть Бог позаботится о младенце. И надо же, позаботился! Ребенок-то жив.

— А вы его видели? — участливо спросила Сэм и вдруг почувствовала, что Том взял ее за руку и крепко сжал, словно пытаясь уберечь от всех, даже от этого старика.

— Да, видел. Но уже потом.

Человек, сидевший за столом, сказал:

— Они родятся то желтые, то лиловые, то персиковые, всякие,— и он засмеялся клохчущим смехом.— А вот если он негр, как понять, синенький или нет?

И он захохотал.

— Пошли отсюда.— Том вывел ее на улицу, навстречу солнечному свету.

14

По телевизору крутили новый клип Брюса Спрингстина «Танцуя в темноте». Джинсы обтягивали его, как резиновая перчатка, а двигался он, как спортивный автомобиль на предельной скорости.

— Жутко хорошо,— сказал Эммет.

— Я торчу от него,— зачарованно выдохнула Сэм.

— Интересно, почему?

— А, ты все равно не поймешь. Тут все дело в джинсах, как они сидят.

Ей стало грустно. Она подумала, как будет танцевать с Томом. Он сказал, что она красивая. Но он никогда не сможет танцевать, как Спрингстин, с такой бьющей через край энергией. Она вспомнила старый фильм Джина Уайлдера, где танцевал Франкенштейн со своим чудовищем. Чудовище в инвалидных ботинках очень смешно ковыляло. Не дай Бог, танцующие ветераны будут походить на это чудовище.

— Брюса называют Босс,— язвительно заметил Эммет. Брюс все еще танцевал в темноте. Сэм нравилось, как он хватает из зала девушку и кружит, совсем ошалевшую от того, что он выбрал ее.

— Конечно, Босс,— сказала Сэм.— Мог бы кружить меня так хоть днем, хоть ночью.

Бублик спал, спрятав в лапки нос. Сэм и Лонни развалились на кровати, ели кукурузные хлопья и слушали «Эбби-роуд» [1]. Лонни явился неожиданно, принес Эммету шпаклевку замазывать трещины.

— Я что, тебе больше не нравлюсь? — спросил Лонни, когда Сэм не ответила на его поцелуй.

— Мне не понравилось, что́ ты тогда говорил про Эммета.

---

[1] Альбом группы «Битлз».

— Я не сказал ничего плохого.

— Возьми свои слова обратно.

— Я о тебе беспокоюсь.

— Ты что, думаешь, Эммет возьмет меня в заложницы и станет предъявлять какие-то требования? Вот уж кто ничего не требует, так это Эммет!

— Ну, прости,— Лонни повернулся к ней и нежно провел ладонью по ее щеке. Руки у него загрубели от возни с бревнами.— Я завтра еду на озеро, на несколько дней. Хочу, чтоб ты думала обо мне, пока меня не будет.

— Ладно.

Сэм была рада. Лонни ничего не узнает про танцы. У нее так много тайн от Лонни. Но, конечно, ни одной такой страшной, как у Дон. Родинка, похожая на аллигатора, казалось, выглядывает из-под футболки Лонни и подмигивает ей.

Лонни закурил. Сэм достала пепельницу, которую специально для него держала в ящике стола. Он дунул на спичку и сказал:

— Дай мне что-нибудь в знак наших отношений, чтоб я помнил, что ты думаешь обо мне.

— Хочешь, возьми мою сережку.

— Твои ушки мне нравится покусывать, а вот железку неохота брать в рот.

— Тебя никто и не просит!

— Джон устраивает на озере мальчишник. Положено брать с собой что-то из дамского белья. Дай мне трусики, те, черные, они мне так нравятся.

— Мои самые лучшие!

— Но я же верну.

— Какая глупость!

— Не глупость, если ты меня любишь.

Бублик вскочил и принялся чесать грудку.

— Опять у него блохи,— сказала Сэм.— Эммет просто умрет. Он ведь вчера обрызгал его дезинфекцией.

К дому, сигналя, подъехал автомобиль.

— Ой, Анита приехала! — Сэм спрыгнула с кровати.

Лонни поглядел на часы.

— Мне пора. Надо заехать за отцом в магазин. У него сел аккумулятор.

Эммет полдня стряпал лазанью. Казалось, он рад, что Сэм пригласила Аниту. Он даже добавил в соус кетчупа, чтобы вышло поострее. Сэм помогала ему прибираться в доме. Кушетку Эммет подпер деревянным бруском. Они слушали старые кассеты, которые оставила Айрин, и сорокапятки, купленные Эмметом на распродажах: «Вулли-Булли» Сэма Шэма, и «Фараонов», и «Мэйбеллен» Чака Берри. Эммет отплясывал на кухне, разевая рот под фонограмму, а Сэм помирала со смеху. Смешнее песенок она в жизни не слыхала.

Пришла Анита, в розовом облегающем платье, на шпильках. И радостно улыбалась. Эммет сказал:

— Ты как фламинго.

— Спасибо, Эммет, если это комплимент.— Она протянула ему бутылку вина и картонную тарелку с шоколадными пирожными.

Сэм убрала бутылку в холодильник. Хорошо, Анита догадалась принести вино. Парень, что продает Эммету спиртное, приболел; и в доме сейчас всего три банки пива.

За ужином беседа не клеилась. Анита и Эммет нервничали. Эммет даже не снял кепочку. Он сидел, уставясь в тарелку, а когда за окном в нескольких кварталах загудела пожарная сирена, вскочил и бросился к окну. Анита хвалила лазанью и говорила, что Эммет выглядит великолепно. Вино в коричневых кружках показалось ей вкуснее, чем в бокалах. Она пришла

в восторг даже от индийской юбки. Эммет как-то постирал ее в горячей воде, она села, и с тех пор он ее не носил, но Анита слыхала про юбку и упросила принести посмотреть. Все ей нравилось; даже прыщи, по ее словам, почти прошли.

— Но ты все же сходи и проверься,— сказала она.

— Схожу, наверное. И Джим Холли уговаривает.

— Ты слыхал, что случилось у них со Сью Энн? Ужас! Она забрала малышку и сбежала в Лексингтон.

— Не может быть! — Эммет сжал виски и наморщил лоб.— Я вчера видел его в магазине. Он ничего не сказал.

— Она только вчера и ушла. Мать приехала за ней из Лексингтона на пикапе. Погрузили вещички и уехали. Мне рассказали девочки на работе.

— Я его видела вчера вечером, он подъезжал к клубу,— сказала Сэм.— У него на грузовичке сзади такой высокий постамент, как у машины, которая возит Папу Римского.

— Это для фортепьяно,— объяснил Эммет.— Иногда отец просит его перевезти инструмент в музыкальный магазин.

— Я пару дней назад была в клубе, помогала оформить зал для танцев,— сказала Анита.— Джим держался как ни в чем не бывало.

— А я-то думал, у них со Сью Энн все хорошо. Они ведь только построили дом в Феавью,— Эммет отодвинул тарелку и закурил.

Анита сказала:

— По-моему, она его обожает и скоро прибежит обратно. Просто ей трудно привыкнуть к маленькому городу. Она же выросла в Лексингтоне.

Эммет возразил:

— У Джима и здесь неплохо.

— Не знаю, что там на самом деле произошло, но, по-моему, Сью Энн затосковала. Она ведь дипломированный программист, а здесь работы не найти.

Эммет отодвинулся от стола, встал. Положил остатки лазаньи со своей тарелки в миску Бублика, а салат выбросил в мусорное ведро под раковиной.

— Джим заезжал недавно,— Сэм пыталась подцепить последнюю лапшинку.— Рассказывал, что ветераны всюду объединяются, создают рэп-группы. Всюду, только не здесь.

Эммет хмыкнул:

— Рэп-трупы.

— Эммету тогда послышалось, что Джим сказал «трупы».

Анита улыбнулась:

— Всегда ты насмешишь, Эммет.

Он отпил вина и затушил сигарету. Сэм сказала:

— Пирожные очень вкусные.

— Скажите спасибо Бетти Крокер,— рассмеялась Анита.— Эммет, юбка у тебя — отпад!

Юбка свисала с табуретки. Эммет взял ее и бросил в гостиную. Она спланировала на кушетку.

— Как отец? — спросил он Аниту.

— Получше. Он уже дома. Каждый день ходит гулять по миле. И через каждый шаг матерится!

Эммет вышел. Анита помогла Сэм убрать со стола.

— Надо быть смелее и откровенно с ним поговорить,— сокрушалась Анита.— А я ему надоедаю какой-то чепухой. Зря пришла. Наверное, лучше уйти.

— Не уходи, пожалуйста,— попросила Сэм, стала заворачивать тарелку с пирожными в пластиковую обертку, потом передумала и взяла еще одно.

— Наверное, он считает, я за ним бегаю. Мне очень не хочется второй раз переживать то, что я уже один раз пережила.

— Ты нужна ему. Просто он стесняется.

— Кто стесняется? Эммет?

— Да. Боится тебя.

Анита кивнула.

— Вот-вот. Я отпугиваю мужчин.

— Глупости. Ты очень красивая.

Анита протерла губкой стол. Ее каблучки стучали по полу. В этой лачуге ей не место, подумала Сэм. Все равно что фламинго в курятнике.

Вечером они смотрели П*А*Г. В этой серии врачи штопали аорту раненому солдату. Срочно нужна была ткань для пересадки, а другой раненый все никак не умирал. Мозг умер, а сердце еще билось. Отец Мулкей от него не отходил. Если за двадцать минут они не заделают аорту, раненого парализует. В углу экрана, чтобы нагнетать напряжение, тикали часы. Наконец солдат с раздробленной головой умер, и врачи закончили операцию, но в двадцать минут все равно не уложились. Хоки просто взбесился, когда посмотрел на часы. Значит, напрасны все старания. Позже, когда солдат пришел в себя после наркоза, Хоки и Б. Дж. принялись щекотать ему пятки и кричали: «Шевели большими пальцами».

— Смотри! — приказал Эммет Аните. Сам он напряженно подался вперед.

Большие пальцы на ногах у солдата медленно качнулись вверх, потом вниз. Б. Дж., Хоки и Хот Липс радостно скандировали: «По-лу-чи-лось! По-лу-чи-лось!», и Эммет кричал вместе с ними. Потом он сказал с гордостью:

— Я знал, что пальцы у него зашевелятся!

Они уже три раза видели эту серию. Досадно, что Эммет не придумал ничего лучше, чем смотреть с Анитой телевизор. Лучше бы им потанцевать под «Вулли-Булли»,— будь у Эммета видеокамера, он бы снял их выступления и музыка всегда была бы под рукой. Цвет в телевизоре не отрегулирован: армейское хаки кажется голубым, будто герои совершили на машине времени путешествие в завтра и переоделись в джинсовки. Но никто и не подумал встать и подкрутить ручку. Мысли Сэм витали далеко, на той лестнице, в объятиях Тома.

Началась следующая серия. Эммет хохотал над Фрэнком Бернсом.

Сэм объяснила Аните:

— Эммет говорит, что Фрэнк Бернс похож на его командира.

— Такой же идиот и нытик,— отозвался Эммет.

— А кто он был, твой командир? — спросила Анита.

— Пустое место. Подорвался потом. Взлетел на воздух.

И Сэм вдруг пришло в голову, что выражение «взлететь на воздух», наверно, придумали на войне. И Том как-то сказал — «взлетел на воздух». Она читала, как солдаты подрывались на «Бетти-попрыгунье». Эта мина сначала прыгает на высоту груди, а потом взрывается. Говорят, так и отец погиб. Тело в цинковом гробу, должно быть, напоминало гамбургер.

Бублик вскочил к Эммету на колени и стал ласкаться. Эммет сказал:

— Бублик ревнует.

— Прелесть,— пропела Анита.— Глаза, как блюдца, мордашка круглая.

— Бублик хороший мальчик,— оглаживал Эммет кота.— Так точно, сэр, Бублик очень хороший мальчик!

Бублик крутился у Эммета на коленях, устраивался поудобнее. Эммет сказал:

— Изобрету-ка я игру для кошек. «Охотник на мышей», например.

Сэм поднялась к себе наверх, включила «Рок-95» и набрала номер Лонни. Анита и Эммет внизу играли в «Вертолетные атаки». До нее доносился смех и треск электронных выстрелов. Шумят, как игроки в «Делайте ставки».

— Лови его, лови! — кричал Эммет.

— Думаешь, у них пошло на лад? — спросил Лонни про Эммета с Анитой.

— Не знаю. Но пирожные она печет замечательные. И он слепой, раз не видит, какая она красивая.

— Правда, очень красивая.
— Да, я решила,— сказала Сэм.— Приходи забирай трусы.
— Здорово! Буду спать с ними под подушкой.
— Можешь надеть их на голову, как ночной колпак.

Сэм чувствовала себя виноватой. Она пойдет на танцы ради Тома. Пусть эти трусики будут вроде обручального кольца, залог, что она не станет заходить слишком далеко. По радио Босс пел «Укрой меня» — сильным, звучным голосом. Так пелись блюзы, которые любила слушать мама, а потом явился Лоренцо Джонс и стал катать ее на форде «кобра», в котором радио легко ловило любые станции.

15

Сэм и Дон сидели на широких перилах автостоянки позади кафе. У Дон был обеденный перерыв. Сэм и раньше часто бывала в «Бургер-бое», даже когда не работала там. Лонни обычно заезжал за ней, и они ехали кататься. Тогда казалось, что все это так невинно; а теперь Сэм думала: вот отчего заводятся дети. Эммет это место свиданий называл площадкой для токования. Ей стало противно. Какой-то кошмар, почему Дон не пила таблеток? Раньше забеременеть без мужа считалось позором, из-за этого рушилась жизнь; а теперь в этом нет ничего такого,— но жизнь-то все равно рушится! Прошлым вечером, только ушла Анита, явился Лонни, он был такой виноватый и с такой любовью говорил про Эммета, что Сэм позволила ему остаться. Она проглотила таблетку в двенадцать, на два часа позже, чем надо, и подумала: а что значат эти девяносто девять процентов гарантии? Выходит, если ты путаешься сто раз подряд, в один наверняка залетишь? Лонни целовал ее, ласкал ее грудь, и в какие-то тридцать секунд миллион хвостатых существ, произошедших от Лонни Мэлоуна, оказались внутри нее. Эммет был внизу, в холле, она слышала — у него опять отрыжка. Конечно, это от кетчупа, которым он сдобрил лазанью.

Мимо «Бургер-боя» прокатил «понтиак», следом спортивный «транс-ам». Дон сказала:

— Знаешь Ивонну, ту, черную? Ну, которая сменяется в четыре тридцать? Она наконец согласилась, чтобы я сделала ей прическу «кукурузное поле».

— Да-а? — на Сэм это произвело впечатление.— А какие у нее волосы на ощупь?

— Очень странные. Ты знаешь, они ведь мажут их жиром, чтоб не было перхоти. А от природы волосы у них сухие.

— Я думала, они у них от рождения такие жирные.

— Нет, они их мажут. У нас бы от жира была перхоть, а у них наоборот.

— Так какие, ты говоришь, на ощупь?

— Мягкие. Как на лобке. И не так сильно вьются, если намазать жиром. Прическу делать из таких волос — одно наслаждение.— Дон позвенела мелочью в кармане фартука. Оранжевый и коричневый не очень-то ей к лицу.— У Ивонны есть брат, а у него — видеокамера. Я попрошу, пусть он нас снимет.

— Правда?

— Правда. Хочется что-нибудь выкинуть. А то здесь такая скука!

— Наденем черные кожаные штаны. Темные очки в розовой оправе.

— Вот-вот. Он наведет на нас камеру, а мы будем небрежно так прохаживаться туда-сюда. Можно даже не петь. Все сразу поймут, какие мы крутые.— Дон оперлась на ограду, и форменная юбка на ней задралась.— Я еще кое-что придумала.

— Да?

— Мы с тобой оденемся шикарно и сфотографируемся. Фотографию опубликуем в газете, под ней будет подпись: «Группа из Калифорнии раздает автографы в торговом центре». Посмотрим, кто придет,— Дон засмеялась. Сэм тоже не могла сдержать улыбки.— Знаешь, как мы себя

назовем? Умрешь! «Подружки педика». Сроду не догадаешься, что это такое.

— Что?

— Это значит накладные титьки.— Дон приподняла свою грудь.— Поняла? Старое название. Я на него наткнулась в мамином журнале. Смешно, правда?

— «Подружки педика»! — рассмеялась Сэм.

— А у подружки Эммета свои титьки?

— Наверное, не знаю.

— У нее такой бюст! А сама худенькая.

— Эй, Дон! — крикнул парень, высунувшись из проезжавшего мимо «доджа».— Я сейчас видел Кена на мойке машин у Боба. Он просил передать, что сегодня работает допоздна и не сможет тебя забрать.

— Как же я доберусь домой? — заволновалась Дон, но «доджа» уже и след простыл.— Черт, придется брату звонить.

— Я тоже никуда не могу поехать. Лонни с ребятами уехал к Кевину на озеро.

Сэм рассказала про мальчишник, про трусики, которые Лонни взял с собой.

— Кен тоже как-то участвовал в мальчишнике,— сказала Дон.— Они три дня пили. И смотрели порнуху. А я бы снялась в порнофильме! Хочется сделать что-нибудь дикое.— Она ковырнула лак на ногте. Лак был лиловый с золотыми блестками. Дон вздохнула.— Господи! Неужели правда я беременна! Просто ужас какой-то!

— Может, твой прибор ошибся. Ведь срок еще совсем маленький.

— Куплю еще один, черт с ним. Если денег наскребу.

— Знаешь, можно ведь уехать отсюда, мы с тобой сколько раз собирались. Родишь где-нибудь во Флориде и пойдем работать в Диснейленд. Кен ничего и знать не будет про ребенка,— сказала Сэм и тут же пожалела о сказанном: очень ей нужно сидеть с ребенком.

— Я всегда играла в дочки-матери,— вздохнула Дон.— Лучше играть в отцы. А лучше всего играть в Лас-Вегасе. Вот где весело! — Она глянула на часы.— Мне пора идти. А то появится Уолт и будет орать. Хочешь, стащу для тебя кока-колу или еще что-нибудь?

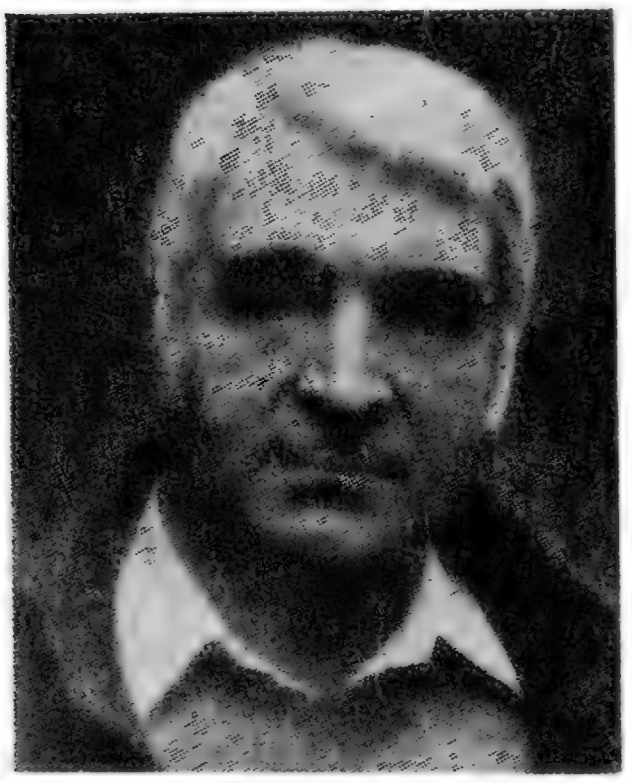
— Не надо. Вдруг заметят.

Из «бьюика» вывалилась компания молодых людей, загорелых, вспотевших, и ни одного среди них стоящего.

— Пока, Дон.

— До свидания.

(Окончание следует)



НИКОЛАЙ КЫНЧЕВ

С болгарского

Читая Николая Кынчева

Сейчас стихи пишут километрами — будь это «верлибры», будь «традиционные».

Потому «верлибры» беру в кавычки, что немало стихотворцев называют уже себя «верлибристами». Так и позванивает, рядом, весьма известный цирковой термин.

А ведь есть *поэзия* или — нет ее. В который раз упоминаю Рене Шара: кто во Франции станет обсуждать, какими «способами» он писал? Истинный поэт — этим все сказано.

Все же, почему пошли-потекли «километровые» стихотворения? Давно я стараюсь догадаться хотя бы о некоторых причинах этого словообилия.

С большим опозданием (как всегда) заговорили у нас о постмодернизме. В Европе уже происходит кризис этого явления, а мы, в России, лишь теперь узнаём об этом.

Несомненно, что постмодернизм напрямую связан с высоким уровнем жизни западных стран. Обилие всего «нового», «невиданного», «небывалого», бесконечно изобретаемого. Поэзии необходимо было освоить этот ново-вещественный мир.

Повторяю, это было необходимо, закономерно. Но — везде палка о двух концах. Общесредняя поэзия, по существу, впала в описательность, в «каталогизацию» вещей, об опасности чего, еще в 1919 году, предупреждал Казимир Малевич в замечательной, пророческой статье «О поэзии».

В нынешней постмодернистской литературе есть и то, что я назвал бы «комфортабилизированием ада». Человеческие желания учтены разносторонне, способы удовлетворения их широко разработаны — будто создан «кнопочный бог», компьютерный. А есть ведь и *Другой,* вторгающийся в этот мир не по нашим усмотрениям. Ад таится и в «кнопочном раю». И жизнь требует сущностного Слова, что позволяло бы людям выдерживать извечно-трагическое существование.

Такое Слово не может быть описательным. Слово страдания — неминуемо лаконично; терпение — молчаливо, оно тождественно мудрости, мудрость — малословию.

Я благодарен моему другу Николаю Кынчеву за его страдальчески-горячее, сдержанное слово. Необходимое мне, нам — чтобы жить глубже: с вниманием к процессу нашего существования как к процессу решения одной, единой проблемы — примирения с жизнью, а это равнозначно примирению со смертью. «Ничто живое не показывает силу — для того, чтобы ты заметил, как перемены поддерживают постоянство истины»,— говорит Кынчев, и я верю силе этого человека. Болгарские критики упрекали его в отсутствии «эмоциональной теплоты», мне дорого иное — *свет жизневыдерживания* в лирике Кынчева, свет значительности мира и нашего пребывания в нем.

Читая Николая Кынчева, я более «обновленно» задумывался и о следующем.

Любое культурное движение — явление *вертикальное:* оно всеохватно-одновременно живет и прошлым, и настоящим, и будущим — в единстве и цельности. Наш скороспелый русский постмодернизм (еле успевший примкнуть к западному, чтобы лихорадочно обновить застарелые «средства выразительности») лишь подчеркивает особенность вырождающегося общего постмодернизма: это явление все более становится *горизонтальным,* если хотите, «верхним» слоем культуры, обслуживающим лишь «актуальность», заменившим чувство историзма бойкой цитатностью.

«Народ», «народные корни»,— скажете постмодернисту, а он лишь засмеется: «Какие там корни, это уже давно устарело».

Лично я не собираюсь отменять для себя эти понятия. И в Николае Кынчеве я ощущаю *брата* по «народочувствованию»: «ритуально-эмблематические жесты», «скрытая эпичность», отмечаемые иностранными рецензентами в лирике Кынчева, постоянные токи подспудных сил его народа, выражаемые предельно заостренным современным языком,— этому отвечает глубинное эхо разных культур, сегодняшнее человеческое братство.

Говоря «чисто формально», современное художественное произведение, если оно полностью состоялось,— в то же время и «вечное», как бы пренебрежительно мы ни отмахивались от этого слова («прошлых ценностей» не бывает — их свет нерасщепляемо присутствует в сегодняшнем творении).

© Николай Кынчев, 1988, 1990

Думаю, что я не «пристегиваю» наболевшие для меня вопросы к проблемам поэзии Н. Кынчева. Некоторые «общие рассуждения» вызваны здесь именно его мудрой лирикой, парадоксальной — при скрытой логичности истин, выверенных долгой судьбой опального поэта.

Был у меня в Литве друг, которого называли «литовским Сократом». Больной, нищий, «без определенного места жительства», но глубоко религиозный, бродячий народный философ. «Слово дано человеку, чтобы *славословить,* это сейчас невозможно, но нельзя и *пустословить,* сейчас надо хотя бы *словить* — говорить *живое Слово,* чтобы место Слова, данного Творцом, не пустовало»,— говорил (может быть, несколько неуклюже) «бродяга Юстинас».

Такое *живое Слово* есть — у Николая Кынчева. «У него движение *спокойствие — беспокойство* не останавливается на беспокойстве, а движется к новому спокойствию, которое и можно назвать гармонией»,— выразился один болгарский критик; я верю, что трудное, внимательное знакомство русских читателей с поэзией Кынчева будет приближением к этой гармонии.

ГЕННАДИЙ АЙГИ

Совершенство

Горизонт поднимает для приветствия солнце.
Я протягиваю правую руку
к далекому облаку, недоступному,
как средневековье.

Сжимается сердце, когда подумаю,
что и письмо тирана может
завершаться словами: жму вашу руку...

Совершенство всегда ищет равных.

Пар

Там цветет дурман. Там все одурманено.
Там земля отдыхает. Там нагой облачен в солнце.

Слушает шелест травы о том,
что земля под паром лучше всего навевает покой.

Там легко молчать. Помолчит и он до срока.
Зато слово будет весомо и в невесомости.

Гвоздь вечера

О убежище: будь под открытым небом!

Во мраке разум и чувства сцепились,
словно два воробья из-за крошки манны.
А река стучит сердцем корабля...

Все подвластно воображению, посмотрите:
само взлетает гнездо орла
над нами, прибитыми навсегда

гвоздем вечера — вечной луной.

Я

Не ты ли жизнь свою
промотал, собирай
пожитки теперь... Однако куда мне отсюда?
Споткнувшись о камень, что раздавит
любого, я был потрясен
и добровольно остался под ним,
не чувствуя тяжести, а потом незаметно
все дальше, дальше и дальше
унеслась чья-то душа —
то была легкая смерть.
И мне легко...

В конце концов все очищается от всего.
Слово без слов — это самое верное слово.
Время без дат — это самое верное время.
Я без личного Я — это я и есть, наконец.

Вино

Вино ударяет в голову, и, не проронивший ни слова,
теперь я хочу говорить.

Собери свои мысли, себе говорю, собери их,
собери созвездие в одну звезду и не угасай...

В равноденствии, между севером и югом колеблясь,
воздух «да» говорит всему.

Кто так весел? Чьи это песни и что за крики на улице?
О... Это дети возвращаются к жизни из школы.

Сентябрь

Потерянная невинность не видит смысла
в возвращении.

А упавшее яблоко Ньютона, и оно тоже?
Мы не властны над стихиями; но не только над ними.

А мир — постоянно в движении, и невозможно
Найти ни концов, ни начал.

Но кто-то все-таки полон сил изначальных!
Это сентябрь, старик с вином молодым на губах.

Голодовка

Рабочий, напрягай упругие мускулы.
Мыслитель, не скрывай возникших идей.
Девушка, не таи своей красоты.
Роженица, освободи из чрева ребенка.
Булочник, пеки свой хлеб и смотри на огонь без страха.
Летчик, лети намеченным курсом.

Все спокойно займитесь своими делами.
Людоеды объявили голодовку.

Классики

Лишь постигший сущность вещей
поймет меня с полуслова.

Напрасно такого ищу в настоящем, и воздух
прозрачный стынет.
Классики — столь одаренные люди,
что вряд ли их встретишь живыми.

Если

Я еще крепок, и жизнь
моя в полном порядке,
так что не верь словам,
если встречу тебя и скажу,
что ноги меня не держат...

Но даже когда молчу,
к высшей точке судьбы устремленный,
все может рухнуть вмиг,
если ангел-хранитель скажет,
что крылья его не держат...

Башня на берегу моря

Узник, на что тебе ломаный грош?

Не дожидайся грозящей петли, знай:
грядущий день только кажется светлым.

Как только разверзнет пасть тюрьма, запоёт свобода
плеском волн в ожерелье чаек.

Бросайся в объятья, она тебя примет.

Перевод А. МАКАРОВА-КРОТКОВА

Вот старик почти ослепший

Книг давно он не читает,
Да и что ему в них проку:
Знает жизнь он наизусть.

Каждый вечер звон бокалов

А бокал для нас — будильник,
В час заветный пробуждает
Он вином из старых бочек.

Человек всегда был тайной

Даже если он напишет:
Вскройте после моей смерти...
Гроб опять ту тайну скроет.

Страшный суд тебя пугает

Если цену не назначишь
Жизни собственной, то, значит,
Не заплатишь за нее ты.

В поле около конюшни

Раз собрались кони кругом,
Хоть подкованы идейно,
Бьют копытами друг друга.

Как бездушны мы к колодцу

Почему-то остается
Нараспашку к нам колодец,
К тем, кто душу вынимает.

Этот древний властолюбец

Голову свою увидеть
Так мечтал он на монете,
Что расстался с головою.

Перевод А. МАКАРОВА-КРОТКОВА
и М. ТАРАСОВОЙ

РОМЕН ГАРИ

Обещание на рассвете

РОМАН

Перевод с французского Е. ПОГОЖЕВОЙ

От редакции

Имя Ромена Гари мало знакомо нашему читателю. Между тем это известный во всем мире писатель, автор более тридцати произведений, лауреат двух Гонкуровских премий (единственный случай со времени учреждения этой премии в 1896 году), герой войны, дипломат, кавалер ордена Почетного легиона и редкого во Франции ордена «За Освобождение», лично врученного ему де Голлем. Как замечали многие исследователи его жизни и творчества, сама судьба писателя — готовое литературное произведение.

Роман Касев (таково настоящее имя писателя) родился в России. В 1917 году, когда мальчику было три года, его мать, актриса Нина Борисовская, увезла ребенка в Литву, а в 1927 году мать и сын перебрались в Париж. Своим отцом Ромен Гари считает, и не без оснований, как убедится читатель «Обещания на рассвете», звезду немого кино Ивана Ильича Мозжухина, хотя это утверждение и вызывает сомнение у некоторых биографов, знающих склонность писателя к мистификации.

Первый же роман Гари, «Европейское воспитание» (1945), принес автору славу и французскую премию Критики. С этого момента начинается блестящая литературная карьера писателя. Книги Гари издаются одна за другой, по ним ставятся фильмы, за роман «Корни неба» он получает в 1956 году Гонкуровскую премию, его имя не исчезает со страниц французской печати. В 1961 году он женится на голливудской актрисе, восходящей звезде «новой волны» Жанн Себерг; через несколько лет расстается с ней — сенсация следует за сенсацией.

В 1975 году Ромен Гари становится автором крупнейшей литературной мистификации. В издательстве «Галлимар» выходит роман некоего Эмиля Ажара «Жизнь впереди» [1], сразу ставший бестселлером. В том же году книге присуждают Гонкуровскую премию. Вскоре газеты сообщают имя якобы подлинного автора романа. Это Поль Павлович, племянник Ромена Гари, как выяснится много позже, участник розыгрыша. Некоторые литераторы понимают, что под псевдонимом Эмиля Ажара скрывается сам Гари, но Гари официально отрекается от своего произведения. Ситуация осложняется тем, что Гонкуровская премия, согласно установленным правилам, не может присуждаться дважды одному и тому же писателю. Игра заходит слишком далеко. У Гари начинается глубокая депрессия, от которой ему так и не удалось избавиться до конца жизни.

В 1979 году покончила с собой Жанн Себерг. В прессе появился ряд оскорбительных для ее чести публикаций, и писатель выступил в защиту доброго имени своей бывшей жены. Снова, в который раз, его жизнь стала объектом пристального внимания публики.

Второго декабря 1980 года Ромен Гари застрелился. В 1981 году вышла его книга «Жизнь и смерть Эмиля Ажара», где описана история литературной мистификации, послужившей, быть может, одной из причин гибели ее автора.

В предсмертной записке Гари написал: «Никакого отношения к Жанн Себерг. Прошу ревнителей культа разбитых сердец обращаться по другому адресу.

Можно объяснить все нервной депрессией. Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом.

В таком случае почему? Вероятно, ответ на этот вопрос можно найти в моем автобиографическом романе «Ночь будет спокойной» и в последних словах последнего романа [2]: «Наконец я выразил себя полностью».

Мы предлагаем вниманию читателей более ранний, автобиографический роман Гари, который многие французские критики считают одной из лучших книг писателя.

Эта публикация подготовлена и осуществлена при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Отдела культуры, науки и техники Посольства Франции в Москве.

[1] На русском языке роман вышел в 1988 году в Библиотеке «ИЛ». *(Прим. ред.)*

[2] Роман «Бумажный змей» (1980). *(Прим. ред.)*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Ну вот и все. Я лежу на пустынном пляже Биг-Сур, на том же месте, где и упал. Все растворяется в нежной морской дымке, на горизонте ни паруса; на скале против меня тысячи птиц, на другой — семейство тюленей: самоотверженный папаша неутомимо выныривает из волн с рыбой в пасти, поблескивая на солнце. Иногда крачки садятся так близко, что я замираю, и давняя мечта просыпается и волнует меня: еще немного, и они усядутся мне на голову, приникнут к моим рукам и шее, покроют меня совершенно... В свои сорок четыре года я все еще мечтаю о какой-то первозданной нежности. Я так долго лежал не шелохнувшись, что пеликаны с бакланами окружили меня плотным кольцом, а волны даже принесли тюленя к моим ногам. Морской лев долго глядел на меня, вытянувшись на плавниках, прежде чем уйти обратно в Океан [1]. Я улыбнулся ему, но он остался серьезен и немного печален, как будто бы *знал*.

Мать пять часов ехала на такси, чтобы проститься со мной в день мобилизации в Салон-де-Провансе, где я служил тогда сержантом-инструктором Летной школы.

Такси было старым, полуразвалившимся «рено»: одно время мы являлись совладельцами автомобиля сначала наполовину, а затем на четверть его коммерческой эксплуатации. Вот уже несколько лет, как такси стало собственностью исключительно шофера Ринальди, бывшего компаньона. Однако мама продолжала считать, что по-прежнему сохраняет некоторое моральное право на машину, и поскольку Ринальди был добр, застенчив и впечатлителен, то она слегка злоупотребляла его добротой. Вот и на этот раз она заставила его ехать из Ниццы в Салон-де-Прованс — за триста километров — и, конечно же, бесплатно. Еще долго после войны милый Ринальди, почесывая совершенно седую голову, вспоминал с несколько досадливым восхищением, как мама его «мобилизовала»:

— Она просто села в машину и сказала: «В Салон-де-Прованс, прощаться с моим сыном». Я попробовал отказаться: туда и обратно поездка занимала часов десять. Но мадам обозвала меня «плохим французом», пригрозила позвать полицию и арестовать за уклонение от мобилизации. Она расположилась с кучей свертков, предназначенных для вас — колбаса, ветчина, банки варенья,— и твердила, что ее сын — герой, что она едет еще раз обнять вас, и нечего тут спорить. Потом она расплакалась. Ваша матушка всегда плакала, как ребенок. И когда после стольких лет доброго знакомства я увидел, как она тихо плачет у меня в такси, с видом побитой собаки,— прошу прощения, господин Ромен, вы отлично знаете, какой она была,— я не смог отказать ей. Я сказал: «Хорошо, мы едем, но вы заплатите за бензин — из принципа». Мадам всегда считала, что сохраняла право на такси, видите ли, потому, что семь лет назад была моей компаньонкой. Но это все пустяки. Поверьте, она так любила вас и сделала бы для вас все что угодно.

Я увидел матушку, когда она выходила из такси, остановившегося возле столовой, с тростью в руке и с «голуаз» [2] во рту. Не обращая внимания на насмешливые взгляды солдат, она театральным жестом раскрыла мне объятия, ожидая, что сын бросится к ней по старой доброй традиции.

Я же направился к ней развязной походкой, слегка ссутулившись, надвинув на глаза фуражку и засунув руки в карманы кожаной куртки (которая играла решающую роль при вербовке призывников в авиацию), раздраженный и растерянный от этого совершенно недопустимого вторжения матери в мужскую компанию, где я наконец-то обрел репутацию «стойкого», «верного» и «бывалого».

Я обнял ее с наигранной холодностью и хитрыми маневрами тщетно

---

[1] В слове «Океан» для Гари содержится не только конкретный, но и метафорический смысл. В 1965—1969 гг. им были написаны три романа и эссе, составившие цикл «Брат Океан». *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] «Голуаз» («голуаз блё») — марка сигарет из черного табака.

пытался завести за такси, подальше от зрителей. Но, любуясь мной, мать отступила на шаг и вдруг, просияв, прижав руку к сердцу и громко шмыгнув носом (что всегда у нее было признаком наивысшего удовлетворения), воскликнула с сильным русским акцентом так, что слышно стало всем:

— Гинемер! [1] Ты станешь вторым Гинемером! Вот увидишь, твоя мать всегда права!

Кровь бросилась мне в лицо, вокруг захохотали, но она, замахнувшись тростью в сторону веселящейся солдатни, столпившейся у столовой, вдохновенно провозгласила:

— Ты станешь героем, генералом, Габриеле Д'Аннунцио, посланником Франции — все эти негодяи еще не знают, кто ты!

Думаю, никогда еще сын не ненавидел так своей матери, как я в эту минуту. Но пока я яростным шепотом пытался объяснить ей, что она непоправимо компрометирует меня перед лицом всей Авиации, одновременно стараясь увлечь за машину, ее лицо вдруг приняло беззащитное выражение, губы задрожали, и я в который раз услышал невыносимую фразу, давно ставшую классической в наших отношениях:

— Что ж, ты стыдишься своей старой матери?

В одно мгновение вся мишура моей мнимой мужественности, чванства, холодности, которой я так старательно прикрывался, слетела с меня. Я нежно обнял ее за плечи одной рукой, тогда как другой, свободной, сделал едва уловимый жест в сторону своих товарищей; тот самый выразительный жест — сложив кольцом большой и средний пальцы и ритмично помахивая рукой,— смысл которого, как я узнал впоследствии, понятен всем солдатам мира с той только разницей, что в Англии требуется два пальца там, где довольно и одного; в романских странах это вопрос темперамента.

Утих смех, исчезли насмешливые взгляды. Я обнял ее за плечи и думал о сражениях, которые я развяжу ради нее, о данном себе обещании на рассвете своей жизни воздать ей должное, придать смысл ее жертве и однажды вернуться домой победителем в споре за господство над миром с теми, чью власть и жестокость я так хорошо почувствовал с первых шагов.

Даже сегодня, более двадцати лет спустя, когда все уже сказано и я тихо лежу на пляже Биг-Сур, на берегу Океана, где только тюлени подают голос, тревожа глубокое одиночество моря, да иногда проплывают киты, пуская фонтанчики, жалкие и смехотворные по сравнению с необъятностью Вселенной,— даже сегодня, когда все кажется бессмысленным, мне стоит только поднять голову, чтобы увидеть когорту врагов, склонившихся надо мной в ожидании какого-либо знака поражения или покорности с моей стороны.

Я был еще маленьким, когда мать впервые рассказала мне о них; задолго до Белоснежки, Кота в сапогах, семи гномов и феи Карабоссы они обступили меня плотным кольцом и никогда уже не покидали. Мать указывала на каждого из них, бормоча их имена и крепко прижимая меня к себе. Тогда я еще не понимал, но уже предчувствовал, что когда-нибудь ради нее брошу им вызов; с каждым годом я все яснее различал их лица, с каждым ударом, который они наносили нам, я чувствовал, как крепнет во мне дух непокорности. Сегодня, уже под конец своей жизни, я все еще четко вижу их лица в сумерках Биг-Сура и различаю их голоса, которые не в силах заглушить даже шум Океана; их имена сами собой просятся с языка, и мои стареющие глаза вновь обретают зоркость восьмилетнего ребенка, чтобы встретить их лицом к лицу.

Главный из них — Тотош (То-тож), бог глупости, с красным обезьяньим задом и головой интеллектуала, приверженец абстрактных построений. В 1940 году он был любимчиком и доктринером немцев, сегодня Тотош все чаще находит себе убежище в точных науках, и его частенько можно видеть склонившимся над плечом наших ученых; при каждом ядерном взрыве его тень все выше вырастает над землей; его любимая шутка — придавать глупости видимость гениальности и привлекать к себе гениев, чтобы уничтожить человечество.

[1] Жорж Гинемер (1894—1917) — французский летчик, герой первой мировой войны, погиб в воздушном бою.

Затем Мерзавка — богиня абсолютных истин, этакая казачка, попирающая груду трупов, с хлыстом в руке, в меховой шапке, надвинутой на глаза, и с хохочущей гримасой. Это наша старая госпожа и хозяйка, она так давно распоряжается нашей судьбой, что стала богатой и почитаемой. Всякий раз, когда она убивает, мучит или подавляет во имя абсолютных истин — религиозных, политических или моральных,— половина человечества в умилении лижет ей сапоги; это ее очень забавляет, ведь она-то отлично знает, что абсолютных истин не существует, что они — только средство, чтобы вести нас к рабству. И даже сейчас, сквозь опаловую дымку Биг-Сура, поверх лая тюленей и крика бакланов, эхо ее торжествующего смеха доносится до меня из далекого далека, и даже голос моего брата Океана не в силах заглушить его.

Есть еще Фи-ложь — богиня подлости, предрассудков, ненависти. Это она, высунувшись из каморки привратника при входе в мир людей, кричит: «Грязный американец, грязный араб, грязный еврей, грязный русский, грязный китаец, грязный негр!» Это она — блестящий организатор масс, войн, самосуда, преследований, ловкий диалектик и мать всех идеологических формаций, великий инквизитор и вдохновитель «священных» войн. Несмотря на свою паршивую шерсть, голову гиены и кривые короткие лапы она ухитрилась стать одной из самых сильных и влиятельных богинь; ее можно встретить в любом лагере. Она — ловкая владычица нашей земли, оспаривающая у нас право на обладание ею.

Есть и другие боги, более таинственные и темные, более коварные и замаскированные, которых трудно узнать; когорты их многочисленны, и у них много союзников среди нас. Матушка все про них знала и часто рассказывала мне о них шепотом, обнимая меня в окутанной вечерним сумраком детской. Постепенно они и для меня стали более реальными и видимыми, чем самые привычные предметы, а их гигантские тени и по сей день склоняются надо мной. Стоит только поднять голову, чтобы увидеть их сверкающие доспехи и копья, устремленные на меня в лучах солнца.

Сегодня мы старые враги, и я хочу здесь рассказать о своей борьбе с ними. Любимой их игрушкой была моя мать. Еще в юности я дал себе слово избавить ее от этого рабства. И рос в ожидании дня, когда смогу наконец сдернуть паутину, опутавшую мир, и явить всем лик мудрости и сострадания. Я так хотел оспорить у этих абсурдных и опьяненных властью богов право господства над миром и вернуть Землю тем, кто питает ее мужеством и любовью.

Глава II

Думаю, мне было лет тринадцать, когда я впервые почувствовал свое призвание.

В то время я учился в Ницце, в четвертом классе лицея, а мама открыла сувенирный киоск в отеле «Негреско», предлагая товары фирменных магазинов; каждый проданный шарф, пояс или блузка давали ей десять процентов комиссионных. Иногда она потихоньку повышала цены и выручку забирала себе. Целыми днями она поджидала случайных покупателей, нервно куря бесчисленные «голуаз», так как хлеб наш насущный полностью зависел тогда от этой ненадежной торговли.

Вот уже тринадцать лет одна, без мужа, без любовника, она отчаянно боролась, чтобы заработать на жизнь: на масло, обувь, одежду, квартиру, бифштекс к полуденному завтраку, тот самый бифштекс, который ежедневно торжественно подавался мне на тарелке как символ ее победы над судьбой. По возвращении из лицея меня ждал бифштекс: пока я ел, мать стояла и умиротворенно смотрела на меня, как собака, выкармливающая своих щенков.

Сама она к нему не притрагивалась, уверяя, что любит только овощи, а мясо и жиры ей строго противопоказаны.

Однажды, выйдя из-за стола, я пошел на кухню выпить стакан воды.

Мать сидела на табурете, держа на коленях сковородку из-под моего

бифштекса. Она старательно вытирала сальное дно кусочками хлеба, которые затем жадно проглатывала. Так я узнал истинную причину ее вегетарианства.

Застыв на месте, я с ужасом смотрел на плохо спрятанную под салфеткой посуду и на испуганно и виновато улыбающуюся мать, потом разрыдался и убежал.

В конце улицы Шекспира, на которой мы в то время жили, была почти отвесная железнодорожная насыпь; туда-то я и побежал прятаться. Мысль броситься под поезд и разом отделаться от своего стыда и беспомощности пронеслась у меня в голове, но почти тотчас же отчаянное желание изменить мир и когда-нибудь сложить его к ногам матери — счастливый, справедливый, достойный ее — вдруг прожгло мое сердце, и этот огонь я пронес через всю жизнь. Зарывшись лицом в ладони, я отдался своему горю, но слезы, так часто приносившие мне облегчение, на этот раз не утешили меня. Непереносимое, болезненное чувство обездоленности, беспомощности охватило меня; по мере того как я рос, это детское чувство обездоленности и смутная устремленность к неведомому не только не прошли, но и росли вместе со мной и понемногу сделались потребностью, которую уже не в силах были утолить ни женщины, ни искусство.

Рыдая в траве, я вдруг увидел мать, появившуюся над насыпью. Не знаю, как она догадалась, где я: сюда никто никогда не ходил. Она нагнулась, чтобы пройти под проволокой, и стала спускаться ко мне; ее седые волосы наполнились небом и светом. Подойдя, она уселась рядом со мной, держа в руке свою неизменную «голуаз».

— Не плачь.

— Оставь меня.

— Не плачь. Прости, я сделала тебе больно. Теперь ты мужчина.

— Оставь меня, говорю!

Прошел поезд, а мне показалось, что это горе так стучит у меня в висках.

— Это больше не повторится.

Я немного успокоился. Мы сидели на насыпи, положив руки на колени и глядя вдаль. Неподалеку — коза, привязанная к стволу мимозы. Мимоза была в цвету, небо синее-синее, и солнце пекло. Мне вдруг показалось, что мир преображается. Это была первая зрелая мысль, которую я запомнил.

Мать протянула мне пачку «голуаз».

— Хочешь сигарету?

— Нет.

Она старалась держаться со мной как с мужчиной. Возможно, она торопилась. Ей было уже пятьдесят один. Тяжелый возраст, когда единственная опора в жизни — ребенок.

— Ты писал сегодня?

Уже более года я «писал». Я измарал своими поэмами много школьных тетрадей. Стараясь придать им видимость опубликованных, я переписывал их печатными буквами.

— Да, я начал большую философскую поэму о странствии и переселении душ.

Она одобрительно кивнула.

— А в лицее?

— Мне поставили ноль по математике.

Мама задумалась.

— Они тебя не понимают,— сказала она.

Я был того же мнения. Упорство, с которым преподаватели естественных наук ставили мне нули, говорило об их крайнем невежестве.

— Они еще пожалеют об этом,— сказала она.— Твое имя когда-нибудь будет выгравировано золотыми буквами на стенах лицея. Завтра же я пойду и скажу им...

Я вздрогнул.

— Мама, я запрещаю тебе! Ты опять сделаешь меня посмешищем.

— Я прочитаю им твои новые поэмы. Я была великой актрисой

и умею читать стихи. Ты станешь Д'Аннунцио! Виктором Гюго, лауреатом Нобелевской премии!

— Мама, я запрещаю тебе ходить туда.

Она меня не слушала. Ее взгляд устремился в пространство, а на губах блуждала одновременно наивная и счастливая улыбка, и в мареве будущего она уже видела своего сына зрелым мужчиной, медленно поднимающимся по ступеням Пантеона,— в парадной форме, увенчанного славой и осыпаемого почестями.

— Все женщины будут у твоих ног,— категорически заключила она, помахав в воздухе сигаретой.

Поезд, 12.50 из Вентимильи, проплыл в облаке дыма. Пассажиры у окон, должно быть, недоумевали, что именно седая дама и заплаканный мальчик так внимательно рассматривают в облаках.

Матушка вдруг забеспокоилась.

— Надо выбрать псевдоним,— убежденно сказала она.— Великий французский писатель не может иметь русское имя. Если бы ты был скрипачом-виртуозом, оно звучало бы, но для титана французской литературы это не годится...

«Титан французской литературы» полностью согласился и на этот раз. Вот уже полгода я часами просиживал в поисках псевдонимов, каллиграфически выводя их красными чернилами в особой тетради. Сегодня утром я остановил свой выбор на «Юбер де ля Валле», но через полчаса поддался ностальгическому очарованию «Ромена де Ронсево». Мое подлинное имя Ромен меня вполне устраивало. Но, увы, уже есть Ромен Роллан, а я ни с кем не был расположен делить славу. Все это было очень трудно. Парадокс с псевдонимом в том и заключается, что вы никогда не сможете выразить в нем всего, о чем мечтаете в глубине души. Я уже смутно предчувствовал, что для самовыражения в литературе псевдонима мало, а надо еще писать книги.

— Если бы ты был скрипачом-виртуозом, фамилия Касев вполне звучала бы,— вздохнув, повторила мать.

История со «скрипачом-виртуозом» обернулась для нее крупным разочарованием, и я чувствовал себя страшно виноватым. Это было недоразумение, которое мамочка отказывалась понимать. Многого ожидая от меня, мамочка искала чудесный кратчайший путь, который бы привел нас с ней к «славе и поклонению толпы». Она всегда употребляла штампы, но это происходило не от банальности ее мышления, а под влиянием общества того времени, его ценностей и эталонов — среди банальностей немало окончательно сложившихся формулировок, часто отражающих действительный порядок вещей и конформизм общества. Итак, она сначала тешила себя надеждой, что я стану чудо-ребенком вроде Яши Хейфеца и Иегуди Менухина: они в то время были в апогее своей юной славы. Мама всегда мечтала стать великой актрисой; едва мне исполнилось семь лет, как в одном из магазинов Вильно мне по случаю была куплена скрипка. В Восточной Польше мы оказались тогда проездом, и меня торжественно отвели к усталому человеку с длинными волосами в черном, которого мать почтительным шепотом называла «маэстро». Вскоре я смело стал ходить к нему один, дважды в неделю, со скрипкой в футляре цвета охры, покрытом внутри фиолетовым бархатом. Помню, как маэстро глубоко изумлялся всякий раз, когда я начинал играть, и с криком «Ай! ай! ай!» зажимал уши обеими руками; эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Думаю, это был человек, бесконечно страдавший от отсутствия мировой гармонии в этом подлом мире, от той самой дисгармонии, в создании которой мне довелось сыграть выдающуюся роль за три недели моих уроков. В конце третьей недели он внезапно вырвал у меня смычок и скрипку, сказал, что поговорит с мамой, и выпроводил меня. Я так никогда и не узнал, что он сказал матери, но она долго вздыхала, глядя на меня с упреком и порой прижимая к себе в порыве жалости.

Главная мечта испарилась.

Глава III

В то время мать изготовляла фасонные шляпы. Поначалу клиентура набиралась по почте: рассылали по адресам написанные от руки проспекты, где сообщалось, что «на досуге бывшая директриса крупного парижского салона мод изготовляет на дому фасонные шляпы для узкого и избранного круга». В 1929 году, вскоре после нашего приезда в Ниццу, она пыталась продолжить это дело, сняв две комнаты на улице Шекспира, но, чтобы тронуться с места, требовалось время, поэтому дело так и не пошло. В результате с утра она работала педикюршей в дамской парикмахерской, а днем оказывала те же услуги породистым собакам в заведении на улице Виктуар. Позже мать торговала бижутерией на комиссионных началах в киосках отелей-паласов, предлагала «фамильные драгоценности», ходя из дома в дом, была совладелицей овощного прилавка на рынке Буффа, конторы по продаже недвижимого имущества — короче, я никогда ни в чем не нуждался, в полдень меня всегда ждал бифштекс, и никто в Ницце никогда не видел меня плохо одетым или обутым. Я так страдал, не оправдав ее надежд на музыкальную карьеру, что и по сей день не могу слышать имени Менухина или Хейфеца, без того чтобы угрызения совести не шевельнулись в моем сердце. Через тридцать лет, став Генеральным консулом Франции в Лос-Анджелесе, я награждал орденом Почетного легиона Яшу Хейфеца, проживавшего в моем округе. Пришпилив крест к груди скрипача и произнеся традиционную речь: «Господин Яша Хейфец, от имени Президента республики и в силу возложенных на нас полномочий мы вручаем вам Большой крест Почетного легиона», я, вдруг подняв глаза к небу, громко и отчетливо произнес:

— Ну что ж, мне с этим не повезло!

Маэстро слегка удивился:

— Простите, господин Генеральный консул?

Я поспешно расцеловал его в обе щеки, чтобы закончить церемонию как полагалось.

Я чувствовал, что сильно огорчил мать, не оправдав ее надежд на музыку, она ни разу больше об этом не вспоминала, а ей, признаться, частенько недоставало такта, так что подобная сдержанность, бесспорно, говорила о скрытом и глубоком разочаровании. Не реализовав своих артистических амбиций, она рассчитывала воплотить их во мне. Я, со своей стороны, решил сделать все возможное, чтобы она прославилась и снискала признание как актриса моими стараниями, и после долгого колебания между живописью, сценой, пением и балетом я наконец остановил свой выбор на литературе, которая казалась мне последним пристанищем для всех, кто не знает куда податься.

Итак, эпизод со скрипкой никогда больше нами не упоминался, и был выбран новый путь, чтобы вести нас к славе.

Трижды в неделю я покорно брал свои шелковые бальные тапочки и в сопровождении матери ходил в студию Саши Жиглова, где два часа кряду добросовестно поднимал ногу у станка, в то время как она, сидя в уголке, восторженно улыбалась, часто всплескивала руками и восклицала:

— Нижинский! Нижинский! Ты станешь Нижинским! Я знаю что говорю!

Затем она провожала меня в раздевалку и тревожно озиралась по сторонам, пока я переодевался, потому что, по ее мнению, у Саши Жиглова были «дурные наклонности». Эти опасения вскоре подтвердились — я принимал душ, когда Саша Жиглов подкрался ко мне на цыпочках и, как я подумал по простоте души, хотел укусить меня, отчего я дико заорал.

Я до сих пор помню, как несчастный Жиглов несся по гимназии от преследовавшей его разъяренной матери, потрясавшей тростью,— так закончилась моя карьера великого танцовщика. В то время в Вильно были еще две школы танцев, но мать, наученная горьким опытом, больше не рисковала. Мысль, что ее сын станет чураться женщин, была ей невыносима. Едва мне исполнилось восемь лет, как она стала описывать мне мои будущие «победы», рисуя вздохи и взгляды, записки и клятвы; рука, тайком пожимаемая на террасе, утопающей в лунном свете, я в белой форме

гвардейского офицера, далекие звуки вальса, шепот и заклинания... Она сидела потупив взгляд, чуть виновато и удивительно молодо улыбаясь, переадресуя мне восторги и восхваления, которые, без сомнения, заслуживала ее былая красота; возможно, воспоминания о прошлом не покидали матушку. Небрежно облокотившись на ее плечо, я с интересом слушал, прикидываясь беззаботным, и рассеянно слизывал варенье со своего бутерброда. Я был слишком мал, чтобы понимать, что тем самым она пыталась бежать своего одиночества, нуждаясь в нежности и любви.

Итак, отказавшись от балета и скрипки и не надеясь стать «новым Эйнштейном», будучи полным нулем в математике, на этот раз я сам попытался выявить в себе скрытый талант, который позволил бы реализоваться артистическим наклонностям моей матери.

Вот уже несколько месяцев, как я взял себе за правило баловаться красками, которые были приобретены для школьных занятий.

Я часами просиживал за мольбертом, пьянея от красного, желтого, зеленого и голубого цветов. Однажды — когда мне было десять лет — учитель рисования зашел к моей матери, чтобы поделиться с ней своим мнением: «У вашего сына, мадам, талант к рисованию, которым не следует пренебрегать».

Такое откровение произвело на маму совершенно неожиданное действие. Вероятно, бедняжка верила легендам и буржуазным предрассудкам начала века, и так или иначе живопись и разбитая жизнь всегда соединялись в ее уме. По-видимому, она много слышала о трагической судьбе Ван Гога и Гогена и была напугана. Помню, с каким страхом на лице она вошла в мою комнату, в полном отчаянии села передо мной, глядя с беспокойством и немой мольбой. Должно быть, образы «богемы», художников, обреченных на пьянство, нищету и туберкулез, вереницей пронеслись у нее в уме. Она подытожила все это красноречивой и, право, недалекой от истины фразой:

— Если ты действительно талантлив, то они заморят тебя голодом.

Не знаю, кого именно она имела в виду, говоря «они». Видимо, она и сама не знала. Но с этого дня мне было буквально запрещено прикасаться к краскам. Отказываясь видеть в этом простое детское увлечение, как это, вероятно, и было на самом деле, ее фантазия сразу же бросалась в крайности, и поскольку в ее воображении я выглядел не иначе как героем, то на этот раз я представлялся ей героем попранным. Моя коробка акварельных красок приобрела досадную способность исчезать, и когда мне наконец удавалось прибрать ее к рукам и приняться за дело, то мать выходила из комнаты, затем стремительно возвращалась и кружила вокруг меня как встревоженный зверь, с ужасом глядя на мою кисть. Так продолжалось до тех пор, пока мне наконец не надоело и я раз и навсегда не оставил в покое краски.

Я долго дулся на нее, да и теперь мне иногда кажется, что я упустил свой шанс.

Итак, несмотря ни на что, испытывая какую-то смутную, но настоятельную в этом потребность, я с двенадцати лет начал писать, бомбардируя литературные журналы поэмами, рассказами и пятиактными трагедиями, написанными александрийским стихом.

Литература не вызывала у матери таких суеверных страхов, как живопись, она была к ней довольно благосклонна, как к светской даме, принимаемой в лучших домах: Гёте был осыпан почестями, Толстой был графом, Виктор Гюго — президентом республики — не знаю, откуда она это взяла, но упорно на этом настаивала. Внезапно она хмурилась:

— Ты должен следить за своим здоровьем, остерегаться венерических болезней. Ги де Мопассан умер сумасшедшим, Гейне — паралитиком...

Она встревожилась и минуту молча курила, сидя на насыпи. Занятия литературой явно таили в себе опасности.

— Это начинается с прыщика,— сказала она.

— Я знаю.

— Обещай мне, что будешь осторожен.

— Обещаю.

Мои романы в то время ограничивались страстными взглядами, которые я бросал под юбки Марьетт, нашей домработницы, когда она взбиралась на приставную лесенку.

— Может быть, тебе лучше пораньше жениться на хорошей и милой девушке,— сказала мать с явным отвращением.

Но я отлично знал, что она ждала от меня совсем другого. Самые красивые женщины мира, прославленные балерины, примадонны, Рашели, Дузе и Гарбо ожидали меня, по ее мнению. Меня это устраивало. Вот если бы проклятая лесенка была немного повыше или, еще лучше, если бы Марьетт догадалась, как важно было мне начать карьеру прямо сейчас... Мне было тринадцать с половиной лет, а счастье — рукой подать.

Так вот, отказавшись от музыки, балета и живописи, мы остановили свой выбор на литературе, несмотря на угрозу венерической болезни. Теперь для осуществления наших надежд нам оставалось только выбрать псевдоним, достойный шедевров, которых ждал от нас мир. Целыми днями я просиживал в своей комнате, переводя бумагу и пытаясь найти необычайный псевдоним. Мать часто заглядывала ко мне, чтобы справиться о моем вдохновении. Мысль, что часы, убитые на этот титанический труд, с большей пользой могли быть потрачены на написание самих шедевров, никогда не приходила нам в голову.

— Ну как?

Я брал листок бумаги и знакомил ее с результатом своей литературной работы за день. Я по-прежнему был недоволен своими поисками. Ни одно имя, каким бы красивым и звучным оно ни было, не отражало всего того, что я хотел совершить для нее.

— Александр Наталь. Арман де ля Торр. Терраль. Васко де ля Фернай.

В том же духе страницы и страницы. После каждого списка имен мы переглядывались и качали головами. Это было не то, совсем не то. В глубине души мы прекрасно понимали, какие имена нам нужны, к сожалению, все они уже были разобраны. «Гёте» было занято, «Шекспир» тоже, равно как и «Виктор Гюго». И, однако, именно таким, как они, я хотел бы стать для нее, именно это я и хотел бы ей подарить. Часто, сидя за столом в коротких штанишках и глядя на нее, я думал, что мир слишком тесен, чтобы вместить всю мою любовь.

— Надо что-нибудь в духе Габриеле Д'Аннунцио,— сказала мама.— Он заставил страшно страдать Дузе.

Это было сказано с оттенком уважения и восхищения. Матери казалось вполне естественным, что великие люди заставляли страдать женщин, и она надеялась, что здесь я тоже покажу себя с лучшей стороны. Она придавала огромное значение моим успехам у женщин, очевидно видя в этом залог удачи в жизни. У нее это неразрывно связывалось с официальными почестями, орденами, парадной формой, шампанским, приемами в посольстве, и когда она рассказывала мне о Вронском и Анне Карениной, то смотрела на меня с гордостью, гладила по голове и шумно вздыхала, улыбаясь от наивного предвкушения. Быть может, подсознательно эта прекрасная, но безмерно одинокая женщина испытывала потребность физического и чувственного реванша, который должен был взять ее сын. Во всяком случае, проходив целый день с чемоданчиком по отель-паласам и домам богатых англичан и представляясь обедневшей русской аристократкой, вынужденной продавать последние «фамильные драгоценности»,— драгоценности предоставляли ей лавочники, платившие десять процентов комиссионных,— и проведя унизительный и тяжелый день, тем более унизительный, что в течение месяца ей редко удавалось заключить хотя бы одну сделку, она едва успевала снять свое серое пальто и шляпу и закурить сигарету, как со счастливой улыбкой уже усаживалась против мальчишки в коротких штанишках, который, сознавая свою беспомощность что-либо сделать для нее, целыми днями ломал голову в поисках достаточно красивого, достаточно громкого и многообещающего псевдонима, способного выразить все то, что происходило в его душе, чтобы он звонко и чисто прозвучал для

его матери, чтобы в нем слышались отголоски будущей славы, которую он намеревался сложить к ее ногам.

— Ролан де Шантеклер, Ромен де Мизор...

— Может, лучше выбрать имя без частицы, вдруг опять будет революция,— говорила мать.

Один за другим я зачитывал списки звучных и напыщенных псевдонимов, в которых пытался отразить все, что чувствовал, все, чем хотел ее одарить. Она слушала внимательно и чуть настороженно, а я прекрасно понимал, что ни одно из этих имен ее не удовлетворяло, не было достаточно хорошо для меня. Быть может, она просто пыталась придать мне мужества и уверенности в себе на будущее. Ведь она знала, как я страдал от своего малолетства, от бессилия помочь ей, и, наверное, чувствовала, с каким беспокойством я смотрел ей вслед каждое утро, стоя на балконе и глядя, как она удаляется по улице Шекспира с тростью, сигаретой и чемоданчиком, полным «фамильных драгоценностей». При этом каждый из нас думал, найдется ли на этот раз покупатель на брошку, часы или золотую табакерку.

— Ролан Кампеадор, Ален Бризар, Юбер де Лонпре, Ромен Кортес.

Я прекрасно видел по ее глазам, что это было не то, и всерьез спрашивал себя, смогу ли я когда-нибудь угодить ей. Значительно позже, впервые услышав по радио имя генерала де Голля в день его знаменитого обращения к французам, я в первую очередь разозлился на себя, что не додумался до такого красивого имени пятнадцать лет назад: Шарль де Голль, наверняка это имя понравилось бы моей маме, особенно если бы я написал его с одним «л».

Жизнь полна упущенных возможностей.

Глава IV

Материнская нежность, окружавшая меня в то время, возымела неожиданный и чрезвычайно счастливый результат.

Когда дела шли хорошо и продажа какой-нибудь «фамильной драгоценности» гарантировала матери хоть месяц относительного материального спокойствия, то ее первой заботой было сходить к парикмахеру. Потом она шла слушать цыганский оркестр на террасе отеля «Руаяль» и нанимала прислугу, в чьи обязанности входила уборка квартиры — мытье полов всегда внушало матери ужас; однажды в ее отсутствие я попробовал сам натереть паркет, и когда она застала меня с тряпкой на четвереньках, то ее рот скривился в гримасу, по щекам покатились слезы, и мне пришлось битый час успокаивать ее, объясняя, что в демократической стране такие мелкие работы по хозяйству вполне почетны и не умаляют человеческого достоинства.

Марьетт, девица с огромными лукавыми глазами, с сильными и крепкими ногами, обладала сенсационным задом, который я постоянно видел в классе вместо лица учителя математики. Это чарующее видение и приковывало мое внимание к его физиономии. Раскрыв рот, я не сводил с него глаз на протяжении всего урока, само собой, не слыша ни слова из того, что он говорил. И когда учитель, повернувшись к нам спиной, начинал исписывать доску алгебраическими знаками, то, с трудом переведя на нее зачарованный взгляд, я тут же видел, как предмет моей мечты вырисовывался на черном фоне — с тех пор черный цвет действовал на меня самым счастливым образом. Когда учитель, польщенный моим гипнотическим вниманием, вдруг задавал мне вопрос, то, встрепенувшись, я одурело вращал глазами, посылая заднице Марьетт взгляд нежного упрека, и только раздраженный голос месье Валю заставлял меня наконец вернуться на землю.

— Не понимаю! — восклицал он.— Из всех учеников вы производите впечатление самого внимательного; можно сказать, что порой вы буквально не сводите глаз с моих губ, и тем не менее вы где-то на Луне!

Это была правда.

Не мог же я объяснить этому милейшему человеку, что́ мне так отчетливо представлялось вместо его лица.

Короче, роль Марьетт в моей жизни возрастала — это начиналось с утра и длилось более-менее целый день. Когда эта средиземноморская богиня появлялась на горизонте, мое сердце галопом неслось ей навстречу, и я замирал на кровати от избытка чувств. Наконец я понял, что и Марьетт наблюдала за мной с некоторым любопытством. Она часто оборачивалась ко мне, уперев руки в бока, мечтательно улыбалась, пристально глядя на меня, вздыхала, качала головой и однажды сказала:

— Конечно же, ваша мать любит вас. В ваше отсутствие она только о вас и говорит. Тут тебе и всякие приключения, ожидающие вас, и прекрасные дамы, которые будут любить вас, и пятое, и десятое... Это начинает на меня действовать.

Я поморщился. О матери мне сейчас меньше всего хотелось думать. Лежа поперек кровати в очень неудобной позе с согнутыми в коленях ногами, торчавшими из-под одеяла, и опершись головой о стенку, я боялся пошевельнуться.

— Да ладно вам, она говорит о вас, как о прекрасном принце! Мой Ромушка такой, мой Ромушка сякой. Я понимаю, что это все потому, что вы ей сын, но в конце концов меня начинает разбирать любопытство...

Голос Марьетт действовал на меня необычайно. Во-первых, он не был похож на другие голоса. Казалось, что он шел не из горла. Не знаю, откуда он возникал. Во всяком случае, он не доходил до моих ушей. Все это было очень странно.

— Интересно, что же в вас такого особенного?

С минуту поглядев на меня, она вздохнула и принялась тереть паркет. Оцепенев с ног до головы, я лежал как бревно. Мы молчали. Временами Марьетт поворачивала голову в мою сторону, вздыхала и опять принималась тереть паркет. У меня разрывалось сердце при виде столь страшной потери времени. Я понимал, что надо что-то делать, но был буквально пригвожден к месту. Марьетт закончила и ушла. С ее уходом во мне что-то оборвалось. У меня было такое чувство, будто я погубил свою жизнь. Ролан де Шантеклер, Артемис Кохинор и Юбер де ля Рош-Руж рыдали что есть мочи и терли кулаками глаза. Тогда я еще не знал знаменитой поговорки: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Марьетт продолжала бросать на меня странные взгляды; ее женское любопытство и какая-то темная зависть были, вероятно, вызваны трогательными рассказами матери, рисовавшей ей картины моего триумфального будущего. Чудо наконец свершилось. Я до сих пор помню ее лукавое лицо, склонившееся надо мной, и чуть хриплый голос, доносившийся до меня, в то время как я парил где-то в иных мирах, в полной невесомости, а она теребила меня за щеку:

— Эй, не надо ей говорить. Я не смогла устоять. Я понимаю, что она тебе мать, но все же такая прекрасная любовь. В конце концов начинаешь завидовать... В твоей жизни никогда не будет женщины, которая любила бы тебя так, как она. Это уж точно.

Она была права. Но тогда я еще не понимал этого. Я почувствовал это только к сорока годам. Плохо и рано быть так сильно любимым в юности, это развивает дурные привычки. Вы думаете, что это пришло. Верите, что любовь ожидает вас где-то, стоит только поискать. Вы полагаетесь на нее. Ищете, надеетесь, ждете. Через материнскую любовь на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет. Поэтому до конца своих дней вы вынуждены есть всухомятку. Позже, всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятиях, вы понимаете, что это не то. Вы постоянно будете возвращаться на могилу своей матери, воя как покинутый пес. Никогда больше, никогда, никогда! Восхитительные руки обнимают вас за шею, и нежнейшие губы шепчут о любви, но вы-то знаете. Вы слишком рано прильнули к источнику и выпили его до дна. Когда вас вновь охватывает жажда, вы вольны бросаться куда угодно, источник иссяк — остались только миражи. С первым лучом зари вы познали истинную любовь, оставившую в вас глубокий след. Повсюду с вами яд сравнения, и вы томитесь всю жизнь в ожидании того, что уже получили.

Я не говорю, что надо помешать матерям любить своих малышей. Но

уверен, что было бы лучше, если бы они любили кого-нибудь еще. Будь у моей матери любовник, я не проводил бы свою жизнь, умирая от жажды у каждого фонтана. На свою беду, я знаю себе цену.

Глава V

История с Марьетт закончилась самым неожиданным образом. Однажды утром, демонстративно отправившись в лицей с ранцем под мышкой, я галопом примчался обратно, чтобы встретить свою красавицу, которая приходила к нам в половине девятого. В свою очередь мама, взяв чемоданчик, поехала в Канн, надеясь сбыть «фамильные драгоценности» англичанам из отеля «Мартинес». Нам явно ничто не угрожало, но злой рок, со свойственным ему свинством, устроил забастовку водителей автобусов — и мать вернулась домой. Едва открыв дверь, она услышала стоны и, думая, что я умираю от приступа аппендицита — боязнь аппендицита неотступно преследовала ее,— бросилась ко мне на помощь. Только что успокоившись, я пребывал в состоянии блаженства и почти полной безучастности, которое является одним из самых крупных достижений в этом мире. В свои тринадцать с половиной лет я чувствовал, что моя жизнь полностью удалась, что я выполнил свое предназначение, и, пребывая среди богов, невозмутимо созерцал пальцы своей ноги — единственное напоминание о земле, которую я когда-то посетил. Это был момент наивысшего философского спокойствия, к которому моя душа, склонная к воспарению и безмятежности, всегда стремилась в дни мечтательной юности; момент, когда пессимистические и грустные доктрины о превратностях судьбы и несовершенстве человека рушатся как жалкие измышления перед очевидностью красоты жизни, лучезарной в своей полноте, мудрости и величайшем блаженстве. Находясь в эйфории, я воспринял приход матери как явление разбушевавшейся стихии — милостиво. Я любезно улыбнулся ей. Реакция Марьетт была несколько иной. Пронзительно вскрикнув, она вскочила с кровати. Затем последовала довольно любопытная сцена, которую я наблюдал с большим интересом с высоты своего Олимпа. Мать, все еще держа в руке трость, быстрым взглядом оценила весь размах катастрофы и, подняв руку, мгновенно перешла к действию. С ужасающей точностью трость обрушилась на физиономию моего учителя математики. Марьетт взвыла и попыталась защитить столь привлекательную часть своей особы. В комнате поднялся страшный шум, перекрывавшийся старинным русским словом *курва* с такой трагической силой, на которую был способен только голос моей матери.

Должен признаться, что моя мать бранилась превосходно: несколькими меткими словами ее поэтически-ностальгическая натура мастерски воссоздавала атмосферу «На дне» Горького или «Бурлаков на Волге», в зависимости от обстоятельств. Довольно было пустяка, чтобы эта изысканная седовласая дама, внушавшая такое доверие покупателям «фамильных драгоценностей», вдруг принималась воскрешать перед ошарашенной аудиторией всю Святую Русь пьяных кучеров, мужиков и фельдфебелей; у нее, бесспорно, был великий дар воссоздания прошлого голосом и жестами, и подобные сцены наглядно подтверждали, что в молодости она и вправду была великой актрисой, о чем часто любила упоминать.

Однако мне так никогда и не удалось до конца убедиться в этом. Конечно же, я знал, что моя мать была «драматической актрисой»,— с какой гордостью она всю жизнь говорила об этом! — я помню себя в возрасте пяти или шести лет на заснеженных просторах, куда нас забрасывали ее случайные театральные турне, или в санях с унылыми бубенцами, на которых мы возвращались с какого-нибудь промозглого завода, где она «играла Чехова» перед рабочими местного Совета, или в какой-нибудь казарме «декламировала поэмы» перед солдатами и матросами Революции. Еще я хорошо помню, как в московском театре, сидя на полу в ее тесной гримерной, забавлялся разноцветными лоскутками, пытаясь подобрать их по всем правилам гармонии,— моя первая попытка художественного самовыражения. Я даже запомнил название пьесы, в которой она в то время

играла: «Собака садовника». Мои первые детские воспоминания — театральные декорации, приятный запах дерева и краски, пустая сцена с бутафорским лесом, по которому я пробираюсь с опаской и вдруг в ужасе застываю перед зияющим черным залом. Я до сих пор помню склонявшиеся надо мной улыбающиеся, мертвенно-бледные, размалеванные лица с белыми и черными кругами под глазами, странно одетых мужчин и женщин, державших меня на коленях, пока мать играла на сцене; помню также советского матроса, посадившего меня к себе на плечи, чтобы я лучше видел мать, игравшую Розу в «Гибели надежды». Я даже помню ее сценическое имя — это были первые слова, которые я самостоятельно выучился читать на дверях ее гримерной: Нина Борисовская. Похоже, что в узком театральном кругу 1919—1920 годов ее реноме было довольно прочным. Однако Иван Мозжухин, известный киноактер, знавший мою мать в начале ее театральной карьеры, отзывался о ней весьма уклончиво. Уставившись на меня своими блеклыми глазами из-под бровей Калиостро на террасе «Гранд Блё», куда он приглашал меня всякий раз, когда снимался в Ницце, чтобы посмотреть, «каким я стал», он говорил: «Вашей матери следовало закончить консерваторию; к сожалению, жизнь сложилась так, что ей не удалось раскрыть свой талант. К тому же, молодой человек, после вашего рождения её уже ничто, кроме вас, не интересовало». Еще я знал, что она была дочерью еврея-часовщика из Курска и очень хороша собой; ушла из дома в возрасте шестнадцати лет, вышла замуж, развелась, вновь вышла замуж, опять развелась, а потом — щека, прильнувшая к моей щеке, певучий голос, который шептал, говорил, пел, смеялся — беззаботный смех, редкий по своей веселости, которого с тех пор я томительно жду и напрасно ищу повсюду; аромат ландыша, темные волосы, волнами спадающие мне на лицо, и удивительные истории о моей будущей стране, рассказываемые шепотом. Не знаю, следовало ли ей кончать консерваторию, но талант у нее, бесспорно, был. Она рассказывала мне о Франции с искусством восточных сказочников и до того убедительно, что я до сих пор не могу отделаться от этого наваждения. Даже сегодня меня иногда тянет во Францию, в эту загадочную страну, о которой я так много слышал, но не видал и никогда не увижу, так как Франция в лирических и вдохновенных рассказах моей матери с раннего детства стала для меня сказочным мифом, далеким от реальности, чем-то вроде поэтического шедевра, абсолютно недоступного и недосягаемого для простого смертного. Она прекрасно говорила по-французски, правда, с сильным русским акцентом, который до сих пор чувствуется и у меня, но пожелала оставить в тайне когда, как и благодаря кому выучила его. «Я была в Париже и в Ницце» — это все, чего мне удалось от нее добиться. В промозглой театральной гримерной, в квартире,— которую мы делили с тремя другими актерскими семьями и где вместе с нами жила еще молодая в то время Аньела, моя няня, а после в товарных вагонах, уносящих нас вместе с тифом на Запад, она становилась передо мной на колени, терла мои застывшие руки и продолжала рассказывать о далекой стране, где исполняются самые невероятные мечты, где все равны и свободны, артисты приняты в лучших домах, а Виктор Гюго был Президентом Республики; запах камфарного ожерелья, надетого мне на шею — вернейшее средство от вшей,— ударял в нос; я стану великим скрипачом, знаменитым актером, непревзойденным поэтом, французским Габриеле Д'Аннунцио, Нижинским, Эмилем Золя; у польской границы в Лиде мы попали в карантин; я брел по колено в снегу, одной рукой держась за руку матери, в другой неся ночной горшок, с которым не хотел расставаться еще с Москвы и который стал другом: я очень легко привязываюсь; мне обрили голову; лежа на соломенном тюфяке и глядя вдаль, она в красках рисовала мое радужное будущее; борясь со сном, я широко раскрывал глаза, силясь увидеть то же, что она: рыцаря Баярда, Даму с камелиями; там во всех магазинах есть масло и сахар; Наполеон Бонапарт, Сара Бернар — я наконец засыпал, положив голову на ее плечо и прижимая к себе ночной горшок. Позже, значительно позже,

прожив пятнадцать лет в Ницце и ежедневно сталкиваясь с французской реальностью, с морщинами на лице и совершенно седая, постаревшая — я не скрываю этого,— но так ничего и не понявшая, не заметившая, она все с той же доверчивой улыбкой продолжала говорить об этой удивительной стране, образ которой прихватила с собой вместе с другими пожитками. Я же, воспитанный в этом воображаемом музее доблести и благородства, но не обладая удивительным даром своей матери видеть мир в радужном свете своей души, поначалу долгое время с ужасом смотрел по сторонам и пытался протереть глаза, а повзрослев, бросил миру отчаянный и гордый вызов, чтобы сделать его достойным наивной мечты своей матери, которую я так нежно любил.

Да, у моей матери был талант, который оказал влияние на всю мою жизнь.

А с другой стороны — роковой Агрофф с бульвара Гамбетты, омерзительный одесский торговец, грязный, жирный, обрюзглый, который както сказал мне, когда мы отказались платить ему десять процентов от ежемесячной прибыли за деньги, взятые у него взаймы, чтобы стать пайщиками такси «рено»: «Твоя мать разыгрывает из себя светскую даму, но я знавал ее, когда она пела в кабаках и армейских кафешантанах. Я не обижаюсь. Такая женщина не может оскорбить почтенного коммерсанта». В то время мне было всего четырнадцать лет, и я еще не мог заступиться за свою мать, хотя страстно того желал, поэтому я ограничился парой звонких пощечин, отвешенных почтенному коммерсанту, что и положило начало моей долгой и блистательной карьере раздатчика пощечин и снискало мне славу на весь квартал. В самом деле, с этого дня мать, очарованная моим подвигом, взяла за правило жаловаться мне всякий раз, когда чувствовала себя оскорбленной, даже если бывала не права, заканчивая свой рассказ рефреном: «Он думает, что меня некому защитить, поэтому можно оскорблять безнаказанно. Как он ошибается! Поди дай ему пару пощечин». Я знал, что почти всегда оскорбление было мнимым, ей повсюду мерещились оскорбления, и часто она первая оскорбляла людей без всякого повода, под влиянием своих взвинченных нервов. Но я ни разу не спасовал. Я был в ужасе от этих сцен, нескончаемые пощечины внушали мне отвращение, были невыносимы, но я исполнял свой долг. Вот уже четырнадцать лет, как моя мать жила и боролась в одиночку, и ей очень хотелось, чтобы ее «защищали», чтобы рядом был мужчина. Я набирался храбрости, подавляя стыд, и отправлялся к несчастному ювелиру, мяснику, табачнику или антиквару, о котором шла речь. Дрожа, входил в лавку «заинтересованного» лица, становился перед ним как истукан, сжимал кулаки и говорил дрожащим от возмущения голосом — это возмущение, отдававшее дурным вкусом, было вызвано сыновней любовью: «Месье, вы оскорбили мою мать, получите!» — после чего отвешивал горемыке пощечину. Скоро я снискал славу хулигана с бульвара Гамбетты, но никто не догадывался, какой ужас внушали мне эти сцены и как я страдал от унижения. Пару раз, зная, что она была не права, я пробовал протестовать, и тогда старая дама опускалась передо мной на стул с таким видом, будто у нее подкосились ноги от такой неблагодарности, ее глаза наполнялись слезами, и она смотрела на меня с ужасом, выглядя несчастной и беспомощной.

Тогда я молча вставал и шел драться. Я не могу оставаться безразличным при виде людей, абсолютно не понимающих комизма ситуации, в которой они оказались. Мне тяжко видеть брошенного человека или собаку, а в таких случаях у моей матери был исключительный дар изображать трагичность их положения. Настолько сильный, что едва Агрофф кончил говорить, как схлопотал пощечину, на что он просто ответил: «Хулиган. И неудивительно, чего еще ждать от отпрыска шарлатанки и авантюриста». Так неожиданно раскрылась тайна моего происхождения, которая, впрочем, не произвела на меня никакого впечатления, так как я не придавал значения тому, кем я мог бы быть или не быть в переходный период, зная, что мне обещаны головокружительные вершины, с которых на мою мать посыплются лавры, в счет репараций. Ибо я всегда знал о своей миссии и смирил-

ся с ней; таинственная, но справедливая сила, вершившая человеческими судьбами, бросила меня на чашу жизненных весов, чтобы восстановить равновесие ценой самопожертвования. Я верил в скрытую логику добра, притаившегося в самых темных уголках мира. Верил в справедливость. При виде растерянного лица матери я чувствовал, как крепнет в моей груди необычайная уверенность в своем будущем. В самые тяжелые минуты войны я презирал опасность, чувствуя себя неуязвимым. Со мной ничего не могло случиться, потому что я был ее «*happy end*». В той системе мер и весов, которую человек тщетно пытается навязать миру, я рассматривал себя как *ее* победу.

Эта уверенность возникла у меня не на пустом месте. По-видимому, в ней как в зеркале отразилась вера моей матери, кровно передавшаяся мне по наследству, сделавшая меня ее единственной надеждой и смыслом жизни. Помнится, мне было лет восемь, когда ее грандиозная мечта о моем будущем вызвала скандал, комизм и ужас которого я не забыл до сих пор.

Глава VI

В Польше мы ненадолго остановились в Вильно, «проездом», как любила заметить мать, ожидая отъезда во Францию, где мне предстояло «вырасти, выучиться и стать человеком». Она зарабатывала на жизнь, изготовляя дамские шляпы. Нашу квартиру переоборудовали в «большой салон парижских мод» и наняли шляпницу. Ловкая подделка этикеток вводила в заблуждение клиенток, полагавших, что шляпы изготовлялись известным в то время парижским модельером Полем Пуаре. Еще молодая, с огромными зелеными глазами, озаренными безудержной материнской волей, которую нельзя было ни сломить, ни поколебать, она без устали ходила из дома в дом со своими картонками. Я оставался дома с Аньелой, которая вот уже год, как повсюду следовала за нами от самой Москвы. Мы были на грани катастрофы, последние «фамильные драгоценности» — на этот раз подлинные — уже давно были проданы; в Вильно было страшно холодно, и снежные сугробы все выше поднимались вдоль грязно-серых стен. Шляпы шли плохо. Вечером, возвращаясь домой, она нередко сталкивалась с хозяином квартиры, поджидавшим ее на лестнице и грозившим вышвырнуть нас на улицу, если в течение суток не будет уплачено за квартиру. И обычно за квартиру бывало уплачено. Каким образом, мне никогда не узнать. Но мы всегда платили в срок, у нас всегда горел огонь в печи, и я хорошо помню, какой гордостью и триумфом светились ее глаза, когда она целовала меня. Мы оказались тогда буквально на дне — я не говорю «бедности», потому что с тех пор я понял, что у нее нет дна и можно всю жизнь устанавливать рекорды погружения, так никогда и не исчерпав ее глубины. Возвращаясь из своих странствий по заснеженному городу, мать ставила в угол шляпные коробки, садилась, закуривала сигарету и смотрела на меня, радостно улыбаясь.

— Что случилось, мама?

— Ничего. Поди поцелуй меня.

Я целовал ее в обе щеки, от которых веяло холодом. Прижимая меня к себе и пристально глядя поверх моего плеча, она загадочно улыбалась чему-то вдали. Потом говорила:

— Ты станешь французским посланником.

Я абсолютно не понимал, что это значит, но не возражал. Мне не было тогда и восьми, но я уже решил для себя, что сделаю все, что она захочет.

— Хорошо,— беззаботно соглашался я.

Сидевшая у камина Аньела смотрела на меня с уважением. Мама вытирала счастливые слезы и сжимала меня в объятиях.

— У тебя будет автомобиль.

В десятиградусный мороз она целый день пешком ходила по городу.

— Только надо набраться терпения.

В печке трещал огонь. Снежная завеса за окном окутывала мир тишиной, которую лишь изредка нарушал отдаленный звон бубенцов. Склонив

голову, Аньела вышивала последнюю за этот день шляпную этикетку «Поль Пуаре, Париж». Теперь лицо моей матери было спокойным и счастливым, с него исчезли даже следы усталости; она мысленно перенеслась в сказочную страну, и помимо своей воли я поворачивал голову по направлению ее взгляда, силясь увидеть страну торжествующей справедливости и вознагражденных матерей. Мать рассказывала мне о Франции, как другим детям рассказывают о Белоснежке и Коте в сапогах, и, несмотря на все мои старания, мне так и не удалось до конца отделаться от феерического наваждения героической и доблестной Франции. Видимо, я один из немногих, кто остался верен «сказке кормилицы».

К сожалению, моя мать была не из тех женщин, которые лелеют свою мечту в одиночестве. Она немедленно и с пафосом оповещала о ней, трубила, разносила ее повсюду, обычно сопровождая это лавой и пеплом.

Соседи не любили ее. Хотя у мелких буржуа Вильно и не было повода для зависти, постоянные хождения этой иностранки туда-сюда с чемоданами и картонками вызывали недоверие, и очень скоро о них стало известно польской полиции, которая в ту пору была подозрительно настроена по отношению к русским беженцам. Мою мать обвинили в хранении краденых вещей. Ей ничего не стоило разубедить клеветников, но стыд, обида и возмущение, как всегда, привели ее в ярость. Прорыдав несколько часов кряду среди разбросанных шляп — дамские шляпки навсегда остались моей маленькой слабостью,— она схватила меня за руку и, заявив, что «они не знают, с кем имеют дело», потащила вон, на лестничную площадку. Затем последовала мучительная сцена, которую я запомнил на всю жизнь.

Звоня и стуча в каждую дверь, она просила соседей выйти на лестничную площадку. Обменявшись с ними взаимными оскорблениями — здесь мать всегда одерживала верх,— она прижала меня к себе и, обращаясь к собравшимся, заявила гордо и во всеуслышание — ее голос все еще звучит у меня в ушах:

— Грязные буржуазные твари! Вы не понимаете, с кем имеете честь разговаривать! Мой сын станет французским посланником, кавалером ордена Почетного легиона, великим актером драмы, Ибсеном, Габриеле Д'Аннунцио! Он...

Она запнулась, подыскивая самую верную характеристику наивысшей удачи в жизни, надеясь сразить их наповал:

— Он будет одеваться по-лондонски!

Громкий смех «буржуазных тварей» до сих пор стоит у меня в ушах. Я краснею даже сейчас, вспоминая его, вижу насмешливые, злобные и презрительные лица — они не вызывают у меня отвращения: это обычные лица людей. Может быть, для ясности стоит заметить, что сегодня я Генеральный консул Франции, участник движения Сопротивления, кавалер ордена Почетного легиона, и если я и не стал ни Ибсеном, ни Д'Аннунцио, то все же не грех было попробовать.

И поверьте, одеваюсь по-лондонски. Я ненавижу английский крой, но у меня нет выбора.

Думаю, никакое событие не сыграло такой решающей роли в моей жизни, как этот раскат смеха на лестнице старого вильновского дома № 16 на улице Большая Погулянка. Всем, чего я достиг, я обязан ему как в хорошем, так и в плохом; этот смех стал частицей меня самого.

Прижав меня к себе, мать стояла посреди этого гвалта с высоко поднятой головой, не испытывая ни неловкости, ни унижения. Она *знала*.

В свои без малого восемь лет я обладал обостренным чувством смешного, ощущал всю нелепость ситуации, и этим я немало обязан своей матери. С годами я постепенно научился, что называется, ронять брюки на глазах у всех, не испытывая при этом ни малейшего стеснения. Это важный момент в воспитании человека доброй воли. Я давно уже не боюсь показаться смешным; теперь-то я знаю, что человек никогда не бывает смешон.

Но за те несколько минут, что мы стояли на лестнице, подвергаясь насмешкам, поношению и оскорблениям, моя грудь превратилась в клетку, из которой отчаянно рвался наружу охваченный стыдом и паникой зверь.

В то время во дворе нашего дома был дровяной склад, в глубине которого я любил прятаться и где чувствовал себя в полной безопасности; когда после ловких акробатических трюков — поленницы доходили до второго этажа — мне удавалось проскользнуть внутрь и отгородиться со всех сторон мокрыми и пахучими дровяными стенами, то, совершенно счастливый и никому не доступный, я проводил там долгие часы со своими любимыми игрушками. Родители запрещали детям подходить к этому зыбкому и грозному сооружению: одно смещенное полено или случайный толчок могли привести к крушению всей дровяной пирамиды. Протискиваясь по узким коридорам этого мирка, я добился большой ловкости и чувствовал себя там полным хозяином; один неверный жест мог вызвать обвал, но мне здесь было хорошо — как дома. Осторожно перекладывая поленья, я построил галереи, потайные ходы, тайники — целый надежный и дружеский мир, выгодно отличающийся от реального, в который я проскальзывал как хорек и, затаившись, сидел там, несмотря на сырость, потихоньку пропитывавшую мне штаны и холодившую спину. Я точно знал, какие поленья надо было вытащить, чтобы открыть проход, и, проскользнув внутрь, старательно пристраивал их на место, чтобы чувствовать себя в большей безопасности.

В тот день я помчался в свои дровяные владения, как только это позволили приличия, то есть когда мое бегство не производило впечатления, что я оставляю свою мать один на один с врагом; мы до конца выстояли на площадке и покинули ее последними.

Быстро отыскав свои потайные галереи и пристроив поленья одно за другим на прежние места, я оказался в центре сооружения с пяти- или шестиметровым защитным слоем над головой и уже там, окруженный этим панцирем и в полной уверенности, что никто меня не видит, разразился рыданиями. Плакал я долго. Потом внимательно осмотрел поленья над головой и вокруг себя, чтобы выбрать самые подходящие, которые следовало выдернуть, чтобы покончить со всем разом, чтобы эта крепость обрушилась на меня и освободила от всех бед. Я с благодарностью дотронулся до каждого из них. До сих пор помню это утешительное и дружеское прикосновение, свой сопливый нос и спокойствие, вдруг охватившее меня при мысли, что меня больше никогда не смогут унизить и сделать несчастным. Задача заключалась в том, чтобы одновременно толкнуть поленья спиной и ногами.

Я приготовился.

Как вдруг вспомнил о забытом в кармане пироге с маком, который украл сегодня утром в кондитерской нашего дома, когда продавец занимался с покупателем. Я съел пирог. Потом принял нужное положение и, глубоко вздохнув, приготовился к толчку.

Меня спас кот.

Его мордочка внезапно появилась из-за поленьев прямо перед моим носом, и с минуту мы удивленно смотрели друг на друга. Это был страшно плешивый и паршивый кот цвета апельсинового мармелада, с драными ушами и с такой усатой, преступной и хитрой мордой, какая бывает только у старых котов с богатым жизненным опытом.

Внимательно посмотрев на меня, он принялся лизать мне лицо. Я не питал иллюзий относительно побуждений, подвигших его на проявление такой симпатии — крошки от пирога с маком, смешавшись со слезами, прилипли к моим щекам и подбородку. Лаская меня, он имел свою цель. Но мне было все равно. Я замер от наслаждения, чувствуя его теплый и шероховатый язык, закрыл глаза и отдался ласке — позже, как и тогда, я не пытался понять, что, собственно, скрывалось за знаками внимания, которые мне оказывали. Главное, что рядом была его дружелюбная мордочка и теплый язык, касавшийся моего лица и лизавший меня с такой нежностью и сочувствием. Мне было этого довольно для счастья.

Когда излияния кота кончились, мне стало лучше. Жизнь дарила мне надежды и дружбу, которыми не следует пренебрегать. Мурлыча, кот терся о мое лицо. Я стал ему вторить, и так мы наперебой мурлыкали с ним

какое-то время. Я извлек из кармана крошки от пирога и угостил его. Задрав хвост, он благодарно прильнул к моему носу. Потом куснул меня за ухо. Короче, жизнь стоила того, чтобы жить. Через пять минут я выбрался из своего убежища и, насвистывая и засунув руки в карманы, отправился домой; кот шел за мной по пятам.

С тех пор я понял, что в жизни всегда не худо иметь при себе немного крошек от пирога, если хочешь быть бескорыстно любимым.

Само собой разумеется, что слова *французский посланник* еще долгие месяцы преследовали меня, и когда наконец кондитер Мишка застал меня на месте преступления с огромным куском макового пирога, то для констатации того, что дипломатическая неприкосновенность не распространяется на хорошо известную часть моей особы, собрался весь двор.

Глава VII

Драматическая огласка моего будущего величия, сделанная моей матерью перед жильцами дома № 16 на Большой Погулянке, вызвала смех не у всех присутствовавших.

Среди них был некий господин Пекельный — что по-польски означает «из адского пекла». Не знаю, при каких обстоятельствах предки этого милейшего человека получили столь необычную фамилию, но я впервые видел, чтобы фамилия настолько не вязалась с носившим ее человеком. Господин Пекельный был похож на грустную, педантически чистую и озабоченную мышь; у него был до того скромный, неприметный и отсутствующий вид, какой, наверное, бывает у человека, должного в силу обстоятельств и вопреки всему оторваться от земли. Это была впечатлительная натура, и уверенность, с которой моя мать пророчествовала, по библейской традиции положив руку мне на голову, глубоко взволновала его. Всякий раз, встречаясь со мной на лестнице, он останавливался и серьезно, с уважением смотрел на меня. Пару раз он даже решился потрепать меня по щеке, после чего подарил мне две дюжины солдатиков и картонную крепость. Он даже пригласил меня к себе и щедро угостил конфетами и рахат-лукумом. Пока я объедался — никогда не знаешь, что будет завтра,— маленький человек сидел передо мной, поглаживая порыжевшую от табака бороденку. И вот наконец последовала трогательная просьба, крик души, признание в необузданной и тайно глодавшей его амбиции, таившейся в тихой мышиной груди:

— Когда ты станешь...

Он застенчиво огляделся по сторонам, вероятно сознавая свою наивность, но не в силах совладать с собой.

— Когда ты станешь... всем тем, о чем говорила твоя мать...

Я внимательно смотрел на него. Коробка рахат-лукума была едва начата. Инстинктивно я чувствовал, что имел на нее право только благодаря ослепительному будущему, которое мне пророчила мать.

— Я стану французским посланником,— с апломбом ответил я.

— Бери еще рахат-лукум,— сказал господин Пекельный, пододвигая ко мне коробку.

Я взял. Он тихо кашлянул.

— Матери чувствуют такие вещи,— сказал он.— Может, ты и вправду станешь известным. И даже будешь писать книги или в газетах...

Он наклонился ко мне и положил руку мне на колено. Понизил голос:

— Так вот! Когда ты будешь встречаться с влиятельными и выдающимися людьми, пообещай, что скажешь им...

Внезапно дерзкий огонь честолюбия блеснул в глазах мыши.

— Обещай, что скажешь им: на улице Большая Погулянка, в доме номер шестнадцать, в Вильно, жил господин Пекельный...

Его умоляющий взгляд встретился с моим. Его рука лежала у меня на колене. Серьезно глядя на него, я ел рахат-лукум.

В конце войны, в Англии, куда я прибыл четыре года назад, чтобы продолжать борьбу, ее Величество Елизавета, мать ныне здравствующей

королевы, производила смотр нашей эскадрильи в Хартфорд-Бридже. Вместе с экипажем я стоял навытяжку у нашего самолета. Королева остановилась прямо передо мной и с обворожительной улыбкой, снискавшей ей заслуженную популярность, спросила, откуда я родом. Я тактично ответил: «Из Ниццы», чтобы не путать ее Милостивое Величество. Но вдруг... Это было сильнее меня. Будто наяву, мне представился маленький человек, который волновался и жестикулировал, топал ногой и рвал волосы из своей бороденки, стараясь напомнить о себе. Я попробовал сдержаться, но слова сами собой слетели с языка, и, решившись осуществить безумную мечту человека-мыши, я громко и внятно сказал королеве:

— В Вильно, в доме номер шестнадцать на улице Большая Погулянка жил некий господин Пекельный...

Ее Величество грациозно кивнула и продолжила смотр. Командующий эскадрильей «Лоррен», милейший Анри де Ранкур, ядовито посмотрел на меня.

Ну что ж, я отплатил за свой рахат-лукум.

Добрейшая вильновская мышь давно закончила свою жизнь в крематорных печах нацистов вместе с несколькими миллионами других евреев Европы.

Однако я добросовестно продолжаю выполнять свое обещание при встречах с великими мира сего. На трибунах ООН и во французском посольстве в Лондоне, в Федеральном Дворце в Берне и на Елисейских полях, перед Шарлем де Голлем и Вышинским, перед высокими сановниками и сильными мира сего я никогда не забывал упомянуть о маленьком человеке и, выступая по многим каналам американского телевидения, неоднократно сообщал десяткам миллионов телезрителей, что в доме № 16 на улице Большая Погулянка, в Вильно, некогда жил господин Пекельный, отдавший Богу душу.

Но в конце концов что сделано, то сделано, и кости маленького человека, переработанные после сжигания на мыло, долгое время служили утолению чистоплотности немцев.

Я по-прежнему люблю рахат-лукум. Но мать всегда хотела видеть во мне лорда Байрона, Гарибальди, Д'Аннунцио, д'Артаньяна, Робин Гуда и Ричарда Львиное Сердце — одновременно, и поэтому мне приходится следить за своей фигурой. Я не смог совершить всех подвигов, которых она ждала от меня, но все-таки мне удалось не нагулять слишком большого живота. Ежедневно я делаю зарядку и дважды в неделю бегаю. Я бегаю, бегаю, о, как я бегаю! Кроме того, я занимаюсь фехтованием, стреляю из лука и из пистолета, прыгаю с высоты «рыбкой», упражняюсь с гантелями, а еще могу жонглировать тремя мячами. Конечно же, в сорок пять лет верить всему, о чем вам говорила мама, немного наивно, но я ничего не могу с собой поделать. Мне не удалось переделать мир, победить глупости и злобу, вернуть людям достоинство и справедливость, но все же в 1932 году я выиграл турнир по пинг-понгу в Ницце и до сих пор каждое утро делаю по двенадцать отжиманий, следовательно, мне еще рано отчаиваться.

Глава VIII

Вскоре наши дела пошли лучше. «Парижские модели» имели большой успех, и, не справляясь с заказами, мы наняли еще одну работницу. Мама уже не ходила по домам, теперь клиентура сама хлынула в наш салон. И наконец настал день, когда она поместила в газетах объявление о том, что в дальнейшем по «особой договоренности с господином Полем Пуаре» фирма будет проводить демонстрации не только шляп, но и платьев при непосредственном участии самого патрона. При входе была вывешена табличка «Maison Nouvelle, Haute Couture de Paris» [1], выгравированная золотом. Моя мать никогда не делала чего-то наполовину. Такому удачному началу явно не хватало значительности, великолепия, deus ex machina [2],

[1] «Новый дом парижских моделей».

[2] Бога из машины *(лат.)*.

чтобы победить окончательно и бесповоротно. Задумчиво сидя в салоне на розовом диванчике, с потухшей сигаретой во рту и положив ногу на ногу, она строила смелый план, вдохновенно глядя вдаль, и мало-помалу ее лицо приобретало столь знакомое мне выражение, одновременно сочетавшее в себе коварство, торжество и наивность. Свернувшись в кресле напротив нее, я держал в руке пирог с маком, на этот раз доставшийся мне законным путем. Иногда я поворачивал голову по направлению ее взгляда, но ничего там не видел. Глядя, как мама строит планы, я присутствовал при захватывающем и волнующем спектакле. Я забывал про свой пирог и, раскрыв рот, следил за ней, полный гордости и восхищения.

Признаться, даже для такого маленького городка, как Вильно, этой ни литовской, ни польской, ни русской провинции, где в то время еще не было фотографии, хитрость, придуманная моей матерью, была чересчур смелой и могла в который раз обречь нас на скитания по большим дорогам вместе со всеми нашими манатками.

Вскоре «модницам» Вильно были разосланы приглашения на торжественное открытие Полем Пуаре, специально прибывшим из Парижа, «Нового дома парижских моделей» на улице Большая Погулянка, 16, в четыре часа дня.

Итак, как я уже говорил, когда моя мать принимала решение, она всегда шла до конца и даже несколько дальше. В назначенный день, когда в нашей квартире собралась толпа толстых разряженных дам, она не стала объявлять, что «Поля Пуаре задержали дела и он приносит свои извинения». Такие мелкие хитрости были не в ее натуре. Решив произвести эффект, она предъявила самого Поля Пуаре.

Во времена своей «театральной карьеры» в России она знавала одного бездарного и отчаявшегося французского актера-шансонье, вечно разъезжавшего с периферийными турне, некоего Алекса Губернатиса. Теперь он прозябал в каком-то варшавском театре, изготовляя парики для спектаклей, и сдавил не один череп в тисках своих амбиций, перейдя с ежедневной бутылки коньяка на бутылку водки. Моя мать выслала ему железнодорожный билет, и через восемь дней Алекс Губернатис представлял в «Новом доме моделей» великого законодателя парижской моды Поля Пуаре. Здесь он превзошел самого себя. В немыслимой шотландской накидке, в страшно узких брюках в мелкую клетку, обтягивавших его впалые ягодицы, когда он наклонялся, чтобы поцеловать руку даме, в галстуке в стиле Лавальер, повязанном под резко выдававшимся кадыком, развалясь в кресле и вытянув свои непомерно длинные ноги посреди салона, он держал в руке бокал игристого вина и гнусавым голосом повествовал о великолепии и восторгах парижской жизни, упоминая знаменитостей двадцатилетней давности, и, как вдохновенный Паганини, время от времени нервно теребил свою шевелюру. К несчастью, после полудня на него подействовало игристое, и, попросив тишины, он принялся декламировать собранию второй акт «Орленка» [1], после чего природа взяла свое, и он страшно визгливым голосом затянул песенку из репертуара кафешантана, любопытный и несколько загадочный припев которой я помню до сих пор: «А! ты этого хотела, ты этого хотела, ты этого хотела — ты получила, что хотела, моя Куколка!» Отбивая при этом такт каблуками и щелкая костлявыми пальцами, он лукаво поглядывал на жену дирижера городского оркестра, после чего мать предусмотрительно увела его в комнату Аньелы, где его положили спать, заперев на два оборота. В тот же вечер он в своей шотландской накидке и с оскорбленной душой артиста, пылко протестуя против такой неблагодарности и безразличия к таланту, которым наградило его небо, был посажен в варшавский поезд. В костюме черного бархата я присутствовал на торжественном открытии, пожирая глазами великолепного господина Губернатиса, а через двадцать пять лет вывел его в персонаже Саши Дарлингтона в своем романе «Большая раздевалка».

Мне кажется, что мать задумала это мошенничество не только ради рекламы. Она испытывала потребность в чуде. Всю жизнь ждала какого-то

[1] Драма Эдмона Ростана о сыне Наполеона (1811—1832), рано умершем от туберкулеза. В 1815 году провозглашен отцом римским императором. Никогда не правил.

божественного проявления, мановения волшебной палочки, которое поразило бы неверующих и насмешников и восстановило бы справедливость для обездоленных. За несколько недель до открытия нашего салона она сидела, вдохновенно и зачарованно глядя вдаль, и теперь я знаю, чего она ждала. Ей представлялось, как господин Поль Пуаре появляется перед собравшимися клиентками, поднимает руку, требуя тишины, и, указывая на нее собранию, долго хвалит вкус, талант и артистизм своей единственной представительницы в Вильно. При этом она хорошо знала, что чудеса случаются редко и у неба есть другие заботы. И, виновато улыбаясь, слегка подстроила чудо, предвосхищая тем самым перст судьбы,— однако в этом скорее виновата жизнь, чем моя мать.

Во всяком случае, мошенничество не было замечено, и открытие «Нового дома парижских моделей» прошло блестяще. Сразу же после этого у нас стали одеваться все богатые горожанки. Как из рога изобилия к нам потекли деньги. Квартиру украсили мягкие ковры, а я послушно сидел в кресле, объедаясь рахат-лукумом и глядя, как раздеваются прекрасные дамы. Мать настаивала, чтобы я при этом присутствовал, разодетый в шелка и бархат; меня представляли дамам, подводили к окну и просили закатить глаза к свету, чтобы клиентки должным образом оценили их голубизну; меня гладили по голове, спрашивали, сколько мне лет, восторгались мной, в то время как я, слизывая сахарную пудру с лукума, с интересом вникал в тонкости строения женского тела.

Еще я помню одну оперную певицу Вильно, по фамилии или под псевдонимом — мадемуазель Ля Рар. В то время мне было чуть больше восьми лет.

Мать с модисткой вышли из салона, чтобы в последний раз подогнать «парижскую модель», оставив меня один на один с очень раздетой мадемуазель Ля Рар. Продолжая лизать свой рахат-лукум, я рассматривал ее по частям. Должно быть, что-то в моем взгляде показалось мадемуазель Ля Рар фамильярным, так как она порывисто схватила платье и прикрылась им. Поскольку я продолжал ее рассматривать, то она спряталась за зеркалом туалетного столика. Рассердившись, я обошел столик и встал как истукан перед мадемуазель Ля Рар, расставив ноги, выпятив живот и мечтательно облизывая свой рахат-лукум. Вернувшись, мать застала нас в ледяном молчании стоящими друг против друга.

Помню, как, выведя меня из салона, она сжала меня в объятиях и с такой гордостью поцеловала, как будто я уже начал оправдывать возлагавшиеся на меня надежды.

К сожалению, с этого дня мне запретили появляться в салоне. Я часто говорю себе, что при некоторой ловкости и меньшей откровенности во взгляде можно было бы выиграть по крайней мере еще полгода.

Глава IX

Блага посыпались на нас золотым дождем. Мне наняли гувернантку-француженку и стали одевать в элегантные бархатные костюмы с кружевными и шелковыми жабо, а в непогоду меня наряжали в изумительную беличью шубку, украшенную снаружи сотней серебристых хвостиков, вызывавших веселье прохожих. Мне давали уроки хорошего тона, учили целовать руку дамам, приветствуя их чем-то вроде нырка вперед, щелкая при этом каблуками, и преподносить им цветы. На этих двух моментах — целовании руки и цветах — мамочка особенно настаивала.

— Ты ничего не добьешься без этого,— загадочно говорила она.

Пару раз в неделю, когда видные клиентки посещали наш салон, гувернантка, предварительно причесав и напомадив меня, сменив носки и тщательно завязав огромное шелковое жабо под моим подбородком, предоставляла мне возможность совершить свой выход в свет.

Я шел от дамы к даме, склоняясь в поклоне, щелкая каблуками, целуя руки и закатывая глаза как можно выше к свету, как учила меня мама. Дамы вежливо восторгались, и те, которые бывали особенно тронуты, как

правило, получали значительную скидку в цене на «последние парижские модели». Я же, желая доставить удовольствие той, которую так любил, закатывал глаза к свету при каждом удобном случае, не дожидаясь даже, когда меня об этом попросят, а для собственного удовольствия шевелил ушами — маленький талант, секрет которого я недавно узнал у своих товарищей по двору. После этого, вновь поцеловав руки дамам, поклонившись, щелкнув каблуками, я весело мчался к дровяному складу, где, нахлобучив бумажную треуголку и вооружившись палкой, защищал Эльзас-Лотарингию, шел на Берлин и завоевывал мир вплоть до полдника.

Перед сном мама часто заходила в мою комнату. Наклоняясь ко мне, она грустно улыбалась. Потом просила:

— Посмотри на меня...

Я смотрел. Она долго стояла, склонившись надо мной. Потом целовала и прижимала к себе. Я чувствовал ее слезы на своих щеках. Наконец я усомнился в том, что в моих глазах было что-то загадочное и что я был причиной этих тревожных слез. Кончилось тем, что я спросил об этом Аньелу. Как только наши дела пошли лучше, Аньела была произведена в ранг «директрисы заведения» и получала щедрое вознаграждение. Она ненавидела мою гувернантку, разлучившую меня с ней, и делала все возможное, чтобы отравить жизнь «мамзель».

Итак, однажды, бросившись в ее объятия, я спросил:

— Аньела, почему мама плачет, когда смотрит мне в глаза?

Аньела смутилась. Она жила с нами с моего рождения, и мало было такого, чего бы она не знала.

— Это из-за их цвета.

— Но почему? Что в них такого?

Аньела глубоко вздохнула.

— Они заставляют ее мечтать,— неопределенно ответила она.

Прошло много лет, прежде чем я понял. В то время матери было уже шестьдесят, а мне двадцать четыре, но ее взгляд с бесконечной тоской часто искал мои глаза, и я прекрасно понимал, что при этом она вздыхала не обо мне. Пусть ее смотрит. Да простит меня Бог, что уже в зрелом возрасте мне как-то раз снова пришлось поднять глаза к свету и долго оставаться так, чтобы облегчить ее воспоминания: я всегда делал для нее все что мог.

Ничто не упускалось в моем воспитании, чтобы вырастить меня светским человеком. Мать сама учила меня танцевать польку и вальс — единственные танцы, которые она знала.

После ухода клиентов зал весело освещался, ковер свертывался, на стол ставился граммофон и мама садилась в недавно купленное кресло в стиле Людовика XVI. Я подходил к ней, кланялся, брал ее под руку, и — раз-два-три! раз-два-три! — мы пускались по паркету под неодобрительные взгляды Аньелы.

— Держись прямо! Следи за темпом! Выше подбородок и с приятной улыбкой смело смотри на даму!

Я поднимал подбородок, очаровательно улыбался и — раз-два-три! раз-два-три! — несся вскачь по зеркальному паркету. Затем я провожал мать до ее кресла, целовал ей руку и кланялся, а она, обмахиваясь веером, благодарила меня грациозным кивком головы. Порой, пытаясь отдышаться, она убежденно говорила:

— Ты выиграешь на скачках.

Вероятно, она уже видела, как я, в белой форме гвардейского офицера, беру некий барьер под обезумевшим от любви взглядом Анны Карениной. В порывах ее воображения было что-то устаревшее и романтически старомодное; наверное, она пыталась таким образом воссоздать вокруг себя мир, о котором имела представление из русских романов до 1900 года, на котором для нее заканчивалась настоящая литература.

Трижды в неделю мать брала меня за руку и водила в манеж лейтенанта Свердловского, где он собственноручно посвящал меня в таинства верховой езды, фехтования и стрельбы из пистолета. Это был высокий худощавый человек моложавого вида с костлявым лицом и огромными

седыми усами на манер Лиотэ [1]. В свои восемь лет я, конечно же, был самым юным его учеником и с трудом поднимал огромный пистолет, который он мне протягивал. После получаса фехтования, получаса стрельбы, получаса верховой езды — гимнастика и дыхательные упражнения. Мама сидела в уголке, куря сигарету и одобрительно наблюдая за моими успехами.

Лейтенант Свердловский, говоривший замогильным голосом и, похоже, не знавший в жизни других страстей, кроме как «брать на мушку» и «целиться в сердце», восхищался мамой безгранично. Наше прибытие на стенд всегда вызывало проявление симпатии. Я вставал перед барьером рядом с другими стрелками — офицерами запаса, генералами в отставке, элегантными праздными молодыми людьми, клал руку на бедро, опирал тяжелый пистолет на руку лейтенанта, набирал воздуха, задерживал дыхание, стрелял. После этого маме показывали мишень. Она осматривала маленькую дырочку, сравнивала результат с предыдушим сеансом и одобрительно сопела. После особо удачного выстрела она прятала мишень в сумку и несла ее домой. Часто она говорила мне:

— Ты будешь меня защищать, верно? Еще немного и ...

Она делала неопределенный и широкий жест, русский жест. При этом лейтенант Свердловский поглаживал свои длинные негнущиеся усы, целовал маме руку, щелкал каблуками и говорил:

— Мы сделаем из него кавалера.

Он сам учил меня фехтованию и таскал в дальние загородные походы с рюкзаком за плечами. Кроме того, мне давали уроки латинского и немецкого — английский в то время не был в моде или же рассматривался матерью как коммерческая надобность мелких людишек. Еще я разучивал шимми и фокстрот с некой мадемуазель Глэдис, а когда у мамы был прием, меня часто будили, одевали, тащили в салон и просили прочесть басни Лафонтена, после чего, должным образом закатив глаза к люстре, поцеловав руки дамам, щелкнув одной ногой о другую, я получал разрешение удалиться. При такой программе у меня не было времени ходить в школу; впрочем, занятия на польском, а не на французском, на наш взгляд, абсолютно не представляли интереса. Но я брал уроки математики, истории, географии и литературы у преподавателей, имена и лица которых стерлись из моей памяти почти так же, как и предметы, которые они мне преподавали.

Иногда мама заявляла:

— Сегодня мы идем в кино.

И вечером, выряженный в свою беличью шубку или, в случае теплой погоды, в белый плащ и матросскую шапочку, я шагал по деревянным тротуарам города, ведя мать под руку. Она ревностно следила за моими манерами. Я постоянно должен был открывать перед ней дверь и держать ее распахнутой, пока она проходила. Однажды в Варшаве, выходя из трамвая, я вспомнил, что дам следует пропускать вперед, и галантно посторонился перед ней. Мать немедленно устроила мне сцену на глазах у двадцати пассажиров, столпившихся сзади: до моего сведения было доведено, что кавалер должен спуститься первым и подать руку даме. А от привычки целовать руку я не могу отделаться до сих пор. В Америке это постоянно приводит к недоразумениям. В девяти случаях из десяти, когда после недолгой мускульной борьбы мне удается поднести к губам руку американки, она бросает мне удивленное «*Thank you!*», или же, приняв это как знак особого внимания, в волнении вырывает руку, или, что еще более мучительно, особенно если дама в зрелом возрасте, награждает меня слегка игривой улыбкой. Подите-ка объясните им, что я просто поступаю так, как учила меня мать.

Не знаю, фильм ли, который мы смотрели, или взволнованность моей матери после сеанса оставили во мне такое странное и неизгладимое воспоминание. Я до сих пор чувствую на себе пристальный взгляд главного

---

[1] Луи Юбер Лиотэ (1854—1934) — маршал Франции, военный министр (1916—1918).

героя в черной черкеске и меховой шапке, который глядел на меня с экрана своими светло-голубыми глазами из-под разлетающихся крыльями бровей, в то время как пианист в зале наигрывал ностальгическую и прихрамывающую мелодию. Выйдя из кинотеатра, мы шли по пустынному городу, держась за руки. Время от времени мама до боли сжимала мне руку. Тогда я оборачивался к ней и видел, что она плачет. Дома она помогла мне раздеться и, сев у моей кровати, попросила:

— Посмотри на меня...

Я поднял глаза к лампе. Она долго сидела, склонившись надо мной, потом с загадочной улыбкой триумфа, гордости и обладания притянула меня к себе и сжала в объятиях. Вскоре после нашего похода в кино в городе давали костюмированный бал для детей высшего общества. Само собой разумеется, что я был приглашен; в то время мать была законодательницей местной моды и с нами очень считались. Как только мы получили приглашение, все ателье целиком переключилось на изготовление моего костюма.

Стоит ли говорить, что на балу я был в черкеске, в меховой шапке, с кинжалом, с патронташем...

Глава X

Однажды мне прислали неожиданный подарок, который будто с неба упал. Это был детский велосипед, как раз по моему росту. Имя загадочного благодетеля мне не открыли, и все мои вопросы остались без ответа. Аньела, долго рассматривавшая велосипед, только сказала злобно:

— Это издалека.

Мать долго спорила с Аньелой, принять ли подарок или вернуть его отправителю. Мне не разрешили при этом присутствовать, но с сжимающимся от страха сердцем и обливаясь потом при мысли, что чудесная машина может от меня ускользнуть, я приоткрыл дверь салона и уловил обрывки загадочного разговора:

— Мы в нем больше не нуждаемся.

Это было сказано Аньелой, строго. Мама плакала, сидя в углу. Тогда Аньела прибавила:

— Он слишком поздно о нас вспомнил.

Потом умоляющий голос матери — странно, у нее не было привычки умолять,— почти застенчиво:

— Все же это мило с его стороны.

После чего Аньела заключила:

— Он мог бы вспомнить о нас пораньше.

Меня интересовало тогда только одно: останется ли у меня велосипед. Мать в конце концов разрешила. Она имела привычку окружать меня учителями: учитель каллиграфии — господи, сжалься над ним! если бы бедняга увидел мой почерк, то перевернулся бы в гробу; учитель стилистики, учитель хорошего тона — здесь я тоже не проявил больших успехов — из его уроков я усвоил только одно — не оттопыривать мизинец, когда держишь чашку чая; учитель фехтования, стрельбы, верховой езды, гимнастики... Отец бы лучше справился с делом... Короче, получив велосипед, я тотчас приобрел и учителя по езде на велосипеде, и после нескольких падений и неприятностей гордо покатил по крупномощенным улицам Вильно в сопровождении грустного и долговязого молодого человека в соломенной шляпе — знаменитого спортсмена квартала. Мне категорически запрещалось кататься одному.

Однажды утром, возвращаясь с прогулки с моим инструктором, я увидел небольшую толпу у нашего подъезда, обалдело глазевшую на желтый автомобиль с открытым верхом, стоявший у ворот: за рулем сидел шофер в ливрее. Я разинул рот, выпучил глаза и остолбенел при виде такого чуда. Автомобили были еще довольно редки на улицах Вильно. Мой товарищ помладше, сын сапожника, шепнул мне почтительно: «Это к вам». Бросив велосипед, я помчался домой.

Дверь мне открыла Аньела и, ни слова не говоря, схватила за руку и потащила в комнату. Здесь она стала тщательно приводить меня в поря-

док. Ателье мод пришло ей на помощь, и все девушки под руководством Аньелы принялись меня тереть, мылить, мыть, душить, одевать, раздевать, снова одевать, обувать, причесывать и помадить с таким усердием, которого мне никогда больше не довелось испытать и которого тем не менее я постоянно жду от тех, кто меня окружает. Часто, возвращаясь со службы, я закуриваю сигару, сажусь в кресло и жду, что кто-нибудь придет позаботиться обо мне. Я напрасно жду. Напрасно утешаю себя мыслью, что в наше время ни один трон не может быть прочен: маленький принц во мне продолжает удивляться. В конце концов я встаю и иду принять ванну. Я вынужден сам разуться и раздеться. Некому даже потереть мне спину. Я взрослый и непонятный человек.

Более получаса возились со мной Аньела, Мария, Стефка и Халинка. Затем, с пылающими и распухшими от щеток ушами, с огромным белым шелковым бантом на шее, в белой рубашке, голубых брюках, в туфлях с бело-голубыми бантами, меня ввели в гостиную.

Гость сидел в кресле, вытянув ноги. Меня поразил его странный взгляд — серьезный и пристальный и как будто звериный — из-под бровей, придававших его глазам что-то крылатое. Чуть ироническая улыбка блуждала на его сжатых губах. Я видел его в кино два или три раза и тотчас же узнал. Он долго и холодно, с нескрываемым любопытством рассматривал меня. Я очень волновался, мои уши гудели и горели, я чихал, утопая в парах одеколона, и смутно чувствовал, что происходит что-то важное, но не знал что. Моя светская жизнь тогда только начиналась. Короче, совершенно одурев и потерявшись от приготовлений, предшествовавших моему появлению в салоне, смутившись от пристального взгляда и загадочной улыбки посетителя и, кроме того, от встретившей меня тишины и странного поведения матери, которую я никогда не видел такой бледной, натянутой, с застывшим как маска лицом, я совершил непоправимую ошибку. Как хорошо выдрессированный пес, который уже не может остановиться, не показав своего номера, я подошел к даме, сопровождавшей иностранца, поклонился, щелкнув одной ногой о другую, поцеловал ей руку, а затем, подойдя к самому гостю, совершенно потерял педали и поцеловал и ему руку.

Моя оплошность имела счастливый результат. Ледяное молчание, царившее в зале, сразу же исчезло. Мать схватила меня на руки. Прекрасная рыжеволосая дама в платье абрикосового цвета тоже поцеловала меня. А гость, пока я плакал навзрыд, сознавая чудовищность своего промаха, усадил меня к себе на колени и предложил прокатиться на автомобиле, что мгновенно высушило мои слезы.

Потом я часто видел Ивана Мозжухина на Лазурном берегу в «Гранд Блё», где мы вместе пили кофе. Он был известной кинозвездой немого кино. С появлением звукового сильный русский акцент, от которого он даже не попытался избавиться, очень затруднил его карьеру, и потихоньку его забыли. Он часто брал меня статистом в свои фильмы, последний раз в 1935 или 1936 году, в фильм о контрабандистах и подводниках, где под конец он исчезал в облаке дыма на тонущем корабле, обстрелянном Гарри Бором[1]. Фильм назывался по-русски *«Ничего»*. Мне платили пятьдесят франков в день, целое состояние. Я должен был смотреть на море, облокотившись на борт. Это была самая лучшая роль в моей жизни.

Мозжухин умер в начале войны, забытый и нищий. Он до конца сохранил свой удивительный взгляд и то естественное достоинство, которое было ему свойственно: молчаливое, немного высокомерное, ироничное и сдержанно-разочарованное.

Я часто договариваюсь с фильмотеками, чтобы мне показали его старые фильмы.

Он всегда играет в них романтических героев и благородных авантюристов: спасает империи, побеждает на шпагах и пистолетах, гарцует в белой форме гвардейского офицера, похищает прекрасных пленниц, не

---

[1] Гарри Бор (1880—1943) — французский актер театра и кино.

дрогнув, выдерживает пытку на службе государя, все женщины умирают от любви к нему... Выходя оттуда, я содрогаюсь при мысли о том, чего ждала от меня мать. Впрочем, каждое утро я продолжаю делать гимнастику, чтобы поддержать форму.

В тот же вечер наш гость уехал, сделав великодушный жест по отношению к нам. Целых восемь дней «паккард» канареечного цвета и шофер в ливрее оставались в нашем распоряжении. Погода стояла прекрасная, и желание оставить тряские мостовые города и поехать кататься в литовские леса напрашивалось само собой.

Но моя мать была не из тех женщин, которые теряют голову и пьянеют с приближением весны. Она всегда чувствовала момент, чтобы взять реванш и поставить на место своих врагов. Поэтому она воспользовалась автомобилем исключительно в этих целях. Каждое утро к одиннадцати часам мать наряжала меня в самые лучшие костюмы — сама она одевалась с образцовой скромностью,— шофер открывал дверцу, мы садились в машину, и на протяжении двух часов автомобиль с открытым верхом медленно ездил по городу, доставляя нас во все людные места, где собиралось «хорошее общество»: в кафе «Рудницкий», в ботанический сад,— и моя мать никогда не упускала случая раскланяться, снисходительно улыбаясь, с теми, кто ее плохо принимал, оскорблял или же держался свысока в то время, когда она ходила по домам со своими картонками.

Восьмилетним детям, дочитавшим мою повесть до этой страницы и, подобно мне, пережившим раньше времени самую большую любовь в своей жизни, я хотел бы дать несколько практических советов. Мне кажется, что все они, как и я, страдают от холода и часами греются на солнышке, надеясь обрести хоть частицу тепла, которое когда-то испытали. Кроме этого, рекомендую им продолжительное пребывание в тропиках. Не следует пренебрегать и хорошо растопленным камином; немалую помощь может оказать и алкоголь. Я также рекомендую им последовать примеру одного восьмилетнего мальчика, моего знакомого, тоже единственного сына, который является французским посланником в одной из стран. Он заказал себе пижаму, матрас и одеяло с электрическим подогревом. Попробуйте. Я не говорю, что это заставит вас забыть материнскую любовь, но это помогает.

Видимо, настало время откровенно обсудить один деликатный вопрос с риском шокировать некоторых читателей и прослыть сыном-извращенцем среди приверженцев модных психоаналитических школ. Я никогда не питал порочных чувств по отношению к своей матери. Я знаю, что мой отказ смотреть правде прямо в глаза мгновенно вызовет улыбку у посвященных, так как никто не может поручиться за свое подсознание. Хочу также добавить, что, будучи невеждой, я все же почтительно отношусь к эдипову комплексу, открытие которого прославило Запад наряду с нефтью Сахары и, бесспорно, явилось плодотворнейшим исследованием природных богатств человеческих недр. Скажу больше: помня о своем азиатском происхождении и желая оказаться достойным развитого европейского сообщества, которое так великодушно приняло меня, я часто пытался думать о своей матери под углом зрения либидо [1], чтобы дать выход своему комплексу, в наличии которого я не позволял себе сомневаться, и продемонстрировать его в ярком свете культуры, стремясь главным образом доказать, что я не из робкого десятка и что если европейской цивилизации потребуются духовные наставники, то она может полностью на меня рассчитывать. Но все безуспешно. Тем не менее я твердо знаю, что среди моих татарских предков были быстрые всадники, которые, если их репутация соответствует действительности, не останавливались ни перед насилием, ни перед кровосмесительством, ни перед любым другим из наших табу. Здесь, не надеясь оправдаться, я все же хочу объясниться. Мне действительно ни разу не пришло в голову физически пожелать свою мать, но причина этому не кровные узы, а скорее то, что она была уже пожилой женщиной, а у меня сексуальный акт всегда ассоциировался с молодостью и свежестью. Признаться, из-за своей восточной крови

[1] Фрейдистский термин, обозначающий влечение сексуального характера.

я всегда был восприимчив к обаянию юности, и с годами эта склонность, как ни грустно признаваться в этом, только усиливалась во мне, что, как известно, является почти всеобщей закономерностью у азиатских сатрапов.

Итак, мне кажется, что я питал к своей матери, которую никогда не знал молодой, исключительно платонические и сердечные чувства. Будучи не глупее других, я понимаю, что такое утверждение не преминет быть истолковано должным образом, то есть наоборот, изворотливыми паразитами и душегубами, коими являются три четверти современных психотерапевтов. Эти умники доходчиво объяснили мне, что если вас слишком сильно тянет к женщинам, то на самом деле вы — тайный гомосексуалист; если интимный контакт с мужчиной вызывает у вас отвращение,— признаться ли, что это мой случай? — то вы в зачатке любитель этого, и наконец, следуя и дальше их железной логике, если контакт с трупом глубоко отвратителен вам, то подсознательно вы склонны к некрофилии и, будь вы мужчина или женщина, вас одинаково и неудержимо влечет эта окоченевшая красота. В наше время психоанализ, как и все идеи, принимает нелепую тоталитарную форму, пытаясь заключить нас в оковы своих собственных извращений. Он заполонил умы маниакальными идеями, ловко завуалировав их семантическим жаргоном, который выработал собственные способы анализа и привлекает клиентуру методом запугивания и психологического шантажа, подобно американским рэкетирам, навязывающим вам свою протекцию. Я с удовольствием оставляю шарлатанам и полоумным, управляющим нами в стольких областях, труд объяснить мои чувства к матери какой-либо патологической опухолью. Учитывая, чем стали свобода, братство и благороднейшие чаяния людей в их руках, я не вижу, почему простой сыновной любви не превратиться в их больном воображении в некую крайность.

Я тем легче примирюсь с их диагностикой, что никогда не рассматривал кровосмесительство с точки зрения смертного греха и вечного проклятия, как лживая мораль рассматривает сексуальные излишества, которые для меня занимают чрезвычайно скромное место на монументальной шкале человеческой деградации. Все неистовства кровосмесительства представляются мне куда более безобидными, чем ужас Хиросимы, Бухенвальда, военного трибунала, полицейского террора и пыток; в тысячу раз безобиднее, чем лейкемия и другие «приятные» последствия генетических исследований наших ученых. Никто никогда не заставит меня искать в сексуальных порывах людей критерий добра и зла. Мрачная физиономия какого-нибудь выдающегося физика, рекомендующего цивилизованному миру продолжать ядерные взрывы, мне куда более ненавистна, чем мысль о том, что сын спит со своей матерью. На фоне интеллектуальных, научных и идеологических извращений двадцатого века сексуальные извращения находят в моем сердце самые нежные извинения. Женщина, занимающаяся проституцией за деньги, представляется мне сестрой милосердия и честной дарительницей хлеба насущного по сравнению с проституцией ученых, продающих свои мозги для разработки генетических ядов и атомного кошмара. По сравнению с душевными и умственными извращениями, в которые пускаются эти предатели рода человеческого, наши сексуальные измышления — продажные или нет, кровосмесительные или нет — вокруг трех жалких сфинктеров, которыми наградила нас природа, выглядят ангельски невинно, как улыбка младенца.

И наконец, чтобы окончательно вырваться из этого порочного круга, добавлю еще, что догадываюсь, насколько ловко мое желание свести к минимуму кровосмесительство может быть истолковано как уловка подсознания, стремящегося приручить все то, что одновременно внушает ужас и сладостно притягивает, и посему, трижды прокружившись под дорогой моему сердцу старинный венский вальс, я возвращаюсь к своей смиренной любви.

Так как едва ли стоит говорить, что продолжать этот рассказ заставляет меня свойственная каждому из нас благодарность и любовь: я любил свою мать ни больше, ни меньше, ни иначе, чем любой из смертных.

Я по-прежнему искренне верю, что мое юношеское стремление бросить мир к ее ногам было в общем-то безличным, и — каждый может судить по-своему, прислушиваясь к голосу собственного сердца,— какой бы сложной ни была природа связывавших нас уз, одно, по крайней мере, ясно мне теперь, когда я в последний раз подвожу итог своей жизни: для меня здесь шла речь скорее не о судьбе любимого человека, а об отчаянном желании торжественно осветить судьбу человека вообще.

Глава XI

Мне было почти девять лет, когда я впервые влюбился. Неистовая, всепоглощающая страсть, охватившая меня, полностью отравила мое существование и едва не стоила мне жизни.

Ей было восемь лет, и ее звали Валентиной. Я мог бы долго, до изнеможения, описывать ее, и будь у меня голос, никогда не перестал бы воспевать ее красоту и нежность. Это была хорошо сложенная светлоокая брюнетка в белом платье и с мячом в руках. Я столкнулся с ней на дровяном складе, в той его части, где начинались заросли крапивы, тянувшиеся до изгороди соседнего сада. Как описать волнение, охватившее меня: помню только, что ноги у меня стали как ватные, а сердце застучало так сильно, что у меня потемнело в глазах. Твердо решив раз и навсегда обворожить ее, чтобы в ее жизни не осталось места для другого мужчины, я поступил так, как учила меня мать, и, небрежно облокотившись о поленницу, закатил глаза к свету, надеясь покорить ее. Но Валентина была не из впечатлительных натур. Я долго глядел на солнце, пока по моему лицу не покатились слезы, но злодейка все это время продолжала играть в мяч, не проявляя ко мне ни малейшего интереса. У меня глаза вылезали из орбит, все вокруг подернулось огнем и пламенем, а Валентина даже не посмотрела в мою сторону. Вконец растерявшись от такого безразличия, в то время как столько прекрасных дам в салоне моей матери приходило в восторг от голубизны моих глаз, полуослепший и, так сказать, разом растративший весь запас горючего, я вытер слезы и, безоговорочно капитулировав, протянул ей три зеленых яблока, только что украденных в саду. Она взяла их и сообщила мне, как бы между прочим:

— Янек съел ради меня всю свою коллекцию марок.

Так начинались мои мучения. Считая с этого дня, я съел для Валентины несколько пригоршней земляных червей, множество бабочек, килограмм вишневых косточек, мышь, а в завершение я вправе утверждать, что в свои девять лет, то есть будучи намного моложе Казановы, я попал в число прославленных любовников всех времен, совершив геройский поступок, которому, насколько мне известно, не было равных,— я съел галошу ради своей возлюбленной.

Здесь я должен сделать оговорку.

Как известно, мужчины слишком хвастливы, когда заходит речь об их любовных подвигах. Послушать их, так их подвиги не знают границ, и они не щадят вас, вдаваясь в детали.

Поэтому можете мне не верить, но ради своей возлюбленной я съел также японский веер, десять метров бечевки, килограмм вишневых косточек — правда, Валентина облегчила мне дело, поедая ягоды и протягивая мне косточки,— и три красные рыбки, которых мы выловили в аквариуме ее учителя музыки.

Боже мой, чего только не заставляли меня глотать женщины, но я в жизни не встречал такой ненасытной натуры. Это была Мессалина и Теодора Византийская, вместе взятые. Можно сказать, что, пройдя через все испытания, я знал *все* о любви. Мое ученичество закончилось. С тех пор я только продолжал в том же духе.

Моей прелестной Мессалине было всего восемь лет, но ее требования превосходили все, что довелось мне узнать за свою долгую жизнь. Она бежала впереди меня по двору, тыкая мне пальцем то на кучу листьев, то песка или на старую пробку, и я безоговорочно подчинялся ей. Мало того,

я был чертовски рад, что кому-то нужен. Однажды она принялась собирать букет ромашек, а я с ужасом смотрел, как он рос у нее в руках,— но я съел и ромашки под ее неусыпным взглядом (она знала уже, что в таких случаях мужчины стараются схитрить), в котором напрасно старался уловить хотя бы отблеск восхищения. Без малейшего намека на уважение или благодарность она умчалась от меня вприпрыжку, чтобы вскоре вернуться с несколькими улитками, которых и протянула мне на ладошке. Я покорно съел улиток вместе с раковинами.

В то время детям еще не раскрывали тайн секса, и я свято верил, что это и есть настоящая любовь. Возможно, я был прав.

Но самое грустное во всем этом заключалось в том, что мне никак не удавалось произвести на нее впечатление. Едва я покончил с улитками, как она небрежно заявила мне:

— Юзек съел ради меня десять пауков и остановился только потому, что мама позвала нас пить чай.

Я вздрогнул. Стоило только отвернуться, как она обманывала меня с моим лучшим другом. Но это я тоже проглотил. Такова сила привычки.

— Можно тебя поцеловать?

— Да. Только не слюнявь мне щеку, я этого не люблю.

Я целовал ее, стараясь не обслюнявить щеку. Стоя на коленях в зарослях крапивы, я целовал и целовал ее. Она рассеянно крутила серсо на пальце. История моей жизни.

— Сколько уже?

— Восемьдесят семь. Можно я дойду до тысячи?

— А тысяча — это сколько?

— Не знаю. Можно тебя в плечо поцеловать?

— Можно.

Я целовал ее в плечо. Но это было не то. Я смутно чувствовал, что за этим скрывалось что-то еще, что-то главное, что ускользало от меня. Мое сердце сильно билось, и я целовал ее в нос, в волосы, в шею, а мне все больше и больше чего-то не хватало; я понимал, что этого недостаточно, что надо было идти дальше, значительно дальше, и в конце концов, потеряв голову от любви и исступления, я сел на траву и снял галошу.

— Хочешь, я ее съем?

Хочет ли она! Ха! Конечно же хочет, ну же! Это была настоящая маленькая женщина.

Она положила серсо на землю и села на корточки. Мне показалось, что в ее глазах мелькнуло уважение. Большего я и не просил. Я взял перочинный нож и отрезал от галоши первый кусочек. Она внимательно следила за мной.

— Ты будешь есть ее сырой?

— Да.

Я проглотил один кусочек, затем другой. Наконец-то ее глаза светились восхищением, и я чувствовал себя мужчиной. И был прав. Я прошел через ученичество. Я отрезал кусочек побольше, немного отдуваясь между глотками, и продолжал в том же духе довольно долго, пока на лбу у меня не выступил холодный пот. Но я не остановился и после этого и, стиснув зубы и пересиливая тошноту, собрался с силами, чтобы не спасовать; с тех пор мне нередко приходилось поступать как настоящему мужчине.

Мне стало очень плохо, и меня забрали в больницу. Когда меня несли на носилках «скорой помощи», мама рыдала, Аньела выла, а девушки из ателье охали. Я очень гордился собой.

Через двадцать лет детская любовь вдохновила меня на написание моего первого романа «Европейское воспитание», а также на некоторые эпизоды в «Большой раздевалке».

Еще долго после этого, странствуя по свету, я возил с собой надрезанную ножом детскую галошу. Мне было двадцать пять лет, затем тридцать, потом сорок, но галоша всегда была со мной, стоило только протянуть руку. В любой момент я готов был приняться за нее, чтобы вновь показать себя с лучшей стороны. Но этого не понадобилось. В конце концов я где-то потерял ее. Жизнь не повторяется дважды.

Наша связь с Валентиной длилась около года и совершенно преобразила меня. Мне постоянно приходилось бороться с соперниками, утверждая и доказывая свое превосходство, ходить на руках, воровать в лавочках, всюду драться и давать сдачи. Наибольшие мучения доставлял мне один мальчишка, не помню, как его звали, который жонглировал пятью яблоками,— и бывали моменты, когда, сидя на камне посреди разбросанных яблок и понурив голову после долгих часов бесплодных усилий, я думал, что жизнь не стоила того, чтобы жить. Все же я перебарывал себя и даже сейчас могу жонглировать тремя яблоками. Часто, став лицом к Океану и бескрайнему горизонту на утесе Биг-Сур, я выставляю одну ногу вперед и исполняю этот номер, чтобы доказать, что я чего-то стою.

Зимой, катаясь с гор на санках, я вывихнул себе плечо, прыгнув с пятиметровой высоты в сугроб на глазах у Валентины, только потому, что не мог спуститься с горы, стоя на санках, как этот сорванец Ян. Как же я ненавидел и до сих пор ненавижу этого Яна! Я так никогда и не узнал, что же, собственно, было между ним и Валентиной, и даже сейчас стараюсь не думать об этом, но он был почти на год старше меня, ему вот-вот должно было исполниться десять, он лучше меня знал женщин и превосходил меня во всем. У него была преступная кошачья физиономия, он был невероятно ловок и метко плевал с пяти метров.

Он пронзительно свистел, засунув два пальца в рот, чему я так никогда и не научился, и по силе свиста с ним могли сравниться только мой друг дипломат Хайме де Кастро и графиня Нелли де Вогюэ. Благодаря Валентине я понял, что материнская любовь и ласка, окружавшие меня дома, не имели ничего общего с тем, что ждало меня впереди, а также, что ни одно завоевание не бывает прочным и окончательным, а нуждается в постоянном сохранении и упрочении. Ян, со свойственной ему грубостью, прозвал меня «голубеньким», и, чтобы избавиться от этого прозвища, казавшегося мне очень обидным, хотя я никогда бы не смог объяснить почему, мне пришлось с удвоенной силой доказывать свою смелость и мужество, и очень скоро я нагнал страх на торговцев всего квартала. Признаюсь без хвастовства, что я выбил больше оконных стекол, украл больше фиников и халвы и позвонил в большее число квартир, чем любой другой мальчишка с нашего двора; еще я научился с легкостью рисковать своей жизнью, что потом мне очень пригодилось на войне, когда такие вещи признавались и поощрялись официально.

Мне особенно запомнилась «смертельная игра», которой мы с Яном частенько развлекались, сидя на краешке подоконника пятого этажа и вызывая восхищение своих товарищей.

Не важно, что Валентины при этом не было, дуэль шла из-за нее, и никто из нас в этом не сомневался.

Суть игры была предельно простой, но по сравнению с ней знаменитая «русская рулетка» казалась милой школьной забавой.

Мы поднимались на лестничную площадку последнего этажа и открывали окно, выходившее во двор; затем усаживались на самый краешек подоконника, свесив вниз ноги. Цинковый карниз за окном был не шире двадцати сантиметров. Игра заключалась в том, чтобы внезапным, но точным ударом так толкнуть партнера в спину, чтобы он съехал с подоконника на парапет и оказался сидящим на узком карнизе.

В эту смертельно опасную игру мы играли бессчетное множество раз.

Как только между нами возникал спор или без всякой видимой причины, в припадке враждебности, молча бросив друг другу вызов, мы поднимались на пятый этаж, чтобы «поиграть».

На редкость рискованный и в то же время лояльный характер этой дуэли заключался, по-видимому, в том, что вы полностью полагались на благородство своего злейшего врага, так как один неверный или злонамеренный удар обрекал вашего партнера на верную смерть пятью этажами ниже.

Я и сейчас ощущаю холодок металлического карниза, на котором сидел свесив вниз ноги, и руки своего соперника, приготовившиеся толкнуть.

Сегодня Ян — видный деятель компартии Польши. Десять лет назад мы встретились с ним в Париже на официальном приеме в польском

посольстве. Я сразу же узнал его. Удивительно, как мало изменился этот мальчишка. В свои тридцать пять лет он остался таким же тощим и бледным, сохранив свою кошачью походку и злой и насмешливый взгляд. Учитывая, что мы встретились там как представители наших уважаемых стран, мы держались учтиво и вежливо. Имя Валентины при этом не упоминалось. Выпив водки, он стал вспоминать о своей борьбе в Сопротивлении, я в нескольких словах рассказал о своей службе в авиации. Мы выпили еще по стаканчику.

— Меня пытали в гестапо,— сказал он.

— Я был трижды ранен,— ответил я.

Мы переглянулись. После чего, по обоюдному согласию, поставили стаканы и устремились на лестницу. Поднявшись на третий этаж, он распахнул передо мною окно: в конце концов мы были в польском посольстве и я был гостем. Я уже приготовился лезть в окно, когда очаровательная и достойнейшая самых прекрасных поэм о любви пани неожиданно вышла из зала. Я тут же вытащил ногу из окна и любезно поклонился ей. Она взяла нас под руки и повела в буфет.

Иногда я с любопытством думаю: что бы сообщила мировая пресса, обнаружив на тротуаре в самый разгар «холодной войны» крупного польского партработника или французского дипломата, выброшенного из окна польского посольства в Париже?

Глава XII

Двор дома № 16 по улице Большая Погулянка казался мне огромной ареной, на которой я осваивал ремесло гладиатора, готовясь к будущим сражениям. Проникнув туда через старые ворота, вы видели посреди двора огромную кучу кирпича — остатки от завода боеприпасов, взорванного партизанами во время патриотических боев между литовской и польской армиями; чуть далее — уже упоминавшийся дровяной склад и огромное пространство, поросшее крапивой, на котором я одержал самые доблестные победы в своей жизни. Дальше, за высокой изгородью, тянулись сады. Во двор выходили дома, стоявшие по двум соседним улицам. Справа были сараи, в которые я часто забирался по крыше, раздвинув несколько досок. Жильцы использовали сараи для хранения мебели; они были забиты сундуками и чемоданами, которые я благоговейно открывал, предварительно сбив замки. Вместе с запахом нафталина от них веяло загадочной жизнью старомодных и потрепанных вещей. Как зачарованный, я часами просиживал посреди найденных сокровищ, разбросанных на полу будто после кораблекрушения. Каждая шляпа, ботинок или шкатулка с пуговицами и медалями говорили о таинственном и неизведанном мире, о мире других людей. Боа из перьев, фальшивая бижутерия, театральные костюмы: шапочка тореадора, цилиндр, пожелтевшая и невзрачная балетная пачка, выщербленные зеркала, из которых, казалось, глядели на меня тысячи зазеркальных лиц, фрак, кружевные панталоны, разорванные мантильи, мундир царской армии с красными, черными и белыми орденскими лентами, альбомы фотографий, открытки, куклы, деревянные лошадки — тот самый хлам, который человечество оставляет после себя как отголосок своего жалкого и несуразного существования. Сидя на сырой земле, холодившей мне зад, я предавался мечтам, разглядывая старые атласы, сломанные часы, черные полумаски, предметы гигиены, букетики фиалок из тафты, вечерние туалеты и старые перчатки, запечатлевшие форму носивших их рук.

Однажды, вскарабкавшись на крышу и отодвинув доску, чтобы спуститься в свое королевство, я увидел посреди своих сокровищ — между фраком, боа и деревянным манекеном — очень занятную парочку. Я ни минуты не сомневался в истинной природе феномена, который мне довелось наблюдать, хотя еще не присутствовал при увеселениях такого рода. Я целомудренно пристроил доску на место, оставив достаточную для наблюдения щелочку. Это были кондитер Мишка и Антония, служанка из

нашего дома. Я был впервые со многим обстоятельно ознакомлен, а также и удивлен. То, что эти двое там выделывали, далеко превосходило те наивные представления, что были в ходу у моих сверстников. Несколько раз я едва не сорвался с крыши, пытаясь разобраться в том, что происходило. Потом, когда я рассказывал об этом своим товарищам, они хором обозвали меня лгуном, а более терпимые объяснили мне, что, глядя сверху вниз, я, должно быть, все видел наоборот и потому не так понял. Но я-то отлично все видел и убежденно и яростно отстаивал свое мнение. В конце концов мы установили дежурство на крыше сарая, вооружившись польским флагом, похищенным у консьержки: было условлено, что, как только любовники появятся, дежурный станет размахивать флагом, подавая сигнал всей братии собираться на наблюдательный пункт. Когда наш дозорный — им оказался малыш Марек Лука, хромой мальчуган с пшеничными волосами — впервые увидел, что происходит, то был настолько потрясен представившимся зрелищем, что ко всеобщему отчаянию забыл про флаг. Зато он слово в слово повторил мое описание этого странного процесса и сделал это с такой красноречивой мимикой и жаром, сгорая от нетерпения поделиться увиденным, что в припадке реализма глубоко прокусил себе палец, тем самым сильно упрочив мой авторитет во дворе. Мы долго совещались, пытаясь разобраться в мотивах столь странного поведения, и в конце концов сам же Марек выдвинул гипотезу, показавшуюся нам наиболее правдоподобной:

— Быть может, они не знают, как за это взяться, и потому ищут со всех сторон?

На следующий день нести караул выпало сыну аптекаря. Было три часа пополудни, когда мальчишки, игравшие во дворе и сидевшие по домам, плюща нос у окна, не веря своим глазам, увидели, как польский флаг развернулся и торжествующе зареял над крышей сарая. Через несколько секунд шестеро или семеро сорвиголов вихрем промчались к месту сбора. Незаметно отодвинув доску, мы все получили доступ к уроку большого воспитательного значения. На этот раз кондитер Мишка превзошел самого себя; наверное, его великодушная натура почувствовала присутствие шести ангельских головок, склонившихся над его трудами. Я всегда любил кондитерские изделия, но с тех пор я стал иначе смотреть на пирожные. Этот кондитер был великим мастером. Понс, Румпельмайер и знаменитый Лурс из Варшавы могут снять перед ним шляпу. Конечно же, в столь юном возрасте мы не имели возможности сравнивать, но сегодня, после стольких путешествий, увиденного и услышанного, внимательно прислушавшись к мнению тех, кому довелось отведать лучшее американское мороженое и печенье знаменитого Флориана из Венеции, насладиться венскими *струделями* и *сахерторта-ми* и лично посетив лучшие чайные салоны двух континентов, я по-прежнему утверждаю, что Мишка был, бесспорно, великим кондитером. В тот день он преподал нам урок высокого морального значения, сделав нас скромными людьми, которые никогда больше не станут претендовать на право изобретения пороха. Если бы вместо того, чтобы обосноваться в маленьком забытом городке Восточной Европы, Мишка открыл кондитерскую в Париже, то сегодня он был бы богатым, известным и почитаемым. Первые красавицы Парижа пришли бы отведать его пирожных. В кондитерском деле ему не было равных, и мне искренне жаль, что его шедевры не прославились на весь мир. Не знаю, жив ли он — что-то подсказывает мне, что он умер молодым,— во всяком случае, я позволю себе здесь почтить память великого артиста и засвидетельствовать ему глубокое уважение скромного писателя.

Спектакль, на котором мы присутствовали, был настолько волнующим и порою тревожным, что самый младший из нас, Казик, не старше шести лет, испугался и заплакал. Признаться, было отчего, но мы ужасно боялись помешать кондитеру и выдать свое присутствие, и поэтому каждому из нас пришлось терять драгоценные минуты, по очереди зажимая рот дурачку и не давая ему кричать.

Когда вдохновение наконец оставило Мишку и на земле остались только смятый цилиндр, боа со сплющенными перьями и оцепеневший

деревянный манекен, небольшая группка усталых и молчаливых мальчишек спустилась с крыши. В то время нам рассказывали историю одного мальчика, который лег на шпалы под проходящий поезд и был найден с совершенно седыми волосами. После истории с Мишкой ни у кого из нас не поседели волосы, и поэтому я считаю тот рассказ выдумкой. Спустившись с крыши, мы долго молчали, сосредоточенные и слегка подавленные, забыв о гримасах, веселых подколах и шутовстве, которые были нашими излюбленными формами общения. С серьезными лицами, собравшись в кружок посреди двора, мы смотрели друг на друга в странной и почтительной тишине, как после выхода из святилища. Думаю, мы находились во власти почти сверхъестественного таинства и откровения, став свидетелями необычайной силы, которая таится в чреве мужчины; сами того не ведая, мы приняли свое первое религиозное причастие.

Малютка Казик был потрясен не меньше нас.

На следующее утро я нашел его сидящим на корточках за поленницей. Спустив штаны, он сосредоточенно рассматривал свой член, нахмурив брови и глубоко задумавшись. Время от времени он осторожно, двумя пальцами, дотрагивался до него и дергал вниз, оттопыривая при этом мизинец именно так, как запрещал мне делать мой учитель хорошего тона, когда я держал в руке чашку чая. Подкравшись, я гукнул ему в ухо — его как ветром сдуло, и как поднятый заяц он пронесся по двору, двумя руками придерживая штаны.

Воспоминание о великом виртуозе своего дела навсегда осталось в моей памяти. Я часто думаю о нем. Недавно я смотрел фильм о Пикассо, в котором кисть мастера скользит по полотну в погоне за невозможным, и образ кондитера из Вильно неотступно стоял передо мной. Трудно быть артистом, не разбазарить свое вдохновение, верить в достижимость шедевра. Вечно возобновляемая борьба за обладание миром, жажда подвига, поиск стиля и совершенства, желание достичь вершины и навеки удержаться на ней, чтобы насладиться всем сполна,— я следил, как кисть художника упорствовала в погоне за абсолютом, и мне стало очень грустно при виде торса вечного гладиатора, который, несмотря на предстоящие победы, был обречен на поражение.

Но еще труднее смириться. Как часто, начав карьеру художника, я, с пером в руке, сложившись пополам, оказывался подвешенным к летающей трапеции и, задрав ноги, опрокинувшись головой вниз, летел сквозь пространство, сжав зубы, напрягши мускулы, с потом на лбу, при последнем издыхании, на исходе сил и фантазии, за пределами самого себя, тогда как надо еще не забыть о стиле, создать видимость легкости, казаться непринужденным в момент наивысшего напряжения, приятно улыбаться, оттягивать спуск курка и неизбежное падение, продолжая полет, чтобы слово «конец» не прозвучало преждевременно из-за нехватки дыхания, смелости и таланта; и когда вы наконец возвращаетесь на землю, чудом не повредив ни одного члена, трапеция вновь возвращается к вам, перед вами опять нетронутая страница, и вам предстоит начать все сначала.

Стремление к совершенству, эта навязчивая погоня за шедеврами, несмотря на все музеи, которые я посетил, все прочитанные мной книги и мои собственные усилия на летающей трапеции, и по сей день остается для меня нераскрытой тайной, как и тридцать пять лет назад, когда, свесившись с крыши, я наблюдал за вдохновенным творчеством выдающегося кондитера.

Глава XIII

Пока я приобщался к искусству в саду и во дворе, моя мать вела систематический поиск, пытаясь обнаружить во мне самородок какого-нибудь скрытого таланта. Поочередно отказавшись от скрипки и танцев и тем более не принимая в расчет живопись, мама решила давать мне уроки пения, приглашая лучших певцов местной оперы, в надежде выявить у меня задатки будущего Шаляпина, которого ждали овации на сценах оперных театров, утопающих в свете прожекторов, в пурпуре и золоте. К своему

великому сожалению, сегодня, после тридцати лет раздумий, я вынужден наконец признать, что между мной и моими голосовыми связками существует полный мезальянс. У меня нет ни слуха, ни голоса. Не знаю, как это случилось, но это факт. Я вовсе не обладаю басом, который бы так мне подошел: по неясным соображениям мой голос достался вчерашнему Шаляпину и нынешнему Борису Христову. Это не единственное, но, пожалуй, самое крупное недоразумение в моей жизни. Я затрудняюсь сказать, в какой момент, в результате какой пагубной махинации произошел этот подлог, но так уж вышло, и тем, кто хочет услышать мой истинный голос, я советую купить пластинку Шаляпина. Вам довольно будет послушать *«Блоху»* Мусоргского — это вылитый я. Остается только представить меня на сцене произносящим басом: «Ха! Ха! Ха! *Блоха!*» — и я уверен, что вы согласитесь со мной. К сожалению, то, что я воспроизвожу горлом, когда, прижав руку к сердцу, выставив одну ногу вперед и откинув назад голову, предаюсь мощи своего голоса, постоянно вызывает у меня удивление и горечь. Это бы не имело никакого значения, не будь у меня призвания. Но, увы, оно у меня есть. Я никогда никому не говорил об этом, даже своей матери, но к чему и дальше скрывать? Настоящий Шаляпин — это я. Я — великий непонятый трагик-бас, коим и останусь до конца. Помню, однажды, во время представления *«Фауста»* в «Метрополитен-опера», в Нью-Йорке, я сидел рядом с Рудольфом Бингом в его директорской ложе, скрестив руки, по-мефистофелевски сдвинув брови, с загадочной улыбкой на устах, в то время как дублер на сцене лез из кожи, выступая в моей роли, а я находил некоторую пикантность при мысли, что рядом со мной сидит крупнейший оперный импресарио мира *и ни о чем не догадывается*. Если в тот вечер Бинг поразился моему дьявольскому и загадочному виду, то здесь он найдет разгадку на все вопросы.

Моя мать страстно любила оперу, Шаляпин вызывал у нее молитвенный восторг, и я бесконечно виноват перед ней. Как часто в свои восемь или девять лет, должным образом интерпретировав адресованный мне нежный и мечтательный взгляд, я спасался бегством на дровяной склад и уже там, приняв подобающую позу и набрав воздуха, разражался воплем: ха! ха! ха! *Блоха!,* сотрясая все вокруг. Увы! Мой голос предпочел мне другого.

Никто, кроме меня, не молил о вокальном гении с таким жаром и с такими горючими слезами. Если бы мне выпала возможность хотя бы один-единственный раз предстать перед матерью — законно расположившейся в собственной ложе в «Опера де Пари» или же просто в миланской «Ла Скала» — и перед ослепительным партером в величественной роли *Бориса Годунова,* то, мне кажется, я смог бы придать смысл ее жизни, полной самопожертвования. Но этого не произошло. Единственный подвиг, который мне удалось для нее совершить, была моя победа на чемпионате по пинг-понгу в 1932 году в Ницце. С тех пор я регулярно проигрывал.

Итак, уроки пения очень скоро прекратились. Один профессор даже коварно прозвал меня «чудо-ребенком», утверждая, что в жизни не встречал парня, настолько лишенного слуха и голоса.

Я часто ставлю «Блоху» Шаляпина и в волнении слушаю свой подлинный голос.

Вынужденная наконец смириться с моей очевидной заурядностью мама, как и многие матери до нее, заключила, что у нее остался расчет только на дипломатию. Как только эта мысль засела у нее в голове, она заметно повеселела. Но поскольку мне всегда предназначалось все самое лучшее, то я должен был стать французским послом — на меньшее она не соглашалась.

Признаться, ее любовь и преклонение перед Францией всегда вызывали у меня крайнее удивление. Поймите меня правильно. Сам я всегда был изрядным франкофилом. Но я тут ни при чем — меня так воспитали. Попробуйте-ка сами: еще ребенком бродить по литовским лесам, слушая французские легенды; все время видеть незнакомую вам страну в глазах своей матери, постигать ее через улыбку и чарующий голос, а вечером, сидя у поющего камина, когда снежная пелена за окном обволакивает все

тишиной, слушать Францию, которая преподносится вам в образе Кота в сапогах, широко раскрывать глаза перед каждой пастушкой и прислушиваться к их голосам, объявлять своим оловянным солдатикам, что с высоты пирамид на них смотрит сорокавековая цивилизация, носить бумажную треуголку, брать Бастилию, освобождать мир от чертополоха и крапивы с деревянной сабелькой в руках, учиться читать по басням Лафонтена,— и попробуйте потом, в зрелом возрасте, отделаться от всего этого. Даже долгая жизнь во Франции не поможет вам.

Нечего и говорить, что однажды мое радужное представление о Франции столкнулось с грубой и противоречивой действительностью этой страны, но было уже поздно, слишком поздно: я сформировался.

За всю свою жизнь я встречал только двух людей с подобным отношением к Франции: свою мать и генерала де Голля. Они были совершенно разными как внешне, так и в других отношениях, но когда 18 июня я услышал его обращение, то откликнулся не колеблясь, как на голос пожилой женщины, продававшей шляпы на улице Большая Погулянка, 16, в Вильно.

Когда мне исполнилось восемь лет, моя мать стала часто — особенно когда дела шли плохо, а они шли все хуже и хуже — приходить в мою комнату, садиться передо мной с измученным лицом, потерянным взглядом и подолгу с восхищением и безграничной гордостью смотреть на меня; потом она вставала, брала мою голову обеими руками, будто желая лучше разглядеть каждую черту моего лица, и говорила мне:

— Ты станешь французским посланником, это говорит тебе твоя мать!

Странная, однако, вещь. Почему она не сделала меня Президентом Республики, пока была жива? Быть может, несмотря ни на что, она была скромнее, чем мне казалось. А может быть, ей казалось, что в кругу Анны Карениной и офицеров гвардии Президент Республики выглядел бы недостаточно «светским», тогда как посол в полной парадной форме куда изысканней.

Я часто убегал прятаться на душистый дровяной склад — в свое убежище,— думая обо всем, чего ждала от меня мать, и долго и тихо плакал: я не представлял, как вернуться обратно.

Потом, с тяжелым сердцем, я все же возвращался и выучивал еще одну басню Лафонтена — вот все, что я мог для нее сделать.

Не знаю, какие представления были у моей матери о карьере и дипломатах, но однажды она озабоченно вошла в мою комнату, села против меня и начала длинную речь о том, что я могу охарактеризовать только как «искусство делать дамам подарки».

— Помни, что намного трогательней прийти самому с небольшим букетом в руках, чем послать огромный букет с посыльным. Не доверяй женщинам, имеющим несколько шуб, они всегда будут ждать от тебя еще одной; не посещай их, если в этом нет крайней необходимости. Выбирай подарки разборчиво, думай о вкусах дамы, которой их даришь. Если она плохо воспитана, без склонности к литературе, подари ей красивую книгу. Если ты имеешь дело со скромной, образованной и серьезной женщиной, подари ей что-нибудь из роскоши: духи, платок. Прежде чем подарить какую-то вещь, вспомни о цвете глаз и волос. Мелкие безделушки, такие, как брошки, серьги, кольца, подбирай под цвет глаз, а платья, манто, шарфы — под цвет волос. Женщин с одним тоном глаз и волос одевать проще и к тому же дешевле. Но главное, главное...

Она с беспокойством посмотрела на меня и всплеснула руками:

— Главное, мой мальчик, главное, помни одно: никогда не бери денег у женщины. Никогда. Иначе я умру. Поклянись мне в этом. Поклянись головой своей матери...

Я поклялся. К этой мысли она возвращалась постоянно и с чрезвычайным волнением.

— Ты можешь принимать подарки, вещи, ручки, например, или бумажники, ты можешь принять даже «роллс-ройс», но деньги — никогда!

При этом не упускалось и мое светское воспитание. Мать читала мне вслух «Даму с камелиями», и иногда ее глаза увлажнялись, голос

прерывался и она вынуждена была остановиться. Теперь-то я знаю, кого она видела в роли Армана. Среди других поучительных чтений, которые преподносились мне с неизменным милым русским акцентом, мне особенно запомнились господа Дерулед, Беранже и Виктор Гюго; она не ограничивалась просто чтением, но, верная своему прошлому «драматической актрисы», декламировала мне их с чувством и жестикуляцией, стоя под сверкающей люстрой посреди гостиной; особенно мне запомнилось некое «Ватерлоо, Ватерлоо, Ватерлоо — долина смерти», которое действительно напугало меня: сидя на краешке стула, я слушал, как мать декламировала, став передо мной с книгой в руке и подняв другую руку кверху; спина моя холодела перед такой силой воссоздания прошлого. Широко раскрыв глаза и стиснув колени, я смотрел на долину смерти, и думаю, сам Наполеон был бы сильно потрясен, окажись он рядом.

Следующим важным моментом моего французского воспитания была, конечно же, «Марсельеза». Мы пели ее хором, глядя друг другу в глаза, мать — сидя за пианино, я — стоя напротив, прижав одну руку к сердцу, другую простерев к баррикадам. Когда мы доходили до слов «К оружию, граждане!» — мать с силой ударяла по клавишам, я угрожающе потрясал кулаком; а после «Пусть кровь презренная напоит наши пашни» она, обрушив последний удар на клавиатуру, замирала с руками, повисшими в воздухе, а я, топнув ногой, с решительным и непримиримым видом сжав кулаки и откинув назад голову, повторял ее жест, и мы замирали так на минуту, пока последние аккорды еще вибрировали в гостиной.

Глава XIV

Мои родители расстались почти сразу же после моего рождения, и всякий раз, когда я заговаривал об отце, хотя делал это не часто, мама с Аньелой быстро переглядывались и тут же меняли тему беседы. Однако по обрывкам случайно подслушанных разговоров я понял, что за этим скрывалось что-то тягостное и даже мучительное, и впредь старался избегать этой темы.

Еще мне было хорошо известно, что человек, фамилию которого я носил, был женат, имел детей, много путешествовал и бывал в Америке. Мы несколько раз виделись; это был мужчина приятной наружности, с большими добрыми глазами и холеными руками. Со мной он всегда был мил и немного застенчив, и когда он грустно смотрел на меня, как казалось мне, с оттенком легкого упрека, я всегда опускал глаза и не знаю почему, но у меня возникало чувство, будто я сыграл с ним злую шутку.

В мою жизнь он по-настоящему вошел только после своей смерти, но зато так, что я никогда этого не забуду. Мне было известно, что во время войны его, как еврея, казнили в газовой камере вместе с женой и двумя детьми, которым в то время было около пятнадцати и шестнадцати лет. Но только в 1956 году я узнал потрясающую подробность о его трагической гибели. Вернувшись из Боливии, где я был поверенным в делах, я поехал в Париж, чтобы получить Гонкуровскую премию за только что вышедший роман «Корни неба». Среди поздравительных писем мне попалось одно, уточнявшее подробности смерти человека, которого я так мало знал.

Он умер вовсе не в газовой камере, как мне говорили, а от ужаса, по пути на казнь, в нескольких шагах от входа.

Человек, написавший мне это письмо, был часовым у двери, приемщиком — не знаю, как его еще назвать и какой официальный пост он занимал.

В своем письме, вероятно чтобы успокоить меня, он писал, что мой отец не дошел до газовой камеры, упав замертво перед самым входом.

Я долго стоял с письмом в руках, потом вышел на лестницу, прислонился к перилам и не знаю как долго простоял там в своем лондонском костюме — поверенный в делах Франции, имеющий крест «За Освобождение», орденскую ленту Почетного легиона и Гонкуровскую премию.

Мне повезло: Альбер Камю как раз проходил мимо и, увидев меня в таком состоянии, затащил к себе в кабинет.

Человек, умерший такой смертью, до той поры был мне чужим, но с этого дня он навсегда стал моим отцом.

Я продолжал декламировать басни Лафонтена, поэмы Деруледа и Беранже и читать сочинение под названием «Поучительные рассказы из жизни замечательных людей», солидный том в голубой обложке, украшенной золоченой гравюрой с изображением сцены кораблекрушения из «Поля и Виргинии». Моя мать обожала эту историю, находя ее особенно назидательной. Она часто перечитывала мне волнующий абзац, когда Виргиния предпочитает скорее утопиться, чем снять платье. Заканчивая чтение, она удовлетворенно сопела. Я внимательно слушал, хотя и тогда уже воспринимал это довольно скептически, считая, что Поль просто не умел взяться за дело.

Чтобы оказаться достойным своего блистательного будущего, мне предстояло также проштудировать толстый том под названием «Жизнь замечательных людей Франции», который мать сама читала мне вслух, и, воскресив в памяти очередной замечательный подвиг Пастера, Жанны д'Арк и Ролана де Ронсево, она подолгу, с нежностью и надеждой, смотрела на меня, положив книгу на колени. Только однажды ее русская душа возмутилась против неожиданных поправок, которые авторы вносили в историю. Так, они представили битву при Бородино как победу французов, и моя мать, прочитав этот параграф, минуту сидела растерянная и, закрыв книгу, возмущенно сказала:

— Неправда. Бородино было крупной русской победой. Не стоит преувеличивать.

И напротив, ничто не мешало мне восторгаться Жанной д'Арк и Пастером, Виктором Гюго и Святым Людовиком, Королем-Солнцем и Революцией — признаться, в этом безоговорочно превозносимом мире, каким была для моей матери Франция, ею все принималось с равным одобрением, и, кладя на одни весы головы Марии Антуанетты и Робеспьера, Шарлотты Корде и Марата, Наполеона и герцога д'Ангена, она все преподносила мне с одинаково счастливой улыбкой.

Прошло много времени, прежде чем я отделался от этих романтических представлений и из сотни образов Франции выбрал тот, который казался мне наиболее привлекательным; неприятие дискриминации, отсутствие ненависти, злобы, злопамятности долгое время отличали меня от заурядного француза; только в зрелом возрасте мне удалось, наконец, отделаться от своего франкофильства, только где-то в 1935 году, особенно в разгар событий в Мюнхене, я почувствовал, как меня понемногу стали охватывать ярость, отчаяние, отвращение, вера, цинизм, надежда и желание все разнести, и я окончательно расстался со сказкой кормилицы ради родной и неприглядной действительности.

Кроме морально-этической и интеллектуальной обработки, которой меня подвергали и от которой впоследствии мне так трудно было отделаться, ничто из того, что могло расширить кругозор светского человека, не упускалось в моем воспитании.

Как только в нашу провинцию приходил театральный поезд из Варшавы, тут же нанимался фиакр и мама, удивительно похорошевшая, улыбаясь из-под новой огромной шляпы, вела меня на спектакли «Веселая вдова», «Дама из ресторана «У Максима» или очередной «Парижский канкан», и я, в шелковой рубашке, в костюме черного бархата, плюща нос театральным биноклем и разинув рот, смотрел на сцены из своей будущей жизни, когда, став блистательным дипломатом, буду пить шампанское из туфелек прекрасных дам в отдельных кабинетах или же когда правительство доверит мне миссию обольстить жену наследного принца, чтобы помешать готовящемуся против нас военному альянсу.

Чтобы помочь мне свыкнуться со своим будущим, мама часто приносила от антикваров старые почтовые открытки с изображением высших сфер, которые меня ждали.

Так, я очень рано познакомился с интерьером ресторана «У Максима», и между нами было условлено, что при первой же возможности я свожу туда свою мать. Она придавала этому большое значение и любила вспоминать, как роскошно ужинала там, будучи в Париже еще до войны 1914 года.

Матушка отдавала предпочтение открыткам с видами военных парадов с красавцами офицерами верхом на лошади, сабля наголо, а также со знаменитыми дипломатами в парадной форме, и с выдающимися женщинами эпохи: Клео де Мерод, Сара Бернар, Иветт Гильбер — помню, как, рассматривая почтовую карточку с портретом какого-то епископа в митре и в фиолетовом одеянии, она одобрительно воскликнула: «Эти люди прекрасно одеваются»,— и, конечно же, открыткам с портретами «замечательных людей Франции», разумеется, за исключением тех, кто, посмертно прославившись, недостаточно преуспел при жизни. Так, например, открытка с портретом Орленка, непонятно как попавшая в альбом, вскоре была оттуда изъята лишь потому, что «он был болен туберкулезом»,— не знаю, боялась ли она угрозы заражения, или же считала, что судьба римского императора недостойна подражания. Гениальные художники, жившие в нищете, про́клятые поэты — в частности, Бодлер — и музыканты трагической судьбы тщательно изымались из коллекции, так как мама придерживалась известной английской поговорки: «Успех должен сопутствовать вам при жизни». Почтовые карточки, которые она чаще всего приносила домой и на которые я повсюду натыкался, изображали Виктора Гюго. Несмотря ни на что, она считала и Пушкина великим поэтом, но он погиб на дуэли в тридцать семь лет, в то время как Виктор Гюго прожил долгую и почтенную жизнь. Дома буквально из каждого угла на меня смотрел Виктор Гюго; где бы я ни находился, чем бы ни занимался, я постоянно чувствовал на себе его пристальный взгляд, достойный, без сомнения, лучшего зрелища. Из нашего скромного Пантеона пожелтевших открыток она категорически исключила Моцарта — «он умер молодым», Бодлера — «позже ты поймешь почему», Берлиоза, Бизе, Шопена — «они были неудачниками»,— но странная вещь, несмотря на ее панический страх за меня перед болезнями, и особенно перед туберкулезом и сифилисом, для Ги де Мопассана она сделала исключение и поместила его в альбом, правда, не без некоторого смущения и колебания. Моя мать питала к нему большую слабость, и я всегда благодарил судьбу, что он не встретился с ней до моего рождения — похоже, мне крупно повезло.

Таким образом, открытка с портретом красавца Ги, в белой рубашке, с расправленными усами, попала в мою коллекцию и заняла почетное место рядом с юным Бонапартом и мадам Рекамье. Когда я листал альбом, мама наклонялась надо мной и тыкала пальцем в Мопассана. Она долго рассматривала его и, вздохнув, говорила:

— Женщины очень любили его.

Потом с горечью, по-видимому безотносительно к теме, добавляла:

— Но тебе, наверное, лучше жениться на порядочной девушке из хорошей семьи.

Вероятно, созерцание несчастного Ги в моем альбоме натолкнуло ее на мысль, что настало время торжественно предупредить меня об опасностях, подстерегающих светского человека на его пути. Однажды мне было предложено сесть в фиакр, который доставил меня в омерзительное заведение под названием «Паноптикум», что-то вроде музея медицинских ужасов, восковые экспонаты которого предупреждали школьников о последствиях некоторых грехов. Признаться, я был должным образом потрясен. Все эти провалившиеся, изглоданные болезнью носы, которые попечители юношества при мертвящем освещении представляли для размышлений школьникам, смертельно напугали меня. Потому что расплачиваться за эти гибельные радости, по-видимому, всегда приходится носом.

Строгое предупреждение, сделанное мне в этом зловещем месте, спасительно повлияло на мою впечатлительную натуру: всю жизнь я очень следил за своим носом. Я понял, что родом занятий, предаваться которому так настоятельно не рекомендовали наши духовные отцы, был бокс, чем и объясняется тот факт, что ринг — одно из редких мест, где я ни разу не рисковал за время своей карьеры чемпиона. Я всегда старался избегать свалок и потасовок и думаю, что здесь мои воспитатели могут быть мною довольны.

Теперь мой нос не то что раньше. Во время войны мне пришлось полностью переделать его в госпитале РАФ [1] в результате страшной авиакатастрофы, но что из того, он по-прежнему на своем месте, и я продолжаю вдыхать им воздух многих стран, и даже сейчас, лежа между небом и землей, как только мною овладевает старая потребность в дружбе и я вспоминаю о своем коте Мортиморе, похороненном в парке Челси, о котах Николае, Хэмфри, Гошо и о дворняге Гастоне, которые давно оставили меня, мне достаточно дотронуться до кончика своего носа, чтобы убедиться, что я не одинок и что он всегда готов составить мне компанию.

Глава XV

Кроме поучительных книг, рекомендованных матерью, я проглатывал все, что попадалось под руку, вернее, все, что мне удавалось незаметно стащить у местных букинистов. Я тащил свою добычу в сарай и уже там, сидя прямо на земле, уносился в фантастический мир Вальтера Скотта, Карла Мая, Майн Рида и Арсена Люпена. Последний особенно мне нравился, и я изо всех сил старался скорчить язвительную, грозную и высокомерную гримасу, которой художник наделил героя книги, изображенного на обложке. Со свойственным детям даром подражания я делал это весьма удачно, и даже сейчас я иногда замечаю в выражении своего лица смутное сходство с рисунком, который второразрядный художник поместил когда-то на обложке дешевой книжки. Я очень любил Вальтера Скотта и до сих пор могу вдруг растянуться на кровати и пуститься в погоню за каким-нибудь благородным идеалом, защищая вдов и спасая сирот,— вдовы, как правило, оказываются удивительными красотками и торопятся засвидетельствовать мне свою признательность, предварительно заперев сироток в соседней комнате. Другим излюбленным чтением был у меня «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона — книга, оказавшая влияние на всю мою жизнь. Воображаемый деревянный сундук, набитый дублонами, рубинами, изумрудами и бирюзой — не знаю почему, но бриллианты никогда не привлекали меня,— доставляет мне постоянные мучения. Я продолжаю верить, что он где-то спрятан, стоит только поискать. Я по-прежнему верю, по-прежнему жду и терзаюсь при мысли, что он где-то там, знать бы только магическое заклинание, дорогу и место. Какие разочарование и горечь таятся в этой иллюзии, способны понять только старые матерые сновидцы. Меня всегда искушало предчувствие удивительной тайны, и я шел по земле с таким чувством, будто прохожу мимо зарытого сокровища. Когда я брожу по холмам Сан-Франциско, мало кто догадывается, что этот господин с седеющими волосами пребывает в поисках Сезама,— Сезам, откройся! — что за его разочарованной ухмылкой скрывается ностальгия по волшебному слову, что он верит в чудо, в скрытый смысл, в формулу, ключ; я подолгу обшариваю взглядом небо и землю, вопрошаю, зову и жду. Мне легко удается скрывать это под любезной и учтивой миной: я стал осторожен, притворяюсь взрослым, но в глубине души по-прежнему подстерегаю золотого скарабея и жду, когда птица усядется мне на плечо и заговорит человеческим голосом, объяснив наконец почему и зачем. Тем не менее я не утверждаю, что мое первое знакомство с магией не было обескураживающим.

К магии меня приобщил мой друг, который был младше меня и которого мы прозвали Арбузом за его привычку смотреть на мир сквозь красный ломоть арбуза, в который он разом погружал и нос и зубы так, что из-за него виднелись только два мечтательных глаза. Его родители держали фруктовую лавочку в нашем доме, и он всегда появлялся из полуподвала, в котором они жили,с увесистой порцией своего излюбленного плода. У него

---

[1] RAF — Royal Air Force — ВВС Великобритании.

была манера всем лицом зарываться в сочную мякоть, вызывая у нас слюнки; при этом его огромные внимательные глаза с интересом рассматривали нас сквозь предмет наших мечтаний. Арбузы были здесь самыми распространенными фруктами, но каждое лето в городе вспыхивало несколько случаев холеры, и родители категорически запрещали нам прикасаться к ним. Я глубоко убежден, что лишения, перенесенные в детстве, оставляют глубокий и неизгладимый след и никогда уже не будут восполнены; даже сейчас, в свои сорок четыре года, всякий раз, когда я зарываюсь лицом в арбуз, меня охватывает праведное чувство реванша и триумфа и мои глаза сами собой ищут поверх душистого ломтя лицо моего юного друга, желая доказать ему, что наконец-то мы квиты и что я тоже кое-чего достиг в жизни. Я могу вволю объедаться своим любимым фруктом, однако к чему скрывать: в сердце у меня навсегда останется скорбная рана и все арбузы в мире никогда не заставят меня забыть о тех, которые не достались мне в восемь лет, когда больше всего этого хотелось, и что арбуз сам по себе постоянно будет искушать меня до конца моих дней, столь зримый, осязаемый и недоступный.

Не только своей манерой бросать нам вызов, упиваясь владычеством над миром, Арбуз оказал на меня существенное влияние. Он был моложе меня на год или на два, но я всегда был слишком подвержен влиянию младших. Взрослые никогда не производили на меня впечатления, и я никогда не принимал их в расчет, а мудрые советы, казалось, слетали с их губ, как мертвые листья с макушек бесспорно величественных, но засохших деревьев. Правда умирает молодой. Зрелый опыт на самом деле заключается в умении «забывать», и безмятежность стариков с седыми бородами и благодушным взглядом представляется мне столь же малоубедительной, как кротость кастрированных котов, и в то время как возраст начинает отмечать меня морщинами и усталостью, я стараюсь не обманывать самого себя, зная, что я жил и в конце концов умру.

Итак, именно Арбузик приобщил меня к магии. Помню, как я удивился, когда он сказал мне, что все мои желания могут исполняться, если умело взяться за дело. Для этого надо раздобыть бутылку и, предварительно написав в нее, поместить туда строго по порядку: кошачьи усы, крысиные хвосты, живых муравьев, уши летучей мыши, а также два десятка других дефицитных ингредиентов, о которых я уже напрочь забыл, и боюсь, что теперь мои желания уже никогда не исполнятся. Я немедленно бросился на поиски требуемых магических элементов. Мухи и муравьи были повсюду, дохлых кошек и крыс во дворе было предостаточно, летучие мыши прятались в сараях, а написать в бутылку не представляло труда. Но подите попробуйте загнать в бутылку живых муравьев! Их невозможно ни схватить, ни удержать, они мгновенно ускользают, едва вы их поймаете, пополняя число тех, которых еще предстоит поймать, и едва вам удается направить одного из них в сторону горлышка и вы принимаетесь за другого, как предыдущий уже на свободе, и приходится начинать все сначала. Настоящее занятие для Дон Жуана в аду. Однако настал момент, когда Арбузик, уставший наблюдать за моими усилиями и желавший как можно скорее получить обещанный пирог взамен магического рецепта, с нетерпением заявил, что талисман наполнен и готов к применению.

Мне оставалось только сформулировать желание.

Сидя на земле с зажатой между ног бутылкой, я осыпал свою мать драгоценностями, дарил ей желтые «паккарды» с шоферами в ливреях, строил для нее мраморные дворцы, где высшее общество Вильно принуждено было стоять перед ней на коленях. Но это было не то. Чего-то все время не хватало. Эти жалкие крохи не отвечали проснувшейся во мне потребности в необычайном. Смутная и навязчивая, тираничная и неоформившаяся мечта шевельнулась во мне — безликая, бессодержательная, расплывчатая,— первое предчувствие какого-то стремления к абсолютному обладанию, толкнувшего человечество на крупнейшие преступления и на создание музеев, поэм и империй; движущая сила его, возможно, заложена в наших генах как память и биологическая ностальгия, что мгновение

хранит о вечности, от которой ему удалось оторваться. Вот так я столкнулся с абсолютом, отчего в моей душе, вероятно, навсегда останется такой же глубокий след, как память об умершем. Мне было только девять лет, но я не сомневался, что впервые ощутил объятия того, что спустя тридцать лет я назову «корни неба» в романе под таким же названием. Абсолют раскрылся мне через свою недоступность, и, уже испытывая сильную жажду, я не знал, у какого источника утолить ее. Вероятно, именно в тот день во мне родился художник; обращаясь к искусству, всегда оказывавшемуся крайне несостоятельным, человек вечно обманывал самого себя, пытаясь выдать за ответ то, что обречено остаться трагическим вопросом.

Мне кажется, что я все еще сижу посреди крапивы, в коротких штанишках и с магической бутылкой в руке. Я панически вопрошал свою фантазию, чувствуя, что мне отмерено жесткое время, но ничто не отвечало моему странному стремлению и не было достойно моей матери, моей любви к ней и того, что я хотел подарить ей. Вера в чудо с той поры не покидала меня. Сеанс магии кончился тем, что у меня задрожали губы, лицо скорчилось в гримасу, и я завыл — от злобы, страха и удивления.

С тех пор я сделал для себя вывод и, вместо того чтобы выть, пишу книги.

Впрочем, иногда мне хочется чего-то конкретного и земного, но поскольку при мне уже нет бутылки, то не стоит об этом и говорить.

Я закопал свой талисман в сарае, положив сверху цилиндр, чтобы легко отыскать место, но после постигшего меня разочарования никогда больше к нему не возвращался.

Глава XVI

Вскоре обстоятельства сложились так, что нам с матерью пришлось прибегнуть ко всем магическим силам, которые только оказались под рукой.

Все началось с того, что я заболел. Едва оправившись от скарлатины, я слег от нефрита, и крупнейшие врачи, столпившиеся у моего изголовья, заявили, что я обречен. За мою долгую жизнь меня часто признавали безнадежным, а однажды, после соборования, у моего тела установили почетный караул при полном параде, кинжалах и белых перчатках.

Когда сознание возвращалось ко мне, я очень пугался.

У меня было сильно развито чувство ответственности, и мысль оставить свою мать одну, без всякой поддержки, была мне невыносима. Я знал, чего она ждала от меня, и, лежа в постели и захлебываясь черной кровью, больше страдал от мысли, что уйду таким образом от ответственности, чем от своей воспаленной почки. Скоро мне должно было исполниться десять лет, и я мучительно сознавал себя неудачником. Я не стал ни Яшей Хейфецем, ни посланником, у меня не было ни слуха, ни голоса, и в довершение всего мне приходится так глупо умирать, не добившись ни малейшего успеха у женщин и даже не став французом. Еще сейчас я содрогаюсь при мысли, что мог тогда умереть, так и не выиграв чемпионата по пинг-понгу в Ницце в 1932 году.

Думаю, мое решение не сдаваться сыграло решающую роль в предпринятой мною борьбе, чтобы остаться в живых. Каждый раз, когда страдальческое, постаревшее мамино лицо со впалыми щеками склонялось надо мной, я старался улыбнуться ей и сказать несколько связных слов, чтобы показать, что мне стало лучше и что все не так плохо.

Я старался изо всех сил. Призвав на помощь д'Артаньяна и Арсена Люпена, я обращался к доктору по-французски, бормотал басни Лафонтена и с воображаемой саблей в руке бросался вперед — вперед! бей! бей! — разя противника, как учил лейтенант Свердловский. Лейтенант сам пришел навестить меня и долго сидел у моего изголовья, положив свою огромную лапу мне на руку и жестоко теребя свои усы, и присутствие военного придало мне силы в моей борьбе. Сжимая пистолет, я пытался поднять руку и взять цель на мушку; я пел «Марсельезу», безошибочно называл дату

рождения Короля-Солнца, побеждал на скачках и даже имел наглость видеть себя на сцене в своем бархатном костюме с огромным жабо белого шелка под подбородком, играющим на скрипке перед зачарованной публикой, в то время как мама, плача, с благодарностью принимала цветы в своей ложе. В цилиндре и с моноклем, правда не без помощи Рультабиля, я спасал Францию от дьявольских планов кайзера, после чего тут же отправлялся в Лондон выручать подвески королевы и успевал вернуться к спектаклю, чтобы спеть Бориса Годунова в вильновской Опере.

Всем хорошо известна история покладистого хамелеона. Его кладут на зеленый ковер, и он становится зеленым. Его перекладывают на красный ковер, и он становится красным. Потом на белый ковер, и он становится белым. На желтом — он желтый. Когда же его положили на шотландский ковер, бедняга-хамелеон испустил дух. Со мной этого не случилось, но все же я был очень плох.

Все это время я смело сражался, как и подобает французу, и выиграл битву.

Я часто выигрывал в своей жизни, но мне понадобилось много времени, прежде чем я понял, что можно выиграть битву, но нельзя выиграть войну. Для этого человеку необходима помощь со стороны, которой пока что неоткуда ждать.

Итак, я вправе утверждать, что дрался, следуя лучшим традициям своей страны, не думая о себе, только бы спасти вдову с сиротой.

Однако я чуть не умер и чуть не оставил другим заботу представлять Францию за границей.

Самое мучительное воспоминание осталось у меня от того момента, когда на глазах у трех врачей меня завернули в ледяную простыню,— этому эксперименту меня вторично подвергли в Дамаске в 1941 году, когда я пребывал в агонии после кишечного кровоизлияния, последовавшего вслед за омерзительным тифом, и медицинский консилиум счел возможным вторично доставить мне это удовольствие.

Столь странное лечение не дало никакого результата, и было единогласно решено прооперировать мою почку. Но тут реакция моей матери оказалась достойной всего того, чего она ждала от меня. Она отказалась от операции. Она категорически и горячо протестовала против этого, несмотря на доводы крупнейшего немецкого нефролога, которого сама же выписала из Берлина за большие деньги.

Позже я узнал, что, по ее мнению, почки и сексуальная деятельность были взаимосвязаны. Напрасно врачи убеждали ее, что и после операции я смогу вести нормальную сексуальную жизнь; я уверен, что именно слово «нормальная» окончательно доконало ее и утвердило в решении. Она прочила мне далеко не «нормальную» сексуальную жизнь. Бедная мамочка! Я не был достаточно любящим сыном.

Но мою почку не тронули, и немецкий специалист уехал поездом, посулив мне неминуемую смерть. Однако я не умер, несмотря на всех немецких специалистов, с которыми с тех пор мне довелось иметь дело.

Моя почка прошла. Как только спал жар, меня на носилках перенесли в отдельное купе поезда, который умчал нас в Бордигеру, в Италию, предоставив попечению щедрого средиземноморского солнца.

Первое знакомство с морем потрясло меня. Я спокойно спал на своей кушетке, как вдруг пахнуло душистой свежестью. Это поезд остановился в Алассио и мать приоткрыла окно. Я приподнялся на локтях, а она, улыбаясь, следила за моим взглядом. Глядя в окно, я вдруг понял, что мы *приехали*. Передо мной было синее море, пляж, усыпанный галькой, с лежащими на боку рыбачьими лодками. Я смотрел на море. Со мной что-то сделалось. Не знаю что: безграничное спокойствие, чувство, что я вернулся. С тех пор море всегда было для меня простой, но достаточной метафизикой. Я не умею говорить о море. Знаю только, что оно разом освобождает меня от всех обязательств. Глядя на него, я всегда ощущаю себя счастливым утопленником.

Пока я набирался сил под лимонными деревьями и мимозами Бордигеры, мать съездила ненадолго в Ниццу. Она хотела продать свой Дом

моделей в Вильно и открыть аналогичный в Ницце. Ее практический ум подсказывал ей, что у меня все же было мало шансов стать французским посланником, живя в небольшом городишке Восточной Польши.

Но когда через шесть недель мы вернулись в Вильно, то стало ясно, что «Maison Nouvelle» уже нельзя было ни продать, ни даже спасти. Моя болезнь разорила нас. В течение двух-трех месяцев ко мне приглашали лучших специалистов Европы, и моя мать была по уши в долгах. Да и до этой болезни, хотя ее Дом моделей на протяжении двух лет числился, бесспорно, первым в городе, его престиж был куда блистательнее, чем состояние дел, а наш образ жизни — не по средствам; предприятие существовало в порочном кругу жизни в кредит, и я постоянно, как рефрен, слышал русское слово *вексель*. К тому же не стоит забывать и необычайную экстравагантность моей матери, когда речь шла обо мне, окружавший меня впечатляющий табор учителей и тем паче ее решимость любой ценой поддерживать видимость благополучия, не давать распространяться слухам о том, что дело приходит в упадок, так как у клиентуры с ее капризным снобизмом при выборе ателье решающую роль играет успех: малейшие материальные трудности — и дамы надувают губки и обращаются в другое место или же пытаются выторговать у вас низкую цену, ускоряя тем самым ваше банкротство. Моей матери это было хорошо известно, и она до конца боролась, пытаясь сохранить видимость благополучия. Ей легко удавалось внушить клиенткам мысль, что их «соглашались принять» и даже «терпели», что в них совершенно не нуждались, что им оказывали одолжение, принимая их заказы. Дамы ссорились между собой, стараясь привлечь ее внимание, никогда не торговались из-за цены, боясь, что новое платье не поспеет к балу, к премьере, к празднику,— в то время как к моей матери ежемесячно приставали с ножом к горлу, требуя оплатить векселя, и ей приходилось занимать у ростовщиков, подписывать новые векселя, чтобы погасить старые, и при этом еще следить за современной модой, не давать опередить себя конкурентам, ломать комедию перед покупателями, терпеть бесконечные примерки дорогих клиенток, не показывая виду, что вы от них зависите, и присутствовать при «куплю — не куплю» этих дам с наигранной улыбкой, не подавая виду, что финал этого вальса сомнений является для вас вопросом жизни и смерти.

Часто во время особенно капризной примерки мать выходила из салона, приходила в мою комнату, садилась напротив и, улыбаясь, молча смотрела на меня, будто пытаясь набраться куража и сил у источника своей жизни. Она молча выкуривала свою сигарету, потом вставала и отправлялась на бой.

Поэтому неудивительно, что моя болезнь и два месяца нашего отсутствия, когда все дела были оставлены на попечение Аньелы, нанесли «Новому дому моделей» последний удар, от которого он уже не оправился. Вскоре после нашего возвращения в Вильно, после отчаянных усилий возобновить дело битва была окончательно проиграна и на радость нашим конкурентам нас объявили банкротами. На все имущество наложили арест, и я помню, как жирный и лысый поляк с усами, как у таракана, расхаживал по комнатам с портфелем под мышкой вместе с двумя своими помощниками, казалось, вышедшими из мира Гоголя, подолгу ощупывая висевшие в шкафах платья, кресла, поглаживая швейные машинки, ткани и ивовые манекены. Тем временем моя мать предусмотрительно спрятала от кредиторов и оценщиков свое главное сокровище — старинный серебряный сервиз, вывезенный из России,— редкую коллекционную вещь, стоимость которой, по ее мнению, была огромной; она никогда не решалась притронуться к этому кладу, каковой в некотором роде был моим наследством и на долгие годы должен был обеспечить наше существование во Франции, когда мы наконец обоснуемся там, и позволить мне «вырасти, выучиться и стать человеком».

Я впервые увидел мать в отчаянии, увидел, как она, по-женски беззащитная и побежденная, повернулась ко мне, прося помощи и защиты. В то время мне было около десяти лет, то есть я уже готов был взять на себя эту

роль. Я понимал, что сейчас главное — казаться невозмутимым, спокойным, сильным, уверенным в себе, мужественным и непринужденным. Настал мой час предстать перед всеми в роли рыцаря, к которой так тщательно готовил меня лейтенант Свердловский. Оценщики завладели моим стеком и брюками для верховой езды, и мне ничего не оставалось, как встретить их в коротких штанишках и с голыми руками. С вызывающим видом я расхаживал у них под носом по квартире, из которой потихоньку вывозили наши вещи. Встав как истукан перед шкафом или комодом, который поднимали сбиры, засунув руки в карманы и выпятив живот, я презрительно насвистывал, насмешливо глядя на их неловкие усилия, эдакий настоящий мужчина, твердый как скала, способный защитить свою мать и плюнуть в них при малейшей провокации. Поза эта предназначалась не для оценщиков, а для моей матери, чтобы показать ей, что не следует волноваться, что у нее есть защитник, который вернет ей все это сторицею — и ковер, и столик с гнутыми ножками в стиле Людовика XVI, и люстру, и трюмо красного дерева. Похоже, моя мать успокоилась и, сидя в единственном оставшемся кресле, с восхищением следила за мной. Когда вынесли ковер, я принялся насвистывать танго и на голом паркете с воображаемой партнершей сделал несколько па того замысловатого танца, которому научила меня мадемуазель Глэдис. Я скользил по паркету, крепко сжимая талию невидимой партнерши, и насвистывал «Танго «Милонга», танго моей мечты», а мать, держа сигарету в руке, качала головой вправо и влево и отбивала такт, а когда понадобилось освободить кресло, она даже радостно вскочила, не сводя с меня глаз, в то время как я продолжал кружить по пыльному паркету, показывая, что я по-прежнему здесь и что в конечном итоге ее главное сокровище уцелело.

Потом мы долго совещались, что нам делать и куда податься. Пока снимали люстру, мы, стоя посреди пустого салона, говорили по-французски, чтобы нас не поняли эти мерзавцы.

Не было и речи о том, чтобы оставаться в Вильно, где лучшие наши клиентки, раньше льстившие и умолявшие обслужить их в первую очередь, теперь задирали нос и отворачивались, встречаясь с мамой на улице, что с их стороны было вполне понятно — ведь они, как правило, были нам должны.

Я не помню имен этих благородных созданий, но надеюсь, что они еще живы и не успели спасти свои шкуры от коммунизма, который, вероятно, научил их некоторой человечности. Я незлопамятен и поэтому кончаю на этом.

Иногда я захожу в крупнейшие салоны парижских мод, устраиваюсь в уголке и смотрю парад моделей; друзья считают, что я втайне посещаю столь любезные моему сердцу уголки из слабости к красивым девочкам. Они ошибаются.

Я наведываюсь в эти места, чтобы вспомнить о директрисе «Нового дома моделей».

Чтобы обосноваться в Ницце, нам не хватало денег, но моя мать не захотела продавать свое драгоценное серебро, на котором зиждилось все мое будущее. С несколькими сотнями чудом уцелевших злотых мы решили сначала ехать в Варшаву, которая пусть на шаг, но приближала нас к цели. У матери там были друзья и родственники, но главным и решающим аргументом явилось другое.

— В Варшаве есть французский лицей,— заявила она, удовлетворенно шмыгнув носом.

Спорить было больше не о чем. Оставалось только собрать чемоданы, образно говоря, так как чемоданы у нас тоже уплыли, и, тщательно упаковав серебро, мы уложили его и уцелевшие пожитки по старой доброй традиции в мешок.

Аньела с нами не поехала. Она отправилась к своему жениху, железнодорожнику, жившему неподалеку от вокзала в снятом с колес вагоне. Там она и осталась после душераздирающей сцены прощания, когда,

безудержно рыдая и бросаясь друг другу в объятия, мы наконец расставались и тут же вновь кидались друг к другу; с тех пор я уже никогда так горько не рыдал.

Я много раз писал ей, надеясь узнать новости, но снятый с колес вагон — не слишком надежный адрес в этом бурном мире. Мне очень хотелось успокоить ее, сообщить, что я не заболел туберкулезом, чего она больше всего боялась. Это была красивая пышная женщина с огромными карими глазами и длинными черными волосами, но с тех пор прошло тридцать три года.

Мы без сожаления покинули Вильно. Я нес в своей котомке басни Лафонтена, томик Арсена Люпена и «Жизнь замечательных людей Франции», Аньеле удалось спасти от погрома черкеску, которую я тоже заодно прихватил, но она уже была мне мала, и с тех пор я никогда больше не носил черкесок.

Глава XVII

В Варшаве, в меблированных комнатах, нам приходилось трудно. Кто-то из-за границы стал помогать моей матери, регулярно присылая деньги, благодаря которым мы и держались. Я ходил в школу, куда каждое утро во время переменки в десять часов мать приносила мне в термосе горячий шоколад и бутерброды с маслом. Чем она только не занималась ради того, чтобы мы держались: выступала посредницей по продаже драгоценностей, скупала и перепродавала меха и антиквариат, и по-видимому, была первой, у кого возникла довольно скромная, но прибыльная идея: с помощью объявлений она уведомляла публику, что скупает зубы, которые за неимением более подходящего термина я могу охарактеризовать как «зубы по случаю»; золотые и платиновые коронки мать выгодно перепродавала. Она рассматривала зубы под лупой, опускала их в специальную кислоту, чтобы убедиться, что они из благородного металла. Кроме того, она была управляющей домами, рекламным агентом и занималась тысячью разных дел, о которых я уже и не помню, но каждое утро, ровно в десять часов, она неизменно приходила с термосом горячего шоколада и бутербродами с маслом.

Однако и здесь нам пришлось пережить мучительный удар: я не смог поступить во французский лицей в Варшаве, обучение в котором стоило дорого и было нам не по карману. Поэтому целых два года я ходил в польскую школу и до сих пор бегло говорю и пишу по-польски. Это очень красивый язык. Мицкевич навсегда остался одним из моих любимых поэтов, и я очень люблю Польшу, впрочем, как и все французы.

В будни я ежедневно на трамвае ездил к милейшему человеку, Люсьену Дьелёвё-Колек, преподававшему мне мой родной язык.

Здесь я должен откровенно признаться. Я редко лгу, так как нахожу во лжи сладковатый привкус беспомощности: она отдаляет меня от цели. Но когда меня спрашивают, где я учился в Варшаве, то я всегда отвечаю: во французском лицее. Из принципа. Моя мать старалась изо всех сил, и я не хочу лишать ее лавров.

Однако не думайте, что я безучастно наблюдал за ее усилиями, не пытаясь прийти ей на помощь. После стольких неудач я, кажется, нашел свое истинное призвание. В Вильно, в пору знакомства с Валентиной, я начал жонглировать ради ее прекрасных глаз. С тех пор я продолжал упражняться, думая, главным образом, о своей матери и стараясь искупить отсутствие других талантов. В школе, на переменке, подхлестываемый восхищенными взорами товарищей, я жонглировал пятью и шестью апельсинами и где-то в глубине души питал сумасшедшую надежду дойти до седьмого и, может быть, как великий Растелли, до восьмого мяча, и кто знает, быть может, и до девятого и стать крупнейшим жонглером всех времен. Моя мать этого заслуживала, и поэтому все свободное время я тренировался.

Я жонглировал апельсинами, тарелками, бутылками, вениками,—

всем, что попадалось под руку; мое стремление к мастерству, к совершенству, к необычайному и неповторимому подвигу, короче, жажда первенства находила в этом самую скромную, но пылкую возможность самовыражения. Я чувствовал, что соприкасаюсь с необычайным, к чему стремился всей душой, а именно: дойти до немыслимого и сделать его явью. Это была моя первая сознательная попытка самовыражения, мое первое предчувствие возможности самоусовершенствования, и я целиком отдался этому. Я жонглировал в школе, на улице, поднимаясь по лестнице, входил, жонглируя, в нашу комнату и останавливался перед матерью с летающими в воздухе шестью апельсинами, вновь и вновь запуская и ловя их. К несчастью, и здесь, когда мне уже улыбалось блистательное будущее и я уже надеялся окружить свою мать роскошью, я в конце концов натолкнулся на грубый факт: мне не удавалось пойти дальше шестого мяча. Но я упорствовал, Боже мой, как я упорствовал! Порой я жонглировал по семь-восемь часов в день. Я смутно ощущал важность и значительность этой игры, когда на карту ставилась вся моя жизнь, все мои надежды, я сам. Но как я ни старался, седьмой мяч не давался мне. Рекорд был недоступен, все время ускользал, по-прежнему маня и оставаясь недостижимым. Совершенство мне не давалось. Я напрягал всю свою волю, взывал к своей ловкости, быстроте реакции — запущенные вверх мячи возвращались с удивительной точностью, но как только я запускал седьмой мяч, вся пирамида рушилась, и я стоял потрясенный, не в силах ни смириться, ни отказаться от новой попытки. Я начинал все сначала. Но мне так никогда и не удалось поймать последний мяч. Никогда, никогда я не мог его поймать. Я пытался всю жизнь. Только на подступах к сорокалетию, после долгих странствий в мире чудес, мне понемногу открылась правда и я понял, что последний мяч не существует.

Это печальная истина, и не следует говорить о ней детям. Поэтому мою книгу нельзя давать кому попало.

Вот почему сейчас я уже не удивляюсь тому, что однажды Паганини бросил свою скрипку и долгие годы не притрагивался к ней, лежа с отсутствующим взглядом. Меня это не удивляет, *он знал*.

Когда я вижу, как величайший среди нас — Мальро жонглирует своими мячами, как мало кто жонглировал до него, у меня сердце сжимается от трагедии, которая читается на его лице, несмотря на его самые блистательные успехи: последний мяч недостижим для него, и все его творчество преисполнено этой тревожной истины.

Однако пришло время сказать всю правду о сделке Фауста. Все нагло лгали по этому поводу, и больше всего и гениальнее всех сам Гёте, чтобы, затуманив суть дела, скрыть жестокую правду. Скорее всего, даже наверное, не нужно этого говорить, так как если я и не люблю чего-то делать, так это лишать людей надежды. И все же истинная трагедия Фауста заключается не в том, что он продал душу дьяволу. Настоящая трагедия в том, что нет никакого дьявола, чтобы купить вашу душу. Просто нет покупателя. Никто не поможет вам поймать последний мяч, какую бы цену вы за это ни предлагали. Конечно же, есть масса просто-напросто шарлатанов, объявляющих себя покупателями, и я не говорю, что с ними нельзя договориться так, чтобы извлечь некоторую выгоду. Можно. Это принесет вам успех, деньги, поклонение толпы. Но все это напрасный труд, и будь вы Микеланджело, Гёте, Моцарт, Толстой, Достоевский или Мальро, все равно умрете с чувством, что всю жизнь были простым бакалейщиком.

После вышесказанного я, конечно же, продолжаю упорствовать.

Порой бывает, что я выхожу на склон над заливом Сан-Франциско и средь бела дня, на виду у всех, жонглирую тремя апельсинами — это все, что я теперь могу.

Это не вызов. Просто самоутверждение.

Я видел, как великий Растелли, одной ногой стоя на горлышке бутылки, крутил другой согнутой ногой два серсо, держа при этом на носу трость, на трости — шар, на шаре — стакан воды, и одновременно жонглировал семью шарами.

Мне казалось, что я наблюдал момент бесспорного самообладания,

миг наивысшей победы человека над самим собой, но Растелли умер через несколько месяцев, в отчаянии уйдя с арены и так не дойдя до восьмого шара, последнего, единственного, который имел для него смысл.

Думаю, если бы мне довелось склониться над умирающим, он бы толком объяснил мне все это и, учитывая, что в ту пору мне было только шестнадцать, помог бы избежать напрасных усилий и поражений в жизни.

Мне было бы очень жаль, если из всего вышесказанного вы заключили, что я был несчастлив. Это было бы прискорбной ошибкой. Я познал и до сих пор испытываю неслыханные радости. Так, например, я с детства люблю соленые огурцы, не корнишоны, а огурцы, настоящие, единственные и неповторимые, те, что зовутся огурцами в России. Я всегда и всюду нахожу их. Я часто покупаю себе фунт огурцов, устраиваюсь где-нибудь на солнышке, на берегу моря или где-нибудь на тротуаре или скамейке, откусываю огурец и бываю счастлив. Я продолжаю сидеть на солнышке, с умиротворенным сердцем, дружелюбно поглядывая на предметы и людей и понимая, что жизнь действительно стоит того, чтобы жить, что счастье существует, стоит только найти свое истинное призвание и с полным самопожертвованием посвятить себя человеку, которого любишь.

Мать взволнованно и благодарно наблюдала за моими усилиями, готовая в любой момент прийти мне на помощь. Когда мама возвращалась домой, таща под мышкой какой-нибудь потрепанный ковер или купленную по случаю лампу, которую надеялась выгодно перепродать, и, входя в мою комнату, заставала меня в процессе жонглирования, то она понимала мотивы моего ожесточения. Она садилась, смотрела, как я жонглирую, и предрекала мне:

— Ты станешь великим артистом! Это говорит тебе твоя мать.

Ее предсказание чуть было не сбылось. Наш класс решил поставить в школе спектакль, и после строгого отбора главную роль в драматической поэме Мицкевича «Конрад Валленрод» поручили мне, несмотря на сильный русский акцент, с которым я говорил по-польски. На конкурсе я победил случайно.

По вечерам, закончив дела и приготовив ужин, мать заставляла меня репетировать часа два напролет. Она выучила мою роль наизусть и сначала сама проигрывала ее мне, чтобы настроить меня на нужную волну. Мама с чувством декламировала, после чего предлагала мне повторить текст, имитируя ее жесты, позы и интонации. Роль была на редкость драматичной, и к одиннадцати часам вечера выведенные из себя соседи начинали раздражаться и требовать тишины. Но моя мать не была женщиной, идущей на поводу, и в коридорах вспыхивали незабываемые сцены, когда, все еще находясь под впечатлением благородной трагической поэмы великого поэта, она превосходила самое себя в брани, оскорблениях и пламенных тирадах. Результат не заставил себя долго ждать, и за несколько дней до представления нам пришлось переехать декламировать в другое место. Мы поселились у родственницы моей матери, в квартире, принадлежавшей адвокату и его сестре-дантистке: сначала мы спали в приемной, потом в кабинете, и каждое утро нам приходилось освобождать место перед приходом клиентов и пациентов.

Наконец состоялся спектакль, и в этот вечер я одержал свою первую победу на подмостках. После спектакля мать, все еще потрясенная аплодисментами и заплаканная, повела меня в кондитерскую лакомиться пирожными. У нее осталась привычка держать меня за руку, когда мы шли по улице, и поскольку мне было уже одиннадцать с половиной лет, то я страшно неловко себя чувствовал. Я все время старался под каким-нибудь благовидным предлогом незаметно высвободить свою руку и затем как бы забывал вернуть ее, но мама вновь крепко брала меня за руку.

Днем улицы неподалеку от Познанской кишели проститутками. Особенно много их было на улице Хмельной, и мы с матерью были излюбленным зрелищем для этих славных девушек. Всякий раз, когда мы, держась за руки, проходили мимо них, они почтительно сторонились и отвешивали матери комплименты в мой адрес. Когда же я шел один, они часто

останавливали меня, спрашивали о моей матери, интересовались, почему она не выходит замуж, дарили мне конфеты, а одна из них, рыжая, худенькая и малорослая, с колесообразными ногами, всегда целовала меня, после чего просила у меня платок и старательно вытирала мне щеку. Не знаю, каким образом на улице распространился слух, что я играю главную роль в школьном спектакле, подозреваю немного свою мать, во всяком случае, по пути в кондитерскую девушки окружили нас, взволнованно спрашивая, какой нам оказали прием. Моя мать не стала понапрасну скромничать, и после этого всякий раз, когда я проходил по Хмельной улице, на меня дождем сыпались подарки. Они дарили мне крестики, медальоны святых, четки, перочинные ножи, плитки шоколада и статуэтки Богоматери и часто затаскивали меня в расположенную неподалеку уютную колбасную, с восторгом глядя, как я объедаюсь солеными огурцами.

Наконец мы очутились в кондитерской, и, когда после пятого пирожного я начал слегка отдуваться, мать вкратце изложила мне свои планы на будущее. Наконец-то у нас в руках есть что-то конкретное, талант — налицо, путь — намечен, и следует идти по нему дальше. Я стану великим артистом, женщины будут умирать от любви ко мне, у меня будет большой желтый автомобиль с открытым верхом и контракт с UFA[1]. На этот раз удача была в наших руках, мы были у цели. Еще одно пирожное мне, стакан чаю — матери: в день она выпивала пятнадцать-двадцать стаканов чая. Я слушал ее,— как бы это сказать? — я слушал ее сдержанно. Признаюсь без хвастовства, что успех не вскружил мне голову. Мне было всего лишь одиннадцать с половиной лет, но я уже решил, что стану умеренным и уравновешенным французом. В тот момент единственно конкретной вещью, которую я видел перед собой, были пирожные, и тут уж я не пропустил ни одного. И правильно сделал, так как моя грандиозная театральная и кинематографическая карьера так и не состоялась. Однако не грех было попробовать. Много месяцев подряд мать рассылала мои фотографии директорам всех варшавских театров, а также в Берлин, в UFA с подробным описанием огромного театрального успеха, который я одержал в главной роли в «Конраде Валленроде». Она даже добилась для меня прослушивания у директора «Театр Польски», изысканного и куртуазного господина, который вежливо слушал, пока я, выставив одну ногу вперед и подняв руку, изображая позу Руже де Лиля, поющего «Марсельезу», с энтузиазмом декламировал у него в кабинете бессмертные стихи польского барда с сильным русским акцентом. Я страшно волновался и, пытаясь скрыть это, завывал все громче; в кабинете присутствовало еще несколько человек, которые, казалось, были сильно поражены, и в этой атмосфере, явно лишенной теплоты, я, по-видимому, не мог полностью использовать все свои возможности, так как феерический контракт мне не был предложен. Все же меня дослушали до конца и когда, приняв яду, как этого требовала роль, я в агонии свалился к ногам директора, корчась в страшных конвульсиях, а моя мать победоносно оглядела присутствующих, он помог мне подняться и, удостоверившись, что я не причинил себе никакого вреда, так быстро исчез, что я до сих пор удивляюсь, как это ему удалось и через какую дверь он вышел.

Только шестнадцать лет спустя я вторично поднялся на подмостки и совсем перед другой публикой, среди которой самым любопытным зрителем был генерал де Голль. Это произошло в сердце Экваториальной Африки, в Банги, в Убанги-Шари, в 1941 году. Какое-то время я находился там в составе одного из экипажей нашей эскадрильи. Неожиданно нам сообщили о визите генерала де Голля.

Мы решили дать спектакль в честь предводителя Свободной Франции и немедленно взялись за работу. Удивительно остроумное, по мнению его авторов, ревю тотчас же было написано. Пьеса была веселой и легкой, искрилась остроумием и юмором, так как в то время, в 1941 году, мы терпели крупные поражения и нам очень захотелось продемонстрировать нашему главнокомандующему высокоморальный дух и неистовый задор.

[1] UFA (Universum Film Aktiengesellschaft) — немецкая компания по производству и прокату кинофильмов, основанная в 1917 г.

Перед приездом генерала де Голля, чтобы отточить спектакль, мы устроили репетицию, которая прошла с обнадеживающим успехом. Публика оглушительно хлопала, и хотя время от времени с дерева срывалось манго и падало какому-нибудь зрителю на голову, все прошло хорошо.

Генерал приехал на следующее утро и вечером присутствовал на спектакле вместе с военачальниками и крупными политическими деятелями из своей свиты.

Это был полный провал — с тех пор я дал себе слово никогда, никогда больше не играть комедию и не петь шансонетки перед генералом де Голлем, какие бы драматические моменты ни переживала моя страна. Франция может попросить у меня чего угодно, но только не этого.

Признаться, идея нашей молодежи играть плутовские скетчи перед человеком, который один на один боролся с бурей, чья сила воли и мужество стали опорой и поддержкой стольких разуверившихся сердец, была не самой удачной.

Но я никогда бы не поверил, что один-единственный зритель, донельзя корректный и молчаливый, способен ввергнуть актеров и всю публику целиком в такую атмосферу серьезности.

Генерал де Голль, в белом кителе, очень прямо сидел в первом ряду, положив фуражку себе на колени и скрестив руки.

Во время спектакля он ни разу не шевельнулся, не вздрогнул и ничем не выдал своей реакции.

Только один раз, когда я, как можно выше подняв ногу, изображал одно из френч-канкана, а другой актер восклицал: «Я — рогоносец! Я — рогоносец!» — как этого требовала его роль, я скосил глаза в его сторону, и мне показалось, что усы вождя Свободной Франции слегка дрогнули. Но возможно, я и ошибся. Он по-прежнему очень прямо сидел, скрестив руки и пристально глядя на нас с убийственным вниманием.

Всевидящее око в зале следило за Каином.

Но еще более феноменальной была реакция двухсот зрителей. Хотя накануне весь зал рыдал, разражался аплодисментами и с ума сходил от смеха, на этот раз ни один смешок не донесся до нас из публики.

Но ведь генерал сидел в первом ряду, и зрители никак не могли видеть выражения его лица. Тем, кто утверждает, что генерал де Голль не мог установить контакта с народом и передать ему свои чувства, я предлагаю подумать над этим случаем.

Вскоре после войны Луи Жуве ставил «Дон Жуана». Я присутствовал на репетициях. Во время сцены, когда статуя Командора, приняв приглашение, является, чтобы утащить распутника в ад, меня вдруг охватило странное чувство уже виденного, уже мною пережитого, и я вспомнил Банги 1941 года, когда генерал де Голль пристально смотрел на меня своим строгим взглядом.

Надеюсь, он простил меня.

Глава XVIII

Итак, мой театральный успех в «Конраде Валленроде» оказался эфемерным и никак не решил финансовых проблем, над которыми билась моя мать. У нас не было больше ни су. Мама целыми днями бегала по городу в поисках сделок и возвращалась измотанная. Но мне не было ни холодно, ни голодно, и она никогда не жаловалась.

Однако, еще раз повторяю, не думайте, что я не пытался помочь ей. Напротив, я лез из кожи, стремясь ее поддержать. Я сочинял поэмы и зачитывал их вслух: они должны были принести нам славу, состояние и поклонение толпы. Я работал по пять-шесть часов в день, оттачивая свои стихи, и исписал немало тетрадей стансами, сонетами, александрийским стихом. Я даже начал сочинять трагедию в пяти актах, с прологом и эпилогом, которая называлась «Алкимена». Всякий раз как мать возвращалась после своих мытарств по городу и опускалась на стул — старость уже слегка коснулась ее лица,— я читал ей бессмертные строки, призванные

склонить весь мир к ее ногам. Она внимательно слушала. Понемногу ее взгляд просветлялся, с лица исчезали следы усталости, и она убежденно восклицала:

— Лорд Байрон! Пушкин! Виктор Гюго!

Кроме того, я занимался классической борьбой, надеясь когда-нибудь победить на чемпионате мира, и вскоре снискал себе в школе прозвище «Джентльмен Джим». Я не был самым сильным, далеко нет, но лучше чем кто-либо принимал позы, полные достоинства и элегантности, производя впечатление человека, преисполненного силы и достоинства. У меня был свой стиль, и я, как правило, побеждал.

Месье Дьелёвё-Колек с большим вниманием вчитывался в мои поэтические творения, так как, само собой разумеется, я писал не по-русски и не по-польски. Я писал по-французски. В Варшаве мы были только проездом, меня ждала моя страна, и мне нельзя было забывать об этом. Я восхищался Пушкиным, который писал по-русски, и Мицкевичем, писавшим по-польски, но так и не понял, почему они не создали свои шедевры на французском. Ведь и тот и другой получили хорошее образование и знали наш язык. Такое отсутствие патриотизма представлялось мне малопонятным.

Я никогда не скрывал от своих польских товарищей, что находился среди них проездом и что мы рассчитывали вернуться к себе при первой же возможности. Эта упрямая наивность не облегчала мне жизнь в школе. На переменах, когда я с важным видом прогуливался по коридорам, вокруг меня часто собиралась небольшая группка учеников. Они серьезно смотрели на меня. Затем один из них выходил вперед и, обращаясь ко мне в третьем лице, как это принято по-польски, почтительно спрашивал:

— Похоже, товарищ опять отложил свой отъезд во Францию?

Я продолжал путь.

— Нет смысла приезжать в середине учебного года,— объяснял им я.— Надо ехать к началу.

Товарищ одобрительно кивал. Потом он замечал:

— Надеюсь, товарищ предупредил, чтобы там не беспокоились?

Они толкали друг друга локтями, и я отлично видел, что они смеются надо мной, но я был выше их оскорблений. Они не могли меня задеть. Моя мечта была намного важнее самолюбия, и игра, в которую я был вовлечен, хотя и делала меня посмешищем, но укрепляла в моих упованиях и надеждах. В конце концов я оборачивался к ним и спокойно отвечал на все вопросы, которые мне задавали. Как я думаю, труднее ли учиться во Франции? Да, очень трудно, намного труднее, чем *здесь*. Там много занимаются спортом, и я рассчитываю всерьез заняться фехтованием и классической борьбой. Обязательна ли там форма в лицеях? Да, обязательна. Как выглядит эта форма? Ну, она синяя с золотыми пуговицами и серо-голубыми кепи, а по воскресеньям там надевают красные брюки и кепи с белым пером. Носят ли там саблю? Только по воскресеньям и в последний год. Начинают ли там занятия с пения «Марсельезы»? Да, естественно, там поют «Марсельезу» каждое утро. Не хочу ли я спеть им «Марсельезу»? Да простит мне Бог, я выставлял одну ногу вперед, прижимал руку к сердцу, потрясал кулаком и пел свой национальный гимн зажигательным голосом. Да, я, как говорится, шел у них на поводу, но все же я не был дураком и прекрасно видел насмешливые лица, прятавшиеся друг за друга, чтобы прыснуть со смеху. Но мне на это было плевать, и, безучастно стоя посреди бандерильеро [1], я чувствовал, что впереди меня ждет великая страна, и не боялся ни сарказма, ни насмешек. Эти шутки продолжались бы и дальше, если бы небольшая группа провокаторов не затронула самого дорогого. Все началось как обычно, когда пятеро или шестеро учеников постарше с большой почтительностью окружили меня.

— Смотри-ка, товарищ все еще здесь? А мы-то думали, что он уехал во Францию, где его ждут с нетерпением.

---

[1] Участники боя быков, раздражающие быка уколами дротиков.

Я уже собирался пуститься в обычные объяснения, как вдруг вмешался старший из группы:

— Там не принимают бывших кокоток.

Я уже забыл, кто был этот мальчик, и не знаю, откуда у него были такие странные сведения. Надо ли говорить, что ничто в прошлом моей матери не оправдывало подобной клеветы? Может быть, моя мать и не была «великой драматической актрисой», как она нередко выражалась, но тем не менее она играла в одном из лучших французских театров Москвы, и все свидетели ее молодости, знавшие ее в то время, отзывались о ней как о гордячке, которую ни на минуту не опьянила, не сбила с пути ее необычайная красота.

Но мое удивление было так велико, что приняло вид трусости. Сердце у меня упало, глаза наполнились слезами, и я первый и последний раз в жизни повернулся спиной к своим врагам. С тех пор я больше не пасовал ни перед чем и ни перед кем, но в тот день я растерялся, и бесполезно отрицать это. Какой-то миг я был в замешательстве.

Когда мать вернулась домой, я бросился к ней и все рассказал. Я ждал, что она обнимет и утешит меня, как она умела это делать. Но то, что произошло, было для меня полной неожиданностью. Внезапно выражение нежности и любви исчезло с ее лица. Она не окатила меня волной сострадания и жалости, как я ждал. Она ничего не сказала и долго почти холодно смотрела на меня. Потом отошла, взяла со стола сигарету и закурила. Затем пошла на кухню, которую мы делили с хозяевами квартиры, и занялась моим ужином. Ее лицо было безучастно, непроницаемо, и часто она бросала на меня почти враждебные взгляды. Не знаю, что со мной сделалось. Бесконечная жалость к себе охватила меня. Я почувствовал себя обиженным, обманутым, покинутым. Мать приготовила мне постель, опять-таки молча. В эту ночь она не ложилась. Проснувшись утром, я увидел, что она по-прежнему сидит у окна в старом кожаном кресле цвета морской волны с сигаретой в руке. Паркет был усыпан окурками: она всегда кидала их где попало. Мать бросила на меня отсутствующий взгляд и отвернулась к окну. Кажется, теперь я знаю, о чем она думала, по меньшей мере, догадываюсь. Должно быть, она спрашивала себя, стою ли я труда, имеют ли смысл все ее жертвы, усилия, надежды,— не стану ли я таким же, как все, не поступлю ли я с ней так же, как когда-то поступил один человек. Она приготовила мне три яйца всмятку и чашку шоколада, смотрела, как я ем. Впервые легкая нежность мелькнула в ее глазах. Должно быть, она говорила себе, что мне всего лишь двенадцать лет. Когда я принялся складывать свои учебники и тетрадки, чтобы идти в школу, ее лицо снова посуровело:

— Ты больше не пойдешь туда. Кончено.

— Но...

— Ты поедешь учиться во Францию. Только... Сядь.

Я сел.

— Послушай, Роман.

Я удивленно взглянул на нее. Это было уже не «Романчик-Ромушка». Она впервые отказалась от уменьшительных. Я почувствовал страшное волнение.

— Слушай меня внимательно. В следующий раз, когда это случится, когда при тебе будут оскорблять твою мать, в следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках. Ты понимаешь?

Я застыл с раскрытым ртом. Ее лицо было непроницаемо, очень сурово. В глазах ни тени жалости. Я не мог поверить, что это говорит моя мать. Как она может? Не я ли ее Ромушка, ее маленький принц, ее сокровище?

— Я хочу, чтобы тебя принесли домой в крови, ты слышишь меня? Даже если у тебя не останется ни одной целой кости, ты меня слышишь?

Ее голос нарастал, она наклонилась ко мне со сверкающими глазами, почти крича.

— Иначе нет смысла уезжать... Незачем туда ехать.

Глубокое чувство несправедливости охватило меня. Мои губы стали кривиться, глаза наполнились слезами, я раскрыл рот... Больше я ничего не успел. Страшная пощечина обрушилась на меня, потом еще и еще. Мой ужас был столь велик, что слезы исчезли как по волшебству. Впервые мать подняла на меня руку. И как все, что она делала, это не было сделано наполовину. Оцепенев, я застыл под ударами. Я даже не ревел.

— Запомни, что я сказала. С сегодняшнего дня ты станешь защищать меня. Мне все равно, что они с тобой сделают. Самое страшное — другое. Ты умрешь, если будет надо.

Я все еще делал вид, что не понимаю, что мне только двенадцать лет, пытался увильнуть, но прекрасно все понимал. Мать заметила это и успокоилась. Она шумно вздохнула — признак удовлетворения — и пошла налить себе стакан чаю. Она пила чай с сахаром вприкуску. Взгляд у нее был отсутствующий. Она что-то придумывала, комбинировала, рассчитывала. Затем выплюнула остаток сахара на блюдечко, взяла сумочку и ушла. Мать направилась прямо во Французское консульство и предприняла энергичные шаги, чтобы нам разрешили постоянное жительство в стране, где, как она написала в прошении, составленном господином Дьелёвё-Колек, «мой сын имеет намерение обосноваться, выучиться и стать человеком». Но здесь, я уверен, формулировка неточно выражала ее замыслы и просто она до конца не отдавала себе отчета в том, чего, в сущности, ждала от меня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава XIX

От первого контакта с Францией, с Ниццей, у меня остался в памяти привокзальный носильщик в длинной синей блузе, в фуражке с кожаными ремешками и прекрасным цветом лица, приобретенным благодаря солнцу, морскому воздуху и доброму вину.

Сегодня форма французских носильщиков почти не изменилась, и, всякий раз возвращаясь на Юг, я вновь встречаю друга своего детства.

Мы поручили ему свой кофр, в котором заключалось все наше будущее, то есть небезызвестное старинное русское серебро, чья продажа должна была обеспечить наше благополучие на несколько лет вперед, которые мне потребуются, чтобы осмотреться и встать на ноги. Мы остановились в семейном пансионе на улице Буффа́, и мать, едва успев выкурить первую французскую сигарету — голубую «голуаз»,— открыла кофр, выбрала из «сокровища» самые лучшие вещи, переложила их в свой чемоданчик и с уверенным видом пустилась в путь по улицам Ниццы в поисках покупателя. Я же, сгорая от нетерпения, помчался возобновлять свою дружбу с морем. Оно сразу же узнало меня и бросилось навстречу, лизнув мне ноги.

Когда я вернулся домой, мама уже ждала меня. Она сидела на кровати и нервно курила. На ее лице была печать полного непонимания, какого-то крайнего изумления. Она вопросительно взглянула на меня, как будто ждала от меня объяснения этой загадки. Во всех магазинах, куда она являлась с образчиками нашего сокровища, ей оказали самый холодный прием. Предлагали смехотворные цены. Само собой разумеется, что она сказала им все, что о них думает. Все эти ювелиры были отпетыми мошенниками, стремившимися ограбить ее, впрочем, ни один из них не был французом. Это были армяне, русские и, по-видимому, немцы. Завтра же она пойдет во *французские* магазины, принадлежащие настоящим *французам,* а не сомнительным беженцам из Восточной Европы, которым, для начала, Франция должна была бы запретить вторгаться на свои территории. Мне не следует беспокоиться, все устроится, серебро царского завода стоит целое состояние; к тому же у нас довольно денег, чтобы продержаться несколько недель, тем временем мы найдем покупателя и обеспечим свое будущее на долгие годы. Я ничего не сказал, но тревога, непонимание, которые я прекрасно уловил в ее остановившихся и расширенных зрачках, тут же передались моему нутру, тем самым установив между нами

кратчайшую связь. Было ясно, что серебро не найдет покупателя и что через пятнадцать дней мы окажемся без единого су в чужой стране. Тогда я впервые подумал о Франции как о чужой стране, что еще раз доказывало, что мы были дома.

В течение этих пятнадцати дней моя мать развязала и проиграла героическую битву, отстаивая и рекламируя старинное русское серебро. Она попробовала начать с потомственных ювелиров и золотых и серебряных дел мастеров Ниццы. У меня на глазах она разыграла перед одним честным армянином с улицы Виктуар, ставшим впоследствии нашим другом, сцену подлинно артистического экстаза перед красотой, редкостью и совершенством сахарницы, которую она держала в руке, и прервалась только затем, чтобы пропеть дифирамбы в честь самовара, супницы и горчичницы. Армянин, с высоко поднятыми бровями, с бескрайним лбом, свободным от каких-либо волосяных препятствий и от удивления покрытым тысячью морщин, в оцепенении следил глазами за кривой, которую описывал в воздухе половник или солонка; он поспешил заверить мою мать, как высоко он ценит каждую вещь, проявляя сдержанность только в отношении цены, которая казалась ему завышенной в десять-двенадцать раз по сравнению с реальной стоимостью вещи. Видя такое невежество, мать сложила свое добро в чемодан и ушла из лавки не попрощавшись. Не больший успех ждал ее и в другом магазине, на этот раз принадлежавшем паре добропорядочных французов, где, сунув под нос пожилого месье небольшой, восхитительных пропорций самовар, она с Вергилиевым красноречием представила ему картину милой французской семьи, собравшейся у фамильного самовара, на что добрейший месье Серюзье, впоследствии часто прибегавший к услугам моей матери, предоставляя ей товары на комиссионных началах, ответил, качая головой и поднеся к глазам висевшее на ленточке пенсне, которое он никогда не надевал на нос:

— Мадам, самовару так и не удалось акклиматизироваться в наших широтах.— Это было сказано с видом такого горького сожаления, что я воочию представил себе, как последняя горстка самоваров гибнет в некой чаще французского леса.

Встретив такой куртуазный прием, мама растерялась — учтивость и куртуазность всегда обезоруживали ее,— она замолчала и, больше не настаивая, опустила глаза и молча принялась заворачивать каждый предмет, прежде чем положить его в чемодан,— кроме самовара, который был слишком велик и который предстояло нести мне, бережно держа его в руках и идя следом за ней, что вызывало любопытство прохожих.

У нас оставалось совсем мало денег, и мысль о том, что с нами будет, когда они совсем кончатся, внушала мне ужас. По ночам каждый из нас притворялся спящим, но в темноте еще долго мелькала красная точка ее сигареты. Я следил за ней взглядом, полным отчаяния, чувствуя себя беспомощным, как перевернувшийся скарабей. До сих пор при виде прекрасного столового серебра у меня подступает тошнота к горлу.

На следующее утро нам помог именно месье Серюзье. Как искушенный коммерсант, он сразу же оценил талант моей матери восхвалять перед колеблющимися покупателями красоту и редкость «фамильных вещей» и решил использовать его для взаимной выгоды. Мне кажется, что искушенного коллекционера, сверх того, еще сильно поразил и сам вид двух живых экспонатов в его магазине на фоне других любопытных вещей. Все это плюс врожденное благородство побудило его помочь нам. Он выдал нам аванс, и скоро мать стала обходить богатые гостиницы Побережья, предлагая постояльцам «Уинтер-паласа», «Эрмитажа» и «Негреско» свои «фамильные драгоценности», вывезенные в эмиграцию, или же вещи своего русского друга — великого князя, с которыми вследствие «некоторых обстоятельств» он вынужден был понемногу расставаться.

Мы были спасены, и спасены французом; это нас очень обнадеживало, ибо Франция насчитывала сорок миллионов жителей, что вселяло надежду.

Другие коммерсанты в свою очередь предложили ей свои товары, и мало-помалу, без устали шагая по городу, мать стала прилично зарабатывать.

Что касается злополучного столового серебра, то, возмутившись смехотворной ценой, которую нам предлагали, мать спрятала его на дно сундука, заметив, что сервиз с царским орлом на двадцать четыре персоны когда-нибудь очень пригодится мне, чтобы «принимать»,— последнее слово было произнесено загадочно и чуть-чуть торжественно.

Понемногу мама расширила поле деятельности. Она открыла киоски бижутерии в отелях, была посредницей по продаже квартир и земельных участков, вошла в пай на эксплуатацию такси, была на четверть совладелицей одного грузовика, поставлявшего зерно птицеводам области, сняла квартиру побольше, в которой сдавала две комнаты, занялась трикотажным делом — короче, окружила меня всяческими заботами. Ее планы относительно меня давно оформились: экзамен на аттестат бакалавра, натурализация, лиценциат права и военная служба в чине офицера кавалерии — это само собой разумелось,— политические науки и дипломатия. Когда она почтительным шепотом произносила эти слова, на ее лице появлялась робкая и восторженная улыбка. Чтобы достичь этой цели — я был в третьем классе,— нам по часто производимым подсчетам требовался пустяк — восемь или девять лет, и мама считала, что она в состоянии продержаться до тех пор. Она удовлетворенно сопела, заранее глядя на меня с нескрываемым восхищением. «Секретарь посольства»,— громко произносила она, будто желая лучше проникнуться прелестью этих слов. Надо только иметь терпение. Мне уже четырнадцать. Мы были почти у цели. Мама надевала свое серое пальто, брала чемодан, и я смотрел, как она, с тростью в руке, энергично шла к этому блестящему будущему. Теперь она ходила с тростью.

Что касается меня, то я был бóльшим реалистом. Я вовсе не собирался топтаться на месте еще девять лет — никогда не знаешь, что может случиться. Мне хотелось совершить для нее подвиги прямо сейчас, не откладывая. Сначала я попробовал стать чемпионом мира среди юниоров по плаванию — я ежедневно тренировался в «Гранд Блё», теперь этого бассейна уже нет,— но, переплывая Залив Ангелов, занял только одиннадцатое место — и снова, как и раньше, мне пришлось вернуться к литературе. На моем столе скапливались тетради, исписанные все более и более красноречивыми, все более и более пленительными, все более и более отчаянными псевдонимами; я желал разом покончить с этим, без промедления зажечь священный огонь и триумфально осветить им мир, и, читая новые для себя имена на обложках книг: Антуан де Сент-Экзюпери, Андре Мальро, Поль Валери, Малларме, Монтерлан, Аполлинер, которые, как мне казалось, блистали с витрин книжных магазинов во всем своем великолепии, я чувствовал себя ограбленным и страшно злился, что не первый щегольнул таким именем.

Кроме того, я предпринял еще несколько робких попыток, чтобы победить на море, земле и небесах, продолжая заниматься плаваньем, бегом и прыжками в высоту, но только в пинг-понге мне по-настоящему удалось блеснуть и вернуться домой с лаврами. Это была единственная победа, которую я смог подарить своей матери, и серебряная медаль, с выгравированным на ней моим именем, в футляре фиолетового бархата, до самого конца фигурировала на почетном месте на столике у ее изголовья.

Я попробовал и теннис, получив в подарок ракетку от родителей своего друга. Но чтобы стать членом Клуба Императорского парка, следовало заплатить сумму, превышавшую наши средства. Здесь случился особенно мучительный эпизод в моей жизни чемпиона. Понимая, что из-за отсутствия денег доступ к Императорскому парку будет мне закрыт, мама справедливо возмутилась. Потушив в блюдечке сигарету, она схватила трость и пальто. Этому не бывать. Мне было велено взять ракетку и сопровождать ее в Клуб Императорского парка. Там она потребовала секретаря Клуба, и как только раскаты ее голоса докатились до него, он тотчас же появился в сопровождении президента Клуба, который звался чудесным именем Гарибальди. Стоя посреди комнаты, в шляпе, слегка съехавшей набок,

и потрясая тростью, мать не скрыла ничего из того, что о них думала. Как! Немного тренировок, и я мог бы стать чемпионом Франции, победоносно защищать от иностранцев честь своей страны, а вход на корты мне запрещен по жалкой и вульгарной причине — деньги! Моя мать считала своим долгом сказать этим господам, что они не думают об интересах родины — она громко провозглашает это как мать француза; в то время я еще не получил гражданства, но это явно тривиальная деталь — и она требовала, чтобы меня тотчас же допустили на корты Клуба. Я всего три-четыре раза в жизни держал в руках теннисную ракетку, и мысль, что один из этих господ вдруг может предложить мне выйти на корт и показать, что я умею делать, бросила меня в дрожь. Но видные господа, стоявшие перед нами, были слишком удивлены, чтобы думать о моих спортивных качествах. Кажется, именно у месье Гарибальди возникла эта фатальная идея, должная, по его мнению, утихомирить мою мать, но на деле ставшая причиной сцены, воспоминание о которой до сих пор вызывает во мне оторопь.

— Мадам,— сказал он,— прошу вас, потише. Его Величество Густав, король Швеции, в нескольких шагах отсюда, и я прошу вас не делать скандала.

Эта фраза возымела на мать немедленное действие. Одновременно наивная и восхищенная улыбка, которую я так хорошо знал, стала вырисовываться на ее губах, и она ринулась вперед.

Сидя на лужайке под белым зонтиком, старый господин пил чай. На нем были брюки из белой фланели, черно-голубой блейзер и канотье, надетое чуть набок. Король Швеции Густав V был завсегдатаем Лазурного берега и теннисных кортов, и его знаменитое канотье регулярно появлялось на страницах местных газет.

Мать ни минуты не колебалась. Она сделала реверанс и, тыча тростью в сторону президента и секретаря Клуба, воскликнула:

— Я пришла искать защиты у Вашего Величества! У моего сына, которому скоро четырнадцать, удивительные способности к теннису, а эти недостойные французы не дают ему здесь тренироваться! Все наше состояние было конфисковано большевиками, и нам нечем заплатить взнос! Мы пришли просить помощи и защиты у Вашего Величества.

Это было сказано в духе лучших традиций русских народных сказок со времен Ивана Грозного до Петра Великого. После чего мать обвела многочисленное и заинтересованное собрание торжествующим взглядом. Если бы в ту минуту было можно растаять в воздухе или провалиться сквозь землю, то я бы облегченно вздохнул. Но мне не дано было так легко отделаться. Я вынужден был стоять там под насмешливыми взглядами прекрасных дам и их красивых кавалеров.

Его Величество Густав V был в то время уже очень пожилым человеком, что, по-видимому, в сочетании с флегмой шведов и объясняло, что он ничуть не удивился. Он вынул изо рта сигару, серьезно посмотрел на мою мать, бросил взгляд в мою сторону и обернулся к своему тренеру.

— Сыграйте с ним немного,— сказал он замогильным голосом.— Посмотрим, что он умеет делать.

Лицо моей матери просияло. Мысль, что я держал в руках теннисную ракетку всего три-четыре раза, ничуть ее не беспокоила. Она в меня верила и знала, кто я. Повседневные мелочи, маленькие практические трудности в счет не шли. Минуту я колебался, а потом, чувствуя на себе верящий и любящий взгляд, проглотил свой стыд и страх и, понурив голову, пошел на экзекуцию.

Это длилось недолго, но мне все еще кажется, что пытка продолжается. Разумеется, я старался как мог. Я прыгал, приземлялся, подскакивал, делал пируэты, бегал, падал, снова подскакивал, летал, изображая танец сломанной марионетки, но мне едва удавалось коснуться мяча и к тому же только деревянной рамкой ракетки — все это под невозмутимым взглядом короля Швеции, который холодно следил за мной из-под своего знаменитого канотье. Вы наверняка спросите, почему я согласился пойти на бойню, почему решился выйти на корт. Но я не забыл ни урока, данного мне

в Варшаве, ни полученной пощечины, ни голоса моей матери, говорившей мне: «В следующий раз я хочу, чтобы тебя принесли домой на носилках, ты слышишь меня?» И речи быть не могло, чтобы спасовать.

Я бы соврал, если бы не признался, что, несмотря на свои четырнадцать лет, все еще верил в чудо. Я верил в волшебную палочку и, рискуя и идя на корт, чуточку верил в абсолютно справедливую и милостивую силу, которая придет нам на помощь, что всемогущая и невидимая рука будет водить моей ракеткой и что мячи послушаются ее таинственных приказов. Не тут-то было.

Вынужден признать, что это крушение веры в чудо оставило во мне настолько глубокий след, что я часто спрашиваю себя, что, если история Кота в сапогах была придумана от начала и до конца, и правда ли ночью приходили мыши, чтобы пришить пуговицы к сюртуку портного из Глостера. Короче, в сорок четыре года я начинаю задавать себе некоторые вопросы. Но я много пережил, и не стоит заострять внимание на случайных неудачах.

Когда тренер сжалился наконец надо мной и я вернулся на лужайку, мать встретила меня так, будто бы я выиграл. Она помогла мне надеть пуловер и своим платком отерла мне лицо и шею. Затем обернулась к собравшимся, и — как описать тишину, это напряженное, настороженное внимание, с которым она всех пристально оглядела? Смеявшиеся почувствовали себя неловко, прекрасные дамы взялись за соломинки, опустили глаза и принялись увлеченно сосать лимонад. Быть может, смутный образ самки, защищающей своего детеныша, всплыл у них в памяти. Однако матери не пришлось бросаться на мою защиту. Король Швеции вывел нас из затруднения. Пожилой господин дотронулся до своего канотье и с бесконечной учтивостью и любезностью — хотя многие считали, что это было ему несвойственно,— сказал:

— Я думаю, господа согласятся со мной: мы присутствовали при волнующей сцене... Господин Гарибальди,— помнится, слово «господин» прозвучало у него особенно замогильно,— я заплачу взнос за этого молодого человека: у него есть смелость и хватка.

С тех пор я навсегда полюбил Швецию.

Но ноги моей больше не было в Императорском парке.

Глава XX

Все мои неудачи привели к тому, что я все чаще стал затворяться в своей комнате и всерьез принялся писать. Повсюду сталкиваясь с неприглядной действительностью, везде получая отпор, всюду натыкаясь на границы своих возможностей, я привык уходить в воображаемый мир, обретая там, благодаря своим вымышленным персонажам, жизнь, полную смысла, справедливости и понимания. Инстинктивно, отчасти под влиянием литературы, я открыл для себя юмор, этот ловкий и безотказный способ обезоруживать действительность в тот самый момент, когда она готова раздавить вас. Юмор всегда был моим дружеским спутником; только ему я обязан своими крупными победами над судьбой. Никто не смог лишить меня этого оружия, которое с еще большей охотой я оборачивал против себя самого, а через себя против нашего общего удела, который я разделяю со всеми людьми. Юмор говорит о человеческом достоинстве, утверждает превосходство человека над обстоятельствами. Некоторые мои «друзья», напрочь лишенные юмора, очень печалятся, когда в своих книгах и высказываниях я обращаю это мощное оружие против самого себя; эти умники говорят о мазохизме, ненависти к самому себе и даже, когда я подключаю к этим шуткам своих близких, об эксгибиционизме и хамстве. Мне жаль их. Дело в том, что моего «я» не существует, что я никогда не убивал, а лишь слегка задевал собственное «я», обрушиваясь на него со своим любимым оружием; я имел в виду положение человека во все времена, его удел, навязанный свыше, приговор, продиктованный нам какими-то неумолимыми силами, сродни фатальным нюрнбергским приговорам. В отношениях с людьми это недоразумение

всегда обрекало меня на одиночество, поскольку ничто так сильно не отчуждает, как желание дружески поддержать юмором того, кто в этом смысле еще более непробиваем, чем пингвин.

Я стал также интересоваться социальными проблемами и мечтать о таком мире, в котором женщинам не придется больше заботиться о своих детях в одиночку. Но с другой стороны, я знал, что социальная справедливость — только первый шаг, лишь лепет младенца, и то, что я просил для себе подобных, по сути дела, сводилось к тому, чтобы они могли стать хозяевами своей судьбы. Я рассматривал жизнь человека как попытку революционной борьбы против собственных биологических, моральных и интеллектуальных данных. Так как чем больше я смотрел на постаревшее, усталое лицо своей матери, тем сильнее бунтовало мое чувство справедливости и росло желание исправить мир.

Тем временем у нас опять стало туго с финансами. Экономический кризис 1929 года затронул и Лазурный берег, и для нас вновь наступили тяжелые дни.

Мать переоборудовала одну из комнат нашей квартиры под псарню, открыв пансион для домашних животных, читала книги слепым, взяла жильцов, стала управляющей одного дома, пару раз выступала посредницей по продаже земельных участков. Я лез из кожи, чтобы помочь ей, то есть пытался создавать бессмертный шедевр. Иногда я зачитывал ей несколько страниц, которыми особенно гордился, и она никогда не обманывала моих ожиданий, безгранично восхищаясь мной; но однажды, прослушав одну из моих поэм, она застенчиво сказала:

— Мне кажется, что в жизни ты будешь малопрактичным. Не понимаю, откуда в тебе это.

И действительно, в лицее, вплоть до выпускных экзаменов на аттестат бакалавра, у меня были самые плачевные оценки по точным наукам. На устном экзамене по химии экзаменатор, месье Пассак, попросил меня рассказать о гипсе, и все, что я смог ему сказать, дословно было:

— Гипс идет на строительство стен.

Экзаменатор терпеливо ждал. Потом, так как больше ничего не последовало, он спросил:

— Это все?

Я свысока посмотрел на него и обратился к публике, призывая ее в свидетели:

— Что значит все? Это колоссально! Господин профессор, уберите стены, и девяносто девять процентов нашей цивилизации рухнет!

Сделки подворачивались все реже и реже, и однажды, проплакав весь вечер напролет, мать села за стол и написала кому-то очень длинное письмо. На следующий день она повела меня к фотографу, который снял меня по пояс в голубом свитере и с поднятыми кверху глазами. Фотография была приложена к письму, и после нескольких дней колебаний мать, хранившая письмо в запертом выдвижном ящике стола, все же решилась отправить его.

Весь следующий вечер она провела, склонившись над своим сундуком и перечитывая пачку писем, перевязанную голубой ленточкой.

В ту пору матери было около пятидесяти двух лет. Письма были пожелтевшими и истрепанными. В 1947 году я наткнулся на них в подвале, прочел и с тех пор часто перечитываю.

Через восемь дней мы получили чек на пятьсот франков, который произвел на мою мать необыкновенное действие: *она с благодарностью посмотрела на меня*. Так, как будто бы я сделал для нее что-то значительное. Она подошла ко мне, взяла мое лицо обеими руками и внимательно всматривалась в каждую его черту, пока на ее глазах не заблестели слезы. Странное чувство шевельнулось во мне, я вдруг понял, что она видит во мне кого-то другого.

Целых полтора года, более или менее регулярно, нам продолжали поступать чеки. Мне купили гоночный велосипед «Томман» оранжевого цвета. Для нас настала счастливая пора спокойствия и процветания.

Я ежедневно получал по два франка на карманные расходы и теперь мог, возвращаясь из лицея, иногда заходить на цветочный рынок и за пятьдесят сантимов покупать душистый букет, чтобы подарить его матери. По вечерам я водил ее в «Руаяль» слушать цыганский оркестр: мы слушали его, стоя на тротуаре, предпочитая не подниматься на террасу, где посещение кафе было обязательным. Моя мать обожала цыганские оркестры: наряду с офицерами Гвардии, дуэлью Пушкина и шампанским, которое пьется из туфелек, они были для нее наиболее романтическим воплощением порочного мира. Она все время предостерегала меня от цыганок, которые, по ее словам, являют собой серьезную угрозу и способны погубить меня, если я не приму меры, подорвав физически, морально и материально, и неизбежно приведут к туберкулезу. Меня приятно волновали такие перспективы, но им не суждено было сбыться. Единственная цыганка, которая привлекла меня в молодости, исключительно благодаря интригующим рассказам моей матери, коими я проникся за несколько лет до того, ограничилась тем, что украла мой бумажник, шейный платок и часы-браслет, даже не дав мне времени опомниться и тем более схлопотать туберкулез.

Я всегда мечтал, чтобы меня погубила женщина — морально, физически и материально: как это, должно быть, великолепно, когда хоть что-то можешь сделать из своей жизни. Конечно, я могу еще заразиться туберкулезом, но, учитывая мой возраст, думаю, что не таким путем. Природа имеет свои пределы. Кроме того, что-то подсказывает мне, что и цыганки, и офицеры Гвардии уже не те, что прежде.

После концерта я брал мать под руку и мы шли посидеть на Английскую набережную. Там тоже места были платные, но такой шик мы теперь могли себе позволить.

При удачном выборе места можно было бесплатно слушать оркестр «Лидо» или Казино. Обычно мама приносила с собой черный хлеб и соленые огурцы, незаметно спрятав их на дне своей сумочки,— наше излюбленное лакомство. И тогда, около девяти часов вечера, на Английской набережной часто можно было видеть изысканную седовласую даму с юношей в голубом свитере, которые, слегка опершись на балюстраду и расстелив на коленях газету, разглядывали гуляющую публику, смакуя соленые а-ля рюс огурцы с черным хлебом. Это было очень вкусно.

Но недостаточно. Марьетт пробудила во мне голод, который уже не мог утолить ни один даже самый соленый огурец в мире. Вот уже два года, как Марьетт покинула нас, но память о ней осталась у меня в крови и мешала спать по ночам. Я и сейчас глубоко благодарен этой доброй француженке, распахнувшей передо мной дверь в лучший мир. С тех пор прошло тридцать лет, и я честно признаюсь, что с того времени не узнал ничего нового и ничего не забыл. Пусть ее старость будет счастливой и тихой, и пусть она знает, что щедро поделилась со мной тем, чем наградил ее Господь. Я боюсь расчувствоваться, если и дальше продолжать тему, и поэтому кончаю на этом.

Итак, Марьетт уже давно не было рядом, чтобы протянуть мне руку помощи. Кровь кипела в моих жилах и так нещадно и настойчиво стучалась в дверь, что даже три километра, которые я проплывал каждое утро, не могли успокоить ее. Сидя рядом с матерью на Английской набережной, я следил за каждой проходившей мимо красавицей, обладательницей хлеба насущного, глубоко вздыхал и в растерянности замирал со своим огурцом в руке.

Но старейшая в мире цивилизация с присущим ей снисходительным пониманием природы человека и его греховности, со свойственной ей склонностью к соглашательству пришла мне на помощь. Средиземное море слишком долго существовало бок о бок с солнцем, чтобы сделаться его врагом, и оно склонило ко мне свое милостивое лицо.

В ту пору лицей, здание которого возвышалось между площадью Массена́ и эспланадой Пайон, был не единственным просветительным учреждением в Ницце. На улице Сен-Мишель нам с товарищами оказывали простой и дружелюбный прием, по крайней мере, когда американская

эскадра не высаживалась в Вильфранше; тогда для нас наступали самые черные дни, класс находился в подавленном состоянии и черная классная доска поистине становилась флагом нашей меланхолии.

Но с двумя-тремя франками в кармане трудно *гулять*, как говорят у нас на Юге.

И дома стали происходить странные вещи. Сперва исчез один ковер, затем другой, и однажды, вернувшись из Казино, в котором давали «Мадам Баттерфляй», моя мать была поражена, обнаружив, что небольшое трюмо, купленное ею накануне у антиквара в надежде выгодно перепродать его, буквально растворилось в воздухе при плотно закрытых дверях и окнах. Ее лицо выражало крайнее удивление. Она подвергла квартиру тщательному осмотру, чтобы убедиться, не пропало ли еще что. Оказалось, что да: мой фотоаппарат, моя теннисная ракетка, мои часы, мое зимнее пальто, моя коллекция почтовых марок и собрание сочинений Бальзака, которое я получил в качестве первой премии по французскому языку; его постигла та же участь. Я даже ухитрился продать знаменитый самовар, который пристроил у самого старого антиквара Ниццы, конечно же, за смехотворную сумму; тем не менее ее хватило, чтобы сразу же вывести меня из затруднения. Мать с минуту раздумывала, потом села в кресло и уставилась на меня. Она долго и внимательно глядела мне в глаза, после чего, к моему великому удивлению, вместо скандала, которого я ждал, ее лицо вдруг приняло выражение торжества и гордости. От всей души шмыгнув носом, она еще раз посмотрела на меня с благодарностью, восхищением и умилением: наконец-то я стал мужчиной. Она не зря боролась.

В этот вечер она написала длинное письмо своим крупным и нервным почерком, все с тем же победоносным и счастливым видом, будто бы торопясь сообщить, что я был хорошим сыном. Вскоре на мое имя пришел чек в пятьдесят франков и в течение года я получил много других. На какое-то время я был спасен. Зато мне пришлось посетить старого доктора на улице Франции, который после долгих намеков объяснил мне, что жизнь молодого человека полна опасностей, что мы слишком уязвимы, что смертоносные стрелы со свистом проносятся мимо наших ушей и что даже наши предки галлы никогда не отправлялись в бой без щита. После чего вручил мне небольшой пакетик. Я вежливо слушал, как и полагается держать себя со старшими. Но посещение вильновского Паноптикума окончательно просветило меня на этот счет, и с тех пор я твердо решил сохранить свой нос в целости. Я мог бы возразить ему, что он сильно недооценивал почтенность и щепетильность доблестных дам, которых мы посещали. Большинство из них сами были преданными матерями, и никогда, никогда нам не разрешалось рисковать, идя по следу моряков всего мира, не изучив правил предосторожности, знакомых каждому уважающему себя мореплавателю.

Средиземноморье, любовь моя! До чего же твоя, столь милостивая к жизни, латинская мудрость была ко мне добра и благосклонна и с какой снисходительностью твой старый подтрунивающий взгляд скользил по моему юношескому лбу! Я вечно буду возвращаться к твоему берегу, как рыбачья барка, возвращающаяся с пойманным в сети заходящим солнцем. Я был счастлив на твоем каменистом пляже.

Глава XXI

Наша жизнь стала меняться к лучшему. Помню, как-то в августе мать даже ездила отдохнуть на три дня в горы. С букетом в руках я провожал ее до автобуса. Прощание было душераздирающим. Мы впервые расставались, и мать плакала, предчувствуя будущие расставания. Водитель автобуса, долго наблюдавший за сценой нашего прощания, не выдержал наконец и спросил меня с тем ниццким акцентом, который так красит чувство:

— Это надолго?

— На три дня,— ответил я.

Он был очень тронут и, глядя на нас с уважением, сказал:

— Ну что ж, похоже, вы очень любите друг друга.

Отдохнув, мать вернулась, полная планов и энергии. Она вновь принимается за дела в Ницце и на этот раз с настоящим русским великим князем; они будут предлагать «фамильные драгоценности» почтенным иностранцам. Великий князь был новичком в деле, и мать теряла время, подолгу ободряя его. В то время в Ницце насчитывалось около десяти тысяч русских семей, внушительный набор бывших генералов, казаков, украинских *атаманов,* полковников царской охраны, принцев, князей, баронов-прибалтов, которым удалось воссоздать на берегу Средиземного моря атмосферу Достоевского. Во время войны они раскололись на два лагеря, одни стали попутчиками немцев и работали на гестапо, другие приняли активное участие в Сопротивлении. С первыми расправилось движение Освобождения, другие полностью ассимилировались и навсегда растворились в дружеской массе обладателей «рено» в четыре лошадиные силы, оплачиваемых отпусков, кофе со сливками — и все это не участвуя в голосовании.

С великим князем с куцей белой бороденкой мать держалась снисходительно-иронически, но в глубине души ей льстил такой союз, и она не упускала случая обратиться к нему по-русски «светлейший князь», подавая ему при этом чемодан. Перед случайными покупателями «светлейший князь» становился таким застенчивым, таким несчастным и так виновато молчал, пока мать в красках описывала его прямое родство с царем, дворцы, которые он имел в России, и его близкие связи с английским двором, что у клиентов создавалось впечатление выгодной сделки, благодаря его беззащитности, и они, как правило, заключали ее. Для матери он был незаменимой находкой, и она очень заботилась о нем. Он страдал болезнью сердца, и перед каждым выходом мать заставляла его выпить стакан воды с двадцатью каплями лекарства. Их можно было видеть вместе на террасе кафе «Буффа́», когда они строили планы на будущее: моя мать развивала мысль, как я стану французским посланником, а светлейший князь — какой образ жизни он намерен вести после краха коммунистического режима и возвращения Романовых на российский престол.

— Я намерен удалиться в свои поместья и тихо жить вдали от Двора и политики,— говорил великий князь.

— Мой сын готовит себя для карьеры,— отвечала моя мать, попивая чай.

Не знаю, что стало с Его Светлостью. Какой-то русский великий князь похоронен на кладбище Рокбрюн-виллаж, неподалеку отсюда, но я не уверен, что это он; к тому же думаю, что, встреть я его без белой бороденки, мне трудно было бы узнать его.

Как раз тогда мать заключила свою самую удачную сделку — продажу семиэтажного дома на бывшем бульваре Карло́не, который теперь называется бульвар Гроссо. Уже несколько месяцев она без устали носилась по городу в поисках покупателя, хорошо понимая, что от успеха зависит решительный поворот в нашей жизни, и если бы продажа состоялась, то обеспечила бы мне первый год обучения в университете в Экс-ан-Провансе. Покупатель подвернулся совершенно случайно. Однажды перед нашим домом остановился «роллс-ройс», шофер распахнул дверцу, и оттуда вышел толстый господин маленького роста в сопровождении красивой молодой дамы, вдвое выше его ростом и во столько же моложе. Она оказалась бывшей клиенткой нашего вильновского салона мод, недавно вышедшей замуж за этого очень богатого человека, который с каждым днем становился все богаче. Было ясно, что нам послало их небо. Коротышка месье Едвабникас не только купил дом, но, как и многие другие до него, пораженный духом предпринимательства и энергией моей матери, поручил ей к тому же и управление им, тут же согласившись с ее предложением переоборудовать часть здания под отель с рестораном. Так отель-пансион «Мермон» («Мер» — от слова «море», а «Мон» — горы) — с перекрашенным фасадом и укрепленным фундаментом — распахнул свои двери знатной клиентуре всего мира, предлагая «покой, комфорт и хороший вкус»,— это дословная цитата из первого проспекта, автором которого был я. Моя мать не была знакома с гостиничным делом, но сразу же оказалась на

высоте положения. С тех пор я объездил отели всего мира и по своему опыту могу сказать, что, имея ограниченные средства, мама ловко выкручивалась. При наличии тридцати шести номеров, занимавших два этажа, ресторана, двух горничных, гарсона, главного повара и мойщика посуды дело сразу же успешно пошло. Я в свою очередь исполнял функции администратора, гида при автобусных экскурсиях и метрдотеля, а главное, был обязан производить хорошее впечатление на клиентов. Мне было уже шестнадцать, но впервые пришлось вступать в контакты с людьми в таких крупных дозах. Наши клиенты съезжались со всего мира, но в основном это были англичане. Обычно они приезжали группами, которые присылали туристические агентства, и, растворившись таким образом в демократическом большинстве, рассыпались в благодарностях при малейшем проявлении внимания к ним. Это была пора зарождавшегося «малого туризма», который окончательно вошел в моду незадолго до войны и сразу же после нее. За редким исключением все они были милые, воспитанные, не слишком уверенные в себе и нетребовательные клиенты. Большинство составляли женщины.

Мама вставала в шесть часов утра, выкуривала три или четыре сигареты, выпивала стакан чаю, одевалась, брала трость и отправлялась на рынок Буффа, где она, бесспорно, царила. Рынок Буффа был поменьше, чем рынок старого города, снабжавший крупные отели, и обслуживал, главным образом, пансионы, расположенные в округе бульвара Гамбетты. Это было средоточие разнообразных акцентов, запахов и цветов, где отборные ругательства парили над эскалопами, отбивными, луком-пореем и глазами заснувшей рыбы и где каким-то чудом, присущим только Средиземноморью, вдруг неожиданно возникали огромные букеты гвоздик и мимозы.

Мать ощупывала эскалоп, оценивала спелость дыни, с презрением отшвыривала кусок говядины, который мягко, с обиженным стоном шлепался о мрамор, тыкала своей тростью в сторону салата, который продавец немедленно бросался защищать всем телом, в отчаянии бормоча: «Прошу вас не трогать товар!», нюхала сыр бри, совала палец в мягкий камамбер и пробовала, причем она так подносила к своему носу сыр, филе, рыбу, что повергала в отчаяние смертельно бледных торговцев, и когда, наконец, презрительно отбросив товар, она удалялась с высоко поднятой головой, то их возгласы, проклятия, брань и возмущенные крики сливались в единый старинный хор Средиземноморья. Будто присутствуя на процессе восточного правосудия, мать, взмахнув своим жезлом, вдруг прощала задней ножке баранины, салату, горошку их сомнительную свежесть и непомерную цену, переводя их тем самым из разряда презренного товара в «первоклассную французскую кухню»,— цитата из уже упоминавшихся проспектов. Долгие месяцы она каждое утро останавливалась перед прилавком месье Ренуччи и подолгу ощупывала окорока, никогда их не покупая, исключительно ради провокации, в память о какой-то непонятной ссоре, сводя личные счеты и только желая напомнить торговцу, какую отменную клиентку он потерял. При виде моей матери, приближавшейся к прилавку, голос мясника взмывал как сирена, и он тут же бросался брюхом на прилавок, нависал над ним, грозил кулаком, показывая, что будет защищать товар любой ценой, требуя, чтобы она шла своей дорогой. И пока жестокая совала свой безжалостный нос в окорок, сначала с недоверчивой гримасой, а потом с отвращением, всей своей мимикой выражая, что ужасный запах поразил ее обоняние, Ренуччи, подняв глаза к небу и скрестив руки, умолял мадонну удержать его, помешать убийству, но мать, наконец презрительно оттолкнув окорок, с вызывающей улыбкой уже удалялась продолжать свою игру дальше под аккомпанемент хохота, «Санта Мадонна!» и проклятий.

Мне кажется, что она провела там лучшие минуты жизни.

Всякий раз, возвращаясь в Ниццу, я иду на рынок Буффа. Я подолгу брожу среди лука-порея, спаржи, дынь, говядины, фруктов и рыбы. Шум, возгласы, жесты, запахи и ароматы не изменились, не хватает только пустяка, какого-то штриха, чтобы иллюзия стала полной. Я часами брожу по рынку, и морковь, цикорий и эндивий будят во мне воспоминания.

Мамочка всегда возвращалась домой с цветами и фруктами в обеих руках. Она глубоко верила в благотворное влияние фруктов на организм и следила за тем, чтобы я съедал хотя бы килограмм в день. С тех пор я страдаю хроническим колитом. Затем она спускалась на кухню, составляла меню, принимала поставщиков, следила за подачей завтрака в комнаты, выслушивала клиентов, организовывала подготовку пикников для экскурсантов, осматривала погреб, вела счета, словом, входила во все детали.

Однажды, раз двадцать поднявшись по проклятой лестнице, которая вела из ресторана на кухню, мама вдруг опустилась на стул, ее лицо и губы посерели, голова слегка свесилась набок, она закрыла глаза и прижала руку к сердцу, дрожа всем телом. Нам повезло, что врач быстро и верно поставил диагноз: приступ гипогликемической комы вследствие большой дозы инсулина.

Так мне открылось то, что она скрывала от меня два года: мать была диабетичкой и каждое утро, перед началом рабочего дня, делала себе укол инсулина.

Жуткий страх охватил меня. Ее посеревшее лицо, слегка свесившаяся голова, закрытые глаза и рука, скорбно прижатая к груди, стояли у меня перед глазами. Мысль, что она может умереть раньше, чем я совершу все, чего она ждала от меня, что она может покинуть землю прежде, чем я воздам ей справедливость, эта проекция на небо человеческой системы мер и весов казалась мне вызовом здравому смыслу, добрым нравам, законам, поступком метафизического гангстера, так что хотелось обратиться в полицию, взывать к морали, праву и властям.

Я понимал, что должен торопиться и быстро создать бессмертный шедевр, который бы сделал меня самым юным Толстым всех времен и позволил бы немедленно наградить мать за ее труды, достойно увенчав ее жизнь.

Я трудился не покладая рук.

Заручившись согласием матери, я на время оставил лицей и, в который раз затворившись у себя в комнате, ринулся на приступ, положив перед собой на столе три тысячи листов белой бумаги, что по моим подсчетам было эквивалентно «Войне и миру», а мать подарила мне просторный халат, сшитый по фасону того, который прославил Бальзака. Пять раз в день она приоткрывала дверь, ставила на стол поднос с едой и на цыпочках выходила. Я писал под псевдонимом Франсуа Мермона. Но поскольку издатели регулярно возвращали мои творения, мы решили, что псевдоним плох, и следующий том я написал под именем Люсьена Брюляра. Этот псевдоним тоже не удовлетворил издателей. Помню, как один гордец, свирепствовавший в НРФ [1], когда я умирал в Париже от голода, вернул мне рукопись со словами: «Заведите любовницу и возвращайтесь через десять лет». Когда через десять лет, в 1945 году, я действительно вернулся, то, к сожалению, его уже там не было: его расстреляли.

Мир съежился для меня до размеров листа бумаги, на который я набросился с отчаянным юношеским лиризмом. И однако, несмотря на наивность, именно тогда я вполне осознал серьезность своего труда и его глубокий смысл. Во мне проснулась жажда справедливости к человеку, каким бы жалким и преступным он ни был, которая наконец-то толкнула меня к истокам моих будущих книг, и если правда, что это стремление болезненно родилось из моей сыновней любви, то все мое существо понемногу подчинялось ему, пока литературное творчество не стало для меня тем, чем является и по сей день, в высочайшие минуты аутентичности,— лазейкой, через которую пытаешься бежать от невыносимого, возможностью отдать душу, чтобы остаться в живых.

При виде ее посеревшего лица с закрытыми глазами, склонившегося набок, и руки, прижатой к груди, я вдруг впервые усомнился: а пристойно ли хотеть жить? Я тут же ответил себе на этот вопрос, быть может, потому, что его диктовал инстинкт самосохранения, и лихорадочно написал сказку

[1] Французский ежемесячный журнал «Нувель ревю франсэз», основанный А. Жидом в 1909 году, игравший заметную роль в литературной жизни Франции.

под названием «Правда о Прометее», которая до сих пор остается для меня правдой.

Поскольку нас явно ввели в заблуждение относительно истинной истории Прометея. Вернее, от нас скрыли ее конец. Верно то, что за похищение у богов огня Прометей был прикован цепями к скале и что орел принялся клевать его печень. Но чуть позже, обратив свой взгляд на землю, чтобы посмотреть, что происходит, боги увидели, что Прометей не только освободился от цепей, но и одолел орла и в свою очередь пожирал его печень, чтобы восстановить силы и подняться на небо.

Однако теперь я страдаю болезнью печени. Признаться, есть отчего: на моем счету уже десятитысячный орел, а желудок у меня уже не тот, что прежде.

Но я стараюсь держаться. В день, когда последний удар клюва сбросит меня с моей скалы, я предлагаю астрологам отметить появление нового знака зодиака: эдакого злюки, всеми зубами вцепившегося в некоего небесного орла.

Мое окно выходило на улицу Данте, которая ведет от отеля-пансиона «Мермон» к рынку Буффа. Сидя за рабочим столом, я видел, как возвращалась мать. Однажды утром мне страшно захотелось поговорить с ней, посоветоваться по одному вопросу. Она без всякого повода вошла в мою комнату, как часто это делала, просто чтобы молча выкурить сигарету в моей компании. Я как раз готовился к выпускному экзамену, зубря какую-то пространную чушь о строении Вселенной.

— Мама,— сказал я.— Послушай, мама.

Она слушала.

— Три года на степень лиценциата, два года военной службы...

— Ты станешь офицером,— прервала она.

— Хорошо, но на это уйдет пять лет. Ты больна.

Она тут же попыталась успокоить меня:

— Ты успеешь закончить учебу. Не волнуйся, у тебя будет все что нужно...

— Боже мой, да не об этом речь... Я боюсь не успеть... вовремя...

Это все же заставило ее задуматься. Она долго, спокойно думала. А потом, сильно шмыгнув носом и уперев руки в колени, сказала:

— Есть справедливость.

И пошла заниматься рестораном.

Мать верила в более разумное строение мира, в более справедливое и более логичное, чем то, которое описывалось в моем учебнике по физике.

В тот день на ней было серое платье, сиреневая косынка, жемчужное колье и накинутое на плечи серое манто. Она немного располнела. Врач сказал мне, что она может продержаться еще несколько лет. Я закрыл лицо руками.

Если бы только она увидела меня в форме французского офицера, даже если я никогда не стану французским посланником, лауреатом Нобелевской премии по литературе, то сбылась бы хотя бы одна ее заветная мечта. Этой осенью я начну изучать право, и если мне хоть чуточку повезет... то через три года торжественно появлюсь в отеле-пансионе «Мермон» в летной форме младшего лейтенанта. Мы с матерью давно уже выбрали авиацию: перелет через Атлантику Линдберга сильно взволновал ее, и я в который раз разозлился на себя, что мне первому не пришло это в голову. Я бы повел ее на рынок Буффа, облачившись в синюю форму, украшенную золотыми нашивками в виде крыльев, чтобы покрасоваться перед морковью и луком-пореем, перед Панталеони, Ренуччи, Буппи, Чезари и Фассоли, ведя мать под руку под триумфальной аркой из салями и лука и ловя восхищение даже в круглых глазах мерлана.

Наивное преклонение моей матери перед Францией продолжало удивлять меня. Когда какой-нибудь вышедший из себя поставщик обзывал ее «грязной иностранкой», она улыбалась и, взмахом трости призывая в свидетели весь рынок Буффа, заявляла:

— Мой сын — офицер запаса, а вы — дерьмо!

Она не делала разницы между «есть» и «будет». Чин младшего лейтенанта вдруг приобрел в моих глазах большую значимость, и все мои мечты временно сводились к одной, более скромной: продефилировать в форме младшего лейтенанта авиации по крытому рынку Буффа, ведя мать под руку.

Глава XXII

Господин Заремба, поляк приятной наружности, был склонен к меланхолии и малоразговорчив. Его взгляд, казалось, укоризненно вопрошал: «Зачем ты мне это сделал?» В один прекрасный день он вышел из остановившегося у отеля такси — со светлыми усами, тронутыми сединой, свисавшими на старинный манер, в белом костюме миссионера, в кремовой панаме и с бесчисленными чемоданами, оклеенными этикетками. Я долго рассматривал их: Калькутта, Малакка, Сингапур, Сурабая... Вот наконец наглядное и неопровержимое доказательство существования стран моей мечты, о которых до сих пор у меня были сведения только из романов Сомерсета Моэма. Господин Заремба снял комнату на «несколько дней» и остался на год.

Ничто ни в его усталом лице, ни в безупречных манерах светского человека не выдавало маленького мальчика в коротких штанишках, скрывавшегося в нем «за пылью времен». Часто манера одеваться создает видимость взрослости, и возраст в этом случае зависит от искусства портного.

Но мне только что исполнилось семнадцать, и я совсем еще не знал себя; стало быть, я был далек от подозрений, что часто случается прожить жизнь, занимать солидные посты и умереть, так никогда и не сумев отделаться от ребенка, притаившегося в тебе, изнуренного ожиданием, ждущего до последней минуты, что нежная рука погладит тебя по головке и голос прошепчет: «Да, мой дорогой, да. Мама по-прежнему любит тебя, как никто другой так и не сумел полюбить тебя».

Господин Заремба произвел сначала хорошее впечатление на директрису отеля-пансиона «Мермон», которая приняла его за джентльмена. Но когда он склонился над гостиничной книгой записей и указал в ней свою профессию, мать, мельком взглянув на слово «художник», довольно грубо поспешила спросить плату за неделю вперед. Что же касается благовоспитанности, образцовых манер и всего прочего, что в прежние времена называлось «комильфо», то наш новый клиент всем своим обликом совершенно опровергал мнение, которое я постоянно слышал с детства. Мнение, согласно которому художники склонны к алкоголизму и физической и моральной деградации. Оставалось только одно объяснение, которого мама придерживалась, даже не удосужившись взглянуть на картины художника: «Вероятно, он совершенно бездарен».

Этот вывод явно подтверждало материальное положение господина Зарембы, позволявшее ему иметь дом во Флориде и шале в Швейцарии. Мать стала держаться с нашим жильцом с сочувственно-легкой иронией. Она, конечно же, побаивалась, как бы пример процветающего художника не оказал на меня гибельного влияния. Это могло, Боже сохрани, не только отвлечь меня от дипломатической карьеры, ожидавшей меня с распростертыми объятиями, но и снова склонить к живописи.

К беспокойству были все основания. Тайный демон все время таился во мне и уже не мог меня оставить. Часто я испытывал смутную ностальгию, почти физическую потребность форм и красок. Когда, тридцать лет спустя, я решился наконец дать волю своему «призванию», то результат оказался катастрофическим. Я исполнял у холстов какой-то неистовый танец, выдавливая прямо на «картину» самые большие тюбики, которые только удалось раздобыть; и так как кисти мешали прямому контакту, то я работал руками. Я использовал также метод «броска» — краски были повсюду. Никто не мог войти в комнату, где я свирепствовал, не запачкав лица или платья. Печать моего гения носили стены, мебель и потолок. И хотя вдохновение было истинным — результат выходил ужасающе ничтожным.

У меня не было ни малейшего таланта к живописи. С каждым взмахом кисти это высшее искусство презрительно отсылало меня к моим дорогим романам. С тех пор я понимаю графоманов, осознав на собственном горьком опыте, что призвание, глубочайшее и непреодолимое вдохновение могут сопровождаться полным отсутствием способностей. Никогда больше я не испытывал подобного творческого опьянения, и тем не менее никогда еще очевидность артистического краха не была столь неумолимой. Еще некоторое время я продолжал опустошать сотни тюбиков красок, стремясь до дна исчерпать самого себя, но исчерпал лишь свои возможности. За два года мне удалось закончить всего одну «картину». Я повесил ее на стену рядом с другими, и когда знаменитый американский критик Гринберг был у меня в гостях, то он долго простоял перед моим шедевром с видимым интересом:

— А это чье?

Я хитро ответил:

— О, это юный художник, которого я открыл в Милане.

Выражение его лица стало теперь восхищенным: — Так вот, старина, как дерьмо — это верх совершенства. For a piece of shit, it's a real piece of shit!

Сильно сомневаясь в возможности чуда, я все же продолжал верить в него. Оно могло произойти когда угодно. В любой момент небо могло еще ниспослать мне гениальность. Мало-помалу наваждение чуть не довело меня до нервной депрессии: наверное, я единственный человек в мире, которому врач запретил рисовать. На моих «картинах» были такие густые слои красок, что потребовалось несколько человек, чтобы вынести их на помойку. Соседка спасла один из моих «шедевров» из мусорного ящика и перетащила его к себе. «Никогда не знаешь...» — сказала она.

Однако если я и был частым посетителем мастерской, снятой господином Зарембой на бульваре Царевича, то склонность к искусству здесь ни при чем. Впрочем, художник специализировался на ангельских детских головках, к которым я оставался безразличен. Мой интерес к нему был совсем другого рода. В самом деле, я заметил, что этот слегка неврастенический господин хотя и сдержанно, но явно настойчиво стал искать общества моей матери. Действуя уверенно и дипломатично в такой ситуации, можно было бы вскрыть богатейшие возможности для счастливой перемены в нашей жизни. Уже тогда я был авантюристом и сорвиголовой, как и многие другие, чья жажда деятельности и подвига не находила выхода. Мысль пристроить свою мать и тем самым освободить ее от житейских забот слилась у меня в голове с другой надеждой: возможностью наконец пуститься в мир приключений, не упрекая себя, что оставил без поддержки ту, которая дала тебе все.

Господин Заремба никогда не был женат. В зрелом возрасте он был так же одинок, как и в детстве. Его родители умерли молодыми, романтически унесенные туберкулезом. Они похоронены на кладбище Мантон, куда он часто наведывался, чтобы возложить цветы на могилу. Он воспитывался у безучастного к нему дяди-холостяка в богатом имении в Восточной Польше.

С необычайным тактом господин Заремба не замедлил пуститься на осторожное сближение.

— Вы очень молоды, мой дорогой Ромен...

Он говорил на польский манер — *пане Романе,* господин Ромен.

— Вы очень молоды, у вас впереди вся жизнь. Вы еще встретите женщину, которая будет вам предана. Я хотел сказать, другую женщину, так как я каждую минуту вижу, какой нежной заботой окружает вас ваша мать. Мне с этим не повезло. Признаюсь, мне бы очень хотелось встретить пани, которую бы я полюбил и которая бы чуть-чуть заботилась обо мне. Замечу: чуть-чуть. Я нетребователен. Я охотно бы согласился занять последнее место в ее привязанностях.

Я ухмыльнулся при мысли, что кто-то другой стал бы первой привязанностью моей матери. Но не стоило уж очень его отпугивать.

— Мне кажется, вы правы, что думаете о своем будущем,— начал я осторожно.— С другой стороны, вы рискуете принять на себя некоторую

ответственность, финансовую например. Не знаю, по средствам ли художнику содержание семьи.

— Я весьма обеспечен материально, уверяю вас.— Он расправил усы.— Мне было бы приятно поделиться с кем-нибудь своим достатком. Я не эгоист.

На этот раз я почувствовал волнение. Уже тогда я мечтал учиться водить машину. В денежном отношении это было совершенно недоступно: требовалось, по меньшей мере, пять тысяч франков. Быть может, следует попросить у него задаток, в знак серьезности его намерений. Я мысленно представил себя за рулем небольшого автомобиля со скоростью сто километров в час. К тому же я вспомнил, что у художника был великолепный шелковый дамасский халат, шитый золотом.

Я мысленно хохотал. Юмор уже стал для меня тем, чем должен был оставаться всю мою жизнь: необходимой и самой надежной поддержкой. Позже, значительно позже наедине со мной и в компании, на телевидении и в «светском обществе» абсолютно серьезные люди неустанно спрашивали меня: «Почему все ваши истории оборачиваются против вас, месье Гари?»

Но дело не только во мне. Речь идет о нашем всеобщем «я». О жалком, комическом королевстве нашего «я» с тронным залом, обнесенным крепостной стеной. Возможно, когда-нибудь я поговорю об этом подробнее [1].

Мысль, что господин Заремба станет моим отчимом, вызывала во мне всяческие волнения. Бывали минуты, когда безграничную любовь, предметом которой я являлся, уже невозможно было выносить. Постоянно видеть себя в страстном и самозабвенном взгляде единственным, несравненным, наделенным всеми достоинствами, с триумфальным будущим впереди было выше моих сил, ибо сам я давно уже довольно ясно и болезненно сознавал, что между этим величественным образом и действительностью была пропасть. Я не то чтобы хотел бежать от ответственности, которую возлагали на меня в «будущем» окружавшие меня преданность и самопожертвование. Я решил осуществить все то, чего мать ждала от меня; я слишком любил ее, чтобы замечать всю наивность и несоразмерность ее идей. Мне тем более трудно было видеть их призрачность, что, убаюканный с детства обещаниями и рассказами о своем будущем, я часто путался и уже точно не знал, где мамина мечта, а где действительность. Главное, я уже не мог переносить подобной опеки. Если бы господину Зарембе удалось взять на себя часть бремени этой любви, то я бы вздохнул свободнее.

Скоро я заметил, что мама почувствовала что-то неладное. Она стала держаться с поляком холодно, почти враждебно. Ей шел уже пятьдесят третий год, и тем не менее (несмотря на ее совершенно седые волосы и усталость от тяжелой борьбы за жизнь, которую она вела в одиночку в трех странах и которая сильнее, чем возраст, тронула ее черты) от нее так и веяло веселостью и теплотой, которые могли еще вскружить голову мужчине. Однако скоро я понял, что мой изысканный и благовоспитанный друг не был влюблен в нее, как в женщину. Под видом зрелого мужчины в расцвете сил в господине Зарембе скрывался сирота, так никогда и не получивший своей доли нежности и любви, которые таким огнем сияли перед его глазами. Очевидно, он решил, что места хватит обоим.

Часто, когда мать, как я выражался, в порывах «экспрессионизма» сжимала меня в объятиях или в полдник приносила мне в гостиничный садик чай, пирожные и фрукты, я замечал на вытянутом, костлявом лице господина Зарембы тень недовольства, даже отчаяния. Ему тоже хотелось участвовать. Он сидел в ивовом кресле в элегантной позе, положив ногу на ногу и пристроив на коленях трость с костяным набалдашником, поправлял усы и мрачно наблюдал за нами, как изгнанник, созерцающий вход в запретное королевство. Признаться, я был еще мальчишкой и, не подозревая о том, что ждало меня в конце жизни, находил некоторое удовольствие в его раздражении. Однако, не без сомнений со своей стороны, господин

---

[1] См. «Ночь будет спокойной» — «Галлимар», 1974. *(Прим. автора.)*

Заремба нашел во мне не врага, а надежного союзника. И если я собирался в дальнейшем преуспеть в дипломатии, то это был самый подходящий момент. Я не старался ободрить его.

Господин Заремба часто покашливал с явным недовольством, когда мать расставляла передо мной свои приношения, но ни разу не проронил ни слова и не позволил себе ни малейшего замечания вроде: «Нина, вы портите вашего сына и в его отношениях с женщинами готовите ему очень тяжелое будущее. Что он потом будет делать? На поиски какой несуществующей любви обрекаете вы его таким образом»? Нет, господин Заремба ни разу не позволил себе подобной бестактности; он просто, слегка расстроенный, сидел неподалеку в своем тропическом костюме, часто вздыхал и отворачивался, будучи в несколько дурном настроении от наших излияний. Я уверен, что мать прекрасно замечала его легкую зависть, не потому ли она демонстративно подыгрывала, когда ее застенчивый воздыхатель был рядом; должно быть, она входила во вкус, во-первых, потому, что, как несостоявшаяся актриса, любила публику, и, во-вторых, потому, что его отношение к нашей «исключительности» еще более укрепляло наше сообщничество и демонстрировало на глазах у всех крепость и абсолютную безопасность нашего неприступного королевства. И вот однажды, после того как передо мной на столике поставили поднос с полдником, господин Заремба позволил себе жест, который для такого застенчивого и сдержанного человека был равносилен страшной дерзости и молчаливому, но пылкому заявлению о своих чувствах. Он поднялся со своего кресла, уселся без приглашения за мой столик, протянул руку и взял из корзины яблоко, которое демонстративно принялся грызть, глядя с вызовом прямо в глаза маме. Я застыл с раскрытым ртом. Мы никогда не подозревали, что господин Заремба способен на такую смелость. Обменявшись возмущенными взглядами, мы посмотрели на художника с такой холодностью, что бедняга после пары попыток прожевать яблоко положил его на поднос, встал и удалился, сгорбившись и опустив голову.

Чуть позже господин Заремба предпринял более решительную попытку.

Сидя у раскрытого окна в своей комнате, расположенной на первом этаже отеля, я оттачивал заключительную главу своего романа. Это была великолепная последняя глава, и до сих пор жаль, что мне так никогда не удалось дописать все остальные, которые должны были ей предшествовать. В то время в моем активе было по меньшей мере двадцать последних глав. Мама в саду пила чай. Стоя рядом, чуть наклонившись к ней и уже положив руку на спинку стула, господин Заремба ожидал приглашения сесть, которого не следовало. Так как тема для разговора, никогда не оставлявшая мою мать равнодушной, существовала всегда, то ему ничего не стоило привлечь ее внимание.

— Есть дело, Нина, о котором я уже давно хотел с вами поговорить. Речь идет о вашем сыне.

Она всегда пила очень горячий чай и, обжигая губы, имела странную привычку дуть в чашку, чтобы остудить его.

— Я вас слушаю.

— Очень плохо, я сказал бы, даже опасно быть единственным сыном. Так вырабатывается привычка чувствовать себя центром вселенной, и эта любовь, которую не с кем разделить, позднее обрекает нас на крупные разочарования.

Мама с досадой потушила свою «голуаз».

— У меня нет ни малейшего желания усыновлять другого ребенка,— сухо возразила она.

— Я не думал ничего такого, полноте,— пробормотал господин Заремба, продолжая смотреть на стул.

— Сядьте!

Художник благодарно поклонился и сел.

— Я просто хотел сказать, что для Ромена важно чувствовать себя не настолько... единственным. Для него же лучше быть не единственным

человеком в вашей жизни. Такая исключительная любовь может сделать его слишком требовательным к женщинам.

Мать оттолкнула свою чашку и взяла другую «голуаз». Господин Заремба поспешно поднес ей огня.

— Точнее, чего вы хотите, пане Яне? У вас, поляков, манера ходить кругами, выписывая арабески, благодаря чему вы прекрасно вальсируете, но это часто усложняет дело.

— Я только хотел сказать, что Ромену было бы легче, если бы другой человек был с вами рядом. При условии, конечно, что речь идет о человеке чутком и не слишком требовательном.

Она, прищурившись, очень внимательно смотрела на него сквозь дым своей сигареты с выражением, которое я охарактеризовал бы как насмешливую доброжелательность.

— Поймите меня правильно,— продолжал господин Заремба, глядя под ноги,— у меня и в мыслях не было называть «чрезмерной» материнскую любовь. Лично я не испытал такой любви и не перестаю взвешивать, сколько мне недодали. Как вы знаете, я сирота.

— Наверное, вы самый взрослый сирота, какого я знаю,— сказала мать.

— Возраст здесь ни при чем, Нина. Сердце никогда не старится, и пустота, одиночество, отметившие его, не исчезают и только растут. Конечно, я осознаю свой возраст, но человеческие отношения могут просиять и в зрелом возрасте подобно... как бы точнее выразиться? — лучезарно и мирно. И если бы вы могли разделить с другим эту нежность, которой вы окружили своего сына, то я осмелюсь сказать, что Ромен стал бы мужчиной, более рассчитывающим на самого себя. Возможно, это избавило бы его от пытки всю жизнь искать имманентную, точнее, всесильную женственность... Если бы я мог помочь вам и тем самым вашему сыну...

Он остановился и умолк, совершенно растерявшись под ее уничтожающим взглядом. Мать глубоко вздохнула, с легким свистом шмыгнув носом, на манер русских крестьянок, выражающих так свое удовлетворение. Она сидела выпрямившись, уперев руки в боки. Потом встала.

— Вы совершенно потеряли рассудок, мой бедный друг,— сказала она, и мне, хорошо знавшему весь запас ее словаря, к которому она прибегала в минуты горячности, показалось, что в выборе ее слов была сдержанность, оставлявшая надежду. После чего она встала и удалилась с высоко поднятой головой.

Безутешный взгляд господина Зарембы вдруг встретился с моим. Он не заметил меня у окна и смутился еще больше, как если бы я уличил его в воровстве. Я был склонен ободрить его. Лучше всего было показать, что я уже отношусь к нему как к отчиму. Мне также хотелось знать, окажется ли он на высоте и готов ли принять на себя заботу о нас.

Я встал и высунулся из окна.

— Не могли бы вы одолжить мне пятьдесят франков, пане Яне? — спросил я.

Рука господина Зарембы молниеносно схватилась за кошелек. Мода на психологические тесты, которым теперь подвергают претендентов, еще не существовала в то время, поэтому можно сказать, что я был ее предвестником.

После той попытки взять приступом наше королевство моему другу стало ясно: лучший способ ухаживания за матерью — это завоевать мое расположение.

Так я получил великолепный бумажник из крокодиловой кожи с пятнадцатью долларами, незаметно засунутыми внутрь, затем последовал «кодак», потом часы-браслет; подарки я брал в залог, так как, когда речь идет о будущем семьи, осмотрительность никогда не помешает. Господин Заремба прекрасно понимал это. Вскоре я стал обладателем ручки «Уотермэн», а для моей скромной библиотеки настала пора счастливого процветания. В моем распоряжении всегда были билеты в кино и театр, и я поймал себя на описании своим товарищам из «Гранд Блё» нашего недавно приобретенного владения во Флориде.

Вскоре господин Заремба решил, что достаточно задобрил меня, и вот настал день, когда он обратился ко мне с просьбой.

Я лежал с легким гриппом, когда в половине пятого наш поклонник постучался ко мне и вошел с ритуальным подносом с фруктами, чаем, медом и моими любимыми пирожными, опередив тем самым мою мать. Я был в его пижаме и в его прекрасном дамасском халате. Поставив поднос на кровать, он налил мне чаю, справился о температуре, взял стул и сел, держа в руке платок,— долговязый мужчина в сером твидовом костюме. Он вытер лоб платком. Я сочувствовал его нервозности. Предложение всегда тяжело делать. И тут я вспомнил, что его родители умерли от туберкулеза, и забеспокоился. Быть может, надо спросить у него справку о здоровье?

— Мой дорогой Ромен,— немного торжественно начал он,— вам, конечно, известно мое отношение к вам.

Я взял гроздь винограда.

— Мы к вам очень привязаны, господин Заремба.

Я ждал с бьющимся сердцем, изо всех сил стараясь казаться безразличным. Матери не придется больше по сто раз в день подниматься и спускаться по проклятой лестнице, что ведет из зала ресторана на кухню. Она сможет ежегодно проводить месяц в Венеции, которую так любит. Вместо того чтобы каждое утро бегать на рынок Буффа, она каталась бы в фиакре по Английской набережной, рассеянно глядя на тех, кто ею пренебрегал. Я смог бы наконец отправиться завоевывать мир, чтобы вовремя успеть вернуться, увенчанный славой, и тем самым осветить ее жизнь смыслом и торжествующей справедливостью. Я представил также лица своих друзей по пляжу, когда бы они увидели меня за штурвалом яхты с голубыми парусами — я решительно придерживался этого цвета. В то время я увлекся одной юной перуанкой, Люситой, а мой соперник был не кто иной, как Рекс Инграм — знаменитый американский кинорежиссер, открывший Рудольфо Валентино. Перуанке было четырнадцать лет, Рексу Инграму около пятидесяти, мне чуть больше семнадцати, поэтому паруса должны были быть голубыми.

Кроме того, я уже видел себя во Флориде: огромный белый дом, теплое море, нетронутые пляжи — настоящая жизнь, что говорить. Мы проведем там наш медовый месяц.

Господин Заремба вытирал лоб. На его пальце я заметил перстень с гербом нашего древнего рода, герб Зарембы. Он, конечно, даст мне свое имя. У меня будут не только младший брат, но и предки.

— Я уже немолод, пане Романе. Признаться, я прошу большего, чем могу дать. Но обещаю, что буду заботиться о вашей матери по мере сил, и это позволит вам всерьез заняться литературой. Писатель прежде всего должен иметь душевное спокойствие, чтобы лучше проявить себя. Я позабочусь об этом.

— Я уверен, что мы будем очень счастливы вместе, пане Яне.

Я немного сердился. Ему следовало бы напрямик сделать нам предложение, вместо того чтобы сидеть здесь и нервно вытирать лоб.

— Так вы говорите?..— подсказал ему я.

Это было забавно. Долгие месяцы я ждал этого момента, но теперь, когда этот человек хотел просить маминой руки, сердце мое сжалось.

— Я хочу, чтобы Нина вышла за меня замуж,— сказал господин Заремба таким упавшим голосом, как если бы в цирке он собирался сделать сальто-мортале.— Как вы думаете, у меня есть шанс?

Я нахмурился.

— Я не знаю, нам уже делали много предложений.

Я понял, что зашел слишком далеко: господин Заремба, задетый за живое, быстро выпрямился.

— Кто? — прогремел он.

— Мне несколько неудобно называть имена.

Господин Заремба с трудом овладел собой.

— Конечно, извините меня. По крайней мере, мне хотелось бы знать, отдаете ли вы мне предпочтение. Видя, как обожает вас ваша матушка, мне казалось, что ее решение во многом зависит от вас.

Я дружески посмотрел на него.

— Вы нам очень симпатичны, пане Яне, но вы, конечно, понимаете, насколько серьезно это решение. Не надо нас торопить. Мы подумаем.

— Вы замолвите за меня словечко?

— В удобный момент, конечно... Чуть позже, я думаю. Дайте нам время, чтобы обдумать все это. Женитьба — дело серьезное. Сколько вам лет?

— Пятьдесят пять, увы...

— Мне еще нет и восемнадцати,— нагло ответил я.— Я не могу так вдруг пускать свою жизнь на самотек, не зная точно, куда я иду. Вы не можете требовать от меня решения вот так, сразу.

— Я прекрасно понимаю вас,— сказал господин Заремба.— Мне бы только хотелось знать, *априори*, симпатичны ли вам мои намерения. Если я никогда не был женат, то, конечно же, не потому, что избегал ответственности, возлагаемой семьей. Мне надо было почувствовать уверенность в себе. Думаю, вы не станете сожалеть о своем выборе.

— Я обещаю вам подумать об этом, вот и все.

Господин Заремба встал, явно обнадеженный.

— Ваша матушка — исключительная женщина,— сказал он.— Я еще никогда не был свидетелем такого самопожертвования. Надеюсь, вы найдете слова, чтобы убедить ее. Буду ждать вашего ответа.

На следующее утро я решил приступить к делу, как только мама вернется. Она всегда возвращалась с рынка в отличном настроении, процарив целых два часа над прилавками и испытывая терпение торговцев. Я тщательно оделся, подстригся, надел самый красивый, темно-синий, галстук с вышитыми серебром мушкетерами, подаренный мне художником, купил букет красных роз «бархатная заря» и в половине одиннадцатого ждал ее в вестибюле в состоянии нервозности, которое мог понять только господин Заремба, томившийся в своей комнате на седьмом этаже. Я прекрасно знал, что наш поклонник с обвисшими усами искал скорее маму, чем супругу, но это был очень приятный человек, который стал бы обращаться с ней с почтительностью, которая матери до сих пор и не снилась. Конечно, можно сомневаться в его талантливости, но в конце концов в семье довольно и одного подлинного художника.

Мать застала меня в холле, неловко вооруженного букетом, который я держал под мышкой, а потом молча протянул ей: у меня сдавило горло. Она зарылась лицом в розы, затем с упреком посмотрела на меня:

— Не стоило!

— Мне надо с тобой поговорить.

Я жестом предложил ей сесть. Она села на маленькую слегка вытертую софу у входа.

— Послушай...— сказал я.

Но найти слова было нелегко.

— Я... Э... Это очень хороший человек,— пробормотал я.

Этого было достаточно. Она сразу же все поняла. Схватив букет, она с размаху швырнула его в вестибюль, презрительно и бесповоротно. Он угодил в вазу, которая разбилась вдребезги, с пронзительным драматическим звуком. Лина, прислуга-итальянка, поспешно вбежала, но, увидев выражение маминого лица, так же быстро исчезла.

— Ну почему наконец! — простонал я.— У него прекрасное имение во Флориде!

Она плакала. Я старался оставаться спокойным, но, как всегда между нами, мне передавались ее чувства, которые в свою очередь снова возвращались к ней, набирая силу с каждым возвратом, по прелестной традиции любовных сцен. Мне хотелось крикнуть, что это ее последний шанс, что ей необходим мужчина рядом, что я не могу им быть, потому что рано или поздно уеду, оставив ее одну. Главное, я хотел сказать ей, что нет ничего такого, чего бы я не сделал ради нее, кроме одного — отказаться от своей личной жизни, от права располагать собой как мне заблагорассудится. Но по мере того как эмоции и противоречивые мысли обуревали меня, мне вдруг стало ясно, что в какой-то мере я пытаюсь отделаться от нее, от ее

всеобъемлющей любви, от удручающего гнета ее нежности. Сколько раз мне представлялась возможность взбунтоваться и бороться за свою независимость, но я уже четко не различал, где кончается законная защита и где начинается жестокость.

— Послушай, мама. Сейчас я не в состоянии помочь тебе, тогда как он может.

— У меня нет ни малейшего желания усыновлять пятидесятилетнего.

— Он очень воспитанный человек,— кричал я.— У него прекрасные манеры. Он одевается по-лондонски. Он...

И тут я совершил фатальную и непоправимую ошибку. До сих пор не понимаю, как я, в свои семнадцать лет, мог до такой степени не знать женщин.

— Он уважает тебя и всегда будет уважать. Он будет обращаться с тобой как со знатной дамой...

Ее глаза наполнились слезами, она улыбнулась и медленно встала.

— Благодарю тебя,— сказала она.— Я знаю, что я стара. Я знаю, что в моей жизни есть вещи, навсегда утраченные. Только, Ромушка, мне довелось однажды, всего один раз, страстно полюбить. Это было очень давно, но я все еще люблю его. Он не уважал меня и никогда не был со мной джентльменом. Но это был мужчина, а не маленький мальчик. Я — женщина, старая, конечно, но я все помню. А что до этого несчастного художника... У меня есть сын, и мне достаточно. Я отказываюсь усыновлять другого. Пошел он к *tchortou*... к черту!

Мы долго, очень долго молчали. Она смотрела на меня улыбаясь. Она знала, что творилось у меня в голове, знала, что я мечтал о бегстве.

Но мне было заказано бегство. Я остался пленником воспоминания, вечно ускользающей женственности...

Мне оставалось только сообщить об отказе нашему воздыхателю. Если трудно объявить мужчине, что женщина в нем не нуждается, то еще труднее сообщить маленькому мальчику, что он потерял последнюю надежду отыскать маму. Я провел час в своей комнате, сидя на кровати и мрачно глядя в стену.

Мне всегда было мучительно трудно огорчать ближнего; наверное, это говорит о моей слабости и об отсутствии характера. Я знал, что, пока я томлюсь здесь в поисках наилучшей и деликатнейшей формы, чтобы объявить своему другу роковое известие, он мучительно ждет в своей комнате. В конце концов я нашел решение, показавшееся мне достаточно деликатным и красноречивым. Я открыл шкаф, достал оттуда халат и галстук с вышитыми мушкетерами, «кодак», пижаму, ручку и другие «залоги», полученные от моего будущего приемного отца. Снял с руки часы. Потом вызвал лифт, постучал в дверь, и меня пригласили войти. Господин Заремба ждал в кресле. Лицо его было желто, и мне показалось, что он внезапно постарел. Он не задал ни одного вопроса и ограничился скорбным созерцанием того, как я раскладывал на кровати вещи, одну за другой. Потом мы помолчали и расстались, не сказав друг другу ни слова.

На следующий день, не попрощавшись со мной, он уехал ранним поездом из Вентимильи, оставив на кровати заботливо разложенные подарки, которые я вернул ему, и галстук с вышитыми мушкетерами на самом видном месте. Он и сейчас у меня где-то валяется, но я его больше не ношу. Мое время д'Артаньяна прошло.

Я часто вспоминаю господина Зарембу, когда смотрю на себя в зеркало. Мне кажется, что я похож на него, и это немного неприятно; да полно, наконец! — мне на несколько лет меньше, чем ему было тогда, и он выглядел уже стареющим человеком.

Глава XXIII

Поступив в Экс-ан-Провансе на юридический факультет, я в октябре 1933 года покинул Ниццу. От Ниццы до Экса пять часов автобусом, и прощание было душераздирающим. На виду у всех пассажиров мне как

нельзя лучше удалась мужественная и несколько ироничная поза, в то время как мать, неожиданно сгорбившись и став будто вдвое меньше, впилась в меня взглядом и, раскрыв рот, стояла с видом горестного непонимания. Когда автобус тронулся, она сделала несколько шагов вслед за ним, потом остановилась и заплакала. У меня до сих пор стоит перед глазами подаренный мной букетик фиалок, который она держала в руке. Я же превратился в статую и, признаться, не без помощи красивой девушки, которая сидела в автобусе, глядя на меня. Мне всегда необходима публика, чтобы показать себя с лучшей стороны. Я познакомился с ней, пока мы ехали: это была колбасница из Экса; она призналась мне, что чуть не расплакалась, глядя, как мы прощались, и я в который раз услышал уже знакомый мне рефрен: «Похоже, ваша мать очень любит вас»,— вздохнув, сказала она, мечтательно и с любопытством глядя на меня.

Моя комната в Эксе, на улице Ру-Альферан, стоила шестьдесят франков в месяц. Мать в то время зарабатывала пятьсот франков: сто франков на инсулин и медикаменты, сто франков на сигареты и другие расходы, а остальное мне. Сверх того — еще то, что она тактично называла «по случаю». Почти ежедневно автобус из Ниццы доставлял мне какую-нибудь снедь из запасов пансиона «Мермон», и вскоре крыша над окном моей мансарды стала напоминать один из прилавков рынка Буффа. Ветер раскачивал колбасу, яйца рядком тянулись по водосточному желобу, вызывая удивление голубей; головки сыра разбухали от дождя, а окорока, ножки баранины и телятины напоминали натюрморт на черепице. Она никогда ничего не забывала: ни соленые огурцы, ни горчицу-эстрагон, ни греческую халву, ни финики, ни инжир, ни апельсины с орехами, а поставщики с рынка Буффа нередко присовокупляли к этому свои экспромты: пиццу с сыром и анчоусами месье Панталеони, знаменитый «чеснок дольками» месье Пеппи — этот восхитительный деликатес подавался в виде обычной запеканки, которая таяла у вас во рту, постепенно поражая неожиданным вкусом: сыр, анчоусы, шампиньоны и под конец, в апофеозе,— чеснок, равного которому я никогда больше не встречал; кроме того, огромные куски говяжьей туши, которые месье Жан лично присылал мне и которым позавидовал бы знаменитый парижский ресторан «Бёф». Моя кладовая снискала мне репутацию среди элиты, и у меня появились друзья: поэт-гитарист по имени Сент-Ом, юный немец — студент и писатель, мечтавший оплодотворить Север Югом или наоборот, точно уже не помню, два студента философии с курса профессора Сегона и, конечно же, моя колбасница, с которой я вновь увиделся в 1952 году, когда она была уже матерью девятерых детей, что доказывает, что Провидение хранило меня, так как у меня с ней никогда не возникало проблем. Свободное время я проводил в кафе «Дё Гарсон», сидя под платанами Кур-Мирабо и сочиняя роман. Мать часто присылала мне короткие записочки с глубоко прочувствованными фразами, полными призывов к мужеству и выдержке: они напоминали воззвания, с которыми генералы обращаются к своим войскам накануне сражения, проникнутые обещаниями победы и почестей. Когда в 1940 году я прочитал листовку со знаменитым заявлением правительства Рейно: «Мы победим, потому что мы сильнее», то с улыбкой вспомнил о своем главнокомандующем. Я часто мысленно представлял себе, как она, проснувшись в шесть часов утра, закуривала свою первую сигарету, кипятила воду, чтобы сделать себе укол. Всаживала в бедро шприц с инсулином, как много раз делала при мне, потом, схватив карандаш, набрасывала план на день, после чего кидала его в ящик стола и бежала на рынок. «Не падай духом, сын мой, ты вернешься домой, увенчанный лаврами...» Да, вот так просто и естественно она пользовалась самыми избитыми клише. Мне кажется, что она сама нуждалась в этих записках, писала их, чтобы убедить самое себя, и черпала в них силы. Она умоляла меня не драться на дуэли, ибо ее неотступно преследовала мысль о смерти Пушкина и Лермонтова, и поскольку мой литературный гений представлялся ей по меньшей мере равным их, то она боялась, если можно так выразиться, как бы я не стал третьим. Вскоре я закончил свой новый роман и отправил его издателям, и впервые один из них, Робер Деноэль, потрудился ответить мне лично. Он надеется, писал он,

что меня заинтересует отзыв одной из моих читательниц. Очевидно, прочитав несколько страниц моей книги, он решил передать ее психоаналитику с именем, а именно принцессе Марии Бонапарт, и теперь пересылал мне ее исследование на двадцати страницах об авторе «Тоста за умерших». Все предельно ясно: я одержим комплексом кастрации, фекальным комплексом, склонностями к некрофилии и не знаю какими еще извращениями, за исключением почему-то эдипова комплекса. Я впервые почувствовал, что «кем-то стал» и что начал наконец оправдывать ожидания своей матери.

Хотя издатели и отказались печатать мою книгу, мне все же очень льстил психоаналитический трактат, предметом которого я стал, и я тотчас же усвоил позы и манеры, которых, как мне казалось, теперь от меня ждали. Я показал всем этот трактат, и мои друзья были должным образом поражены, особенно моим фекальным комплексом, который и в самом деле, свидетельствуя об угрюмом и неуравновешенном характере, казался им верхом шика. В кафе «Дё Гарсон» я, бесспорно, прославился, и можно сказать, что луч успеха впервые коснулся моего юного лба. Только моя колбасница, прочитав документ, повела себя странно. Демоническая, сверхчеловеческая сторона моей натуры, о которой она раньше не подозревала, но которая теперь была открыта всем, вдруг пробудила в ней желания, которые далеко превосходили мои возможности, демонические или нет, и она горько назвала меня жестоким, когда, имея здоровые, но скромные запросы, я был глубоко потрясен некоторыми ее требованиями. Короче, боюсь, что я вовсе не оказался на высоте своей репутации. Между тем я принялся культивировать в себе фатальный образ, следуя убеждению, которое сам себе составил о человеке, страдающем некрофилическими склонностями и комплексом кастрации: я никогда не появлялся на публике без маленьких ножниц, зазывно поигрывая ими; когда меня спрашивали, что я здесь делаю с ножницами, я отвечал: «Не знаю, но я не могу от этого отделаться». И мои друзья молча смотрели на меня. Я отчаянно рисовался на Кур-Мирабо и скоро прославился на юрфаке как поклонник Фрейда, о котором я никогда не говорил, но постоянно держал под мышкой его книгу. Собственноручно перепечатав отзыв в двадцати экземплярах, я великодушно раздал его девушкам в университете; два экземпляра послал матери, и ее реакция была абсолютно схожа с моей: наконец-то я стал знаменитым, оказался достойным ученого труда на двадцати страницах, и сверх того, написанного принцессой. Она прочитала этот трактат клиентам отеля-пансиона «Мермон», и, вернувшись в Ниццу по окончании первого курса юрфака, я был встречен с большим интересом и провел приятные каникулы. Единственно, что беспокоило мою мать, это комплекс кастрации, так как она боялась, как бы я не сделал себе больно.

В отеле-пансионе «Мермон» дела шли превосходно, мать зарабатывала около семисот франков в месяц, и было решено, что я поеду заканчивать учебу в Париж, чтобы наладить там связи. Моя мать уже была знакома с отставным полковником, бывшим начальником управления по делам колоний, и вице-консулом Франции в Китае, опиофагом, приезжавшим лечиться от интоксикации опиумом в Ниццу. Они оба были очень расположены ко мне, и мама считала, что наконец-то у нас есть солидная база, чтобы начать новую жизнь и обеспечить наше будущее. Зато ее диабет обострился, и все более и более крупные дозы инсулина вызывали кризисы гипогликемии. Нередко, возвращаясь с рынка, мама падала прямо на улице в состоянии инсулиновой комы. Если сразу же не определить гипогликемический обморок и не принять меры, то он почти всегда приводит к смерти. Однако она нашла очень простой способ, чтобы избежать этой опасности. Она никогда не выходила из дому без пришпиленной на видном месте, под манто, записки: «Я — диабетичка. Если меня найдут без сознания, просьба дать мне принять пакетики сахара, которые лежат у меня в сумочке. Спасибо». Это была прекрасная идея, позволившая нам избежать смертельной опасности и благодаря которой мать каждый день смело уходила из дома с тростью. Иногда при виде того, как она быстро идет по улице, меня

охватывала страшная тревога, чувство беспомощности, стыда, жуткой паники, и на лбу выступал пот. Однажды я робко намекнул ей, что, может быть, мне лучше прервать учебу, найти работу, зарабатывать деньги. Она ничего не сказала, лишь с упреком посмотрела на меня и расплакалась. Больше я не поднимал этого вопроса.

Она никогда не жаловалась, разве только на винтовую лестницу, что вела из ресторана на кухню, по которой ей приходилось взбираться и спускаться по двадцать раз в день. Но врач, заявила она, нашел ее сердце «крепким», так что не стоит волноваться.

Мне было уже девятнадцать. Душе моей претило положение сутенера. Я жестоко страдал. Я все больше и больше чувствовал, что утрачиваю мужественность, и боролся с этим, как и многие другие мужчины до меня, стремившиеся избавиться от своих комплексов. Но совесть мучила меня. Я жил за счет ее труда, ее здоровья. По меньшей мере два года еще отделяли меня от того момента, когда я наконец смогу сдержать свое обещание, вернувшись домой с нашивками младшего лейтенанта и тем самым подарив ей ее первый триумф. Я не имел права уклоняться и отказываться от ее помощи. Мое самолюбие, мужская гордость и амбиции в счет не шли. Только легенда о моем будущем придавала ей силы жить. И речи быть не могло, чтобы я возмутился, начал капризничать. Приходилось отложить на потом благородные позы и брезгливые гримасы, излишнюю щепетильность и дрожание подбородка. На потом — и философские, и политические выводы, выстраданные знания и принципы, так как при этом я хорошо понимал, что урок жестокости, преподанный мне в детстве и вошедший в мою плоть и кровь, толкал меня на борьбу за мир, в котором больше не будет брошенных. А пока мне предстояло проглотить стыд и продолжать бег против часовой стрелки, чтобы постараться сдержать свое обещание и вдохнуть жизнь в абсурдную и трогательную мечту.

Мне оставалось два года до окончания юридического, потом два года военной службы, потом... Я писал по одиннадцать часов в сутки.

Однажды месье Панталеони и месье Буччи привезли ее с рынка на такси с серым лицом, растрепанными волосами, но уже с сигаретой во рту и с готовой улыбкой на губах, чтобы успокоить меня.

Я не чувствую себя виноватым. Но если все мои книги взывают к достоинству, к справедливости, если в них так много и с такой гордостью говорится о чести быть мужчиной, то это, наверное, потому, что до двадцати двух лет я жил за счет больной и измотанной старой женщины. И я очень сержусь на нее за это.

Глава XXIV

Мирное течение лета всколыхнуло неожиданное событие. Одним прекрасным утром перед отелем-пансионом «Мермон» остановилось такси и из него вышла моя колбасница. Она явилась к моей матери и устроила ей сцену со слезами и рыданиями, грозя самоубийством и аутодафе. Мать была чрезвычайно польщена: именно этого она и ждала от меня. Наконец-то я стал светским человеком. В тот же день весь рынок Буффа был в курсе. Что до моей колбасницы, то ее точка зрения была проста: я должен был на ней жениться. Она аргументировала свой ультиматум самым странным доводом, какой мне только приходилось слышать, в духе покинутой девочки-матери.

— Он заставил меня прочитать Пруста, Толстого и Достоевского,— заявила несчастная с таким видом, что от жалости разрывалось сердце.— Что теперь со мной будет?

Надо сказать, что моя мать была потрясена столь явным доказательством моих намерений и огорченно взглянула на меня. Я явно зашел слишком далеко. Я и сам довольно неловко себя чувствовал, так как действительно заставил Адель проглотить всего Пруста, а для нее это было равносильно тому, как если бы она уже сшила себе подвенечное платье. Да простит мне Бог! Я даже заставил ее выучить наизусть некоторые отрывки

из «Так говорил Заратустра» и, следовательно, уже не мог тихонько ретироваться... Собственно говоря, она не была беременна моими книгами, но тем не менее они ввергли ее в интересное положение.

Меня, собственно, напугало, что мама начала сдаваться. Она вдруг стала необычайно ласкова с Адель, и между двумя новыми подругами установилось что-то вроде впечатляющей женской солидарности. На меня глядели с упреком. Вместе вздыхали. Шептались. В знак неслыханной доброжелательности мать предложила Адель чаю — угостила ее собственным клубничным вареньем. Моя ловкая колбасница сумела найти нужные слова. Я понял, что пропал. После чая мать потащила меня в кабинет.

— Ты действительно безумно любишь ее?

— Нет. Я ее люблю, но не безумно.

— Тогда зачем ты обещал ей жениться?

— Я не обещал.

Мать с упреком посмотрела на меня.

— Сколько томов в Прусте?

— Послушай, мама...

Она покачала головой.

— Это нехорошо,— сказала она.— Нет, нехорошо.

Внезапно ее голос дрогнул, и, к своему ужасу, я увидел, что она плачет. Ее пристальный, так хорошо знакомый мне взгляд задерживался на каждой черточке моего лица — я вдруг понял, что она ищет сходства, и испугался, как бы она не попросила меня подойти к окну и поднять глаза к свету.

Она все же не заставила меня жениться на колбаснице, избавив последнюю от тяжкой доли, и когда через двадцать лет Адель торжественно представила мне девятерых своих детей, я ничуть не удивился горячей признательности, с которой встретила меня вся семья: они были обязаны мне всем. Муж Адель в этом не сомневался и долго и горячо жал мне руку. Я смотрел на ангельские личики, поднятые ко мне, от души радуясь уюту этого тихого очага, и, мельком взглянув на библиотеку, где фигурировали только «Приключения оловянных солдатиков», почувствовал, что кое-чего достиг в жизни, сыграв для них роль доброго опекуна.

Близилась осень, и мой отъезд в Париж был не за горами. За неделю до отъезда в Вавилон на мою мать напал приступ религиозности. До сих пор она говорила о Боге не иначе как с некоторым буржуазным уважением, как о весьма преуспевшем человеке. Она всегда очень почтительно отзывалась о Создателе, но только отвлеченно и безлично, как и принято говорить о преуспевших людях. Поэтому я несколько удивился, когда, надев пальто и взяв трость, она попросила меня пойти с ней в русскую церковь Императорского парка.

— Но я думал, что мы скорее евреи.

— Это неважно, у меня там знакомый поп.

Такое объяснение показалось мне убедительным. Моя мать верила в связи, даже в своих отношениях со Всевышним.

В юности я не раз обращался к Богу и даже всерьез, хоть и ненадолго, принял христианство, когда с матерью случился первый гипогликемический кризис и я, совершенно беспомощный, присутствовал при ее инсулиновой коме. Вид ее землистого лица, свесившейся головы, руки, прижатой к груди, и полное бессилие, тогда как требовалось еще нести такой груз, сразу же толкнули меня в первую попавшуюся церковь, и ею оказалась церковь Богоматери. Я сделал это тайком, боясь, как бы мать не усмотрела в этом взывания к внешней помощи — знак недостатка веры в нее, а также симптом ее тяжелого состояния. Я боялся, как бы она не подумала, что я больше не рассчитываю на нее и, обращаясь к кому-то другому, тем самым оставляю ее. Но очень скоро представление, которое возникло у меня о Божественном величии, показалось мне несовместимым с тем, что я видел на земле, и мне захотелось *здесь* увидеть счастливую улыбку на лице своей матери. И тем не менее слово «атеист» невыносимо мне; я нахожу его глупым, малоемким, от него веет затхлой пылью веков, оно устарело и ограниченно на какой-то буржуазный и реакционный лад, не могу точнее

определить, но оно выводит меня из себя, как всякое самодовольство, претендующее на полную осведомленность.

— Хорошо. Пойдем в русскую церковь.

Я подал ей руку. Она ходила еще довольно быстро, решительной походкой человека, у которого есть цель в жизни. Теперь она носила очки в черепаховой оправе, которые подчеркивали красоту ее зеленых глаз. У нее были очень красивые глаза. Ее лицо постарело, и теперь уже она держалась не так прямо, как раньше, и все больше опиралась на трость. Однако ей было только пятьдесят пять лет. Кроме того, теперь она страдала хронической экземой рук. Нельзя так третировать людей. В то время мне нередко хотелось превратиться в дерево с толстой корой или в слона, у которого кожа в сто раз толще моей. Бывало, да и до сих пор случается, я брал свою рапиру, выходил на площадку и без традиционного приветствия скрещивал свой клинок с каждым лучом солнца, который бросало мне небо. Я вставал в позицию, складывался пополам, подпрыгивал, стремительно нападал, пытаясь коснуться цели, и иногда у меня вырывался крик: «Эй, там!» — я бросался вперед, ища врага, делал вид, что расслабился, почти так же, как на теннисном корте Императорского парка, когда танцевал свой отчаянный танец в погоне за мячом, которого мне не удавалось коснуться.

Из всех бретеров я больше всего восхищаюсь Мальро. Только его я предпочел бы видеть своим соперником. Именно благодаря своей поэме об искусстве [1] Мальро предстал передо мной как великий актер, разыгрывающий свою собственную трагедию. Мим, точнее, универсальный мим: когда, стоя в одиночестве на холме и глядя в небо, я жонглирую тремя мячами, желая показать, что я умею, то я думаю о нем. Вместе с Чаплином он, бесспорно, самый потрясающий и человечный мим нашего века. Блеск его мысли, обреченной ограничиваться искусством как таковым, его рука, протянутая к вечности, которой удается схватить только руку другого человека, его блистательный ум, вынужденный довольствоваться самим собой, его волнующее стремление разгадать, понять, преодолеть, превзойти, которое в конечном итоге замыкается на красоте, дружески поддерживали меня в борьбе.

Мы шли по бульвару Карлоне в сторону бульвара Царевича. В церкви было пусто, и, похоже, мать это обрадовало.

— Кроме нас, никого,— сказала она.— Нам не придется ждать.

Она выражалась так, как будто Бог был врачом и нам повезло, что мы попали к нему в его свободные часы. Мама перекрестилась, и я тоже. Она опустилась на колени перед алтарем, и я встал на колени рядом с ней. По ее щекам катились слезы, а губы шептали старые русские молитвы, часто повторяя слова «Иисус Христос». Потупив взгляд, я стоял на коленях рядом с ней. Она била себя в грудь и, не оборачиваясь ко мне, пробормотала:

— Поклянись мне, что никогда не возьмешь денег у женщин!

— Клянусь.

Мысль, что она сама — женщина, не приходила ей в голову.

— Господи, дай ему силы, помоги ему, храни его от всех болезней. Поклянись мне, что будешь осторожен! Обещай мне, что ничем не заразишься!

— Я обещаю тебе.

Кончив молиться, она еще долго плакала, стоя на коленях. Потом я помог ей подняться, и мы вышли на улицу. Она отерла слезы и вдруг просияла. Когда она в последний раз обернулась на церковь, в ее лице мелькнула почти детская хитрость.

— Никогда не знаешь...— сказала она.

На следующее утро я уехал в Париж. Перед отъездом мне пришлось с минуту посидеть молча, по старой русской традиции, а то пути не будет. Она всучила мне пятьсот франков, настояв на том, чтобы я вез их, спрятав на животе под рубашкой, вероятно, на тот случай, если на авто нападут разбойники. Я поклялся себе, что это последние деньги, которые я беру у нее, и хотя не сдержал слово, в ту минуту мне все же стало от этого легче.

---

[1] Очевидно, имеется в виду произведение Андре Мальро «Психология искусства».

В Париже, затворясь в своей комнатушке и прогуливая занятия на юридическом, я запоем принялся писать. В полдень я наведывался на улицу Муфтар, чтобы купить хлеб, сыр и, конечно же, соленые огурцы. Мне никогда не удавалось донести огурцы до дома: я поедал их прямо на улице. Долгие недели они были моей единственной радостью. Но были и мучения. Пока я подкреплялся, стоя на улице и прислонясь к стене, мое внимание неоднократно привлекала девушка неслыханной красоты, с черными глазами и с такими мягкими каштановыми волосами, которым не было равных во всей истории человечества. Она делала покупки в то же время, что и я, и у меня вошло в привычку ждать, когда она пройдет мимо. Я абсолютно ничего не хотел от нее — я даже не мог пригласить ее в кино,— все, чего мне хотелось, это жевать свой огурец, пожирая ее взглядом. У меня всегда возникал голод при виде красоты — пейзажей, цветов, женщин.

Я — прирожденный потребитель. В конце концов девушка заметила, что я бросал на нее странные взгляды, поедая свои соленые огурцы. Наверное, она была сильно поражена моим аппетитом, быстротой, с которой я их проглатывал, и пристальным взглядом — и улыбалась, проходя мимо. В конце концов однажды, когда я превзошел самого себя, проглотив огромный огурец, она не выдержала и, проходя мимо, участливо сказала:

— Послушайте, кончится тем, что вы умрете.

Мы познакомились. Мне повезло, что первая девушка, в которую я влюбился в Париже, была абсолютно не заинтересована во мне. Как и ее сестра, она была одной из самых красивых студенток в Латинском квартале. За ней упорно ухаживали молодые люди на автомобилях. И даже сейчас, двадцать лет спустя, вдруг встречая ее в Париже, я чувствую, что мое сердце начинает сильнее биться, и я захожу в ближайшую русскую лавку, чтобы купить себе фунт соленых огурцов.

Однажды утром, когда в кармане у меня осталось только пятьдесят франков и надо было срочно обращаться к матери, я открыл еженедельник «Грингуар» и обнаружил там свой рассказ «Буря», напечатанный во всю страницу, и свое имя жирным шрифтом — там, где полагается.

Я медленно сложил еженедельник и вернулся домой. Я не испытал никакой радости, а, напротив, почему-то почувствовал себя усталым и грустным: первый сизифов камень.

Зато невозможно описать сенсацию, которую вызвала публикация рассказа на рынке Буффа. В честь моей матери корпорация устроила аперитив, во время которого прозвучали торжественные речи. Мать спрятала еженедельник в свою сумочку и больше не расставалась с ним. При малейшей ссоре она вынимала его, разворачивала и совала страницу с красующимся на ней моим именем под нос противника, говоря:

— Не забывайте, с кем имеете честь! — После чего торжественно удалялась с высоко поднятой головой, сопровождаемая ошеломленными взглядами.

За рассказ мне заплатили тысячу франков, в результате чего я абсолютно потерял голову. Раньше я никогда не видел такой суммы денег, и, тут же впав в крайность, подобно той, кого я так хорошо знал, я счел себя обеспеченным до конца дней. Первое, что я сделал,— пошел в ресторан «Бальзар», где с удовольствием съел две порции кислой капусты с отварной говядиной. Я всегда любил хорошо поесть, и чем больше я худею, тем больше ем. Я снял комнату на шестом этаже, выходящую окнами на улицу, и написал матери очень спокойное письмо, в котором объяснил ей, что теперь у меня постоянный контракт с «Грингуаром», равно как и со многими другими издательствами, и если она нуждается в деньгах, то пусть мне об этом скажет. Я послал ей огромный флакон духов и букет цветов, заказав их телеграммой. Себе я купил коробку сигар и спортивную куртку. От сигар меня тошнило, но, решив красиво жить, я выкурил их все до одной. Затем, схватив ручку, я одним махом написал три рассказа, которые мне вернул не только «Грингуар», но и все другие парижские еженедельники. Целых полгода ни одно из моих творений не видело света. Их нашли слишком «литературными». Я не понимал, что происходит. Позднее я это

понял. Окрыленный первым успехом, я отдался своему неутолимому стремлению любой ценой поймать последний мяч, одним взмахом пера дойти до сути проблемы, и поскольку все проблемы бездонны и моя рука оказалась недостаточно длинной, то я в который раз оказался в роли пляшущего и топчущегося на месте клоуна на теннисном корте Императорского парка, и это выступление, каким бы трагическим и шутовским оно ни было, только оттолкнуло публику моей претензией на совершенство там, где я не владел даже обычным навыком, чтобы поразить легкостью и мастерством профессионала, умеющего пускать пыль в глаза. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что читатель имеет право на некоторое уважение и что, как и в отеле-пансионе «Мермон», ему надо сообщить номер комнаты, дать ключ и, проводив на этаж, показать, где зажигается свет и где находятся предметы первой необходимости.

Очень скоро я оказался в плачевном материальном положении. Мало того, что мои деньги улетучились невероятно быстро, в довершение всего я продолжал получать от матери письма, полные гордости и благодарности, в которых она просила заранее сообщать ей даты публикаций моих будущих шедевров, чтобы показать их всему кварталу.

У меня не хватало мужества признаться ей в своей неудаче.

Поэтому я прибегнул к остроумной уловке и до сих пор горжусь своей выдумкой.

Я написал матери письмо, в котором объяснял ей, что редакторы газет требовали от меня коммерческих рассказов такого низкопробного качества, что я отказался компрометировать свое литературное реноме и подписывать их своим именем. Поэтому, признавался я ей, я буду подписывать эту халтуру различными псевдонимами — но при этом умоляю ее никому не разглашать моей уловки, чтобы не расстраивать друзей, преподавателей лицея в Ницце,— короче, всех тех, кто верит в мой талант и неподкупность.

После чего я стал совершенно спокойно вырезать рассказы своих собратьев по перу из парижских еженедельников и посылать их матери с чувством исполненного долга и со спокойной совестью.

Такой выход решал моральную проблему, но никак не материальную. Мне больше нечем было платить за квартиру, и я целыми днями ходил голодный, предпочитая скорее сдохнуть с голоду, чем лишить свою мать счастливых иллюзий.

Всякий раз, когда я думаю о том времени, мне неизменно вспоминается один особенно мрачный вечер. Со вчерашнего дня я ничего не ел. Изредка заходя в гости к одному своему другу, который жил с родителями неподалеку от станции метро «Лекурб», я заметил, что если удачно подстроить свой визит, то меня почти всегда оставляли обедать.

Будучи голоден, я решил нанести им визит вежливости. И даже прихватил с собой один из своих манускриптов, чтобы почитать его месье и мадам Бонди, к которым питал большие симпатии. Испытывая страшный голод, я тщательно рассчитал время, чтобы попасть к супу. Я начал чувствовать чудный запах этого супа уже на площади Контрескарп, когда оставалось еще сорок пять минут хода до улицы Лекурб — мне нечем было заплатить за метро. Я проглотил слюну, и, наверное, в моем взгляде просвечивала безумная похоть, так как одинокие женщины, встречавшиеся мне на улице, шарахались от меня и ускоряли шаг. Я почти не сомневался, что кроме этого, как обычно, будет венгерский сервелат и шоколадный пирог. Наверное, я никогда не шел на свидание с таким радостным предвкушением.

Когда я наконец достиг цели, с трудом сдерживая дружеские чувства, то на мой звонок никто не ответил: моих друзей не было дома.

Я сел на лестницу и прождал час, затем другой. Но к одиннадцати часам чувство элементарного достоинства — оно всегда таится где-то внутри вас — не позволило мне дожидаться их возвращения до полуночи, чтобы попросить у них поесть!

Я поднялся и двинулся обратно по проклятой улице Вожирар, в состоянии духа, которое нетрудно себе представить.

И здесь открывается новая веха в моей жизни чемпиона.

Дойдя до Люксембургского сада, я поравнялся с рестораном «Медичи». Злому року угодно было, чтобы в столь поздний час я увидел сквозь занавеску из белого тюля доброго буржуа, евшего шатобриан с дымящимся картофелем.

Я остановился, взглянул на шатобриан и попросту упал в обморок.

Мой обморок случился не от голода. Конечно же, я не ел со вчерашнего дня, но в то время я был страшно живуч и, бывало, нередко оставался не евши по двое суток, однако это не мешало мне исполнять свои обязанности, какими бы они ни были.

Я потерял сознание от ярости, от возмущения и унижения. Как тогда, так и теперь я не могу допустить, чтобы человек оказался в такой ситуации. Я сужу о политических режимах по количеству пищи, которую они дают каждому, и когда они с чем-то это связывают, ставят при этом условия, я плюю на них: люди имеют право есть без всяких условий.

У меня сжались кулаки, сдавило горло от ярости, потемнело в глазах, и я плашмя рухнул на тротуар. Должно быть, я долго лежал, так как, когда я открыл глаза, вокруг меня была толпа. Я был хорошо одет, даже в перчатках, и, к счастью, никому не пришло в голову догадаться об истинной причине моего обморока. «Скорую» уже вызвали, и меня это очень соблазняло: я не сомневался, что уж в госпитале-то мне представится возможность наполнить желудок. Но я не поддался этому искушению. Торопливо извинившись, я отделался от участливой публики и пошел домой. И странная вещь — я больше не чувствовал голода. Шок от унижения и обморока отодвинул мой желудок на задний план. Я зажег лампу, взял ручку и начал рассказ под названием «Маленькая женщина», который «Грингуар» напечатал через несколько недель.

Кроме того, я подверг анализу свою совесть и обнаружил, что чересчур воспринимаю себя всерьез и что мне равно не хватает скромности и юмора. Еще мне не хватало веры в себе подобных, я не вдавался в глубокое изучение человеческой натуры, в которой всегда остается хоть капля благородства. На следующее утро я провел эксперимент, и мои оптимистические взгляды полностью подтвердились. Я начал с того, что занял сто су у полового под предлогом, что потерял кошелек. После чего подошел к стойке в баре «Капулад», заказал кофе и решительно сунул руку в корзинку с рогаликами. Я съел целых семь штук, заказал еще один кофе. После чего сурово посмотрел гарсону в глаза — бедный малый не сомневался, что в его лице экзаменовалось все человечество.

— Сколько я вам должен?

— Сколько рогаликов?

— Один,— ответил я.

Гарсон посмотрел на почти пустую корзинку. Потом на меня. Потом снова на корзинку. После чего покачал головой.

— Черт,— произнес он.— Вы, наверное, смеетесь надо мной.

— Может быть, два,— ответил я.

— Ну хорошо, все ясно,— сказал гарсон.— Я не дурак. Два кофе, один рогалик, итого семьдесят пять сантимов.

Я вышел оттуда преображенным. Что-то пело в моем сердце, возможно, рогалики. С этого дня я стал лучшим клиентом «Капулад». Иногда бедный Жюль, так звали этого великого француза, робко, но неуверенно протестовал:

— Ты не можешь пойти поесть в другое место? Из-за тебя у меня будут неприятности с шефом.

— Не могу,— отвечал я.— Ты мой отец и мать.

Он часто пускался в длинные арифметические вычисления, которые я рассеянно слушал.

— Два рогалика? И при этом ты смеешь смотреть мне в глаза? Три минуты назад в корзинке было девять рогаликов.

Я холодно возражал:

— Повсюду воры.

— Вот черт! — с восхищением говорил Жюль.— Ты, однако, нахал. Что ты там изучаешь?

— Право. Я закончу лиценциатом права.

— Ну негодяй! — восклицал Жюль.

Мы подружились. Когда мой второй рассказ вышел в «Грингуаре», я подарил ему экземпляр с дарственной надписью.

Полагаю, что за время с 1936 по 1937 год я бесплатно съел в баре «Капулад» около тысячи или полутора тысяч рогаликов. Я рассматривал это как стипендию, которую предоставляло мне заведение.

Я сохранил большую нежность к рогаликам и считаю, что их форма, хрустящесть и приятная горячесть придают им что-то симпатичное и дружеское. Они уже не усваиваются у меня так, как раньше, и наша любовь стала более-менее платонической. Но мне приятно сознавать, что они там, в корзинке, на стойке. Для учащейся молодежи они сделали больше, чем Третья Республика. Как сказал бы генерал де Голль, это добрые французы.

Глава XXV

Второй рассказ в «Грингуаре» подоспел вовремя. Мать прислала мне возмущенное письмо, в котором сообщала, что чуть не отделала тростью одного типа, остановившегося в отеле и выдававшего себя за автора рассказа, который я напечатал под псевдонимом Андре Кортиса. Я пришел в ужас: Андре Кортис действительно существовал и был автором этого опуса. Необходимо было срочно чем-то успокоить мать. Публикация «Маленькой женщины» подоспела кстати, и моя слава вновь затрубила по всему рынку Буффа. Но теперь я понял, что невозможно существовать только за счет пера, и принялся искать «работу», решительно и немного загадочно произнося это слово.

Кем только я не работал: гарсоном в ресторане на Монпарнасе, служащим домовой кухни «Завтраки, обеды и ужины» (которые я развозил на трехколесном велосипеде), администратором в гостинице на площади Звезды, статистом в кино, ныряльщиком у Ларю, в Рице, и разнорабочим в гостинице «Лаперуз». Еще я работал в Зимнем цирке, в «Мими Пенсон», рекламным агентом туристической рубрики газеты и по заказу одного репортера из еженедельника «Вуаля» занимался подробным анкетированием персонала более чем ста парижских домов терпимости. «Вуаля» так и не напечатал этой анкеты, и я с возмущением узнал, что трудился для конфиденциального туристического гида «по злачным местам». Кроме того, мне за это не заплатили, так как «журналист», о котором шла речь, бесследно исчез. Я наклеивал этикетки на коробки и, по-видимому, был одним из немногих людей, кто если не раскрашивал, то, по крайней мере, разрисовывал жирафа — очень деликатный процесс, которому я предавался, просиживая по три часа в день на небольшой фабрике игрушек. Из всех профессий, которые я перепробовал в то время, самой неприятной для меня оказалась работа администратора в большом отеле на площади Звезды. Меня постоянно третировал главный администратор, который презирал «интеллектуалов» (он знал, что я был студентом юрфака), а грумы там были педерастами. Меня раздражали эти четырнадцатилетние мальчишки, которые недвусмысленно предлагали вам свои услуги. После этого посещение домов терпимости для «Вуаля» казалось глотком свежего воздуха.

Не подумайте, что я здесь как-то выступаю против гомосексуалистов. Я ничего не имею против них — но и ничего не говорю за. Выдающиеся личности из этого клана всегда советовали мне обратиться к психиатру, чтобы выяснить, излечим ли я и не есть ли моя любовь к женщинам результат травм, полученных в детстве. По своему характеру я задумчив и немного печален и прекрасно понимаю, что в наше время, после всего, что мы пережили, после концлагерей, рабства во всех его видах и водородной бомбы, мужчина может пробавляться как угодно и... чем угодно. Приняв все, с чем мы давно смирились — с трусостью, холуйством,— трудно понять, с чего бы нам вдруг начать капризничать и привередничать. Надо

быть прозорливыми. Я даже одобряю, что современные мужчины сохраняют нетронутой хотя бы малую частичку своей персоны, стремясь сохранить для будущего то, что может пригодиться в дальнейшем.

Больше всего мне нравилась работа разносчика на трехколесном велосипеде. Меня всегда радовал вид съестного, и я находил удовольствие в том, чтобы катить по Парижу, развозя вкусно приготовленные блюда. Повсюду, куда я приезжал, меня радостно встречали. Меня всегда ждали. Однажды мне надо было отвезти легкий ужин (икра, шампанское, гусиная печенка...— да что там, настоящая жизнь!) на площадь Терн. Квартира оказалась на шестом этаже: жилище холостяка. Меня встретил изысканный господин, с волосами, уже тронутыми сединой, которому в ту пору, должно быть, было столько же, как мне сейчас. Он был в «домашней куртке». Стол был накрыт на две персоны. Господин, в котором я узнал очень известного в ту пору писателя, с отвращением посмотрел на ужин. Я заметил, что он был очень подавлен.

— Друг мой,— сказал он,— запомните: все женщины — шлюхи. Я должен был это знать. Я написал об этом семь романов.

Он с отвращением посмотрел на икру, шампанское и заливного цыпленка. Вздохнул.

— У вас есть любовница?

— Нет,— ответил я.— Я на мели.

Казалось, он был приятно поражен.

— Вы так молоды,— сказал он,— но, похоже, вы знаете женщин.

— Я знавал одну или двух,— ответил я скромно.

— Шлюхи? — с надеждой спросил он.

Я косил глазами на икру. Заливной цыпленок был тоже неплох.

— Не говорите мне о них,— сказал я.— Досадно вспоминать.

Казалось, он остался доволен.

— Они изменили вам?

— О-ля-ля! — произнес я, покорно кивнув.

— Однако вы молоды и к тому же красивы.

— Мэтр,— сказал ему я, с трудом оторвав взгляд от цыпленка.— Мне наставили рога, мэтр, ужасные рога. Обе женщины, которых я так любил, бросили меня ради пятидесятилетних мужчин. Да каких там пятидесятилетних! Одному из них было ровно шестьдесят.

— Не может быть! — с явным удовольствием воскликнул он.— Расскажите-ка мне. Давайте садитесь. Надо разделаться с этим проклятым ужином. Чем быстрее его не станет, тем лучше.

Я набросился на икру. Одним глотком проглотил гусиную печенку и цыпленка. Когда я ем, то уж ем. Я не деликатничаю и не хожу вокруг да около. Сев за стол, я ем за двоих! Вообще-то я ценю цыпленка только с лисичками и эстрагоном. Но все же он был съедобен. Я рассказал ему, как два юных и прекрасных создания с тоненькими руками и незабываемыми глазами бросили меня, последовав за зрелыми седовласыми мужами, один из которых был довольно известным писателем.

— Конечно, женщины предпочитают опытных мужчин,— объяснил мне хозяин.— Им внушает уверенность союз с опытным мужчиной, хорошо знающим жизнь, которому несвойственна некоторая... м... м!.. неуравновешенность молодости.

Я поспешно кивнул, перейдя к пирожкам. Хозяин налил мне еще немного шампанского.

— Вам, молодой человек, надо набраться терпения,— дружелюбно сказал он мне.— Когда-нибудь вы тоже возмужаете и у вас наконец тоже появится, что предложить женщинам — то, чего они больше всего ищут: авторитет, мудрость, спокойствие и надежную руку. В общем, зрелость. Тогда вы научитесь любить их и будете любимы.

Я подлил себе шампанского. Чего теперь было стесняться? Все было съедено. Я поднялся. Он взял с полки одну из своих книг и подписал мне ее. Потом положил мне руку на плечо.

— Не отчаивайтесь, друг мой! — сказал он.— Двадцать лет —

тяжелый возраст. Но надо пережить этот момент, он длится недолго. Когда одна из ваших подружек бросает вас ради зрелого мужчины, то воспринимайте это как обещание будущего. Когда-нибудь и вы станете зрелым человеком.

«Пошел ты!» — мысленно произнес я, теряя терпение.

Теперь-то я разделяю его взгляды.

Мэтр проводил меня до двери. Мы долго жали друг другу руки, глядя друг другу в глаза. Превосходный сюжет на соискание Римской премии: Мудрость и Опыт, протягивающие руку Юности и Иллюзиям.

Я унес книгу под мышкой, но мне не надо было ее читать. Я уже догадывался, о чем она. Мне хотелось смеяться, свистеть и болтать с прохожими. Шампанское и мои двадцать лет окрылили меня. Мир принадлежал мне. Я мчался по Парижу, освещенному фонарями и звездами. Выпустив руль и хлопая в ладоши, я свистел и посылал воздушные поцелуи женщинам за рулем. Я поехал на красный свет и остановился от возмущенного свистка полицейского.

— В чем дело? — заорал он.

— Ни в чем,— смеясь, ответил я.— Жизнь прекрасна!

— Ладно, поезжайте! — бросил он, не устояв перед этим паролем, прозвучавшим на чистом французском.

Я был молод, моложе, чем я думал. Однако моя наивность была стара и искушенна. Она и вправду вечная: я встречаю ее в каждом новом поколении, начиная от «крыс» Сен-Жермен-де-Пре 1947 года до поколения калифорнийских «битников», которых я иногда навещаю, с удовольствием узнавая в чужих лицах гримасы своих двадцати лет.

Глава XXVI

Тогда же я встретил очаровательную шведку, о каких мечтают в каждой стране с тех пор, как мир подарил людям Швецию. Она была весела, красива, умна и главное, главное, у нее был восхитительный голос — я всегда был очень чувствителен к голосам. У меня нет слуха, и с музыкой у меня сложилось печальное и уже привычное недоразумение. Но я на редкость восприимчив к женским голосам. Абсолютно не понимаю, чем это вызвано. Возможно, это какая-то специфика моих ушей, неправильно расположенный нерв: я даже обратился как-то к специалисту, чтобы обследовать всю евстахиеву трубу, но он ничего не нашел. Короче, у Бригитты был голос, у меня — уши, и мы были созданы друг для друга. Мы действительно хорошо понимали друг друга. Слушая ее голос, я был счастлив. Несмотря на бывалый и опытный вид, который старался придать себе, я наивно полагал, что ничто не угрожает нашему счастливому союзу. Мы являли собой столь счастливую пару, что наши соседи по общежитию, студенты всех цветов и широт, улыбались, встречая нас утром на лестнице. Впрочем, вскоре я заметил, что Бригитта сделалась мечтательной. Она частенько ходила проведать одну пожилую даму-шведку, жившую в отеле «Гранд-Ом», на площади Пантеона, и засиживалась там допоздна, нередко до часу или двух ночи.

Бригитта возвращалась очень усталая и, грустно вздохнув, трепала меня по щеке.

Странное подозрение шевельнулось во мне: я почувствовал, что от меня что-то скрывают. При моей редкой проницательности довольно было пустяка, чтобы вызвать во мне подозрения; итак, я подумал, уж не заболела ли старая шведка, не угасает ли она тихо в своем гостиничном номере. А может быть, она — мать моей подружки и приехала в Париж лечиться у крупных французских специалистов? У Бригитты очень чуткая душа, она обожает меня и скрывает свое горе, щадя мою артистическую душу и не желая расстраивать мои творческие планы. Однажды, около часа ночи, представив себе, как моя бедная Бригитта плачет у изголовья умирающей, я не выдержал и бросился к отелю «Гранд-Ом». Шел дождь. Входная дверь была заперта. Я спрятался под портиком юридического факультета и стал

с тревогой смотреть на фасад отеля. Вдруг в окне пятого этажа вспыхнул свет, и на балконе появилась Бригитта с растрепанными волосами. Она была в мужском халате и на минуту замерла, подставив лицо под дождь. Я несколько удивился. Я не понимал, что она там делает в мужском халате и с растрепанными волосами. Быть может, она попала под ливень и муж шведки предложил ей свой халат, пока не высохнут ее вещи. Вдруг на балкон вышел молодой человек в пижаме и, подойдя к ней, облокотился о бортик. На этот раз я всерьез удивился. Я не знал, что у дамы-шведки был сын. И тут — земля разверзлась у меня под ногами, здание юрфака обрушилось мне на голову, сердце заполыхало адским огнем гнева и отвращения: молодой человек обнял Бригитту за талию, и моя последняя надежда — быть может, она просто зашла к соседу, чтобы заправить чернилами ручку,— пропала окончательно. Мерзавец притянул к себе Бригитту и поцеловал ее в губы. После чего он потащил ее внутрь, и свет погас, но не до конца: этому злодею хотелось вдобавок видеть, что он делает. Испустив страшный вопль, я бросился к дверям отеля, чтобы помешать преступлению. Мне предстояло вскарабкаться на пятый этаж, но я рассчитывал поспеть вовремя, если только этот негодяй не законченный скот и знаком с правилами хорошего тона. Поскольку дверь была заперта, то мне пришлось стучать, звонить, кричать и всячески метаться, теряя тем самым драгоценное время, тогда как мой соперник наверху не испытывал подобных трудностей. В довершение, будучи в безумии, я неверно определил окно, и когда консьерж наконец открыл мне и я орлом взмыл вверх по этажам, то ошибся дверью, и когда она распахнулась, я влетел и сразу бросился душить низенького молодого человека, который до того испугался, что ему чуть не сделалось плохо в моих объятиях. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что он вовсе не из тех молодых людей, которые принимают у себя женщин, а полная их противоположность. Он скосил на меня умоляющие глаза, но я ничем не мог ему помочь, я очень торопился. Я вновь очутился на темной лестнице, теряя драгоценные секунды в поисках выключателя. Теперь уж я опоздал. Моему убийце не надо было взбираться на пятый этаж, выламывать дверь, он был у цели и в этот момент, наверное, уже потирал руки. Внезапно силы оставили меня, и я впал в уныние. Опустившись на лестницу, я отер со лба пот и капли дождя. Послышались нерешительные шаги, и грациозный эфеб, усевшись рядом со мной, взял меня за руку. У меня даже не было сил, чтобы высвободить свою руку. Он стал меня утешать: насколько я помню, он всегда предлагал мне свою дружбу. Он похлопывал меня по руке и уверял, что мужчина вроде меня без труда найдет достойную родственную душу. Я с интересом смотрел на него и думал: э, нет, тут ничего не поделаешь. Женщины — страшные шлюхи, но их никем не заменить. У них монополия. Безграничная жалость к самому себе охватила меня. Мало того, что мне нанесли самое жестокое оскорбление,— в довершение во всем мире не нашлось никого, кроме педераста, чтобы утешить и взять меня за руку. Я мрачно посмотрел на него и, покинув отель «Гранд-Ом», вернулся домой. Я лег в постель, решив завтра же записаться в Иностранный легион.

Бригитта вернулась около двух часов ночи; к тому времени я уже начал волноваться: вдруг с ней что-нибудь случилось? Она робко поскреблась в дверь, и я громко и ясно, одним словом сказал ей, что о ней думаю. Целых полчаса, стоя под закрытой дверью, она пыталась меня разжалобить. Потом долго ничего не было слышно. Испугавшись мысли, что она может вернуться в отель «Гранд-Ом», я вскочил с кровати и открыл ей. Я с чувством отхлестал ее по щекам — с чувством для себя, я хочу сказать, мне всегда было очень трудно поднять руку на женщину. Наверное, мне не хватает мужественности. После чего я задал ей вопрос, который до сих пор, в свете двадцатипятилетнего опыта, считаю самым идиотским за всю свою карьеру чемпиона:

— Зачем ты это сделала?

Ответ Бригитты был блистательным, я бы сказал, даже волнующим.

Он действительно отражает мою незаурядность. Она подняла на меня свои голубые заплаканные глаза и, тряся светлыми кудрями, с искренностью и патетикой в голосе сказала:

— Он так на тебя похож!

До сих пор не могу от этого опомниться. Я еще не умер, мы живем вместе, я всегда у нее под рукой, но нет, ей надо было каждый вечер, под дождем, за километр ходить к кому-то только потому, что он на меня похож. Это и есть так называемый магнетизм, другого объяснения я не знаю. Мне стало значительно легче. И даже пришлось сделать над собой усилие, чтобы казаться скромным и не выпячивать грудь. Пусть говорят что угодно, но я все же произвожу на женщин сильное впечатление.

С тех пор я много размышлял над ответом Бригитты, и жалкие выводы, к которым я пришел, все же значительно облегчили мои отношения с женщинами — и с похожими на меня мужчинами.

С тех пор я никогда больше не бывал обманут женщинами — то есть я хочу сказать, что я уже никогда больше не ждал их под дождем.

Глава XXVII

В том году я должен был закончить юридический, и, главное, вскоре подходило к концу мое обучение в Школе высшей военной подготовки, занятия в которой проводились дважды в неделю в местечке Ля-Ваш-Нуар, в Мон-Руже. Один мой рассказ был переведен и опубликован в Америке, и я получил баснословную сумму — сто пятьдесят долларов, которая позволила мне ненадолго съездить в Швецию, в погоне за Бригиттой, которую я нашел уже замужем. Я попробовал договориться с ее мужем, но этот тип был неумолим. В конце концов, чувствуя, что я становлюсь обузой, Бригитта отправила меня к своей матери на маленький остров, расположенный на самом севере Стокгольмского архипелага, ландшафт которого напоминал шведские легенды, и пока я бродил там под соснами, неверная упивалась греховной любовью со своим мужем. Чтобы успокоить меня, мать Бригитты ежедневно по часу заставляла меня принимать ледяные ванны в Балтийском море и неумолимо ждала на берегу с часами в руке, в то время как все мои органы цепенели от холода, душа мало-помалу оставляла меня, и я коченел, стоя в воде, угрюмый и несчастный. Как-то раз, растянувшись на скале в надежде, что солнце растопит наконец мою кровь в жилах, я увидел, как самолет со свастикой пересек небо. Это была моя первая встреча с врагом.

Я не очень-то обращал внимание на события, происходящие в Европе. Вовсе не потому, что был занят исключительно собой, а, наверное, потому, что был воспитан и окружен женской любовью и не способен испытывать постоянную ненависть, мне не хватало главного, чтобы понять Гитлера. Кроме того, Франция никак не реагировала на его истерические угрозы, и это вовсе не волновало меня, а казалось свидетельством невозмутимой и уверенной в себе силы. Я верил во французскую армию и в ее доблестных военачальников. Еще задолго до того, как Генштаб воздвиг укрепления на нашей границе, мама окружила меня «линией Мажино», состоящей из спокойной уверенности и романтических представлений, которые не могли поколебать никакие сомнения и тревоги. Так, например, уже будучи в лицее, в Ницце, я впервые узнал о поражении, которое нам нанесли немцы в 1870 году: мать предпочла не говорить мне об этом. Добавлю, что даже в самые безумные минуты своей жизни мне трудно было дойти до такой степени глупости, чтобы спокойно принять войну и примириться с ее возможностью. Когда надо, я могу стать дураком, но при этом я не дохожу до тех блистательных вершин, глядя с которых бойня может показаться приемлемым выходом. Я всегда рассматривал смерть как горестный феномен, и навязывать ее кому-то противоречит моей природе: я должен себя насиловать. Конечно, мне приходилось убивать людей, подчиняясь единодушному убеждению и священному моменту, но всегда неохотно, без истинного вдохновения. Ни одна идея не кажется мне до конца справедливой, ни

к одной не лежит моя душа. Когда нужно убивать себе подобных, я недостаточно поэт. Я не умею приправить это соусом, не могу запеть гимн священной ненависти и убиваю без прикрас, глупо, так как другого выхода нет.

Тому виной и мой эгоцентризм. Он настолько силен, что я немедленно узнаю себя во всех страждущих, и у меня начинают ныть их раны. Это касается не только людей, но распространяется и на животных, и даже на растения. Неимоверное число людей может присутствовать на корриде и, не дрогнув, глядеть на раненого и окровавленного быка, но только не я. Я — тот самый бык. Мне всегда немного больно, когда рубят деревья, охотятся на лося, зайца или слона. И, напротив, я остаюсь совершенно безразличным при мысли, что режут цыплят. Мне трудно вообразить себя цыпленком.

Накануне мюнхенского соглашения много говорили о войне, и в письмах моей матери, доходивших в мою сентиментальную ссылку, уже чувствовались ее тревожные отголоски. В одном из таких писем, написанном энергичным почерком и крупными буквами с наклоном вправо, которые, казалось, вот-вот бросятся на врага, она просто заявляла, что «Франция победит, потому что это Франция», и я до сих пор считаю, что никто более верно не предсказал наше поражение в 1940-м и лучше не сформулировал нашу неподготовленность.

Я всегда старался понять, «откуда» и «как» возникла эта любовь старой русской дамы к моей стране. Мне так никогда и не удалось найти этому достойное объяснение. Конечно, моя мать находилась под воздействием идей, ценностей и буржуазных взглядов, которые господствовали до 1900 года, когда Франция представлялась «идеалом». Быть может, причина крылась в каком-то эмоциональном шоке, полученном в молодости во время двух ее путешествий в Париж, и я, всю жизнь испытывавший большую симпатию к Швеции, не удивляюсь этому. Я всегда был склонен искать за великими лозунгами некий интимный порыв и в бурных симфониях различать нежный и едва уловимый голос флейты. И наконец, остается самое простое и правдоподобное объяснение — моя мать любила Францию без всякого повода, как всегда бывает, когда действительно любишь. Во всяком случае, можете себе представить, что в такой психологической обстановке значили нашивки младшего лейтенанта ВВС, которым вскоре предстояло украсить мои рукава. Я активно взялся за дело. Хотя я с большим трудом получил звание лиценциата права, в Школу высшей военной подготовки я был зачислен четвертым от всего Парижского округа.

Патриотизм моей матери, подогреваемый моими предстоящими успехами на военном поприще, принял в то время неожиданный оборот.

В самом деле, именно к этому времени относится план моего несостоявшегося покушения на Гитлера.

Газеты умолчали об этом. Я не спас Францию и весь мир и тем самым упустил случай, который, вероятно, уже никогда больше не представится.

Это произошло в 1938 году, сразу же после моего возвращения из Швеции.

Утратив всякую надежду вернуть то, что по праву принадлежит мне, разочарованный и полный отвращения к мужу Бригитты, напрочь лишенному обходительности, сраженный тем, что мне предпочли другого, после всего того что обещала мне моя мать, и решив никогда больше, никогда ничего не делать ради женщины, я вернулся в Ниццу, чтобы зализать раны и провести дома оставшиеся недели до зачисления в ВВС.

Я взял на вокзале такси и, как только оно свернуло с бульвара Гамбетты на улицу Данте, еще издали увидел мать, стоявшую в садике перед отелем и, как всегда, нежно и иронично улыбавшуюся мне.

Однако мама встретила меня очень странно. Конечно, я ожидал счастливых слез, нескончаемых объятий и одновременно взволнованного и радостного сопения, но никак не этих рыданий, отчаянных взглядов, напоминавших прощание,— с минуту она, вздрагивая, плакала в моих объятиях, изредка отстраняясь от меня, чтобы лучше видеть мое лицо, потом в исступлении снова бросалась ко мне. Меня охватило беспокойство,

я с тревогой спросил, как она себя чувствует,— не волнуйся, все хорошо, дела тоже идут хорошо — да, все хорошо,— после чего новый приступ слез и сдерживаемых рыданий. Наконец она успокоилась и, схватив меня за руку, с таинственным видом потащила в пустой ресторан; мы уселись в уголке за нашим столиком, и там она поведала мне о своем плане относительно меня. Все очень просто: я должен ехать в Берлин, чтобы убить Гитлера и тем самым спасти Францию, а заодно и весь мир. Она все предусмотрела, включая и мое спасение, так как, если предположить, что меня арестуют — хотя она прекрасно знает, что я способен убить Гитлера, не давшись им в руки,— но даже если предположить, что меня арестуют, то совершенно очевидно, что великие державы — Франция, Англия и Америка — предъявят ультиматум, требуя моего освобождения.

Признаться, я с минуту колебался. Я сражался на многих фронтах, переменил с десяток разных и нередко малоприятных профессий и выкладывался до конца как на бумаге, так и в жизни. Идея немедленно ехать в Берлин, разумеется в третьем классе, чтобы убить Гитлера, в самый разгар лета, с сопутствующими этому нервозностью, усталостью и приготовлениями абсолютно не улыбалась мне. Мне хотелось побыть немножко на берегу Средиземного моря — я всегда тяжело переносил разлуку с ним. Я предпочел бы перенести убийство фюрера на начало октября. Я без энтузиазма представил себе бессонную ночь в жестком, битком набитом вагоне, не говоря уже о томительных часах, которые придется, позевывая, провести на улицах Берлина, дожидаясь, когда Гитлер соблаговолит появиться. Короче, я не проявил энтузиазма. Но, однако, и речи быть не могло, чтобы уклоняться. Итак, я взялся за приготовления. Я неплохо стрелял из пистолета, и, несмотря на отсутствие практики в последнее время, подготовка, полученная в школе лейтенанта Свердловского, еще позволяла мне блистать в тирах во время ярмарок. Я спустился в подвал, взял свой пистолет, хранившийся в фамильном кофре, и отправился за билетом. Мне стало несколько легче, когда я из газет узнал, что Гитлер отдыхает в Берхтесгадене, так как в разгар июльской жары я предпочитал скорее дышать горным воздухом Баварских Альп, чем городским. Я также привел в порядок свои рукописи: несмотря на оптимизм своей матери, я вовсе не был уверен, что выйду из этого живым; написал несколько писем, смазал свой парабеллум и одолжил у друга, который был поплотнее меня, куртку, чтобы незаметно спрятать под ней оружие. Мое крайнее раздражение и дурное расположение духа усиливались еще и тем, что лето выдалось удивительно теплое, и после стольких месяцев разлуки Средиземное море еще никогда не казалось мне столь привлекательным, а пляж «Гранд Блё», как нарочно, был полон знакомых шведок с передовыми идеями. Все это время мать ни на шаг не отходила от меня. Ее взгляд, полный гордости и восхищения, сопровождал меня повсюду. Купив билет на поезд, я был приятно удивлен, что немецкие железные дороги делали скидку на тридцать процентов в связи с летними каникулами. За двое суток до отъезда я предусмотрительно сократил свой суточный рацион соленых огурцов, чтобы избежать расстройства желудка, которое могло бы быть неверно истолковано моей матерью. И наконец, накануне великого дня я пошел в последний раз искупаться в «Гранд Блё» и с волнением смотрел на свою последнюю шведку. Вернувшись с пляжа, я нашел свою великую драматическую актрису в салоне, в бессилии сидящей в кресле. Как только она увидела меня, ее губы скорчились в детскую гримасу, она заломила руки, и, прежде чем я успел сделать какой-либо жест, она была уже на коленях, рыдая в три ручья:

— Умоляю тебя, не делай этого! Откажись от своего героического плана! Сделай это ради своей старой матери — они не имеют права требовать этого от единственного сына! Я столько боролась, чтобы вырастить тебя, сделать из тебя человека, а теперь... О Боже мой!

Она стояла с огромными от страха глазами, со взволнованным лицом, прижав руки к груди.

Я не удивился. У меня давно уже выработался иммунитет. Я хорошо ее знал и глубоко понимал. Я взял ее за руку.

— Но за билет уже уплачено,— сказал я.

Отчаянная решимость смахнула с ее лица последние следы страха.

— Они возместят мне его! — провозгласила она, схватив свою трость.

Я нисколько в этом не сомневался.

Итак, я не убил Гитлера. Как видите, довольно было пустяка...

Глава XXVIII

Теперь оставалось всего несколько недель до присвоения мне звания младшего лейтенанта, и нетрудно себе представить, с каким нетерпением мы оба ждали моего призыва на военную службу. Мы торопились: ее диабет обострялся, и, несмотря на всевозможные диеты, рекомендованные медиками, количество сахара в крови порой доходило до опасных пределов. С ней снова случилась инсулиновая кома, прямо посреди рынка Буффа, и она пришла в сознание на овощном прилавке месье Панталеони только благодаря той находчивости, с которой он быстро плеснул ей в рот сладкой воды. Мой бег против часовой стрелки стал принимать отчаянный характер, и это отразилось на моем творчестве. Мечтая ударить в некий волшебный гонг так, чтобы мир застыл от восхищения с раскрытым ртом, я напрягал свой голос свыше своих возможностей; метя в великие, я неумолимо скатывался к напыщенности; став на цыпочки, чтобы продемонстрировать всему миру свой рост, я только выставлял свою претенциозность; решив стать гением, только заявлял о своей бездарности. Трудно не фальшивить, когда вам приставляют нож к горлу. Когда во время войны, считая меня убитым, Роже Мартена дю Гара спросили, что он думает по поводу одной моей рукописи, то он справедливо назвал меня «взбесившимся ягненком». Мама, вероятно, догадывалась о мучительном характере моей борьбы и делала все возможное, чтобы помочь мне. Пока я оттачивал свои фразы, она сражалась с персоналом, агентами, гидами, терпела капризы клиентов; пока я подстегивал свое вдохновение, пытаясь произвести на свет какой-нибудь сюжет, ошеломляющий по своей глубине и оригинальности, она ревниво следила, чтобы ничто не мешало моим творческим порывам. Печатая эти строки, я не испытываю стыда, угрызений совести и отвращения к самому себе: я лишь преклонялся перед ее мечтой, которая была для нее единственным смыслом жизни и борьбы. Ей хотелось стать великой актрисой, и я делал все, что мог. Стремясь успокоить ее и доказать ей свою одаренность, а может быть, желая, главным образом, успокоить самого себя и тем самым отделаться от охватывавшей меня паники, я иногда спускался в кухню, попадая как раз вовремя, чтобы пресечь назревавшую жестокую ссору с шеф-поваром, и прямо там зачитывал ей только что написанный отрывок, который, как мне казалось, особенно удался. Ее гнев тотчас же утихал, и, повелительным жестом призвав шеф-повара к тишине и вниманию, она с удовольствием слушала меня.

На ее ягодицах не осталось живого места от уколов. Дважды в день мать присаживалась в уголочке, положив ногу на ногу, с сигаретой во рту, хватала шприц с инсулином и всаживала иглу себе в тело, одновременно отдавая приказания обслуге. Со свойственной ей энергией она продолжала следить за ходом дела, не приемля ни малейшего промедления в сервисе. Она старательно учила английский, чтобы лучше разбираться в желаниях, прихотях и капризах клиентов с той стороны Ла-Манша. Усилия, которые ей приходилось делать, чтобы казаться любезной, улыбчивой и сговорчивой туристам всех цветов кожи, наперекор ее открытой и импульсивной натуре еще больше обостряли ее нервозность. В день она выкуривала три пачки «голуаз». Правда, она никогда не докуривала сигарету до конца, тушила ее, едва начав, и тут же зажигала другую. Вырезав из журнала фото военного парада, она показывала его клиентам и особенно клиенткам, заставляя их восторгаться красотой военной формы, которую через несколько месяцев надену и я. С большим трудом согласилась она на мою

помощь в ресторане в качестве официанта, разносящего по утрам завтраки по номерам, как это было раньше: она считала, что такая деятельность несовместима со статусом офицера. Часто она сама хватала чемодан клиента, стараясь оттолкнуть меня, когда я хотел помочь ей. Между тем, судя по появившемуся у нее теперь счастливому виду и гордой, победоносной улыбке, с которой она часто смотрела на меня, было ясно, что она вот-вот достигнет своей цели и что самым лучшим днем в ее жизни будет тот, когда я вернусь в отель-пансион «Мермон», облачившись в свою чудесную форму.

Меня направили в Салон-де-Прованс 4 ноября 1938 года. Я сел в поезд для новобранцев, который провожала толпа родителей и друзей. Но только моя мать вооружилась трехцветным флагом, каковым беспрестанно размахивала и кричала: «Да здравствует Франция», вызывая враждебные и насмешливые взгляды. Вновь сформированный «класс» блистал отсутствием энтузиазма и глубоким убеждением, которое впоследствии в полной мере подтвердили события 1940 года, что его вынуждали вести «дурацкую игру». Помню, как один рекрут, рассерженный патриотическими выступлениями моей матери, столь противоречившими лучшим антимилитаристским традициям того времени, проворчал:

— Сразу видно, что она не француженка.

Так как я и сам уже порядком устал и начал раздражаться от крайностей пожилой дамы с трехцветным флагом, то был счастлив воспользоваться его замечанием как предлогом, чтобы немного утешиться, нанеся своему визави очень красивый удар головой в нос. Вскоре свалка стала всеобщей, возгласы «фашист», «предатель», «долой армию» раздавались отовсюду; поезд тем временем тронулся, флаг отчаянно зареял на перроне, и я едва успел высунуться из двери и помахать ей рукой, после чего решительно погрузился в ниспосланную провидением свалку, которая спасла меня от сцены прощания.

Молодые люди уже со званием, прошедшие курс высшей военной подготовки, обычно направлялись в Летную школу Авора. Меня же около шести недель продержали в Салон-де-Провансе. На все мои вопросы офицеры и унтеры только пожимали плечами: относительно меня у них не было инструкций. Я писал прошение за прошением во все инстанции, каждое из которых начиналось так: «Имею честь нижайше просить вас...», как меня научили. Никакого ответа. В конце концов один очень честный человек, лейтенант Барбье, заинтересовался моим случаем и приложил свое заявление к моим. Меня направили в Аворскую школу, куда я прибыл с опозданием на месяц слушать курс, рассчитанный в общей сложности на три с половиной месяца. Я не впал в отчаяние из-за опоздания, рассчитывая нагнать. Наконец-то я попал куда хотел. Я взялся за учебу с таким ожесточением, которого сам от себя не ожидал, и, за исключением некоторых трудностей в теории навигации, я легко догнал своих товарищей и особенно отличился в так называемых авиационных спецработах, а также в командовании с земли, неожиданно обнаружив в своем голосе и жестах властный характер своей матери. Я был счастлив. Мне нравились самолеты, особенно самолеты того времени, которые зависели от человека, нуждались в нем и еще не были такими безликими, как сейчас, когда уже чувствуется, что беспилотный самолет — просто вопрос времени. Мне нравились долгие часы, что мы проводили на летном поле в своих кожаных комбинезонах, в которые так трудно было влезть,— скользя по аворской грязи, обтянутые кожей, в летных шлемах, в перчатках, с очками на лбу, мы карабкались в кабины славных «Потезов-25» с норовом першеронов и приятным запахом масла, который я ностальгически вспоминаю до сих пор. Представьте себе курсанта, по пояс свесившегося из открытой кабины аэроплана, летающего со скоростью сто двадцать километров в час, или пилота биплана «Лео-20», стоящего на носу и вручную управляющего самолетом, длинные черные крылья которого сотрясали воздух с грацией состарившейся божьей коровки,— и вы поймете, что за год до появления «Мессершмиттов-110» диплом летчика-наблюдателя в действительности готовил нас к войне 1914 года, результат чего всем известен.

За подобными развлечениями время пролетело незаметно, и наш гарнизон дожил наконец до вдвойне торжественного дня, когда нам должны были объявить наше назначение и выпускные звания.

Военный портной уже обошел все казармы, и наша униформа была готова. Мать, чтобы покрыть мои расходы на экипировку, выслала мне пятьсот франков, занятые у месье Панталеони с рынка Буффа. Серьезную проблему доставила мне фуражка. Ее можно было заказать двух видов: с коротким козырьком или с длинным. Я никак не мог выбрать. В длинном козырьке было больше шика, что очень ценилось, но короткий козырек шел мне больше. Однако я кончил тем, что выбрал длинный. Кроме того, ценой великих усилий я отрастил себе небольшие усики, которые были в большой моде у авиаторов; золотые крылья на груди завершали картину — в конце концов на рынке можно было встретить кого-нибудь и получше, я ничего не говорю, но я был собой очень доволен.

День накануне выпуска гарнизона прошел в атмосфере радостного предвкушения. Названия частей, в которые можно было распределиться, выписывались на черной доске — Париж, Марракеш, Мекнес, Мезон-Бланш, Бискра... В соответствии с выпускным званием каждый мог сделать свой выбор. Отличники, как правило, выбирали Марокко. Я горячо надеялся получить назначение на Юг и таким образом иметь возможность как можно чаще наведываться в Ниццу, чтобы покрасоваться на Английской набережной и на рынке Буффа, ведя мать под руку. Воздушная база Фаянс как нельзя лучше отвечала моим планам, и по мере того как курсанты поднимались, высказывая свои пожелания, я с тревогой ждал, когда это название появится на доске.

У меня были все основания рассчитывать на получение приличного чина, и я доверчиво следил за называемыми капитаном фамилиями.

Десять фамилий, пятьдесят, семьдесят пять... Определенно Фаянс рисковала ускользнуть от меня.

Всего нас было двести девяносто человек.

Фаянс досталась восьмидесятому. Я ждал. Сто двадцать фамилий, сто пятьдесят, двести... По-прежнему ничего. Серые, промозглые военные базы Севера приближались ко мне с быстротой молнии. Это было не так уж весело, но в конце концов я не обязан признаваться матери, какое звание получил.

Двести пятьдесят, двести шестьдесят фамилий... Внезапно я похолодел от страшного предчувствия. До сих пор ощущаю у виска каплю холодного пота... Нет, это не воспоминание: только что, двадцать лет спустя, я смахнул ее рукой. Надо полагать, что это рефлекс Павлова. Даже сейчас я не могу вспоминать о той страшной минуте без того, чтобы капля холодного пота не выступила у меня на виске.

Из почти что трехсот курсантов-наблюдателей я был единственным, кто не получил звания офицера.

Мне не дали даже сержанта, даже старшего капрала: вопреки всем правилам устава, меня произвели в капралы.

Остаток вечера я провел как в тумане. Стоя у выхода в окружении молчавших и подавленных товарищей, я из последних сил старался держаться на ногах, силясь сохранить человеческое достоинство и не потерять сознания. Кажется, я даже улыбался.

Обычно такому взысканию командования подвергались курсанты, получившие свидетельство о прохождении высшей военной подготовки и прошедшие стажировку, исключительно из дисциплинарных соображений. Двух курсантов «застопорили» по этой причине. Но в моем случае этого быть не могло: я ни разу не получил ни малейшего замечания. Я прибыл на стажировку с опозданием, но не по своей воле; к тому же мой бригадир, лейтенант Жаккар, бывший курсант Сен-Сирского военного училища, человек честный и хладнокровный, сказал мне, а позже подтвердил это и письменно, что мои оценки (несмотря на опоздание, с которым я прибыл в Авор по вине военных властей) целиком и полностью позволяли присвоить мне звание офицера. Что же произошло? В чем дело? Почему меня вопреки всем правилам целых шесть недель продержали в Салон-де-Провансе?

С комком в горле, совершенно потерянный, я продолжал стоять перед Сфинксом — лицо которого на этот раз выглядело вполне человеческим,— стараясь понять происшедшее, в то время как возмущенные товарищи молча подходили ко мне и пожимали руку. Я улыбался, я до конца сыграл свою роль. Но мне казалось, что я умер. Мне вспомнилось лицо моей матери, когда она стояла на перроне в Ницце, гордо размахивая трехцветным флагом.

В три часа пополудни, когда я лежал на матрасе, уставившись в потолок, ко мне явился старший капрал Пьяй — Пьяи? Пай? Мы с ним не были знакомы. До этого я его ни разу не встречал. Он не относился к летному составу и занимался перепиской бумаг в канцелярии. Он наклонился ко мне, держа руки в карманах кожаной куртки. «Он не имеет на это права,— строго подумал я,— кожаные куртки предусмотрены только для летного состава».

— Знаешь, за что тебя провалили?

Я посмотрел на него.

— Потому что ты был натурализован всего три года назад. По идее, надо быть сыном француза или получить натурализацию лет десять назад, чтобы служить в национальной авиации. Но эти правила никогда не соблюдались.

Не помню, что я ему на это сказал. Наверное, что «я — француз» или что-то в этом роде, так как он с горечью заметил:

— А ты еще и дурак.

Но он не уходил. Он явно злился и негодовал. Видимо, как и я, он не терпел любую несправедливость.

— Спасибо,— поблагодарил его я.

— Тебя продержали целый месяц в Салоне, поскольку изучали твое дело. Потом они спорили, давать ли тебе учиться на пилота или засунуть тебя в пехоту. В конце концов министерство ВВС решило в твою пользу, но здесь высказались против. Это «балл симпатий» сделал тебе подарочек.

«Балл симпатий» был решающей оценкой, которую помимо экзаменов и безотносительно к ним ставили в Школе «по-свойски» и которую нельзя было опротестовать.

— Тебе не в чем их упрекнуть: все честно.

Я продолжал лежать не шелохнувшись. Он все еще стоял рядом. Этот парень не умел проявлять свою симпатию.

— Не обижайся,— сказал он мне. И, уходя, добавил: — Мы им покажем!

Тогда я впервые услышал, как французский солдат употребил это выражение в адрес французской армии, до сих пор я полагал, что оно применимо только к немцам. Сам я не чувствовал ни злобы, ни ненависти, меня только слегка мутило, и, чтобы побороть тошноту, я старался думать о Средиземном море и красивых девушках на берегу. Я закрывал глаза и утопал в их объятиях (в которых мне ничто не грозило и ни в чем не отказывалось).

В казарме было пусто, и все же у меня была компания. Боги-мартышки моего детства, из чьих лап мать с таким трудом вырвала меня, думая, что оставила их далеко позади, где-то в Польше или России, внезапно обступили меня на французской земле, и теперь их глупый смех все громче раздавался в стране торжествующего разума. По жестокости удара я без труда узнал руку Тотоша — бога глупости, которому вскоре предстояло сделать Гитлера властелином Европы и наводнить страну немецкими бронетранспортерами, предварительно убедив наш Генштаб, что военные идеи полковника де Голля — просто детский лепет. Но главное, я узнал Филожь, мелкобуржуазную богиню посредственности, чванства и предрассудков, которая, ради случая представиться мне, нацепила форму и фуражку, украшенную кантом ВВС, разрывая тем самым мое сердце. Но в людях мне, как всегда, не удавалось видеть своих врагов. Каким-то странным и необъяснимым образом я чувствовал себя союзником и защитником даже тех, кто нанес мне удар в спину. Я прекрасно понимал, что причиной моего

унижения явились социальные, политические и исторические условия, против которых я решил бороться и победить во что бы то ни стало. Не знаю, быть может, во мне дремлет какое-то примитивное языческое начало, но при малейшей провокации я тут же, сжав кулаки, оборачиваюсь к врагам всего человечества; я делаю все возможное, чтобы принять достойное участие в нашем извечном бунте против обстоятельств, я смотрю на жизнь, как на грандиозную эстафету, в которой каждый из нас, прежде чем упасть, должен передать дальше свой вызов — вызов уделу человека; я не согласен, что существует потолок наших биологических, интеллектуальных и физических возможностей. Моя вера в это практически безгранична; я верю в счастливый исход человеческой борьбы, эта вера порой вскипает в моей крови, и мне начинает казаться, что в ней слышится гул моего брата Океана. Вероятно, это происходит от какой-то глупости и наивности — элементарной, примитивной, но непреодолимой, которую я унаследовал от матери и которая хоть и выводит меня из себя, но не дает отчаиваться. Бороться с этим я бессилен. Иными словами, мне не удается впасть в отчаянье и приходится притворяться. Искра веры и атавистического оптимизма всегда теплится в моем сердце и вспыхивает, когда вокруг меня плотно сгущается мрак. Пусть люди выглядят до слез глупыми, пусть форма французского офицера порой служит прибежищем для ничтожных дураков, пусть руки французов, немцев, русских, американцев вдруг окажутся грязными — все равно я верю, что несправедливость приходит извне и что люди скорее являются ее жертвами, чем орудиями. В жесточайшей политической или военной схватке я не перестаю видеть некий общий фронт с общим противником. Из-за своего эгоцентризма я абсолютно не пригоден к братоубийственным войнам. И кроме того, я не смог бы стать хищным политиком, так как постоянно узнаю себя во всех своих врагах. Это просто хронический недуг.

Я продолжал лежать и напряженно улыбаться, пока настоятельная физическая потребность не заставила меня подняться и более часа подавлять в себе дикий и элементарный зов крови.

А что до красавцев капитанов, всадивших мне нож в спину, то через пять лет, когда я с ними встретился, они так и остались капитанами, хотя и несколько потускневшими. Ни один новый бант не украшал их грудь, и они с нескрываемым любопытством рассматривали капитана, принимавшего их в своем кабинете. В то время я был участником движения Освобождения, кавалером ордена Почетного легиона, обладателем Боевого креста — и не скрывал этого; скорее я покраснею от гнева, чем от скромности. Мы немного поговорили, вспомнили Авор — безобидные воспоминания. Я не питал к ним никакой злобы. Они давно уже умерли для меня.

Другим довольно неожиданным следствием моего провала было то, что с этой минуты я действительно почувствовал себя французом, как будто вследствие удара некой волшебной палочки по голове я по-настоящему ассимилировался.

Наконец-то я понял, что французы — не исключительная раса, что они не лучше меня, что и они могут быть глупыми и смешными — короче, что мы, несомненно, братья.

Я наконец-то понял, что Франция — многолика, что у нее может быть прекрасное, благородное и безобразное лицо и что мне придется выбрать для себя более подходящее. Хоть и не очень успешно, я заставлял себя приобщаться к политике. Сделал выбор, приобрел убеждения, старался быть им верным, уже не пьянел от одного вида знамени, но старался распознать лицо того, кто его нес.

Оставалась моя мать.

Я никак не мог решиться объявить ей о своем провале. Напрасно я повторял себе, что она привыкла получать оплеухи, я все пытался найти для этого более деликатный способ. Перед явкой в предписанный гарнизон нам полагался восьмидневный отпуск, и я сел в поезд, так и не приняв решения. Когда поезд подошел к Марселю, мне вдруг захотелось сойти с него, дезертировать, наняться в Легион, на грузовое судно, навсегда

исчезнуть. Мысль увидеть ее усталое и постаревшее лицо, растерянный и непонимающий взгляд ее огромных зеленых глаз была мне невыносима. Меня стало мутить, и я едва успел добежать до туалета. Весь пролет от Марселя до Канна меня, как собаку, тошнило. И лишь за десять минут до подхода к вокзалу в Ницце меня поистине осенило. Надо было любой ценой уберечь образ Франции, «родины всех справедливостей и красот» в представлении моей матери. И я поклялся себе сделать это. Франция не должна была пострадать — моя мать не пережила бы такого удара. Хорошо ее зная, я решил просто и убедительно солгать, тем самым не только утешив ее, но и утвердив в ней веру в мое высокое предназначение.

Выехав на улицу Данте, я заметил трехцветный флаг, развевавшийся над свежевыкрашенным фасадом отеля-пансиона «Мермон». Однако это не был день национального праздника, в чем я убедился, взглянув на фасады соседних домов.

Я остановил такси, но не успел расплатиться, как мне опять стало плохо. Оставшийся путь я проделал пешком; ноги у меня подкашивались, я тяжело дышал.

Мать ждала меня в вестибюле отеля за низенькой стойкой.

Окинув взглядом мою простую солдатскую форму со свежей красной нашивкой капрала на рукаве, она раскрыла рот и устремила на меня тот самый звериный взгляд немого непонимания, который я не могу выносить ни в человеке, ни в ребенке, ни в животном... Надвинув на глаза фуражку и приняв суровый вид, я таинственно улыбнулся и, быстро поцеловав ее, сказал:

— Идем. Со мной вышла смешная история. Но нас никто не должен слышать.

И потащил ее в ресторан, в наш уголок.

— Я — единственный из трехсот, кому не присвоили звания младшего лейтенанта. Это временное дисциплинарное взыскание...

Ее несчастный, доверчивый взгляд ждал, готовый поверить, согласиться...

— Дисциплинарная мера. Придется полгода подождать. Видишь ли...

Я быстро обернулся, чтобы посмотреть, не подслушивают ли нас.

— Я обольстил жену коменданта Школы. Ничего не мог с собой поделать. Денщик на нас донес. Муж потребовал санкций...

С минуту она колебалась, но вновь проснувшийся романтизм и воспоминание об Анне Карениной затмили собой все. По ее губам скользнула улыбка, глаза загорелись от любопытства.

— Она красивая?

— Да, ты даже не можешь себе представить,— просто сказал я.— Я знал, чем рискую, но ни минуты не колебался.

— У тебя есть ее фотокарточка?

Нет, у меня не было.

— Она мне пришлет.

Мать смотрела на меня с нескрываемой гордостью.

— Дон Жуан! — воскликнула она.— Казанова! Я всегда это говорила!

Я скромно улыбнулся.

— Муж мог тебя убить!

Я пожал плечами.

— Она действительно любит тебя?

— Любит.

— А ты?

— Ты знаешь...— жеманно ответил я.

— Так нельзя,— неуверенно сказала мать.— Обещай мне, что будешь ей писать.

— Хорошо, я буду писать.

Мать с минуту раздумывала. Новая мысль пронеслась у нее в голове.

— Единственный из трехсот, не получивший звания младшего лейтенанта! — с восхищением и безграничной гордостью произнесла она.

Мама побежала за чаем, вареньем, сандвичами, пирогами и фруктами.

Вернувшись, она уселась за стол и громко шмыгнула носом в знак глубочайшего удовлетворения.

— Расскажи мне все с самого начала,— приказала она.

Моя мать любила красивые истории. Как много я их ей рассказал!

Глава XXIX

Итак, наспех ловко приукрасив действительность — иными словами, спасти Францию от страшного падения в глазах своей матери и объяснив последней свою неудачу с тактом светского человека, я столкнулся со следующим испытанием, которое уже не застало меня врасплох.

Четыре месяца назад, в день призыва, я был зачислен в Салон-де-Провансе курсантом, что обеспечивало мне привилегированное положение: унтер-офицеры не имели надо мной власти, и солдаты смотрели на меня с уважением. Теперь же я возвращался к ним простым капралом.

Нетрудно представить себе судьбу, которая ожидала меня, и какие насмешки, придирки и наряды вне очереди мне пришлось проглотить. Унтер-офицеры из моей роты называли меня не иначе как «лейтенант-мудила» или более мягко — «лейтенантом отхожих мест». Это был период медленного развала армии, поддавшейся гибельному соблазну разложения, которое еще тогда просочилось в души некоторых будущих побежденных. Долгие недели после моего возвращения в Салон моей главной обязанностью являлся постоянный надзор за отхожими местами, но признаюсь, вид отхожих мест был мне более приятен, чем лица окружавших меня унтер-офицеров и сержантов. По сравнению с тем, что я испытал, когда ехал к матери без нашивки младшего лейтенанта, придирки и оскорбления в мой адрес были ничто и скорее веселили меня. Стоило только выйти из лагеря, как я погружался в сумрачную красоту Прованса, где белевшие среди кипарисов камни напоминали таинственные руины.

Я не был несчастлив.

У меня завязались знакомства с местными жителями.

В Бо, взобравшись на огромный утес, я часами созерцал море оливковых деревьев.

Я упражнялся в стрельбе из пистолета и, благодаря помощи сержанта Криста и сержанта Блеза, с которыми дружил, налетал пятьдесят часов над Альпами. В конце концов кто-то где-то вспомнил, что у меня было свидетельство о прохождении летной подготовки, и меня назначили инструктором по стрельбе. Война застала меня у зениток, нацеленных в небо. Мысль, что Франция может проиграть войну, никогда не приходила мне в голову. Жизнь моей матери не могла закончиться таким поражением. Этот логический довод вселял в меня бóльшую веру в победу французской армии, чем «линия Мажино» и все пламенные обращения наших командиров, вместе взятые. Мой любимый командир не мог проиграть войну, и я был уверен, что после стольких лет борьбы, самопожертвования, героизма судьба уготовила ей победу как нечто само собой разумеющееся.

Как я уже говорил, мама приехала попрощаться со мной в Салон-де-Прованс на старом такси. Она привезла с собой невероятное количество ветчины, консервов, варенья, сигарет и всего того, о чем солдату приходилось только мечтать.

Тем не менее оказалось, что пакеты предназначались не мне. Лицо моей матери приняло лукавое выражение, когда, протянув мне пакеты, она таинственно сказала:

— Твоим офицерам.

Оторопев, я тут же представил себе лица капитанов Лонжеваля, Мулиня, Тюрбена при виде капрала, входящего в их кабинет, чтобы от имени своей матери передать им дань в виде колбасно-коньячных и кондитерских изделий, призванную снискать их благосклонность. Наверное, она думала, что такого рода *бакшиш* был в ходу во французской армии, как, вероятно, это было распространено в прошлом веке в гарнизонах провинциальной России, но я вовремя сдержался и не стал возражать. Ведь она была

в состоянии схватить «подарки» и собственноручно отнести их упомянутым лицам, к тому же сопроводив это какой-нибудь патриотической тирадой, от которой бы покраснел сам Деруле́д [1].

С большим трудом утихомирив мать и отобрав у нее пакеты, к вящему любопытству солдат, развалившихся в креслах на террасе столовой, я увлек ее в сторону взлетной полосы, за самолеты. Она шла по траве, опираясь на свою трость и подвергая серьезному осмотру наш летный инвентарь. Через три года мне довелось сопровождать другую знатную даму, делавшую смотр наших экипажей на аэродроме в Кенте. Это была королева Англии Елизавета, и должен признать, что ее Величеству было далеко до того хозяйского вида, с которым моя мать проходила мимо наших «Моранов-315» на аэродроме Салона.

После осмотра летного инвентаря мать почувствовала легкую усталость, и мы уселись на траву у взлетной полосы. Она закурила сигарету и задумалась, нахмурив брови. Я ждал. Она чистосердечно поведала мне о своем беспокойстве:

— Надо немедленно атаковать.

Должно быть, я слегка удивился, так как она уточнила:

— Надо идти прямо на Берлин.

Она сказала по-русски *Надо идти на Берлин* с глубокой убежденностью и вдохновенной уверенностью.

С тех пор я всегда считал, что, не будь генерала де Голля, командование французской армией следовало бы доверить моей матери. Тогда бы, думаю, Генштабу, планировавшему контрнаступление у Седана, было бы к кому обратиться. У нее были крайне развиты наступленческие чувства и удивительно редкий дар заражать своей энергией и предприимчивостью даже самых невосприимчивых людей. Поверьте, моя мать не бездействовала бы, окажись она за «линией Мажино» со своим совершенно незащищенным левым флангом.

Я обещал ей быть на высоте. Похоже, ее это успокоило, и ее лицо вновь приняло задумчивое выражение.

— Кабины ваших самолетов открытые,— заметила она.— У тебя всегда было слабое горло.

Я не удержался и заметил, что, если единственное, чем я рискую на боевой машине,— это схватить ангину, мне действительно «повезло». Она иронично и покровительственно посмотрела на меня:

— С тобой ничего не случится.

Ее лицо выражало абсолютную уверенность. Как будто она *знала,* будто она заключила договор с судьбой, и в обмен на ее неудавшуюся жизнь ей дали определенные гарантии, какие-то обещания. Я и сам в это верил, но поскольку это запретное знание, лишив меня права на риск и возможности геройски гарцевать в пекле опасности, тем самым *обезоруживало* и саму опасность, то я возмутился:

— Каждый десятый летчик погибнет на этой войне.

С минуту она непонимающе, с ужасом смотрела на меня, потом ее губы задрожали, и она расплакалась. Я взял ее за руку. С ней я редко позволял себе этот жест: так я мог обращаться только с женщинами.

— С тобой ничего не случится,— повторила она на этот раз умоляющим тоном.

— Со мной ничего не случится, мама. Я обещаю тебе.

С минуту она колебалась, внутренне борясь с собой, и это было заметно по ее лицу. Потом пошла на уступку:

— Тебя, может быть, ранят в ногу.

Она пыталась договориться. Однако под этим погребальным небом над кипарисами и белыми валунами трудно было не ощутить извечный удел человека, безучастный к его трагедии. Слушая эту бедную женщину, пытавшуюся торговаться с богами, глядя на ее взволнованное лицо, мне еще труднее было поверить, что боги могут быть менее жалостливыми, чем

[1] Поль Деруле́д (1846—1914) — французский писатель, политический деятель, учредитель «Лиги патриотов».

шофер Ринальди, менее милостивыми, чем торговцы чесноком и пиццей с анчоусами с рынка Буффа. Мне казалось, что они — тоже немного южане. Где-то неподалеку от нас честнейшая рука держала весы, и взвешивание должно было происходить честно, так как для богов сердца матерей — не фальшивые игральные кости. Вдруг весь Прованс залился голосами кузнечиков, и я убежденно сказал:

— Не волнуйся, мама. Конечно же, со мной ничего не случится.

На мою беду, подходя к такси, мы столкнулись с командиром дивизиона, капитаном Мулинá. Я отдал ему честь, объяснив матери, что он командует моей частью. Как же я был неосторожен! Мать молниеносно открыла дверцу, схватила ветчину, две бутылки, салями, и, прежде чем я успел пошевельнуться, она уже догнала его и вручила дань, сопроводив ее соответствующими словами. Я думал, что умру от стыда. Само собой разумеется, что тогда я очень ошибался, так как если бы можно было умереть от стыда, то человечество уже давно бы прекратило свое существование. Капитан с удивлением посмотрел на меня, на что я ему ответил таким красноречивым взглядом, что, как истинный сен-сирский офицер, он больше не колебался. Он галантно поблагодарил мою мать, и поскольку она, бросив на меня убийственный взгляд, направилась к такси, то он помог ей сесть и отдал честь. С королевским достоинством кивнув ему, мать торжествующе уселась на сиденье (и я уверен, громко и удовлетворенно шмыгнула носом), в который раз продемонстрировав мне знание правил хорошего тона, которое я, ее сын, нередко подвергал сомнению. Такси тронулось, и ее лицо внезапно изменилось; прильнув к стеклу, она с тоской обернулась ко мне, пытаясь что-то крикнуть, но я не мог разобрать что. Наконец, не зная, как поступить, она перекрестила меня.

Здесь стоит упомянуть об одном важном эпизоде в моей жизни, о котором я думал умолчать, наивно полагая обмануть самого себя. Давно уж я стараюсь не вспоминать об этом, потому что мне все еще больно: с тех пор прошло всего двадцать лет. За несколько месяцев до войны я влюбился в одну юную венгерку, жившую в отеле-пансионе «Мермон». Мы должны были пожениться. В общем, у Илоны были черные волосы и огромные серые глаза. Она поехала в Будапешт навестить свою семью, нас разлучила война — еще одно поражение, вот и все. Я понимаю, что нарушаю правила хорошего тона, не отводя этому эпизоду должного места, но он еще жив в моей памяти, и, чтобы написать даже эти строки, я воспользовался случившимся со мной отитом, из-за которого лежу теперь в постели в отеле в Мехико, испытывая страшные боли, к счастью, только физические, которые служат мне анестезией и позволяют прикоснуться к этой ране.

Глава XXX

Нашу учебную эскадру перевели в Бордо-Мериньяк, и по пять-шесть часов в день я проводил в воздухе в качестве летного инструктора на «Потезах-540». Скоро меня произвели в сержанты. Жалованье было приличным, Франция упорно оборонялась, и я разделял общее мнение, что надо пользоваться жизнью и развлекаться, так как война не вечна. В городе у меня была комната и три шелковые пижамы, которыми я очень гордился. В моих глазах они олицетворяли собой светскую жизнь и вселяли уверенность, что моя светская карьера успешно продвигается; одна знакомая с юрфака украла их специально для меня во время пожара в крупном магазине, где работал ее жених. Наши отношения с Маргерит были чисто платоническими, и, следовательно, мораль была строго соблюдена. Пижамы слегка обгорели и все время отдавали копченой рыбой, но это уже мелочи. Время от времени я дарил себе коробку сигар, которые больше не вызывали приступов тошноты, и это очень радовало, доказывая мою опытность. Короче, жизнь начала меняться к лучшему. Между тем в ту пору я попал в довольно неприятную авиакатастрофу, которая чуть не стоила мне носа (уж это я вряд ли бы пережил). И случилось это, конечно же, по вине поляков. В то время поляки-военные были весьма непопулярны

во Франции: их слегка презирали за то, что они проиграли войну. После разгрома Польши французы не скрывали того, что они думают о них. Кроме того, как и во всяком больном социальном организме, начала свирепствовать шпиономания, и всякий раз, когда польский солдат закуривал сигарету, его тут же обвиняли в передаче световых сигналов врагу. Поскольку я прекрасно говорил по-польски, то меня использовали в качестве переводчика во время совместных с польскими летчиками полетов, целью которых было научить поляков управлять нашими самолетами. Я переводил советы и команды французского инструктора, стоя между двумя пилотами. Результат такого оригинального подхода к полетам не заставил себя долго ждать. В момент захода на посадку польский пилот замешкался, и инструктор, забеспокоившись, крикнул мне:

— Скажи этому болвану, что он сейчас врежется в землю. Пусть прибавит газа!

Я немедленно перевел. Могу с чистой совестью утверждать, что не замешкался ни на секунду, сказав:

— Prosze dodac gazu bo za chwile zawalimy sie w drzewa na koncu lotniska! [1]

Когда я пришел в себя, лицо у меня было в крови, вокруг нас суетились санитары, а польский летчик — в плачевном состоянии, но по-прежнему куртуазный — пытался приподняться на локте и принести свои извинения французскому пилоту:

— Za pozni mi pan przytlumaczyl! [2]

— Он говорит...— запинаясь, пролепетал я.

Старший сержант, тоже в плачевном состоянии, только успел прошептать:

— Мать твою! — и потерял сознание.

Я слово в слово перевел, после чего с чувством исполненного долга отдался в руки санитаров. Мой нос был полностью расквашен, но в медсанчасти внутренние повреждения сочли несерьезными. Здесь они ошиблись. Целых четыре года мне пришлось страдать из-за своего носа, скрывая плохое самочувствие и страшные мигрени, постоянно не дававшие мне покоя, и боясь, как бы меня не исключили из летного состава. И только в 1944 году мой нос полностью переделали в госпитале РАФ. Теперь уж он не тот, что прежде, но по-прежнему продолжает служить мне и, надеюсь, прослужит столько, сколько понадобится.

Кроме часов, которые я проводил в воздухе в качестве штурмана, бомбардира и пулеметчика, у меня набегало около часа в день на пилотирование: товарищи нередко передавали мне штурвал. К сожалению, эти драгоценные часы нигде официально не фиксировались и даже не могли отмечаться в моей летной книжке. Поэтому я завел другую, подпольную, и благодаря любезности начальника канцелярии тщательно проставлял на каждой странице печать дивизиона. Я был просто убежден, что после первых же потерь в уставе произойдут послабления и добрая сотня подпольных летных часов позволит мне переквалифицироваться в боевого пилота.

4 апреля 1940 года, всего за несколько недель до наступления немцев, я мирно курил сигару посреди аэродрома, как вдруг дневальный протянул мне телеграмму: «Мать серьезно больна. Немедленно приезжайте».

Я продолжал стоять с дурацкой сигарой во рту, в своей кожаной куртке, в фуражке, надвинутой на глаза, со своим геройским видом, руки в карманах, в то время как вся планета вдруг стала необитаемой. До сих пор не забыть того странного ощущения, когда до боли знакомые уголки — земля, дома — на моих глазах превратились в незнакомую планету, где никогда раньше не ступала моя нога. Вся моя система мер и весов разом рухнула. Напрасно я говорил себе, что красивые любовные истории всегда плохо кончаются, я и так это знал, но вопреки всему верил, что в моем

---

[1] Пожалуйста, прибавьте скорость, потому что через минуту мы свалимся на деревья в конце аэродрома *(польск.)*.

[2] Поздновато мне пан это перевел *(польск.)*.

случае все же восторжествует справедливость. То, что мать может умереть раньше, чем я успею броситься на чашу весов, чтобы уравновесить их и тем самым наглядно показать всем изначальную добропорядочность мира, засвидетельствовать, что в сути вещей скрыто честное намерение, казалось мне попросту отрицанием элементарного человеческого достоинства, равносильным запрету дышать. Стоит ли объяснять моим читателям, что такая убежденность происходила от моей крайней молодости. Теперь-то у меня есть жизненный опыт, и этого достаточно — вы меня поняли.

Мне потребовалось двое суток, чтобы добраться до Ниццы поездом отпускников. Настроение пассажиров этого серо-голубого поезда было подавленным. Всему виной Англия, втянувшая нас в эту войну, нужно смотреть правде в глаза, Гитлер не так плох, как мы о нем думали, и с ним следует вступить в переговоры. Но была и приятная новость: открыли новое лекарство, излечивающее гонорею за несколько дней.

Тем не менее я был далек от отчаяния. Я и теперь не научился отчаиваться, а только делаю вид. За всю свою жизнь я так и не сумел дойти до последней степени отчаяния. Ничего не поделаешь: во мне все время сидит кто-то, кто продолжает улыбаться.

Рано утром я приехал в Ниццу и помчался в «Мермон». Поднявшись на шестой этаж, я постучал в дверь. Моя мать занимала самую маленькую комнату в отеле: хозяйственный подход был у нее в крови. Я вошел. Малюсенькая уютная треугольная комнатка выглядела нежилой и повергла меня в ужас. Я бросился вниз, разбудил консьержа и узнал, что мать перевезли в клинику Сент-Антуан. Я прыгнул в такси.

Санитары после рассказывали мне, что, когда я ворвался, они подумали, что это вооруженное нападение.

...Голова мамы утопала в подушке, лицо было осунувшимся, взволнованным и растерянным. Я обнял ее и сел на кровать. На мне по-прежнему была кожаная куртка и фуражка, надвинутая на глаза: мне необходим был этот панцирь. Во время нашего свидания я, помнится, так и просидел с бычком во рту: мне необходимо было на чем-то сосредоточиться.

На столике у ее изголовья на самом видном месте стояла фиолетовая коробочка с серебряной медалью, которую я выиграл в 1932 году на чемпионате по пинг-понгу и на которой было выгравировано мое имя. Прошел час, два — мы молчали. Потом она попросила меня отдернуть занавески. Я отдернул. С минуту я колебался, потом поднял глаза к свету, чтобы ей не пришлось просить меня об этом. Так я провел довольно долгое время. Это, собственно, все, что я мог для нее сделать. Мы молчали — втроем. Мне даже не надо было глядеть на нее, я знал, что она плачет. И вовсе не был уверен, что из-за меня. Потом я сел в кресло перед кроватью. Я провел в нем двое суток. И почти все это время просидел в фуражке, куртке и с окурком: мне необходим был камуфляж. В какой-то момент она спросила, есть ли у меня новости от моей венгерки Илоны. Я сказал, что нет.

— Тебе необходима женщина рядом.

Я ответил, что это касается всех мужчин.

— Тебе будет труднее, чем другим,— сказала она.

Мы немножко поиграли в белот.

Она по-прежнему много курила, объяснив мне, что теперь врачи не запрещают ей этого. Очевидно, теперь уже не стоило церемониться. Она курила, внимательно глядя на меня, и я прекрасно видел, что она строит планы. Но совершенно не догадывался о том, что она задумала. Уверен, что именно тогда у нее впервые блеснула эта мысль. По ее хитрому взгляду я прекрасно чувствовал, что у нее появилась какая-то идея, но, даже хорошо зная мать, я не мог себе представить, что она зайдет так далеко. Я поговорил с доктором, и он успокоил меня: «Ваша мать может протянуть еще несколько лет. Диабет, сами знаете...» На третий день, вечером, я пошел поужинать в «Массену» и встретил там голландца, который собирался лететь в Южную Африку, «чтобы скрыться от готовящегося немецкого нашествия». Без малейшего повода с моей стороны, вероятно испытывая

доверие к моей куртке летчика, он спросил, не могу ли я найти ему женщину. Когда я думаю, как много людей обращалось ко мне с такой просьбой, мне становится не по себе. Ведь мне всегда казалось, что у меня благопристойный вид. Я ответил ему, что я сегодня не в форме. Он заявил, что все его состояние уже находится в Южной Африке, и мы пошли отпраздновать это радостное событие в «Ша-Нуар». У минхера была луженая глотка, что же касается меня, то алкоголь всегда вызывал у меня ужас, но я могу перебороть себя. Выпив на двоих бутылку виски, мы перешли на коньяк. Вскоре по кабачку пополз слух, что я первый ас этой войны, и к нам даже подошли два-три ветерана войны четырнадцатого года, чтобы иметь честь пожать мне руку. Польщенный тем, что меня узнают, я раздавал автографы, жал руки и принимал угощение. Минхер представил мне свою «старую знакомую», с которой только что познакомился. Я еще раз убедился в престиже, которым пользовалась летная форма в тылу, у трудящегося населения. Малышка предложила содержать меня на протяжении всей войны и, если понадобится, переезжать вслед за мной из гарнизона в гарнизон. Она уверяла, что в состоянии совершать по двадцать переходов за день. Я впал в депрессию и обвинил ее в том, что она хочет сделать это не ради меня, а, собственно, ради всех BBC. Я сказал ей, что она чересчур демонстрирует свой патриотизм и что я хочу, чтобы меня любили ради меня самого, а не из-за моей формы. Минхер одним махом отбил горлышко у бутылки шампанского и предложил выпить за наш союз. Патрон принес меню для автографа, и я было уже собрался расписаться, как вдруг почувствовал на себе насмешливый взгляд. На этом типе не было кожаной куртки, его грудь не украшала орденская розетка, но, несмотря на это, на нем красовался Боевой крест, которым в свое время изредка награждали пехотинцев. Я несколько поутих. Минхер собрался прокатить на самолете мою суженую, которая заставила меня поклясться, что завтра я буду ждать ее в «Чинтре». Фуражка с золотыми крыльями, кожаная куртка, суровый вид — и ваше будущее обеспечено. У меня была страшная мигрень, нос превратился в гирю — я вышел из кабачка и, углубившись в ночь, побрел среди разноцветных лотков цветочного рынка.

Двое суток, как я позже узнал, благонамеренная малышка ежедневно, с шести часов вечера до двух часов ночи, сидела в баре «Чинтра», ожидая своего летчика.

До сих пор иногда спрашиваю себя: а не прошел ли я, сам того не зная, мимо самой большой любви в своей жизни?

Через несколько дней я прочел фамилию доброго минхера в списке жертв авиакатастрофы в районе Йоханнесбурга, и это еще раз доказывает, что нам никогда не удается надежно поместить свои капиталы.

Мое увольнение подходило к концу. Я провел еще одну ночь в клинике Сент-Антуан, сидя в кресле, и наутро, в последний раз отдернув занавески, подошел к матери попрощаться.

Не знаю, как описать наше прощание. У меня нет слов. Но держался я мужественно. Я не забыл ее уроков о том, как надо обращаться с женщинами. Вот уже двадцать шесть лет, как моя мать жила без мужчины, и, уезжая, возможно, навсегда, мне хотелось выглядеть в ее глазах скорее мужчиной, чем сыном.

— Ну, до свидания.

Улыбнувшись, я поцеловал ее в щеку. Чего мне стоила эта улыбка, могла понять только она, которая в свою очередь улыбалась.

— Вам надо пожениться, как только она вернется,— сказала она.— Она как раз то, что тебе нужно. И очень красивая.

Должно быть, она спрашивала себя, что со мной станет, если рядом не будет женщины. Она была права: я так и не смог отделаться от чувства обездоленности.

— У тебя есть ее фотокарточка?

— Вот.

— Думаешь, у нее богатая семья?

— Я не знаю.

— Когда она ездила на концерт Бруно Вальтера [1] в Канн, она взяла такси. Наверное, ее семья очень богатая.

— Меня это не интересует, мама. Мне все равно.

— Дипломат должен устраивать приемы. Для этого необходима прислуга, туалеты. Ее родители должны это понять.

Я взял ее за руку.

— Мама,— сказал я.— Мама.

— Можешь не волноваться, я сумею тактично объяснить все это ее родителям.

— Мама, перестань...

— Главное, за меня не беспокойся. Я — старая кляча: раз до сих пор протянула, то и еще продержусь. Сними фуражку...

Я снял. Она перекрестила мне лоб и по-русски сказала:

— *Благословляю тебя.*

Моя мать была еврейкой. Но это не имело значения. Главное было понять друг друга. А на каком языке мы говорили, было неважно.

Я направился к двери. Мы еще раз улыбнулись друг другу.

Теперь я чувствовал себя совершенно спокойным.

Какая-то частичка ее мужества перешла ко мне и навеки во мне осталась. Ее мужество и сила воли до сих пор живы во мне и только затрудняют мне жизнь, не давая отчаиваться.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава XXXI

Мысль, что Франция может проиграть войну, никогда не приходила мне в голову. Из истории я знал, что однажды, в 1870-м, мы ее проиграли, но меня тогда еще не было и моей матери — тоже. Поэтому то поражение было не в счет.

13 июня 1940 года, когда мы терпели поражение на всех фронтах, вернувшись в разгар бомбардировки из сопроводительного полета на «Блохе-210» на аэродром Тура, я был ранен осколком снаряда. Ранение было легким, и я оставил осколок в своей ноге, заранее предвкушая, с какой гордостью мать будет его ощупывать при первом же моем увольнении. Он и сейчас сидит во мне, несмотря на то, что его можно извлечь...

Сокрушительное наступление немцев не производило на меня ни малейшего впечатления. Мы уже видели такое в 1914 году. Как известно, мы, французы, всегда спохватываемся в последний момент. Танки Гудериана, устремившиеся через Седанский прорыв, вызывали у меня коварную улыбку. Я представлял, как наш Генштаб потирает от удовольствия руки, радуясь, что его же гениальный план выполняется пункт за пунктом и немецкие увальни в очередной раз попадают в ловушку. Кровь, доставшуюся мне от моих татарских и еврейских предков, подогревала непобедимая уверенность в будущем «моей» родины. Военное начальство Бордо-Мериньяка быстро оценило мои атавистические способности к слепой преданности «нашим» традициям и включило меня в состав одного из трех экипажей, чьей задачей являлось постоянное патрулирование с воздуха рабочих кварталов Бордо. Наша задача, как нам конфиденциально объяснили, заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность маршала Петена и генерала Вейгана, решившихся продолжать борьбу против «пятой колонны» коммунистов, намеревавшейся захватить власть и вступить в переговоры с Гитлером. Я — не единственный свидетель и не единственная жертва коварного обмана: бригады курсантов (среди которых был и Кристиан Фуше́, ныне наш посол в Дании) размещались на перекрестках города с целью обеспечения защиты августейшего старца от капитулянтов и соглашателей. Однако я до сих пор убежден, что это надувательство было

[1] Бруно Вальтер (1876—1962) — немецкий дирижер, с 1901 по 1939 — главный дирижер Венской оперы.

результатом деятельности низших эшелонов власти и что они совершили это преступление спонтанно, под влиянием политического и патриотического момента. Итак, я осуществлял воздушное патрулирование над Бордо на малой высоте с заряженными пулеметами, готовыми обстрелять любое сосредоточение войск, которое мне прикажут. Я бы исполнил это без колебаний, хотя ни минуты не сомневался в том, что «пятая колонна», планы которой мы якобы должны были расстроить, уже одержала верх и что она не из тех, кто марширует со знаменами по улицам. Она коварно проникла в души, умы и волю французов. Я не мог понять, каким образом военачальник, достигший высших чинов старейшей и самой доблестной армии мира, мог вдруг оказаться малодушным капитулянтом и даже интриганом, готовым поступиться интересами нации ради своих политических пристрастий и интересов. Дело Дрейфуса, в этом смысле, ничему меня не научило: во-первых, Эстергази не был истинным французом — он был натурализован, а во-вторых, там ставилась цель обесчестить еврея (как всем известно, в таких случаях все средства хороши). Короче, я целиком сохранил свою веру и даже сегодня, по-видимому, мало в чем изменился в этом смысле: позор Дьен-Бьен-Фу, мерзости во время войны в Алжире вызывают во мне растерянность и непонимание. С каждым новым продвижением врага, при каждом поражении на фронте я хитро улыбался и ждал внезапного контрудара, молниеносной атаки, ироничного и великолепного «Эй, там!» наших стратегов — непревзойденных бретеров. Эта атавистическая неспособность отчаиваться, которая сидит во мне как порок и против которой я бессилен, в конце концов стала принимать видимость некой счастливой и врожденной глупости, в чем-то похожей на ту, которая однажды толкнула рептилии, не имевшие легких, вылезти из родного Океана, и принудила их не только дышать, но и стать главной предтечей человечества, кишащего сегодня вокруг. Я был дураком и таковым остался. Дурак, что убивал; дурак, что жил; дурак, что надеялся; дурак, что побеждал. Чем больше ухудшалось положение на фронте, тем более воодушевлялась моя глупость, видевшая в этом наше преимущество, и я ждал, когда гений родины воплотится наконец в лице полководца, в соответствии с нашими лучшими традициями. Я всегда был склонен принимать на веру красивые истории, придуманные человечеством в минуты вдохновения, а у французов в этом не было недостатка. Ярчайший талант моей матери верить и не терять надежды вдруг проснулся во мне и достиг неожиданных высот. Я поочередно верил в наших полководцев, считая каждого из них ниспосланным провидением. И когда один за другим они оказывались жалкими марионетками или примирялись с поражением, то я ничуть не отчаивался и не терял веры в наших генералов: я попросту выбирал себе другого генерала. Я до конца продолжал свои поиски, всегда оказывался обманутым и всегда делал ставку на нового героя, и всякий раз, когда великий человек умирал для меня, я с удвоенной верой обращался к следующему. Итак, я поочередно верил генералу Гамелену, генералу Жоржу, генералу Вейгану — помню, с каким волнением я читал газету, в которой описывались его рыжие кожаные сапоги и кожаные брюки, когда, став верховным главнокомандующим, он спускался по ступенькам своей резиденции. Я верил в генерала Хунтзигера, в генерала Бланшара, в генерала Миттельхаузера, в генерала Ногеса, в адмирала Дарлана и — стоит ли говорить — в маршала Петена. Так я, естественно, пришел к генералу де Голлю, держа мизинец на канте брюк и все время отдавая честь. Нетрудно себе представить, каким утешением для моей врожденной глупости и оптимизма был тот навеки незабываемый момент, когда из глубин пропасти (именно так, как я себе это и представлял!) наконец-то появился гениальный вождь, которому эта ситуация была по плечу. Судя по его фамилии, он был из наших. Всякий раз при виде генерала де Голля я понимаю, что моя мать не обманывала меня и, по крайней мере, знала, о чем говорила.

Итак, я решил добраться до Англии вместе с тремя товарищами на борту «Дена-55». Это была новая машина, на которой никто из нас до этого не летал.

Аэродром Бордо-Мериньяка 15, 16 и 17 июня 1940 года представлял собой самое странное зрелище из всех, которые мне когда-либо приходилось видеть.

Самолеты, прибывавшие со всех сторон, беспрерывно заходили на посадку и загромождали летное поле. Незнакомые мне по типу и назначению машины высаживали на поле не менее удивительных пассажиров, многие из которых, по-видимому, воспользовались первым подвернувшимся под руку транспортом.

Аэродром превратился в своего рода ретроспективу моделей последних двадцати лет: перед смертью французская авиация делала смотр своему прошлому. Порой экипажи были куда более странными, чем самолеты. Я видел, как пилот военно-морской авиации, чью грудь украшал самый почетный Боевой крест,— вышел из кабины истребителя, держа на руках спящую девочку. Еще я видел, как сержант-пилот высадил из своего «Голэнда» пять явных пансионерок провинциального дома терпимости. В «Симуне» я увидел сержанта с седыми волосами и женщину в брюках в сопровождении двух собак, кошки, канарейки, попугая, скатанных ковров и картины Юбера Робера [1], прислоненной к стенке фюзеляжа. Я видел, как добропорядочное семейство — отец, мать и две юные дочери, нагруженные багажом, договаривались с пилотом о цене полета в Испанию, причем отец семейства был кавалером ордена Почетного легиона. Но главное, я никогда не забуду лица пилотов, возвращавшихся из последних боев на «Девуатинах-520» и «Моранах-406» с крыльями, изрешеченными пулями, и не забуду, как один из них сорвал с себя Боевой крест и швырнул его на землю. Я видел, как тридцать генералов столпились у диспетчерской и ждали, ждали, ждали... Я видел, как юные пилоты самовольно захватывали «Блохи-151» и взлетали без боеприпасов, идя на таран на вражеские бомбардировщики, появление которых то и дело предвещала воздушная тревога. И на фоне всей этой невероятной воздушной фауны, чудом избежавшей катастрофы, «Блохи-210» — знаменитые летающие гробы — выглядели вполне прилично.

Но мне кажется, что с наибольшей теплотой я всегда буду вспоминать наши дорогие «Потезы-25» и старых летчиков, которые, подходя к ним, всегда напевали модную в то время песенку: «Старик, старик, ты забыл свою лошадь». Всех этих сорока-пятидесятилетних стариков-резервистов, многие из которых были участниками первой мировой войны, несмотря на гордо носимые ими воинские награды, в течение всей войны продержали на положении «нелетного состава», назначая в качестве поваров, писарей, начальников канцелярий, несмотря на бесчисленные и так и не сдержанные обещания использовать их в летной подготовке. Теперь судьба вознаградила их. Здесь было около двадцати сорокалетних здоровяков, которые, пользуясь всеобщей неразберихой, взяли дело в свои руки. Реквизировав все бесхозные «Потезы-25» и не обращая внимания на сгущавшиеся вокруг пораженческие настроения, они начали тренировочные полеты, набирая летные часы, и выписывали в небе вензеля, напоминая пассажиров потерпевшего кораблекрушение судна, весело ныряющих среди обломков. Они с несгибаемым оптимизмом верили, что как раз успеют к «первым боям», и презрительно относились к событиям, предшествовавшим их вступлению в борьбу. Так что в этом своеобразном воздушном Дюнкерке, в атмосфере конца света, над головами растерянных генералов, смешавшись с самой причудливой воздушной фауной, над головами побежденных, отчаявшихся и приспособившихся, «Потезы-25», ведомые «старыми пнями», продолжали прилежно тарахтеть, садясь и снова взлетая, а бодрые и решительные лица этих первых героев Сопротивления улыбались из кабин, отвечая на наши дружеские приветствия. Это и была та самая Франция, страна вин и праведного гнева, которая, что бы ни случилось, пробуждается, крепнет и возрождается с каждым годом. Среди них были продавцы, рабочие, мясники и агенты страховых компаний, бродяги, спекулянты и даже один священник. Но всех их объединяло одно общее дело.

---

[1] Юбер Робер (1733—1806) — французский художник.

В день капитуляции Франции я сидел, прислонясь к ангару и глядя на вращавшиеся пропеллеры «Дена-55», на котором нам предстояло лететь в Англию. Я думал о шести шелковых пижамах, брошенных в моей комнатке в Бордо, которые представлялись мне серьезной потерей, если к этому прибавить еще Францию и мою мать, которую, вероятно, я никогда больше не увижу. Три товарища, такие же сержанты, как и я, сидели рядом со мной с суровым видом и с торчавшими из-за пояса заряженными револьверами — мы были очень далеко от линии фронта, но мы были молоды, и наше мужество было уязвлено фактом поражения, поэтому угрожающие револьверы наготове наглядно демонстрировали наши чувства. Они хоть как-то помогали нам вписаться в рамки драмы, разыгрывавшейся вокруг, а также скрыть гнетущее чувство беспомощности, растерянности и никчемности. Никто из нас еще не участвовал в сражениях, и де Гаш, со свойственной ему иронией, прекрасно объяснил наше жалкое стремление принять позу, скрыть разочарование и тем самым продемонстрировать свою непричастность к поражению:

— Это то же самое, как если бы Корнелю и Расину не давали писать, а потом бы сказали, что во Франции нет трагических поэтов.

Несмотря на все мои усилия сосредоточиться на гибели шелковых пижам, мамино лицо часто возникало передо мной на фоне ясного и безоблачного июньского дня. Напрасно я сжимал при этом челюсти, выставлял подбородок вперед и хватался за револьвер, слезы мгновенно застилали глаза, и я немедленно поднимал их к солнцу, чтобы сбить с толку своих товарищей. У моего друга Красавчика тоже была моральная проблема, которой он поделился с нами: в мирное время он был сутенером и его самая любимая женщина осталась в публичном доме в Бордо. Ему казалось, что он нечестно поступил, уехав один. Я старался ободрить его, объясняя, что преданность родине превыше всего и что я тоже оставил позади все самое дорогое. Я даже ставил ему в пример другого нашего товарища, Жан-Пьера, который не задумываясь покинул свою жену и троих детей, чтобы продолжить борьбу. На что Красавчик ответил восхитительной фразой, поставившей всех нас на место и навсегда покорившей меня.

— Да,— сказал он,— но вы из другой среды, поэтому у вас нет обязательств.

Вести самолет должен был де Гаш. На его счету было триста летных часов — целое состояние. С усиками, в форме от Ланвена — он был из очень хорошей семьи, в нем чувствовалась порода,— он всем своим видом как бы олицетворял поддержку добропорядочной католической французской буржуазии нашему решению дезертировать, чтобы продолжить борьбу.

Как видите, кроме нежелания признавать себя побежденными, у нас не было ничего общего. Но в своей непохожести мы черпали какую-то экзальтацию, и то единственное, что нас связывало, еще сильнее укрепляло нашу веру. И будь среди нас даже убийца, это лишь подтверждало бы уникальный, исключительный характер нашей миссии и нашего братства.

Де Гаш поднялся в самолет, чтобы выслушать последние инструкции механика по управлению «Деном», которого он не знал. Нам предстояло сделать пробный круг, чтобы освоиться с приборами, приземлиться, высадить механика и снова взлететь, взяв курс на Англию. Де Гаш подал нам знак из самолета, и мы принялись затягивать лямки парашютов. Красавчик и Жан-Пьер поднялись первыми; у меня были проблемы с поясом. Я было уже занес ногу на трап, как вдруг увидел быстро мчавшегося к нам на велосипеде и жестикулировавшего дежурного. Я подождал.

— Сержант, вас вызывают на командный пункт. Срочно к телефону.

Я был ошеломлен. Казалось почти сверхъестественным, что мамин голос смог пробиться ко мне посреди катастрофы, в то время как на дорогах, на телеграфе, на всех линиях царили хаос и полная неразбериха, когда командиры не имели сведений о своих войсках и когда следы какого-либо порядка исчезли под натиском немецких танков и авиации. Я ни минуты не сомневался: это звонила моя мать. В момент прорыва Седанской обороны и позже: уже первые немецкие мотоциклисты врывались в замки

Луары, я благодаря дружбе с сержантом-телефонистом с командного пункта пытался передать ей утешительные сведения, напомнить о Жоффре, Петене, Фоше и других священных именах, которые мать так часто повторяла мне в трудные минуты, когда наше финансовое положение вызывало у меня беспокойство или когда с ней случались приступы гипогликемии. Тогда на линиях связи еще сохранялась какая-то видимость порядка, но мне так и не удалось до нее дозвониться.

Я велел де Гашу сделать пробный круг без меня и, вернувшись, забрать меня у ангара, после чего одолжил велосипед у капрала и принялся крутить педали.

Я был в нескольких метрах от командного пункта, когда «Ден» промчался по взлетной полосе. Я спешился и, прежде чем войти, рассеянно посмотрел в сторону самолета. «Ден» был уже в двадцати метрах от земли. Вдруг он на минуту неподвижно повис в воздухе, как бы колеблясь, потом вошел в кабрирование, накренился на одно крыло, спикировал и, рухнув, взорвался. Я замер, глядя на столб черного дыма, который потом мне так часто приходилось видеть над погибшими самолетами. Тогда я пережил первый из тех ожогов внезапного и полного одиночества, которыми в дальнейшем отметила меня гибель более ста моих товарищей, пожизненно наградив тем потерянным и отсутствующим видом, к которому я, похоже, уже привык. За четыре года службы в эскадрилье пустота от их ухода, постепенно расширяясь, стала для меня самым обитаемым местом, которое я когда-либо знал. С новыми друзьями, появившимися у меня после войны, я только сильнее ощущал отсутствие тех, с кем продолжаю жить бок о бок. Порой я забываю их лица; их смех и голоса ускользают от меня, но это только делает их ближе. Небо, Океан, пустынный пляж Биг-Сура до самого горизонта: странствуя по свету, я всегда выбираю края, где достанет места на всех, кого уже нет со мной. Я все время пытаюсь заполнить эту пустоту зверями, птицами, и всякий раз, когда тюлень, ныряя с высокой скалы, плывет к берегу или кормораны и крачки потихоньку сжимают вокруг меня кольцо, моя душа, жаждущая дружбы и компании, преисполняется смехотворной надеждой, и я не могу удержаться, чтобы не улыбнуться и не протянуть руку.

Пробившись сквозь толпу генералов, которые, как стая цапель, топтались у командного пункта, я проник на телефонную станцию.

В то время телефонные станции Мериньяка и Бордо, по сути дела, осуществляли главную связь со страной. Именно из Бордо передавались обращения Черчилля, призывавшие противостоять перемирию; выступления генералов, пытавшихся разобраться в масштабах катастрофы; сообщения журналистов и послов со всего мира, принявших сторону пораженческого правительства. Кажется, теперь все было кончено, и на линии фронта наступило странное затишье. А в разрозненных армейских подразделениях, разбросанных по всей территории, принятие решений осуществлялось на уровне роты или взвода, которым уже никто не отдавал приказов. Тем не менее последние вспышки агонии проявлялись в неслышном и трагическом героизме тех немногих, которые сражались по нескольку часов (или минут) один против ста; эти бои не отмечались на карте, и они не попадали в военные сводки.

Мой друг сержант Дюфур прочно обосновался на станции и уже сутки напролет обеспечивал бесперебойную связь; с его лица ручьями катился пот. У него был упрямый вид, потухший бычок во рту и осунувшееся, заросшее лицо, которое казалось ощетинившимся от ярости (должно быть, с таким же дерзким и насмешливым видом он погиб через три года под вражескими пулями, в партизанском отряде).

Когда, десять дней назад, я просил соединить меня с матерью, он с циничной гримасой ответил, что «еще не все потеряно, и положение не оправдывает таких экстренных мер». Теперь же он послал за мной, и этот факт сам по себе говорил куда больше, чем любые слухи о перемирии. Он смотрел на меня, вид у него был растерзанный, штаны расстегнуты. Возмущение, презрение и непокорность исходили от всего его существа вплоть

до расстегнутой ширинки; открытый лоб перерезали три горизонтальные морщины — через пятнадцать лет, когда я искал для романа «Корни неба» прообраз своего Мореля, человека, не умевшего отчаиваться, я придал ему эти незабываемые черты. Дюфур наблюдал за мной, прижав к уху наушник. Казалось, он с наслаждением слушал музыку. Я ждал, глядя на него, его глаза под воспаленными от бессонницы веками весело искрились. Мне стало любопытно, что за разговор он подслушивает. Быть может, главнокомандующего с передовыми частями? Но он быстро разубедил меня:

— Броссар летит сражаться в Англию. Я устроил ему прощальный разговор с женой. Ты не передумал?

Я покачал головой. Он одобрительно кивнул; так я узнал, что сержант Дюфур вот уже несколько часов блокировал все телефонные линии, чтобы дать возможность тем, кто отказался сдаваться и собирался продолжать борьбу, обменяться последними словами нежности и надежды с теми, кого они, вероятно, навсегда покидали.

Я не держу зла на пораженцев и капитулянтов 1940 года. И прекрасно понимаю тех, кто отказался пойти за де Голлем. Им было слишком уютно в своих жилищах, стенами которых ограничивалось их представление о человеческом уделе. Они усвоили понятие «благоразумие» и проповедовали его, эту ядовитую ромашку со сладковатым привкусом смирения, самоотречения и соглашательства, которую привычка жить потихоньку засовывает нам в глотку. Просвещенные, мыслящие, мечтательные, проницательные, образованные, скептичные, благородные, хорошо воспитанные, любящие человечество, они подсознательно, в глубине души, понимали, что гуманизм — несбыточное искушение, и потому приняли победу Гитлера как нечто само собой разумеющееся. Очевидно, они решили придать естественное политическое и социальное продолжение нашему биологическому и метафизическому рабству. Скажу больше, не желая никого обидеть, они были *правы*, и этого уже достаточно, чтобы остерегаться их. Они были правы с точки зрения ловкости, осторожности, отказа от авантюризма, стремления выйти сухими из воды, словом, всего того, что могло бы помешать Христу умереть на кресте, Ван Гогу — рисовать, моему Морелю — защищать слонов, французам — быть расстрелянными и что низвергло бы в небытие соборы и музеи, империи и цивилизации, даже не дав им возникнуть.

Само собой разумеется, что им совершенно чуждо было наивное представление, которое моя мать составила себе о Франции. Им не надо было оберегать сказку кормилицы в сознании пожилой женщины. Я не вправе сердиться на людей, которые, не родившись на просторах русской степи с примесью еврейской, казацкой и татарской крови, воспринимали Францию более сдержанно и осмотрительно.

Через несколько минут я услышал мамин голос. Я не в состоянии передать, что мы друг другу говорили. Это был набор криков, слов, всхлипов, которые не поддаются членораздельному воспроизведению. С тех пор мне всегда казалось, что я понимаю зверей. Когда в разгар африканской ночи я вслушивался в крики животных, у меня часто сжималось сердце, так как я различал в них боль, ужас, тоску... После того телефонного разговора всегда я узнавал крик самки, потерявшей своего детеныша.

Она закончила комическими словами, заимствованными из жалкого поэтического словаря. Когда в трубке наступило долгое молчание, не нарушаемое никакими помехами, молчание, которое, казалось, охватило всю страну, я вдруг услышал далекий всхлипывающий голос:

— Мы победим!

Этот последний, несуразный крик наивнейшего человеческого мужества вошел в мое сердце и остался в нем навсегда, став моей *сутью*. Я знаю, что он переживет меня и что когда-нибудь люди одержат самую большую победу, о какой они даже не мечтали.

Еще минуту я продолжал стоять с трубкой в руке, в кожаной куртке, в фуражке, надвинутой на глаза, такой же одинокий, как миллионы и мил-

лионы людей перед лицом общей человеческой участи. Сержант Дюфур смотрел на меня поверх своего бычка с веселой искрой в глазах, которая всегда, когда я замечал ее в глазах людей, казалась мне как бы гарантией выживаемости.

А потом я отправился на поиски другого экипажа и другого самолета. И долго бродил по аэродрому от самолета к самолету, от экипажа к экипажу.

Выслушав от тех, кого я подстрекал к дезертирству, ряд крайне несдержанных выражений в свой адрес, я вдруг вспомнил о громадном, абсолютно черном четырехмоторном «Фармане», прибывшем накануне в аэропорт. Он показался мне вполне подходящим для перелета в Англию. Наверное, это был самый крупный самолет, который я до сих пор видел. Монстр выглядел необитаемым. Из чистого любопытства я вскарабкался по лесенке и просунул голову внутрь, чтобы посмотреть, как он выглядит.

За складным столиком с трубкой в зубах сидел генерал с двумя звездами и писал. Огромный револьвер с барабаном лежал на листке бумаги на расстоянии вытянутой руки. У генерала было молодое лицо и седые волосы ежиком; при моем появлении он с отсутствующим видом взглянул на меня, потом перевел взгляд на листок бумаги и опять принялся писать. Я машинально отдал ему честь, но он не ответил.

Я бросил удивленный взгляд на револьвер и внезапно понял, что происходит. Поверженный генерал, прежде чем застрелиться, писал прощальную записку. Признаться, я был глубоко тронут. Мне казалось, что, пока у нас есть генералы, способные на подобные жесты, нам есть на что надеяться. Его поступок был воплощением величия и трагедии, к которым в пору своей юности я был очень чувствителен.

Итак, я еще раз отдал ему честь, тихонечко удалился и прошелся по взлетной полосе, ожидая выстрела, который спасет честь генерала. Через четверть часа я потерял терпение и, вернувшись к «Фарману», вновь заглянул внутрь.

Генерал все еще писал. Его тонкая и изящная рука скользила по листку бумаги. Я заметил пару запечатанных конвертов около револьвера. Он опять бросил на меня взгляд, и я вновь отдал ему честь и почтительно удалился. Мне необходимо было в кого-то верить, а этот генерал с молодым и благородным лицом внушал мне доверие; итак, я терпеливо ждал около самолета момента, который поднимет мой моральный дух. Так как ничего не было слышно, то я решил навестить экипажи, собиравшиеся лететь в Англию с посадкой в Португалии. Вернувшись через полчаса, я поднялся по лесенке: генерал все еще писал. Исписанные правильным почерком листки стопкой лежали в сторонке под массивным револьвером. Внезапно я понял, что далекий от величественного намерения, достойного героя греческой трагедии, отважный генерал попросту писал письма, используя револьвер в качестве пресс-папье. Очевидно, мы с ним находились в разных измерениях. Глубоко обескураженный и раздосадованный, я, понурив голову, отошел от «Фармана». Чуть позже я увидел, как выдающийся полководец, держа в руке салфетку и с револьвером в кобуре, спокойно направился в офицерскую столовую с чувством выполненного долга на умиротворенном лице.

Над несуразной фауной аэродрома нещадно палило солнце. Вооруженные сенегальцы, охранявшие самолеты от возможных диверсий, наблюдали за странными и порой причудливыми формами, спускавшимися с небес. Особенно мне запомнился пузатый «Брегэ», фюзеляж которого заканчивался балкой в виде деревянной ноги, такой же нелепой и гротескной, как некоторые африканские талисманы. Во взводе «Потезов» «старики» 1914—1918 годов, непобедимые мстители, демонстрировали чудеса при заходе на посадку. Они прилежно тарахтели в голубом небе и, приземлившись, заверяли меня в своем непоколебимом намерении идти до конца.

Помню, как один из них, высунувшись из кабины «Потеза» — идеальный образ небесного рыцаря эпохи Гинемера,— при полной амуниции, с шелковым чулком на голове и в кавалерийских штанах, бросил мне сквозь

шум винта, чуть запыхавшись после акробатического номера, который требовалось исполнить человеку его веса, чтобы влезть в кабину:

— Не волнуйся, малыш, все в порядке!

Энергично оттолкнув двух товарищей, помогавших ему спуститься, он взял курс на пивные бутылки, валявшиеся в траве. Двое его товарищей, один — обтянутый курткой цвета хаки, увешанный орденами, в шлеме и сапогах, другой — в берете, с очками на затылке, в сомюрской куртке и в обмотках, дружески хлопнули меня по плечу и уверили:

— Мы им покажем!

Они явно переживали лучшие минуты в своей жизни. «Старики» были одновременно трогательными и смешными и, выходя из кабин в обмотках, с шелковым чулком на голове, с одутловатыми, решительными лицами, воскрешали в памяти славное прошлое; и в эти минуты мне очень не хватало отца. Такое же чувство испытывала и вся Франция, и единодушная поддержка, которую она оказывала старому маршалу [1], не имела другой причины. Поэтому, стараясь быть полезным, я помогал им подниматься в кабины, раскручивал винт, бегал в столовую за пивом. Они рассказывали о чуде на Марне, понимающе подмигивая мне, о Гинемере, о Жоффре, о Фоше, о Вердене, короче, они рассказывали о моей матери, и этого мне было достаточно. Один из них, в крагах, в шлеме, в очках, в кожаной портупее и при всех орденах — не знаю почему, но он напоминал мне бессмертные строки популярной школьной песенки о вше-мотоциклисте,— воскликнул, заглушая рев моторов:

— Черт побери, мы им покажем, где раки зимуют!

После чего с моей помощью забрался в «Потез», надвинул на глаза очки, вцепился в штурвал и ринулся вперед. Может быть, я не совсем прав, но мне кажется, что эти бравые, испытанные летчики брали реванш главным образом над французским командованием, которое не давало им летать, и что все их «Мы им покажем!» были одинаково адресованы как немцам, так и этому последнему.

После полудня, когда я снова зашел в канцелярию, чтобы узнать новости, один товарищ сообщил мне, что на проходной меня дожидается какая-то дама. Из суеверия я боялся отлучиться надолго, будучи убежден, что стоит только мне уйти с поля, как эскадрилья взлетит и возьмет курс на Англию. Но дама есть дама, моя фантазия мигом разыгралась, и я помчался на проходную. Однако был весьма разочарован, увидев невзрачную, худощавую и узкоплечую девушку с крепкими икрами и бедрами. Ее лицо и покрасневшие глаза запечатлели глубокое горе, а также упрямую решимость, которая чувствовалась даже в том, как она сжимала ручку чемодана. Она сказала, что ее зовут Анник и что она — знакомая сержанта Клемана, то есть Красавчика, который ей часто обо мне рассказывал как о своем друге, «дипломате и писателе». Я впервые видел ее, но Красавчик мне тоже о ней рассказывал, и даже в очень лестных выражениях. У него были две-три подружки «в заведении», но больше всех ему нравилась Анник, которую он пристроил в Бордо незадолго до своего перевода в Мериньяк. Красавчик никогда не скрывал своего положения сутенера и во время наступления немцев даже подвергся из-за этого дисциплинарному взысканию — его грозились выгнать. Мы с ним прекрасно ладили, возможно, потому, что у нас не было ничего общего, и несхожесть лишь укрепляла нашу дружбу, по контрасту. Должен также признаться, что отвращение, которое внушало мне его жалкое «ремесло», пересиливалось восхищением и даже завистью, поскольку мне казалось, что всякий, кто этим занимается, должен обладать высокой степенью бесчувственности, равнодушия и черствости, то есть качествами, необходимыми в жизни, которых мне чертовски не хватало. Он частенько расхваливал здравомыслие и преданность Анник, в которую, как мне казалось, был сильно влюблен. Поэтому я с большим любопытством рассматривал девушку. Это был довольно банальный тип молодой крестьянки, привыкшей рассчитывать только на себя, но в ее

---

[1] Имеется в виду маршал Петен (1856—1951), которому в 1940 году было 84 года.

голубых глазах под узким упрямым лбом скрывалось что-то более значительное, заставлявшее забыть о том, кем она была и чем занималась. Анник сразу же мне понравилась, просто потому, что в том нервном напряжении, в котором я находился, меня ободрило бы любое женское присутствие. Да-да, перебила она, когда я стал рассказывать ей о катастрофе, она знает, что Клеман разбился сегодня утром. Он много раз говорил ей, что собирался отправиться в Англию, чтобы продолжать воевать. Она должна была приехать к нему позже, из Испании. Клемана больше нет, но она все равно хочет ехать в Англию. Она не станет работать на немцев. А поедет с теми, кто не прекращает борьбу. Она знает, что в Англии могла бы быть полезной, по крайней мере, у нее будет спокойная совесть, она постарается. Не могу ли я помочь ей? Анник умоляюще, по-собачьи, смотрела на меня, крепко сжимая ручку своего чемодана, решительная, с упрямым лбом под светлыми ореховыми волосами, до того жаждущая быть полезной, что и вправду казалось, что она способна преодолеть любые препятствия. Трудно было не заметить в ней первозданную чистоту и благородство, которые не могла запятнать преходящая грязь ее профессии. Мне кажется, что речь шла не столько о верности памяти ее друга, сколько о какой-то инстинктивной преданности чему-то, превосходящему нас и наши поступки, что невозможно ни купить, ни принизить. На фоне всеобщей трусости и отчаяния передо мной стояло трогательное воплощение решимости и желания быть полезной. Мне, который всегда отказывался искать в сексуальных поступках человека критерий добра и зла, всегда ставил человеческое достоинство выше пояса, на уровне сердца, ума и души, где обычно и происходит самая грязная проституция, казалось, что у этой юной бретонки было больше интуитивного понимая того, что есть главное, чем у всех сторонников традиционной морали, вместе взятых. Должно быть, она уловила симпатию в моих глазах и с еще большим жаром принялась убеждать меня, как будто бы меня требовалось убеждать. В Англии французским летчикам будет одиноко, им надо помочь, а она не боится работы, Клеман, видимо, рассказывал мне о ней. Она на минуту замолчала, тревожась, оказал ли Красавчик ей эту честь или же даже не вспомнил о ней.

— Да,— поспешно успокоил ее я,— он рассказывал мне о вас много хорошего.

Она покраснела от удовольствия. Итак, свою работу она знает, у нее сильные бедра, и я могу прихватить ее в Англию на своем самолете, и поскольку я был другом Клемана, то она будет работать на меня — как известно, летчику необходимо иметь на земле кого-нибудь близкого. Я поблагодарил ее и сказал, что у меня уже есть кое-кто. И объяснил, что практически невозможно найти самолет в Англию, я уже пробовал, а гражданскому человеку, женщине, не стоит и думать об этом. Но эта девушка так просто не отступала. Поскольку я нес вздор, пытаясь от нее отделаться, говоря, что и во Франции она может быть настолько же полезной, что здесь тоже будут нужны такие девушки, то она вежливо улыбнулась, показывая мне, что не сердится, и с чемоданом в руке молча двинулась в сторону летного поля. Через четверть часа я вновь увидел ее, когда она что-то убежденно доказывала экипажам «Потезов-63», после чего потерял ее из виду. Не знаю, что с ней стало. Надеюсь, что она до сих пор жива, что ей удалось добраться до Англии, принести пользу и вернуться во Францию и что у нее много детей. Нам очень нужны мальчики и девочки с такими же закаленными сердцами, как у нее.

Во второй половине дня распространился слух, что на базе Мериньяк нехватка горючего, и экипажи не покидали своих машин, чтобы не пропустить очередь заправки, или боясь, что у них «отсосут» горючее, или же опасаясь, что какой-нибудь бродяга вроде меня, мечтающий о бегстве, угонит их самолет. Они ждали приказаний, новостей, совещались, колебались, спрашивали друг друга, что предпринять, некоторые вообще молчали и ждали неизвестно чего. Большинство было уверено, что война будет продолжаться в Северной Африке. Некоторые до того были сбиты с толку, что малейший вопрос о том, что они намерены делать, выводил их из себя.

Мое предложение переправиться в Англию не нашло отклика. Англичане были непопулярны. Они втянули нас в войну. Теперь они отплывали, посадив нас в галошу. Младшие офицеры трех «Потезов-63», которых я опрометчиво пытался склонить на свою сторону, злобно окружили меня, грозя посадить под арест за попытку дезертирства. К счастью, старший по чину — майор — обошелся со мной более человечно и снисходительно. В то время как двое других крепко держали меня, он отвешивал мне тумаки, пока мой нос, губы и все лицо не залило кровью. После чего, вылив на голову бутылку пива, меня отпустили. Все это время у меня за поясом торчал револьвер, и соблазн воспользоваться им был велик — пожалуй, никогда в жизни я не испытывал такого соблазна. Но было бы нелепо начинать войну с убийства французов, поэтому я удалился, стирая с лица кровь и пиво, в том состоянии неудовлетворенности, какое только может испытывать мужчина, не давший волю своим чувствам. Впрочем, мне всегда было трудно убивать французов, и, насколько я помню, я не убил ни одного; боюсь, что в случае гражданской войны моей стране не придется на меня рассчитывать; я всегда наотрез отказывался руководить военными трибуналами, что, по-видимому, связано с каким-то комплексом натурализованного гражданина.

После воздушной аварии в бытность мою переводчиком я тяжело переносил удары по носу и в течение нескольких дней жестоко страдал. Однако с моей стороны было бы неблагодарно не признать, что эти чисто физические муки существенно помогли мне смягчить и заглушить совсем другую боль, подлинную и более тяжкую, позволив не так болезненно пережить падение Франции и предчувствие того, что я долгие годы не увижу свою мать. Моя голова раскалывалась, я беспрерывно утирал кровоточившие нос и губы, и меня все время тошнило. Короче, я был в таком состоянии, что Гитлеру в этот момент ничего не стоило выиграть войну, если бы все зависело только от меня. Тем не менее я продолжал таскаться от самолета к самолету в поисках экипажа.

Один летчик, которого я пытался убедить, произвел на меня неизгладимое впечатление. Он был хозяином недавно прибывшего «Амьё-372». Я говорю «хозяином», поскольку он сидел на траве неподалеку от своего самолета с видом подозрительного фермера, пасущего свою корову. Перед ним на газете лежало солидное количество бутербродов, которые он отправлял в рот один за другим. Внешне, округлостью черт лица и массивностью телосложения, он несколько смахивал на Сент-Экзюпери, но на этом все сходство заканчивалось. У него был недоверчивый и настороженный вид, кобура револьвера расстегнута; вероятно, ему казалось, что аэродром Мериньяка полон барышников, готовых украсть его корову, и тут он не ошибался. Я напрямик сказал ему, что подыскиваю экипаж с самолетом, чтобы отправиться воевать в Англию, величие и мужество которой расписал ему в эпических красках.

Не мешая мне говорить, он продолжал есть, с явным интересом рассматривая мое распухшее лицо и окровавленный платок, который я прикладывал к носу. Я произнес весьма приличную случаю речь — патриотическую, взволнованную, пламенную, хотя меня одолевали жестокие приступы тошноты — я едва держался на ногах, и голова раскалывалась на тысячу кусков,— однако я преодолел себя, и, судя по довольной мине моего слушателя, контраст между моим жалким видом и вдохновенными словами, должно быть, был очень забавным. Во всяком случае, толстяк любезно дал мне высказаться. Во-первых, я ему льстил — это был тип, которому приятно было сознавать свою значительность,— и, кроме того, мой патриотический порыв, рука, прижатая к сердцу, наверняка ему нравились и способствовали пищеварению. Время от времени я замолкал, ожидая его реакции, но, поскольку он ничего не говорил и просто брал следующий бутерброд, то я продолжал свою лирическую импровизацию, настоящую поэму, от которой не отказался бы сам Дерулед. Раз даже, когда я дошел до некоего эквивалента «умереть за Родину — прекраснейшая, завидная судьба», он едва заметно одобрительно кивнул и, перестав жевать, принялся

выковыривать пальцем застрявший в зубах кусочек ветчины. Когда, собираясь с мыслями, я на минуту замолк, то, как мне показалось, он с упреком посмотрел на меня, ожидая продолжения; этот человек явно решил дать мне выговориться. Когда я наконец окончил свою песнь — не нахожу другого слова — и замолчал, он понял, что из меня ничего больше не вытянешь, и, взяв очередной бутерброд, отвернулся и, подняв голову к небу, принялся искать там другой любопытный предмет. Он не произнес ни звука. Я так никогда и не узнаю, был ли он чересчур осторожным нормандцем или грубой, бесчувственной скотиной, полным идиотом или решительным человеком, хорошо знавшим, как ему поступить, но не открывавшим никому своего решения; то ли, ошеломленный событиями, он оказался не способным ни на какую другую реакцию, кроме как обжираться, то ли просто был толстым крестьянином, у которого на свете осталась только одна корова и от которой он решил не отходить ни на шаг. В его маленьких глазках не мелькнуло ни малейшего выражения, пока я, прижав руку к груди, воспевал красоту родины-матери, наше непоколебимое стремление продолжать борьбу, нашу честь, смелость и славное будущее. В нем, бесспорно, было величие, но бычье. Всякий раз, когда я читаю, что на сельскохозяйственной выставке какой-то бык получил первую премию, я думаю о нем. Я оставил его, когда он принялся за свой последний бутерброд.

Я же ничего не ел со вчерашнего дня. После поражения меню в офицерской столовой стало более изысканным. Нас кормили настоящей французской кухней, в духе лучших традиций, стремясь поднять наш дух и успокоить сомнения, возвращая к вечным ценностям. Я не решался оставить аэродром, боясь упустить оказию. Но еще мучительнее я страдал от жажды и с благодарностью принял стакан красного вина, который предложил мне экипаж «Потеза-63», расположившийся в тени от крыла прямо на асфальте. Вероятно, под воздействием опьянения я разразился пламенной тирадой. Я говорил об Англии, авиаматке победы, вспоминал Гинемера, Жанну д'Арк, Баярда [1], жестикулировал, прижимал руку к сердцу, потрясал кулаком, принимал вдохновенный вид. Я абсолютно уверен, что во мне зазвучал голос моей матери, так как по мере того как я говорил, я сам изумлялся тому невиданному количеству клише, которые выскакивали из меня и которые я произносил без малейшего стеснения. И сколько бы я ни возмущался такому своему бесстыдству (под влиянием странного феномена, не поддававшегося никакому контролю с моей стороны и, вероятно, вызванному усталостью и опьянением, но главным образом тем, что характер и воля моей матери всегда были сильнее меня), я продолжал добавлять еще и еще, с чувством и жестикуляцией. Мне даже кажется, что мой голос переменился и в нем ясно звучал сильный русский акцент в тот момент, когда моя мать упомянула «бессмертную Родину», призывая сильно заинтригованных унтер-офицеров отдать свою жизнь «за Францию, вечно возрождающуюся Францию». Время от времени, когда я ослабевал, они подталкивали ко мне литровую бутылку вина, и я вновь пускался во все тяжкие, да так, что моя мать, пользуясь состоянием, в котором я находился, действительно смогла показать себя с лучшей стороны в самых вдохновенных сценах своего патриотического репертуара. В конце концов трое унтеров сжалились надо мной и накормили крутыми яйцами и бутербродами с колбасой, что несколько отрезвило меня, вернув мне силы и заставив замолчать и поставить на место эту экзальтированную русскую, позволявшую себе давать нам уроки патриотизма. Кроме того, они угостили меня черносливом, но отказались лететь в Англию — по их мнению, война продолжится в Северной Африке под командованием генерала Ногеса, и они собираются отправиться в Марокко, как только им удастся заправить самолет; они добьются этого любой ценой, даже если придется совершить вооруженное нападение на автоцистерну.

Автоцистерна уже стала причиной многих стычек, и теперь она

---

[1] Баярд (1476—1524) — французский рыцарь, прозванный «рыцарем без страха и упрека».

перемещалась только под охраной вооруженных сенегальцев, стоящих вокруг с примкнутыми штыками.

Мне было трудно дышать, так как мой нос был забит сгустками крови. У меня было только одно желание: лечь на траву и лежать на спине не шелохнувшись. Однако энергия моей матери, ее необычайная сила воли толкали меня вперед, и, в самом деле, это не я бродил от самолета к самолету, а упрямая пожилая женщина в сером, с тростью в руке и с «голуаз» во рту, решившая переправиться в Англию, чтобы продолжить борьбу.

Глава XXXII

Кончилось все же тем, что я поддался общему мнению, согласно которому война продолжится в Северной Африке, и поскольку эскадра наконец-то получила приказ перебазироваться в Мекнес [1], то я вылетел из Мериньяка в пять часов вечера и, когда стемнело, прибыл в Саланку, расположенную на берегу Средиземного моря, в тот самый момент, когда вышло распоряжение, запрещавшее вылет всех самолетов, находившихся на аэродроме. Уже в течение нескольких часов новые власти контролировали воздушное пространство над Африкой, объявив недействительным предыдущий распорядок. Хорошо зная свою мать, я понимал, что она, не колеблясь, заставила бы меня пересечь Средиземное море вплавь, поэтому я быстро договорился с одним младшим офицером эскадры, и, как только рассвело, мы взяли курс на Алжир, не дожидаясь новых приказов и контруказов наших дорогих шефов.

У нашего «Потеза» были моторы, которые не гарантировали нам благополучный полет до Алжира без дополнительной заправки. Был риск, что моторы остановятся, не дотянув каких-нибудь сорока минут до африканского побережья.

И все же мы вылетели. Я знал, что со мной ничего не случится, поскольку меня хранила огромная любовь, а также потому, что с моей верой в чудо, с интуитивной наклонностью воспринимать жизнь как процесс художественного творчества, тайным, но незыблемым смыслом которого в конце концов всегда является красота, будущее представлялось мне в строгом соответствии тонов и пропорций, света и тени, будто судьба всего человечества зависела от властного вдохновенного порыва великого творца, заботившегося прежде всего о равновесии и гармонии. Такое восприятие действительности, превращавшее справедливость в некий эстетический императив, в моем собственном сознании делало меня неуязвимым, пока жива моя мать — ведь я был ее хэппи-энд,— и прочило мне триумфальное возвращение домой. Что касается младшего лейтенанта Деляво, то хотя он и был далек от подозрения, что жизнь есть тайный, но счастливый процесс художественного творчества, он тоже ни минуты не колебался, пускаясь в неизвестность над волнами на маломощных моторах. Флегматически заметив: «Там будет видно», без всякой ссылки на литературу, он предусмотрительно прихватил с собой две камеры, которые в случае необходимости можно было использовать как спасательные круги.

К счастью, в это утро дул ветер, ниспосланный провидением, и моя мать, наверное, тоже для большей уверенности чуточку дула в нашу сторону; мы сели на аэродроме Мезон-Бланш, в Алжире, с приятным чувством, что у нас оставалось топлива еще на десять минут полета.

Потом мы направились в Мекнес, куда временно эвакуировалась Летная школа, и прибыли как раз вовремя, чтобы узнать, что власти Северной Африки не только согласились на перемирие, но к тому же немедленно отдали приказ ставить на прикол все самолеты-«дезертиры», которые будут садиться в Гибралтаре.

Моя мать была вне себя. Она ни на минуту не оставляла меня в покое: возмущалась, неистовствовала, протестовала. Мне никак не удавалось ус-

---

[1] Мекнес — город в Марокко.

покоить ее. Она кипела в каждом шарике моей крови, возмущалась и восставала с каждым ударом моего сердца, мешала мне спать по ночам, не давая покоя и требуя, чтобы я что-нибудь сделал. Я избегал смотреть на нее, чтобы не видеть выражения негодующего изумления перед новым для нее феноменом — принятием поражения, как будто человека можно победить. Напрасно я умолял ее взять себя в руки, набраться терпения, дать мне отдышаться, поверить в меня — я прекрасно видел, что она даже не слушает. Конечно же, не по вине расстояния, разделявшего нас, поскольку в эти страшные часы она ни на минуту не покидала меня. Но она была возмущена и глубоко уязвлена тем, что Северная Африка отказалась последовать ее призыву.

18 июня 1940 года с призывом продолжить борьбу обратился к народу генерал де Голль. Не желая усложнять труд историков, мне все же хочется уточнить, что тот же самый призыв, сделанный моей матерью, приходится на 15—16 июня — по крайней мере, на два дня раньше. Этому есть много свидетельств, которые и сегодня можно услышать на рынке Буффа.

Человек двадцать рассказывали мне об ошеломляющей сцене, свидетелем которой я, слава Богу, не был, но при мысли о которой сгораю от стыда. Моя мать, стоя на стуле рядом с овощным прилавком месье Панталеони, потрясала тростью и призывала добрых людей не принимать перемирия и отправляться продолжать борьбу в Англию вместе с ее сыном, известным писателем, который уже наносит врагу смертоносные удары. Бедная женщина! Слезы подступают к горлу, когда я мысленно вижу, как несчастная, кончив свою тираду, раскрывает сумочку и пускает по кругу страничку еженедельника, в котором был напечатан мой рассказ. Должно быть, над ней смеялись. Я не сержусь на них. Я сержусь только на самого себя и на то, что мне недостало таланта, героизма, что я смог стать лишь тем, кто я есть. Я вовсе не это хотел ей подарить.

Выход из строя самолетов на аэродромах Северной Африки вверг нас в отчаяние. Моя мать неистовствовала, протестовала, сердилась на меня и мою мягкотелость, возмущалась, что я продолжаю лежать как подкошенный на своей походной койке, вместо того чтобы энергично действовать. Например, постараться разыскать генерала Ногеса, чтобы в нескольких глубоко прочувствованных фразах дать ему понять все, что я о нем думаю. Я пытался объяснить ей, что генерал даже не подумает меня принять, и тут же видел, как она, вооружившись тростью, поднимается по ступенькам его резиденции, и прекрасно понимал, что она-то уж нашла бы способ, чтобы ее выслушали. Я чувствовал себя недостойным ее.

Никогда еще ее присутствие не казалось мне более реальным, более осязаемым, чем в эти томительные часы, которые я убивал, бесцельно бродя по мусульманским кварталам Мекнеса среди арабской толпы, совершенно ошеломившей меня своей пестротой, криками и запахами. Я старался в потоке неожиданной экзотики, обрушивавшемся на меня, хоть на мгновение потопить голос своей крови, неутомимо с невыносимой выспренностью звавшей меня в бой в самых избитых выражениях патриотического репертуара. Пользуясь моим крайним нервным переутомлением и подавленностью, мама не отходила от меня ни на шаг. Моя полная растерянность, моя потребность в привязанности и защите, вызванная долгой материнской опекой, оставили во мне смутную ностальгию по ниспосланной мне провидением женской нежности, образ женщины-хранительницы ни на минуту не покидал меня. Мне кажется, что именно во время этих странствий, только усиливавших мое одиночество в чужой и пестрой толпе, сильные черты характера моей матери окончательно взяли верх над моей слабостью и нерешительностью. Она вдохнула в меня свое дыхание, и я буквально перевоплотился в свою мать со всей ее вспыльчивостью, перепадами настроения, отсутствием чувства меры, агрессивностью, с ее манерами, с любовью к драме, со всеми крайностями ее характера, которые впоследствии снискали мне славу сорвиголовы среди товарищей и начальства.

Признаться, я пытался отделаться от ее властного присутствия, пытался бежать от нее в толчею и пестроту Медины, шатался по рынкам,

забывался, рассматривая изделия из кожи и металла, обработанные по новой для меня технологии, склонялся над тысячью предметов под пристальным и отсутствующим взглядом продавцов, сидевших перед своим товаром скрестив ноги и прислонясь к стене, с чубуком во рту, источавшим запах ладана и мяты; бродил по небезызвестному кварталу, не подозревая, что там меня ждало самое грязное приключение в жизни; засиживался на террасах арабских кафе, покуривая сигару и попивая зеленый чай, пытаясь по старой своей привычке комфортом заглушить душевную неурядицу; однако мать всюду следовала за мной по пятам, и ее голос раздавался во мне с хлесткой иронией: Ну что, немного туризма идет на пользу? Ты, видимо, хочешь отвлечь меня от моих мыслей? В то время как Франция твоих предков лежит, растерзанная, меж неумолимым врагом и склонившим голову правительством? Ну что ж! Раз у меня такой сын, то мы с таким же успехом могли остаться в Вильно, незачем было ехать во Францию, в тебе действительно нет главного, что делает человека французом.

Я поднимался и быстрыми шагами направлялся в переулок, кишевший женщинами в паранджах, нищими, торговцами, ослами, военными, и, честное слово, в постоянной смене впечатлений, форм и красок мне пару раз удалось от нее отделаться.

Тогда-то, вероятно, я и пережил самую короткую историю любви в своей жизни.

В одном из баров в европейской части города, где я решил выпить стаканчик, белокурая барменша, которой через две минуты я, разумеется, признался в любви, была, судя по всему, тронута моей пламенной серенадой. Ее взгляд блуждал по моему лицу, нежно и участливо задерживаясь на каждой его черточке.

Пока она переводила глаза от моего уха к губам, а потом мечтательно подняла их к корням волос, моя грудь вдвое раздалась вширь, сердце исполнилось мужественности, мускулы налились так, что десять лет тренировок не дали бы такого эффекта, а земля под ногами стала пьедесталом. Когда я признался ей, что намереваюсь отправиться в Англию, она сняла со своей шеи цепочку с маленьким золотым крестиком и протянула ее мне. Мне вдруг сильно и неодолимо захотелось махнуть рукой на свою мать, Францию, Англию и на весь духовный багаж, которым я был тяжело нагружен, и остаться рядом с этой девушкой, которая так хорошо меня понимала. Барменша была полькой, бежавшей из России через Памир и Ирак. Я надел на шею цепочку и сделал предложение своей любимой. К этому моменту мы были знакомы уже целых десять минут. Она ответила согласием. И рассказала мне, что ее муж и брат были убиты во время польской кампании. С тех пор у нее никого не было, за исключением неизбежных встреч, чтобы поправить финансовое положение и получить документы. В ее лице было что-то болезненное и волнующее, что вызывало желание помогать и покровительствовать ей, в то время как я сам искал первую встречную, чтобы ухватиться за нее, как за спасательный буй. Я всегда нуждался в женской поддержке, в женственности, одновременно уязвимой и преданной, немного покорной и благодарной, которая внушает иллюзию, что я дарю,— в то время как я беру, что поддерживаю,— когда сам ищу опоры. Интересно, откуда возникает эта странная потребность? Как в панцире, в своей кожаной куртке, несмотря на убийственную жару, в фуражке, надвинутой на глаза, самоуверенный и по-мужски покровительственный, я цеплялся за ее руку. Мир, рушившийся вокруг нас, с головокружительной скоростью толкал нас друг к другу, с той самой скоростью, с которой он рушился.

Было два часа пополудни, час сиесты, священный в Африке, и бар был пуст. Мы поднялись в ее комнату и полчаса не могли отлепиться друг от друга; никогда еще двое, прежде чем утопиться, не прилагали столько усилий, чтобы поддержать друг друга. Мы решили немедленно пожениться и затем вместе ехать в Англию. В половине четвертого у меня была встреча с товарищем, который должен был увидеться с английским консулом

в Касабланке и попросить его помочь нам. В три часа я покинул бар, чтобы успеть предупредить его, что нас будет трое, а не двое, как планировалось сначала. Когда, в половине пятого, я вернулся в бар, то там уже было много народа и моя невеста была очень занята. Не знаю, что произошло за время моего отсутствия — по-видимому, она встретила кого-то другого,— но я прекрасно видел, что между нами все кончено. Вероятно, она не перенесла разлуки со мной. Она беседовала с красавцем лейтенантом-спаги́ [1]: по-видимому, он вошел в ее жизнь, пока она ждала меня. Конечно, я сам был виноват — никогда нельзя покидать любимую женщину. Как только одиночество, сомнение, отчаяние одолевают ее — все кончено. Должно быть, она разуверилась во мне, испугавшись, что я не вернусь, и решила переиграть свою судьбу. Мне было очень горько, но я не сердился на нее. Я тянул время за кружкой пива, испытывая страшное разочарование, так как незадолго до этого мне казалось, что я решил все проблемы. Полька была действительно хороша, с какой-то беззащитностью и брошенностью во взгляде, которые так трогают меня, и у нее был изумительный жест, когда она откидывала с лица прядь белокурых волос, который волнует меня до сих пор при воспоминании о ней. Я очень легко привязываюсь. С минуту я наблюдал за ними, желая убедиться, осталась ли у меня надежда. Надежды не было. Я сказал ей несколько слов по-польски, стараясь затронуть патриотическую струну, но она перебила меня, заявив, что выходит замуж за лейтенанта, который является колонистом, и что она будет жить в Северной Африке, что она устала от войны, которая, впрочем, закончилась, и что маршал Петен спасет Францию и все устроит. После чего добавила, что англичане предали нас. Я с грустью посмотрел на лейтенанта-спаги, затмившего меня своим красным плащом, и смирился. Бедняжка пыталась ухватиться за кого угодно, кто внушал иллюзию надежности на фоне общей катастрофы, и я не мог на нее сердиться. Я расплатился за пиво, оставив на блюдечке чаевые и цепочку с золотым крестиком. В конце концов я джентльмен.

Родители моего товарища жили в Фесе, и мы поехали к ним на автобусе. Дверь нам открыла его сестра, и я увидел в ней свое спасение. Она тут же заставила меня забыть о той, которую я только что потерял в Мекнесе. Симона была из тех француженок, родившихся в Северной Африке, чья матовая кожа, тонкие запястья и томные глаза прославились на весь мир. Она была весела, образованна, убеждала нас с братом продолжать борьбу и порой так серьезно смотрела на меня, что я начинал волноваться. Под этим взглядом я вновь почувствовал в себе силы, твердость, уверенность и тут же решил просить ее руки. Я получил согласие, мы поцеловались в присутствии взволнованных родителей, и было решено, что при первой же возможности она приедет ко мне в Англию. Через шесть недель, в Лондоне, ее брат передал мне письмо, в котором Симона сообщала, что вышла замуж за молодого архитектора из Касабланки. Это явилось для меня страшным ударом, так как я не только был уверен, что нашел в ней женщину своей жизни, но и к тому времени совершенно забыл о ней, так что письмо оказалось для меня двойным и тяжким откровением о себе самом.

Попытки убедить английского консула выдать нам фальшивые документы не дали никакого результата, и я решил угнать с аэродрома Мекнеса «Моран-315» и сесть на нем в Гибралтаре. Но надо было еще найти такой, который бы не был выведен из строя, или же договориться с механиком, согласным мне помочь. Итак, я стал бродить по аэродрому, пристально вглядываясь в каждого механика и стараясь проникнуть в его душу. Я было уже набрел на одного парня, чье симпатичное курносое лицо внушало мне доверие, как вдруг увидел приземляющийся «Симун», который остановился в двадцати шагах от меня. Пилот-лейтенант вышел из самолета и направился к ангару. Само небо заговорщически подмигнуло

---

[1] Африканец, служащий во французской кавалерии.

мне, нельзя было упускать такую возможность. Я похолодел от страха, сдавившего мне грудь: я вовсе не был уверен, что смогу взлететь на «Симуне» и справлюсь с управлением. За время незаконных учебных полетов я освоил только «Мораны» и «Потезы-540». Но не мог уклониться: это был долг. Я чувствовал на себе взгляд своей матери, полный восхищения и гордости. Мне вдруг подумалось: а что, если в связи с поражением и оккупацией во Франции пропадет инсулин? Без этих уколов ей не продержаться и трех дней. Быть может, в Лондоне мне удастся договориться с Красным Крестом, чтобы переправлять ей его через Швейцарию.

Я подошел к «Симуну», поднялся в кабину и сел за штурвал. Я был уверен, что меня никто не видит.

Но ошибался. В каждом ангаре прятались жандармы полиции ВВС, облеченные полномочиями пресекать воздушное «дезертирство», которое осуществлялось благодаря сговору с механиками. Еще сегодня один «Моран-230» и «Голэнд» взяли курс на Гибралтар. Едва я устроился в кресле, как заметил двух жандармов, выскочивших из ангара и бросившихся в мою сторону; один из них на бегу расстегивал кобуру. Они были уже в тридцати метрах от самолета, а винт все еще не вращался. Я сделал последнюю отчаянную попытку и выскочил из кабины. С десяток солдат высыпали из ангара и с интересом смотрели на меня. Они не сделали ни малейшей попытки схватить меня, пока я, как заяц, бежал оглядываясь, но у них было достаточно времени, чтобы запомнить мое лицо. К вящей своей глупости, под воздействием состояния «победить или погибнуть», в котором я находился последнее время, прыгая из «Симуна», я выхватил револьвер и, убегая со всех ног, продолжал сжимать его в руке, что явно не облегчило бы моей участи, предстань я перед военным трибуналом. Но я решил, что трибунала не будет. Абсолютно убежден, что в том состоянии, в котором я в ту минуту находился, меня бы живым не взяли. Я был очень хорошим стрелком, и мне до сих пор страшно подумать, что бы произошло, если бы мне не удалось скрыться. Однако все обошлось. Я спрятал свой револьвер и, не обращая внимания на свистки за спиной, замедлил шаг и, миновав часового, спокойно вышел из лагеря на широкое шоссе. Я не прошел и пятидесяти метров, как показался автобус. Я махнул ему, решительно встав поперек дороги, и он остановился. Войдя, я уселся рядом с двумя женщинами в паранджах и с чистильщиком сапог в белом бурнусе и облегченно вздохнул. Ситуация была критической, но я не чувствовал беспокойства. Напротив, меня охватила настоящая эйфория. Наконец-то я послал к черту перемирие, взбунтовался, поступил как мужчина, стал самим собой, война снова продолжается, и отступать больше нельзя. Я почувствовал на себе восхищенный взгляд своей матери и, не удержавшись, снисходительно улыбнулся ей и рассмеялся. Да простит мне Бог, но мне кажется, что я даже сказал ей что-то претенциозное, что-то вроде «подожди, это только начало, ты еще увидишь...». Сидя в грязном автобусе с moukères [1] в паранджах и белым бурнусом, я скрестил на груди руки и наконец-то почувствовал себя на высоте, которой от меня ожидали. Я закурил «вольтижёр», доводя свое неповиновение до предела — курить в автобусе запрещалось,— и на минуту мы с матерью остались вдвоем, куря и молча поздравляя друг друга. У меня не было ни малейшего понятия о том, как быть дальше, помню, какую дурацкую мину узрел я, мельком увидев себя в зеркале. Я до того испугался, что выронил изо рта сигару.

Одно только было досадно: моя кожаная куртка осталась в лагере, а без нее мне было очень одиноко. Я тяжело переношу одиночество и тесно сжился со своей кожаной курткой. Как я уже говорил, я легко привязываюсь. Это единственное, что омрачало картину. Сигара служила утешением, но сигары недолговечны, а в сухом африканском воздухе она курилась быстро и с минуты на минуту грозила оставить меня в одиночестве.

Итак, я строил планы, куря «вольтижёр». Разыскивая меня, военный патруль наверняка станет прочесывать весь город, поэтому мне любой

---

[1] Женщинами *(искаж. исп.)*.

ценой надо избегать мест, где военная форма слишком бы выделялась на фоне местного колорита. Разумнее всего было бы спрятаться на несколько дней, а затем добраться до Касабланки и попытаться сесть на отходящий корабль. Ползли слухи, что поляков по межправительственному договору эвакуируют в Англию и что английские суда приходят за ними в порты. Прежде всего надо, чтобы обо мне немного забыли. Первые двое суток я решил провести в *бусбире*, в небезызвестном квартале, где среди нескончаемого потока военных всех стран, направлявшихся сюда отвести душу, у меня было больше шансов остаться незамеченным. Маму немного встревожил такой выбор укрытия, но я немедленно успокоил ее. Итак, сойдя в арабской части города, я направился к знаменитому кварталу.

Глава XXXIII

Бусбир Мекнеса представлял собой целый город, обнесенный крепостной стеной, и насчитывал в ту пору тысячи проституток, рассредоточенных по нескольким сотням «домов». У входа стояли вооруженные часовые, а полицейский патруль прочесывал переулочки «городка» и был слишком занят разниманием стычек солдат разных родов войск, чтобы обращать внимание на одиночек вроде меня.

На следующий день после перемирия *бусбир* буквально кипел. Физические потребности солдат, значительные и в мирное время, только возрастают во время войны, а поражение вызывает у них крайнюю степень отчаяния. Переулки кишели военными — два дня в неделю отводилось гражданскому населению,— но мне повезло, я попал сюда в счастливый день — здесь мелькали белые кепи Иностранного легиона, тюрбаны цвета хаки конников арабской кавалерии, красные плащи спаги, помпоны матросов, пунцовые головные уборы сенегальцев, накидки мехаристов [1], фуражки с гербами авиаторов, бежевые тюрбаны аннамитов [2]. Здесь были люди со всего света — желтолицые, чернолицые, европейцы — и стоял оглушительный гам от граммофонов, звуки которых доносились из каждого окна,— мне особенно запомнился голос Рины Кетти, обещавший «ждать, *в-е-ч-н-о* ждать, и ночью, и днем, своего любимого», в то время как армия, лишенная возможности сражаться и побеждать, выплескивала накопившееся мужество на тела берберок, негритянок, евреек, армянок, гречанок, полек — белых, черных и желтых девочек. Предусмотрительные «хозяйки» стелили матрасы прямо на полу, чтобы избежать расходов на сломанные в постельных битвах кровати. От профилактических центров, отмеченных красным крестом, тянуло перманганатом, дегтярным мылом и на редкость тошнотворной мазью с большой примесью каломели, в то время как санитары-сенегальцы в белых халатах вводили пациентам лошадиные дозы инъекций, борясь с угрозой спирохеты и гонококка, которые без этой санитарной «линии Мажино» окончательно бы изнурили дважды поверженную армию. Среди военных, особенно между солдатами Иностранного легиона, спаги и конниками арабской кавалерии, постоянно вспыхивали стычки за место, но преимущества в общем-то не было ни у кого, и кто угодно сменял кого угодно за цену от ста су плюс десять су за полотенце до десяти и двадцати франков в люксовых заведениях, где девочки были одеты, а не ожидали голыми на лестнице. Порой какая-нибудь девочка, доведенная до истерики переутомлением и гашишем, с воем бросалась на улицу и устраивала спектакль, который немедленно пресекался патрулями военной полиции в целях благопристойности. Вот в таком живописном и отвечающем моим целям месте, в заведении мамаши Зубиды, я надеялся скрыться от военной полиции, рассудив, что этот приют греха будет намного безопаснее любого другого укрытия, ибо современная церковь утратила свое исконное назначение. Целый день и две ночи я грыз удила, оказавшись в этой тяжелейшей ситуации.

---

[1] Мехаристы — всадники на верховых верблюдах — род колониальных войск в Северной Африке.

[2] Аннамиты — вьетнамцы (от старинного названия Вьетнама — Аннам).

В самом деле, я попал в самое ужасное положение, какое только может вообразить себе человек, движимый возвышенными чувствами и полный героических намерений и ощущающий на себе удрученный взгляд своей матери, чьи чувства и намерения еще более возвышенны.

Обычно бусбир закрывал свои двери в два часа ночи, решетки домов запирались на замок, а девочек отправляли отдыхать, за исключением тех, у кого были тайные «свидания», которые не разрешались, но к которым военные власти относились терпимо: полиция, договорившись с «хозяйками», за справедливое вознаграждение закрывала на это глаза при наличии увольнительных. Это объяснила мне мамаша Зубида в половине первого ночи, за час до закрытия заведения. Нетрудно себе представить вставшую передо мною дилемму. До сих пор я упорно воздерживался от «удовольствий». Мне важно было добраться до Англии здоровым, и я не склонен был рисковать здоровьем в такой клоаке. За семь лет солдатской службы я многое повидал, многое совершил. Мы были авантюристами и торопились жить — поскольку в любой момент могли лишиться жизни, и в девяти случаях из десяти так и случалось,— но искали общества благородных девиц не только ради того, чтобы забыть о том, что нас ждало впереди. И уж не говоря о других соображениях, среди которых не последнюю роль играла малая, на мой взгляд, привлекательность предприимчивых «пансионерок», элементарнейшая осторожность не позволяла мне броситься в эти бурные воды. Я, честно сказать, не хотел предстать перед главнокомандующим борющейся Франции в таком виде, который заставил бы его нахмурить брови. Однако, откажись я от «потребления», мне оставался бы один выход: покинуть заведение и попасть в руки военного патруля, который прочесывал пустынные в это время суток улочки. Для меня это означало арест и военный трибунал. Поэтому я не мог ограничиться только «свиданием» и вынужден был остаться еще и на «ночлег», что в глазах полиции дало бы мне законное основание на пребывание у мадам Зубиды. Мало того, если уж я желал отсидеться в заведении, пока не стихнут слухи, вызванные моим стремительным бегством с револьвером в руке, то должен был еще и проявить образцовую горячность, чтобы не вызвать подозрений и оправдать свое непрерывное пребывание здесь в течение полутора суток. Однако трудно себе представить человека, менее расположенного к подобным подвигам, чем я в ту минуту. Мне было совершенно не до этого. Страх, нервозность, отчаяние, пылкое нетерпение оказаться на высоте трагедии, которую переживала Франция, тысячи мучительных вопросов, которые я себе задавал,— все это мешало мне войти в роль жуира. Во всяком случае, у меня не лежала к этому душа. Представляете, с каким ужасом мы с матерью смотрели друг на друга. Я покорно махнул рукой, показывая ей, что у меня нет выбора, и в который раз — будь что будет — решил показать себя с лучшей стороны. И, подталкивая себя обеими руками, нырнул в клокочущие волны. Глядя на меня, боги моего детства, должно быть, помирали со смеху. Я видел, как эти знатоки, выпятив животы, хватались за бока и, закатывая глаза в припадке веселья, с кнутами укротителей в руках, в кольчугах и в остроконечных шлемах, поблескивавших в косых лучах низкого неба, насмешливо показывали пальцем на ученика-идеалиста, отправившегося завоевывать недоступные вершины и вступавшего теперь во владение миром, сжимая в руках добычу, не имевшую ни малейшего, даже отдаленного отношения к тем благородным трофеям, к которым он когда-то стремился. Никогда еще желание сдержать свое обещание и вернуться домой увенчанным лаврами, чтобы подвести счастливый итог всей жизни своей матери, не выглядело большей насмешкой, чем в томительные часы, проведенные в этой скверне.

Прошло двадцать лет, я уже немолод, и мои прежние серьезность и убежденность вызывают у меня иронию. Юноша, каким я был тогда, и я сегодняшний уже все сказали друг другу, и тем не менее мне кажется, что мы едва друг друга знаем. Неужели я действительно был этим мальчиком, трогательным и пылким, наивно верившим сказкам кормилицы и стремившимся чудесным образом изменить свою судьбу? Моя мать рассказывала

мне слишком много красивых историй в зыбкие предрассветные часы, когда душа ребенка навсегда впитывает преподанные ему уроки, мы дали тогда друг другу слишком много обещаний, и я чувствовал, что обязан их исполнить. С таким стремлением к возвышенному все обречено было низвергнуться в пропасть. Теперь, после своего падения, я знаю, что благодаря таланту своей матери долгое время воспринимал жизнь как художественный материал и сломался, стараясь устроить жизнь любимого человека в соответствии с идеальными мерками. Стремление к совершенству, мастерству, красоте вынуждало меня бросаться с ноющими от нетерпения руками к бесформенной массе, которую ни одна человеческая воля не в состоянии укротить и которая, напротив, обладает коварной силой незаметно лепить вас по своему усмотрению. При каждой вашей попытке найти ей желаемое воплощение она еще сильнее навязывает вам трагическую, гротескную, ничтожную и нелепую форму, до тех пор, пока вы, например, не окажетесь распластанным на пустынном берегу Океана, тишину которого лишь изредка нарушает лай тюленей и крик чаек, среди тысячи неподвижных морских птиц, отражающихся в зеркале залитого водой песка. Вместо того чтобы в силу своих возможностей жонглировать пятью, шестью, семью шарами, как все выдающиеся артисты, я лез из кожи, стараясь приспособить к жизни то, что в лучшем случае могло быть лишь темой для песни. Моя жизнь была слепой погоней за чем-то, к чему толкало меня искусство, но чего не могла дать жизнь. Я давно уже перестал быть жертвой своего энтузиазма, и если я все еще мечтаю превратить мир в счастливый сад, то теперь-то я знаю, что это не столько из любви к людям, сколько к садам. Я еще ощущаю вкус искусства прошлого и настоящего на своих губах, но скорее как ощущают улыбку: она станет моим последним художественным произведением, если у меня еще останется к тому времени какой-то талант.

Временами, закурив сигару и недоуменно уставившись в потолок, я спрашивал себя, как я очутился здесь, вместо того чтобы выписывать на своем самолете героические арабески в небе славы. В арабесках, которые мне приходилось выписывать, не было ничего героического, и слава, которую я снискал себе в заведении под конец своего марафона, была не из тех, которые обеспечивают право покоиться в Пантеоне.

Да, боги, должно быть, ликовали. Придавив меня ногой к земле, они с удовольствием взирали на человека, посягнувшего похитить у них божественный огонь, который они заставили погаснуть в жалкой куче земной грязи. Вульгарный смех порой доносился до моих ушей, и я не знал, боги ли это так беззастенчиво веселились или солдаты в общем зале. Мне это было безразлично. Я еще не был побежден.

Глава XXXIV

Неожиданно я был освобожден от своего каторжного труда благодаря встрече с товарищем, ожидавшим своей очереди на медицинский осмотр, обязательный в заведении. Он сообщил мне, что теперь я вне опасности, так как командир эскадры, полковник Амель, не только отказался сообщать о моем исчезновении, но, кроме того, упрямо и вопреки всему заявлял, что мне нельзя приписать попытку угона самолета по той причине, что я никогда не приземлялся в Северной Африке на борту какого бы то ни было самолета его эскадры. Благодаря такому заявлению, за которое я выражаю здесь признательность этому французу, я не был объявлен дезертиром, моей матери не пришлось волноваться, и полиция прекратила свои поиски. Однако новое, хоть и благоприятное стечение обстоятельств все же не позволяло мне всплывать на поверхность и загоняло в подполье. Поскольку я оказался без единого су, оставив все, что у меня было, в руках мамаши Зубиды, то я одолжил у своего товарища на билет автобусом до Касабланки, рассчитывая проскользнуть на борт отплывающего судна.

Однако я не мог смириться с тем, чтобы оставить Мекнес, тайно не наведавшись на авиабазу. Вы, вероятно, уже заметили, что я нелегко расстаюсь с тем, что мне дорого, и мысль оставить в Африке свою кожаную

куртку была мне невыносима. Никогда еще она не была мне так необходима, как в эту минуту. Она была привычной защитной оболочкой, панцирем, вселявшим в меня чувство безопасности и неуязвимости; придавала моему силуэту суровость, решительность и внушала опасение тем, кто решился бы меня тронуть,— иными словами, позволяла оставаться незаметным. Но мне уже не суждено было ее увидеть. Прибыв на место квартирования и войдя в свою бывшую комнату, я нашел только сиротливо торчавший гвоздь: куртка исчезла.

Я опустился на кровать и расплакался. Не знаю, как долго я рыдал, глядя на опустевший гвоздь. Теперь у меня отняли действительно все.

Наконец, в состоянии полного нервного и физического истощения, я заснул и проспал шестнадцать часов, проснувшись в той же позе — поперек кровати в надвинутой на глаза фуражке. Приняв ледяной душ, я вышел из лагеря, надеясь остановить автобус до Касабланки. На пути меня ждал приятный сюрприз: мне повстречался странствующий торговец, у которого среди прочих лакомств были и соленые огурцы. Вот оно, долгожданное подтверждение того, что всесильная любовь-хранительница не оставила меня. Усевшись на обочине, я позавтракал, враз уничтожив полдюжины огурцов. Мне стало лучше. Греясь на солнышке, я колебался между желанием продолжить дегустацию и сознанием того, что в такой трагический момент, в каком находится Франция, необходимо проявлять стоицизм и сдержанность. Я с трудом заставил себя распрощаться с торговцем и с его банками, мысленно подумав: будь у него дочь, я бы женился на ней. Я ясно представил себя в роли продавца соленых огурцов рядом с любящей, преданной подругой и трудолюбивым и признательным тестем. На меня нахлынуло такое чувство нерешительности и одиночества, что я чуть было не пропустил свой автобус. Но я все же остановил его под воздействием внезапного прилива сил, прихватив с собой солидный запас огурцов, завернутых в газету, и вошел в автобус, прижимая к сердцу своих верных друзей. До чего же детство сильно во взрослом человеке!

Я сошел в Касабланке на площади Франции и тут же встретил двух курсантов Летной школы, офицеров Форсана и Далиго, которые тоже искали оказии в Англию. Мы решили объединить наши усилия и целый день скитались по городу. Вход в порт охранялся жандармами, а на улицах нам не встретился ни один поляк: последний английский военный корабль, должно быть, давно ушел. К одиннадцати вечера мы в отчаянии собрались под газовым фонарем. Я слабел духом. Я мысленно говорил себе, что сделал все что мог и что перед невозможным все бессильно. В то же время я чувствовал какой-то подвох. Во мне проснулся фатализм азиатской степи и нашептывал мне ядовитые слова. Или же существует судьба, которая решает все, или же ничего не существует, и нам остается только забиться в угол и махнуть на все рукой. Если меня действительно хранит светлая и праведная сила — что ж! — ей остается только проявиться. Мама всегда рассказывала мне о моих будущих победах и лаврах, в общем, давала мне некоторые обещания, вот пусть теперь сама и выпутывается.

Не знаю, как ей это удалось, но я вдруг увидел непонятно откуда взявшегося и направлявшегося ко мне бравого польского капрала. Мы бросились ему на шею: это был первый капрал, которого я поцеловал. Он сообщил нам, что грузовое британское судно «Окрест», вывозящее контингент польских войск из Северной Африки, ровно в полночь поднимет якорь. И добавил, что сошел на берег, чтобы купить кое-какой провизии для улучшения рациона. По крайней мере, так он думал: я-то знал, какая сила заставила его покинуть корабль и привела к газовому фонарю, освещавшему нашу грустную компанию. Видно, артистическая натура моей матери, которая всегда и нередко трагически заставляла ее строить наше будущее по канонам поучительной литературы, аналогично продолжала сказываться и во мне, и, в то время еще не сдавшись, я упрямо пытался разглядеть вокруг, в самой жизни, некое творческое начало, которое бы счастливо изменило нашу судьбу.

Итак, капрал подвернулся как нельзя кстати. Форсан одолжил у него

куртку, Далиго — фуражку; что же касается меня, то, будучи по известной причине без куртки, я шел и зычно по-польски отдавал команды своим спутникам. Мы беспрепятственно прошли кордон жандармов, охранявших портовые ворота и сходни, и поднялись на борт, правда, благодаря двум дежурным офицерам, которым я объяснил наше положение в нескольких драматических и доходчивых фразах на прекрасном языке Мицкевича:

— Специальная связная миссия. Уинстон Черчилль. Капитан из Мезон-Руж, Второй отдел.

Ночь мы безмятежно провели в угольном бункере, убаюканные мечтами о неслыханной славе. К сожалению, как раз в тот момент, когда я въезжал в Берлин на белом коне, меня разбудил горн.

Настроение у нас было приподнятое и даже переходило в пафос: верные союзники-англичане ждали нас с распростертыми объятиями. Мы сообща поднимем наши шпаги и кулаки против ненавистных богов, полагающих, что человека можно победить, и, подобно классическим защитникам чести, отметим лица этих сатрапов шрамами в память о нашем благородстве.

Мы прибыли в Гибралтар как раз в момент возвращения британского флота, который только что с честью потопил нашу лучшую эскадру в Мерс-эль-Кебире [1]. Представьте себе, что означала для нас эта новость: последняя надежда нанесла нам удар ниже пояса.

В искрящемся и чистом небе, где Испания смыкается с Африкой, мне было довольно поднять голову, чтобы увидеть нависшую надо мной гигантскую массу Тотоша, бога глупости. Широко расставив ноги, он стоял на рейде в синей воде, которая едва доходила ему до колен, запрокинув голову и держась за бока, и сотрясал небо раскатами смеха — надевши по случаю фуражку английского адмирала.

Потом я вспомнил о матери. Я представил себе, как она выходит на улицу, направляясь бить стекла Британского консульства в Ницце, на бульваре Виктора Гюго. Седая, в шляпе, надетой набок, с сигаретой во рту и с тростью в руке она призывает прохожих присоединиться к ней и выразить свое возмущение.

В силу этих причин, не желая больше оставаться на борту английского судна и заметив на рейде сторожевой корабль под трехцветным флагом, я разделся и нырнул в воду.

Я был в полной растерянности и, не зная, на что решиться и как быть, инстинктивно бросился к национальному флагу. Пока я плыл, мне впервые в жизни пришла в голову мысль о самоубийстве. Но я из породы непокорных и никому не подставляю левую щеку. И посему я решил прихватить с собой в небытие английского адмирала, с успехом завершившего бойню в Мерс-эль-Кебире. Проще всего было бы потребовать у него аудиенции в Гибралтаре и разрядить свой револьвер в его медали, предварительно сделав ему комплименты. Потом я с удовольствием дал бы себя расстрелять: мне льстило, что при этом будет присутствовать целый взвод. Я бы очень смотрелся на таком фоне.

Мне предстояло проплыть два километра, и, пока я плыл, я освежился и слегка успокоился. В конце концов я буду сражаться не за Англию. Удар ниже пояса, который она нанесла нам, был непростителен, но, по крайней мере, ясно показал, что она намерена продолжать войну. Я решил, что сейчас не время менять свои планы и что я должен переправиться в Англию, не обращая внимания на англичан. Тем временем я был уже в двухстах метрах от французского судна, и, прежде чем пускаться в обратный путь, мне надо было передохнуть.

Итак, плюнув в небо — я всегда плаваю на спине,— я отделался от британского адмирала, Лорда Мерс-эль-Кебира, и продолжал плыть в сторону сторожевого катера. Подплыв к трапу, я вскарабкался на борт. На мостике сидел сержант BBC и чистил картошку. Он ничуть не удивился, когда я голый вышел из воды. После того как Франция проиграла войну, а Великобритания потопила союзный флот, вас уже ничто не могло удивить.

[1] Порт в Алжире, где англичане в 1940 году потопили стоявшую там французскую военную эскадру.

— Все в порядке? — вежливо спросил он.

Я обрисовал ему ситуацию и в свою очередь узнал, что катер направляется в Англию с дюжиной сержантов BBC на борту, чтобы присоединиться к генералу де Голлю. Мы единодушно прокляли позицию британского флота, также единодушно рассудив, что англичане будут продолжать войну, а главное, откажутся подписывать перемирие с немцами.

Сержант Канеппа — позднее полковник Канеппа, участник движения Сопротивления, кавалер уже не раз упоминавшегося мной ордена Почетного легиона, через восемнадцать лет погибший в Алжире, без передышки сражаясь на всех фронтах, где Франция проливала свою кровь,— вот этот самый сержант Канеппа предложил мне остаться на борту, желая избавить меня от плавания под британским флагом, и заявил, что он тем более рад, если я останусь, так как у них будет на одного рекрута больше для чистки картошки. Я со всей важностью отнесся к столь новому и неожиданному предложению и решил, что, несмотря на свое негодование по отношению к англичанам, я все же скорее предпочту плавание под их флагом, чем займусь хозяйственными делами, столь чуждыми моей поэтической натуре. Поэтому я дружески помахал ему рукой и опять погрузился в волны.

Плавание от Гибралтара до Глазго продолжалось семнадцать дней, и за это время я обнаружил, что на борту находились и другие французские «дезертиры». Мы познакомились. Среди них был Шату, которого потом сбили над Северным морем, Жантий, которому суждено было пасть вместе с его «Харрикейном», сражаясь против десятерых; Лустро, погибший на Крите; братья Ланже, младший из которых был моим пилотом, пока не погиб от удара молнии в самолет над Африкой, а старший по-прежнему жив; Мильски-Латур, которому пришлось поменять фамилию на Латур-Прангард и который рухнул вместе со своим «Боуфайтером», кажется, на побережье Норвегии; Рабинович из Марселя, он же Олив, убитый во время тренировочного полета; Шарнак, выбросившийся вместе с бомбами на Рур; невозмутимый Стоун, который летает и по сей день; и другие большей частью с вымышленными именами, чтобы обезопасить свои семьи, оставшиеся во Франции, или стремившиеся забыть прошлое. Но из всех бунтовщиков, находившихся на борту «Окреста», мне особенно запомнился один, чье имя всегда всплывает в памяти, когда меня одолевают сомнения и отчаяние.

Его звали Букийар, и в свои тридцать пять он казался намного старше нас. Роста скорее малого, слегка сутулый, в своем вечном берете, с карими глазами на вытянутом приветливом лице; за его мягкостью и спокойствием скрывалось пламя, которое порой превращает Францию в одно из самых ярко освещенных мест на земле.

Он был первым французским асом, сражавшимся в Англии, пока не погиб после своей шестой победы, и двадцать летчиков на командном пункте, не отрывая глаз от черной глотки громкоговорителя, слушали, как он пел куплет известной французской песенки, покуда не раздался взрыв. Вот и теперь, когда я царапаю эти строки на берегу Океана, шум которого поглотил столько криков о помощи и столько брошенных ему вызовов, эта песня сама собой подступает к моим губам. И голос друга помогает воссоздать прошлое, и я вновь вижу его рядом живым и улыбающимся. Лишь необъятности Биг-Сура дано вместить мои чувства к нему.

В Париже нет улицы, названной его именем, но для меня любая улица Франции носит его имя.

Глава XXXV

В Глазго нас встретили с музыкой; шотландский полк под звуки волынок продефилировал перед нами в пунцовой парадной форме. Моя мать очень любила военные парады, но мы еще не опомнились от ужаса Мерс-эль-Кебира, и, повернувшись спиной к музыкантам, парадно шествовавшим по аллеям парка, в котором расположился наш лагерь, все французские летчики молча разошлись по своим палаткам, в то время как

бравые шотландцы, задетые за живое и сделавшиеся еще более красными, продолжали со свойственным британцам упрямством оглушать опустевшие аллеи заунывными звуками. Из пятидесяти летчиков, очутившихся в Англии, к концу войны в живых осталось только трое. В последующие нелегкие месяцы, разбросавшие всех по английскому, французскому, русскому и африканскому небу, они сообща сбили более ста пятидесяти вражеских самолетов, пока в свою очередь не погибли. Мушотт — пять самолетов, Кастелен — десять, Маркиз — двенадцать, Леон — десять, Познанский — пять, Далиго... К чему перечислять их имена, которые никому ничего больше не говорят? Действительно, к чему? — ведь я и так никогда не забуду их. Все, что еще живо во мне, принадлежит им. Порой мне кажется, что я продолжаю жить из вежливости и что мое сердце бьется только благодаря моей любви к зверям.

Вскоре после моего приезда в Глазго мать помешала совершить мне непростительную глупость, из-за которой мне пришлось бы краснеть всю жизнь. Вы, вероятно, помните, из-за чего меня лишили звания младшего лейтенанта по окончании Летной школы Авора. Рана от такой несправедливости была мучительна и еще свежа в моем сердце. Однако теперь проще простого было самому исправить эту ошибку. Стоило пришить на рукава нашивки младшего лейтенанта, и все. В конце концов я имел на это право и был лишен этого только по вине каких-то негодяев. Почему бы мне не воздать себе справедливость?

Само собой разумеется, что мама тут же вмешалась. Дело не в том, что я с ней посоветовался, вовсе нет. Напротив, я сделал все возможное, чтобы она осталась в неведении относительно моего плана, старался не думать о ней. Напрасно: в мгновение ока она очутилась рядом и, сжимая в руке трость, произнесла очень обидный монолог. Она не так меня воспитывала, не этого ждала от меня. Она никогда, никогда не позволит мне вернуться домой, если я такое сделаю. Она умрет от стыда и горя. Напрасно, поджав хвост, я пытался скрыться от нее на улицах Глазго. Она повсюду следовала за мной, грозя своей тростью, и я отчетливо видел ее лицо, то умоляющее или возмущенное, то с гримасой непонимания, которую я так хорошо знал. Мама по-прежнему была в своем сером пальто, в серо-фиолетовой шляпе и с ниткой жемчуга на шее. У женщин раньше всего старится шея.

Я остался сержантом.

В Олимпия-холл, где собирались первые французские добровольцы, приходили девушки и дамы из лучшего английского общества, чтобы поболтать с нами. Одна из них, обворожительная блондинка в военной форме, сыграла со мной бесчисленное количество партий в шахматы. Похоже, она всерьез решила поддержать моральный дух несчастных добровольцев-французов, и мы целыми днями просиживали за шахматной доской. Прекрасно играя, она все время выигрывала и тут же предлагала мне новую партию. После семнадцати дней круиза проводить время, играя в шахматы с красивой девушкой, в то время когда горишь желанием драться,— одно из самых раздражающих занятий, какие я знаю. В конце концов я стал избегать ее и издали наблюдал, как она мерится силами с сержантом артиллерии, который кончил тем, что стал таким же грустным и пришибленным, как и я. Блондинка же, по-прежнему обворожительная, с легкой садистской улыбкой передвигала фигуры на шахматной доске. Коварная. Я никогда еще не встречал девушки из хорошей семьи, которая бы сделала больше, чтобы уничтожить моральный дух армии.

Тогда еще я не знал ни слова по-английски, и мне было трудно общаться с местными жителями. Порой мне весьма успешно удавалось объясниться жестами. Англичане мало жестикулируют, однако им нетрудно объяснить, чего от них хотят. Незнание языка даже облегчает жизнь, сводя отношения к главному и избавляя нас от светских разговоров и обмена любезностями.

В Олимпия-холле я подружился с юношей, назовем его условно Люсьеном, который после нескольких суток бурного кутежа внезапно застрелился. За три дня и четыре ночи он без памяти влюбился в одну танцовщицу из

«Веллингтона», кабаре, усердно посещаемого РАФ, был обманут ею с другим завсегдатаем и до того убит горем, что смерть показалась ему единственным спасением. Действительно, большинство из нас оставило Францию и свои семьи при столь чрезвычайных и неожиданных обстоятельствах, что нервная разрядка наступала лишь несколькими неделями позже и проявлялась порой самым непредсказуемым образом. Многие старались зацепиться за первый попавшийся буй, как мой товарищ Люсьен, которому пришлось выпустить его, а точнее, уступить другому, и тогда он камнем пошел ко дну под тяжестью накопившегося отчаяния. Что до меня, то я держался, правда на расстоянии, за надежный буй, дававший мне чувство полной безопасности, поскольку мать редко пустит вас на волю волн. Тем не менее случалось, что я за ночь выпивал бутылку виски в каком-нибудь кабачке, где мы мыкали свое нетерпение и обиду. Мы были в отчаянии от проволочек, с которыми нам предоставляли самолеты и отправляли в бой. Чаще всего я проводил время в компании Линьона, де Мезилиса, Бегена, Перрье, Барберона, Рокера, Мельвиля-Линча. Линьон, потеряв ноги в Африке, продолжал летать с протезами и был сбит на своем «Москито» в Англии. Беген, сбивший восемь немецких самолетов на русском фронте, погиб в Англии. Де Мезилис потерял левую руку в Тибести, РАФ сделали ему искусственную; он был убит на «Спитфайре», в Англии. Пижо сбили в Ливии — весь в ожогах, он прошел пятьдесят километров по пустыне и, дойдя до своих, упал замертво. Рокер был подбит в открытом море вблизи Фритауна и съеден акулами на глазах у своей жены. Астье де Виллатт, Сент-Перёз, Барберон, Перрье, Ланже, Эзанно, Мельвиль-Линч остались в живых. Мы иногда видимся. Редко: все, что мы имели друг другу сказать, погибло с теми, кто не вернулся. Я был задействован РАФ в нескольких ночных полетах на «Веллингтоне» и «Бленхейме», что побудило Би-би-си торжественно сообщить в июле 1940 года, что французская авиация с британских баз бомбардировала Германию. «Французской авиацией» был мой товарищ, некто Морель, и я. Сообщение Би-би-си несказанно воодушевило мою мать. Поскольку у нее не возникало ни малейшего сомнения в том, что означало «французская авиация с британских баз...». Это был я. Впоследствии я узнал, что в течение многих дней она, сияя, ходила по рядам рынка Буффа, сообщая хорошую новость: наконец-то я взял дело в свои руки.

Потом меня послали в Сент-Этен. Получив увольнительную, мы с Люсьеном отправились в Лондон. Позвонив мне в отель, он сказал, что все идет отлично и моральный дух на высоте, после чего повесил трубку и неожиданно покончил с собой. Сперва я очень злился на него, но поскольку вспышки гнева у меня кратковременны, то, когда вместе с двумя капралами меня обязали эскортировать гроб-ящик с его телом до небольшого военного кладбища П., я уже не держал на него зла.

В Ридинге в результате бомбардировки было повреждено железнодорожное полотно, и нам пришлось долго ждать. Сдав гроб в камеру хранения и получив квитанцию, мы отправились в город. Город Ридинг был не из приятных, и, чтобы отделаться от гнетущего настроения, нам пришлось выпить несколько больше, чем следовало, так что, вернувшись на вокзал, мы были не в состоянии нести ящик. Разыскав двух носильщиков, я вручил им квитанцию и попросил отнести ящик в багажный вагон. Прибыв на место назначения в момент полного затемнения и имея всего три минуты на стоянку, мы бросились к багажному вагону и едва успели вытащить ящик, как поезд тронулся. После часа езды на грузовике мы смогли наконец сдать свою ношу смотрителю кладбища и оставить на ночь вместе с флагом, необходимым для церемонии. На следующее утро, прибыв на место, мы встретили разъяренного английского младшего лейтенанта, который смотрел на нас округлившимися глазами. Обтягивая ящик трехцветным знаменем, он заметил, что на нем черной краской значилась торговая реклама известной марки пива: Guiness is good for you [1].

Не знаю, по вине ли носильщиков, нервничавших при бомбардировке,

---

[1] «Гинесс» действует благотворно *(англ.)*.

или по нашей собственной в связи с затемнением, но ясно было одно: кто-то где-то перепутал ящики. Само собой, нам было очень досадно, тем более что уже ждали капеллан и шестеро солдат, выстроившихся у могилы для салютования. В конце концов, боясь услышать обвинения в легкомыслии от своих британских союзников, склонных обвинять в этом граждан Свободной Франции, мы решили, что отступать поздно и надо спасать честь мундира. Я пристально посмотрел в глаза английскому офицеру, он быстро кивнул, показывая, что все прекрасно понимает. Мы снова быстро покрыли знаменем ящик и, на своих плечах отнеся его на кладбище, приступили к погребению. Священник сказал несколько слов, мы встали в почетный караул, прозвучали залпы в голубое небо, и меня охватила такая ярость по отношению к этому сдавшемуся трусу, который не разделил нашего братства и манкировал нашей нелегкой дружбой, что у меня сами собой сжались кулаки, проклятие готово было сорваться с губ и подступил комок к горлу.

Мы так и не узнали, что стало с другим, подлинным гробом. Иногда у меня возникают разные интересные гипотезы.

Глава XXXVI

Наконец-то меня направили на военную подготовку в Эндовер в составе бомбардировочной эскадрильи, которая готовилась к отправке в Африку под командованием Астье де Виллатта. Над нашими головами разворачивались исторические сражения, где бравая английская молодежь, невозмутимо улыбаясь, демонстрировала яростному врагу свое мужество, от которого зависела судьба мира.

Это были личности. Среди них сражались французы: Букийар, Мушотт, Блэз... Я не попал в их число. Я бродил по залитому солнцем селению, не отрывая взгляда от неба. Время от времени какой-нибудь молодой англичанин приземлялся на изрешеченном пулями «Харрикейне», пополнял запасы горючего и боеприпасов и вновь отправлялся в бой. Все они носили на шее разноцветные шарфы, и я тоже стал носить на шее шарф. Это был мой единственный вклад в борьбу Англии. Я старался не думать о матери и о своих обещаниях. Именно тогда я проникся к Англии дружбой и уважением, которые никогда не пройдут у тех, кто в июле сорокового удостоился чести ступать по ее земле.

Закончив военную подготовку, мы перед отправкой в Африку получили увольнительную на четверо суток в Лондон. Здесь со мной произошел случай, невероятный по глупости даже в моей жизни чемпиона.

На вторые сутки моего увольнения, в разгар сильной бомбардировки, я в компании одной юной поэтессы из Челси сидел в «Веллингтоне», где все союзные летчики назначали свидания. Поэтесса вызвала у меня горькое разочарование, ибо ни на минуту не закрывала рта, рассуждая о Т. С. Элиоте, Эзре Паунде и Одене и обратив ко мне свои прекрасные голубые глаза, буквально светящиеся глупостью. Я был на грани срыва и ненавидел ее всем сердцем. Время от времени я нежно целовал ее в рот, чтобы заставить замолчать, но поскольку мой исковерканный нос был все еще забит, то через минуту мне приходилось оставлять ее губы, чтобы вдохнуть,— и она тут же переходила к Э. Каммингсу и Уолту Уитмену. Я колебался, не изобразить ли мне приступ эпилепсии, к чему обычно прибегал в таких случаях. Но поскольку я был в форме, то это было несколько неудобно. Поэтому я ограничился тем, что потихоньку, кончиками пальцев, ласкал ее губы, стараясь остановить поток слов и в то же время выразительным жестом призывая ее к сладостно-томному безмолвию, единственному языку сердца. Но с ней ничего нельзя было поделать. Сжав мою руку в своей, она принималась рассуждать о символизме Джойса. Внезапно я понял, что оставшиеся четверть часа придется посвятить литературе. Я всегда не переносил скучные разговоры и убожество интеллекта и вдруг почувствовал, как капли пота покатились по моему лбу, в то время как мой оторопелый взгляд сосредоточился на этом

оральном сфинктере, который то и дело открывался и закрывался, открывался и закрывался. В порыве отчаяния я снова бросился на этот орган, тщетно пытаясь сковать его своими поцелуями. Вот почему я облегченно вздохнул, увидев красавца офицера, польского летчика из армии Андерса, который подошел к нашему столику и, поклонившись, пригласил мою спутницу на танец. Хотя кодекс чести и запрещает приглашать чужую даму, я признательно улыбнулся ему и, рухнув на банкетку, залпом осушил два стакана, после чего стал отчаянно махать официантке, решив оплатить счет и незаметно скрыться в ночи. Пока я жестикулировал как утопающий, стараясь привлечь внимание официантки, Эзрочка Паунд вернулась за столик и сразу же принялась рассуждать об Э. Каммингсе и журнале «Горизонт», от главного редактора которого она была в восторге. Продолжая оставаться вежливым, я сидел, подперев голову и зажав уши обеими руками, решив больше не слушать ни единого слова из того, что она говорила. Тут появился другой польский офицер. Я приятно улыбнулся ему: быть может, Эзрочке Паунд повезет и она найдет с ним лучшие точки соприкосновения, чем литература, а я от нее отделаюсь. Но как бы не так! Не успели они уйти, как она вернулась. Когда с исконной французской галантностью я поднялся, чтобы встретить ее, подошел третий польский офицер. Тут я заметил, что на меня смотрят. И понял, что речь идет о хорошо продуманной акции, целью которой, включая и поведение трех офицеров, было оскорбить и унизить меня. Они даже не давали моей партнерше присесть, один за другим беря ее под руку и бросая в мою сторону ироничные и презрительные взгляды. Как я уже сказал, «Веллингтон» был забит офицерами-союзниками: англичанами, канадцами, норвежцами, голландцами, чехами, поляками, австралийцами, и надо мной уже начали смеяться, тем более что мои нежные поцелуи не прошли незамеченными — у меня уводили девушку, а я не защищался. Кровь бросилась мне в лицо: задета честь военного. Мое положение было абсурдным — мне надо было драться, чтобы удержать девушку, от которой уже несколько часов я смертельно хотел отделаться. Но у меня не было другого выхода. Даже если мое положение и было глупым, я не имел права уклоняться. Итак, я с улыбкой поднялся и громко по-английски произнес несколько хорошо прочувствованных слов, которых от меня ждали, после чего сперва запустил свой стакан виски в физиономию первого лейтенанта, потом наотмашь дал пощечину другому и сел, чувствуя, что честь спасена и мать с удовлетворением и гордостью смотрит на меня. Мне казалось, что с ними покончено. Увы! Третий поляк, которому я ничего не сделал, поскольку у меня только две руки, счел себя оскорбленным. Пока нас пытались растащить, он разразился бранью в адрес французской авиации и во всеуслышание заклеймил Францию, которая так дурно обошлась с героической польской авиацией. Я даже проникся к нему симпатией. В конце концов я тоже немного поляк если не по крови, то хотя бы по тем годам, что я прожил в его стране,— какое-то время у меня даже был польский паспорт. Я чуть было не пожал ему руку, но вместо этого, верный кодексу чести и тщетно пытаясь вырвать свои руки, которые крепко держали — одну австралиец, другую норвежец, очень удачно заехал ему головой в лицо. В конце концов, кто я такой, чтобы нарушать традиции польского кодекса чести? Похоже, он остался доволен и рухнул. Я думал, что точка поставлена. Увы! Двое его товарищей предложили мне выйти. Я с радостью согласился, думая отделаться от Эзрочки Паунд. Снова ошибка! Малышка, с безошибочным инстинктом почувствовавшая себя в центре «событий», решительно повисла у меня на руке. На улице, при полном затемнении, мы очутились впятером. Снаряды сыпались со всех сторон. «Скорые помощи» проносились с омерзительными приглушенными сиренами.

— Ну что теперь? — спросил я.

— Дуэль! — ответил один из лейтенантов.

— Делать нечего? — спросил их я.— Зрителей здесь нет. Полная темнота. Потешать некого. Не перед кем рисоваться. Поймите, идиоты!

— Все французы — трусы,— сказал другой поляк-лейтенант.

— Ладно, дуэль,— согласился я.

Я предложил им уладить дело в Гайд-парке. Под грохот зенитных орудий, которыми был усеян парк, наши жалкие выстрелы пройдут незамеченными; к тому же там темно и спокойно можно оставить труп. Мне совсем не хотелось подвергаться дисциплинарным санкциям из-за истории с пьяными поляками. С другой стороны, в темноте я рискую неточно прицелиться, и хотя в последние годы я слегка неглижировал стрельбой из пистолета, уроки лейтенанта Свердловского еще не были окончательно мною забыты, и я был уверен, что в нужный момент смогу оказать должную честь своей мишени.

— Где дуэль? — спросил я.

Я избегал говорить с ними по-польски. Это могло запутать ситуацию. В моем лице они хотели отомстить Франции, и мне не хотелось психологически усложнять ситуацию.

— Где дуэль? — переспросил я.

Они посовещались.

— В отеле «Реджентс-парк»,— наконец решили они.

— На крыше?

— Нет. В номере. Дуэль на пистолетах с пяти метров.

Я вспомнил, что в крупных лондонских палас-отелях в номер, как правило, не пропускают девушек в компании четверых мужчин, и увидел в этом неожиданную возможность избавиться от Эзрочки Паунд. Она вцепилась в мою руку: дуэль на пистолетах с пяти метров — это романтично! Она, как кошка, мяукала от возбуждения. Мы сели в такси после долгого куртуазного спора, кому садиться первым, и поехали в клуб РАФ, где поляки вышли, чтобы забрать свои служебные револьверы. У меня же был мой 6,35, который я всегда держал при себе. После чего нас отвезли в «Реджентс-парк». Поскольку Эзрочка Паунд настаивала на том, чтобы идти с нами, нам пришлось скинуться и снять номер с гостиной. Перед тем как отправиться туда, один из польских лейтенантов поднял вверх палец.

— Секундант! — воскликнул он.

Я посмотрел вокруг в поисках французской формы. Ее не было. Холл был забит гражданами преимущественно в пижамах, которые не решались оставаться в номерах во время бомбардировки и толпились в фойе, закутанные в платки и халаты, пока бомбы сотрясали стены. Один капитан, англичанин с моноклем, заполнял карточку у дежурного портье. Я подошел к нему.

— Месье,— сказал я.— У меня дуэль в пятьсот двадцатом номере, пятый этаж. Не могли бы вы быть моим секундантом?

Он устало улыбнулся.

— Ох, уж эти французы — сказал он.— Благодарю, но я не любитель.

— Месье,— ответил я.— Это совсем не то, что вы думаете. Настоящая дуэль. С пяти метров на пистолетах с тремя польскими патриотами. Я и сам чуточку польский патриот, но, поскольку здесь затронута честь Франции, я не имею права уклоняться. Вы понимаете?

— Вполне,— ответил он.— Мир полон польских патриотов. К сожалению, патриоты есть и среди немцев, французов и англичан. Это приводит к войнам. Мне очень жаль, месье, но я не могу быть вашим секундантом. Видите вон ту девушку?

На диванчике сидела пышная блондинка — настоящая мечта отпускника. Капитан поправил монокль и вздохнул.

— Я ухлопал пять часов, чтобы уговорить ее. Три часа протанцевал с нею, истратил кучу денег, блистал, умолял, шептал ей нежности в такси, и в результате она сказала — да. Не могу же я теперь объяснить ей, чтобы она подождала, пока я освобожусь от обязанности секунданта. Впрочем, и мне уже не двадцать пять лет, сейчас два часа утра. Мне пришлось пять часов подряд ублажать ее, а теперь я абсолютно выдохся. У меня нет больше ни малейшего желания, но я тоже отчасти польский патриот и тоже не имею права уклоняться. Я дрожу при одной мысли о том, что из этого

выйдет. Короче, месье, поищите себе другого секунданта: мне самому предстоит дуэль. Попросите портье.

Я вновь окинул взглядом присутствующих. Среди лиц, сидевших на круглых диванчиках, в центре помещался грустный господин в пижаме, плаще, с шейным платком, в шляпе и тапочках, который всплескивал руками и поднимал глаза к небу всякий раз, когда, как ему казалось, разрывавшаяся поблизости бомба падала ему на голову. В эту ночь мы удостоились сильной бомбардировки. Стены ходили ходуном, оконные стекла лопались. Вещи падали. Я присматривался к господину. Я безошибочно угадываю людей, которым один вид военной формы внушает сильный и почтительный страх. Они ни в чем не могут отказать власти. Я решительно направился к нему и объяснил, что обстоятельства настоятельно требуют его присутствия в качестве секунданта на дуэли на пистолетах, которая состоится на пятом этаже отеля. Он испуганно и умоляюще взглянул на меня, но мой героический расфуфыренный вид заставил его со вздохом подняться. И даже метко заметить:

— Я рад способствовать борьбе союзников.

Мы поднялись пешком: лифты во время тревоги не работали. Анемичные растения на лестничных площадках дрожали в своих горшках. Эзрочка Паунд, висевшая у меня на руке, в порыве омерзительного романтического возбуждения бормотала, глядя на меня заплаканными глазами:

— Вы убьете человека! Я чувствую, что вы сейчас убьете человека!

При каждом свисте бомбы мой секундант прижимался к стене. Трое поляков оказались антисемитами и расценивали мой выбор секунданта как вящее оскорбление. Между тем добрый малый продолжал подниматься по лестнице с таким видом, будто спускался в преисподнюю, закрыв глаза и бормоча молитвы. Верхние этажи, оставленные постояльцами, были совершенно пусты, и я сказал польским патриотам, что, по-моему, коридор — идеальное место для встречи. Кроме того, я потребовал увеличить дистанцию до десяти шагов. Они согласились и принялись вымерять место. В этой истории я не намерен был получить ни единой царапины, но мне также не хотелось случайно убить или слишком тяжело ранить своего противника, чтобы не навлекать на себя неприятностей. Рано или поздно труп в отеле обязательно обнаружат, а тяжелораненый не сможет сам спуститься по лестнице. С другой стороны, зная *польский гонор — honor polski,*— я потребовал гарантий, что мне не придется по очереди стреляться с каждым из патриотов, если первый из них будет ранен. Должен также заметить: во время всего инцидента моя мать не проявляла ни малейшего сопротивления. Должно быть, она была счастлива, чувствуя, что наконец-то я что-то делаю для Франции. А дуэль на пистолетах с десяти шагов была абсолютно в ее духе. Она отлично знала, что Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли на пистолетах, не зря же с восьмилетнего возраста она таскала меня к лейтенанту Свердловскому.

Я приготовился. Должен признаться, что я не был достаточно хладнокровен — с одной стороны, потому что меня бесила Эзрочка Паунд, а с другой — потому что боялся, что если бомба, в тот момент, как я буду стрелять, упадет слишком близко, то у меня может дрогнуть рука — с плачевными последствиями для моей мишени.

Наконец мы встали в позиции в коридоре, я тщательно прицелился, но условия были не идеальными: рядом с нами попеременно слышались взрывы и свист. И когда один из поляков, организатор дуэли, пользуясь затишьем, дал сигнал, я ранил своего противника значительно серьезнее, чем мне хотелось. Мы удобно уложили его в снятом номере, и, за неимением лучшего, Эзрочка Паунд мгновенно сымпровизировала санитарку и сестру милосердия — в конце концов лейтенант был ранен всего лишь в плечо. После чего я смог упиться своим триумфом. Я отдал честь своим противникам, которые ответили мне тем же, по-прусски щелкнул каблуками, а затем на превосходном польском языке с чистейшим варшавским акцентом громко и внятно сказал им, что я о них думаю.

Идиотское выражение, проступавшее на их лицах по мере того, как

шквал оскорблений на богатом родном языке обрушивался на них, было одним из счастливейших моментов в моей карьере польского патриота и с лихвой уравновесило ту злость, которую они у меня вызвали. Но сюрпризы этого вечера еще не кончились. Мой секундант, прятавшийся в одном из пустых номеров во время нашей стрельбы, с сияющим видом спускался за мной по лестнице, похоже, забыв о своем страхе и падавших снаружи бомбах. С улыбкой, которая ширилась на его лице так, что становилось страшно за его уши, он вытащил из своего бумажника четыре новые банкноты по пять фунтов и пытался всучить их мне. Поскольку я с достоинством отказывался от его подарка, то он махнул рукой в сторону номера, где я оставил троих поляков, и на плохом французском сказал:

— Все антисемиты! Я сам поляк, я их знаю! Берите, берите!

— Месье,— по-польски ответил ему я, пока он пытался засунуть банкноты мне в карман,— месье, *honor polski* не позволяет мне принять эти деньги. Да здравствует Польша, месье, давняя союзница моей страны!

Видя, что его рот чрезмерно раскрылся, глаза приняли выражение того монументального непонимания, которое мне так нравится замечать в глазах людей, я оставил его остолбенело стоять с банкнотами в руке и, насвистывая, кубарем, через четыре ступеньки, скатился по лестнице и скрылся в ночи.

На следующее утро, в Лондоне, меня забрала полиция и после нескольких довольно неприятных минут, проведенных в Скотленд-Ярде, я был передан французским властям, штабу адмирала Мюзелье, где меня дружески допросил командир корабля д'Ангассак. Мы условились, что польский лейтенант покинет отель с помощью товарищей, притворяясь пьяным, но Эзрочка Паунд не смогла удержаться, чтобы не вызвать «скорую», и я попал в щекотливое положение. Меня спасло лишь то, что летный состав Свободной Франции был в ту пору немногочисленным и им дорожили, а также предстоящая передислокация моей эскадрильи. Но мама, похоже, тоже незаметно подыгрывала мне где-то за кулисами. Я отделался выговором, который, как известно, на вороту не висит, и через несколько дней совершенно невредимый отбыл в Африку.

Глава XXXVII

На борту «Арандел Кэстл» находилась сотня юных англичанок из хороших семей, добровольно записавшихся в женский летный корпус, и пятнадцать дней плавания при строго соблюдавшейся на корабле светомаскировке оставили в нас наилучшие воспоминания. До сих пор удивляюсь, как судно не загорелось.

Выйдя как-то вечером на палубу и облокотившись о борт, я смотрел на светящийся след корабля, как вдруг почувствовал, что кто-то подкрался и схватил меня за руку. Мои глаза, привыкшие к темноте, едва успели различить силуэт помощника старшего офицера, отвечавшего за дисциплину нашей части, как он уже поднес мою руку к губам и стал покрывать ее поцелуями. Вероятно, на том месте, где я стоял, у него было назначено свидание с прелестной англичанкой, но, выйдя из ярко освещенного салона и внезапно очутившись в темноте, он стал жертвой вполне понятной ошибки. Какое-то время я снисходительно не мешал ему — было очень интересно наблюдать за ответственным по дисциплине при исполнении обязанностей,— но когда его губы добрались до моей подмышки, я счел благоразумным поставить его в известность и низким басом сказал ему:

— Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете.

Он взвыл, как раненый зверь, и начал плеваться, что показалось мне невежливым с его стороны. Потом он еще долго краснел, сталкиваясь со мной на палубе, в то время как я любезнейше улыбался ему. В то время жизнь была молодой, и хотя многих из нас уж нет в живых — Рок погиб в Египте, Мезон-Нёв утонул в море, Кастелен убит в России, Крузе — в Габоне, Гуменк — на Крите, Канеппа погиб в Алжире, Малчарски — в Ливии, Делярош — в Эль-Фахере вместе с Флюри-Эраром и Коганом,

Сен-Перёз еще жив, но потерял ногу, Сандре погиб в Африке, Грассе — в Тобруке, Пербост убит в Ливии, Кларьон пропал без вести в пустыне,— хотя сегодня почти никого из нас не осталось, но остался наш задор, и мы часто узнаем его в глазах молодых, и тогда кажется, что все мы живы. Жизнь молода. Старея, она затормаживается, становится в тягость и оставляет вас. Она взяла от вас все, и ей больше нечего вам дать. Я часто наведываюсь в места, посещаемые молодежью, в надежде снова отыскать то, что потерял. Иногда я узнаю лицо товарища, погибшего, когда ему было двадцать лет. Или его жесты, смех, глаза. Что-то всегда остается. В такие минуты я почти верю — почти,— что и во мне осталось кое-что от того, каким я был двадцать лет назад, и что я окончательно не исчез. Тогда я выпрямляюсь, хватаю свою рапиру, энергичной походкой направляюсь в сад и, глядя на небо, скрещиваю с ним шпагу. А иногда поднимаюсь на пригорок и жонглирую тремя, четырьмя шарами, чтобы показать, что я еще не потерял навык и что им еще придется со мной считаться. Им? Они? Я знаю, что на меня никто не смотрит, но мне необходимо доказать самому себе, что я еще способен быть наивным. Правда заключается в том, что я проиграл, но я всего лишь проиграл, и это меня ничему не научило. Ни благоразумию, ни смирению. Растянувшись под солнцем на песчаном берегу Биг-Сура, я всем телом ощущаю молодость и смелость тех, кто придет после меня, и доверчиво жду их, глядя на тюленей и китов, проплывающих в этом сезоне сотнями, и на их фонтанчики. И слушаю Океан. Я закрываю глаза, улыбаюсь и чувствую, что все мы здесь и готовы снова начать.

Почти каждый вечер мама приходила ко мне на палубу, и, опершись о борт, мы вместе смотрели на снежно-белый след корабля. Казалось, светящийся шлейф, взмыв в небо, рассыпался там снопами звезд. Зрелище настолько завораживало нас, что до самого рассвета мы продолжали смотреть на волны. Ближе к африканскому побережью заря одним махом, насколько хватал глаз, заливала Океан, и внезапно оставалось только одно прозрачное небо, в то время как мое сердце продолжало биться в ритме ночи, а глаза еще не отвыкли от темноты. Ибо я старый похититель звезд и потому охотнее доверяюсь ночи. Моя мать по-прежнему много курила, и нередко, пока мы стояли, опершись о борт, мне хотелось напомнить ей о светомаскировке и о запрете курить на палубе, чтобы не привлекать подводные лодки. И я тут же усмехался своей наивности, поскольку должен был знать, что до тех пор, пока она рядом со мной, ничего не может случиться, несмотря на подводные лодки и что бы там ни было.

— Уже несколько месяцев ты ничего не пишешь,— с упреком говорила она.

— Так ведь война.

— Это не оправдание. Надо писать.

Она вздохнула.

— Я всегда мечтала стать великой актрисой.

У меня сжалось сердце.

— Не беспокойся, мама,— ответил я.— Ты станешь великой, прославленной актрисой. Я это устрою.

Она помолчала. Я почти воочию видел ее вместе с красной точкой ее сигареты. Я воображал ее рядом со всей силой любви и преданности, на которую я способен.

— Знаешь, я должна тебе признаться. Я не сказала тебе правду.

— Правду о чем?

— На самом деле я не была великой трагической актрисой. Это не совсем верно. Правда, я играла в театре. Но не более.

— Я знаю,— мягко ответил я.— Ты станешь великой актрисой, я обещаю тебе. Твои шедевры будут переведены на все языки мира.

— Но ты не работаешь,— с грустью ответила она мне.— Как может это случиться, если ты ничего не делаешь?

Я засел за работу. На палубе военного корабля или же в крохотной каюте, которую приходилось делить с двумя товарищами, было затруднительно пускаться в написание длинного романа, поэтому я решил напи-

сать несколько рассказов, каждый из которых прославлял бы мужество людей в их борьбе против несправедливости и угнетения. Как только они будут закончены, я включу их в большой роман, своего рода фреску Сопротивления и непокорности, заставив одного из героев рассказывать эти истории и использовав старинный прием плутовских романов. Поэтому, если меня убьют раньше, чем я закончу книгу, после меня, по крайней мере, останется несколько рассказов, к тому же на тему о моей жизни. И тогда мама увидит, что я, как и она, старался изо всех сил. Вот так на борту корабля, на котором мы плыли, чтобы сражаться в африканском небе, и был написан первый рассказ для моего романа «Европейское воспитание». Тут же, на борту, при первом робком луче зари я прочел его матери. Кажется, ей понравилось.

— Толстой! — просто сказала она.— Горький!

И затем из вежливости к моей стране добавила:

— Проспер Мериме!

В эти ночи она более непринужденно и доверительно беседовала со мной. Возможно, ей казалось, что я уже не ребенок. А может, просто потому, что море и небо располагали к откровенности. И казалось, что все исчезнет бесследно в вечности, кроме пенистого следа корабля, такого эфемерного среди безмолвия. Быть может, еще и потому, что я ехал сражаться за нее, и ей хотелось придать бóльшую силу моей руке, которая еще не успела стать ей опорой. Глядя на волны, я щедро черпал из прошлого обрывки фраз, которыми мы когда-то обменялись; тысячу раз слышанные слова, поступки и жесты, запавшие мне в память; главные темы, которые прошли сквозь ее жизнь, как лучи света, сотканные ею самой, и за которые она всегда цеплялась.

— Есть ли в мире что-нибудь прекраснее Франции? — вопрошала она со своей вечно наивной улыбкой.— Вот почему я хочу, чтобы ты стал французом.

— Так ведь это свершилось.

Она молчала. Потом вздохнула.

— Тебе придется много воевать,— сказала она.

— Я был ранен в ногу,— напомнил я ей.— Вот, потрогай.

Я подставил ей бедро, в котором сидел осколок. Мне не хотелось извлекать его. Она им очень дорожила.

— Все же будь осторожен,— попросила она.

— Ладно.

Часто во время боевых вылетов еще до нашей высадки во Франции, когда разрывы снарядов и ударная волна обрушивались на корпус самолета с шумом прибоя, я с улыбкой вспоминал ее слова: «Будь осторожен».

— Что ты сделал со своим свидетельством лиценциата права?

— Ты хочешь сказать, с дипломом?

— Да. Ты не потерял его?

— Нет. Он где-то в чемодане.

Я прекрасно знал, чтó у нее на уме. Море рядом с нами дремало, а корабль отзывался на его вздохи. Из машинного отделения доносился приглушенный шум. Если честно, то я немного побаивался вводить маму в мир дипломатии, который благодаря этому знаменитому диплому, по ее мнению, однажды распахнет передо мной двери. Вот уже несколько лет, как она регулярно, каждый месяц, до блеска начищала наш старинный серебряный сервиз в ожидании дня, когда я буду «принимать». Я совершенно не был знаком с послами в ту пору и тем более с их женами. Они представлялись мне воплощением такта, обходительности, сдержанности и изысканности. В свете пятнадцатилетнего опыта я стал проще смотреть на такие вещи. Но в ту пору у меня были несколько экзальтированные представления о миссии дипломата. Поэтому я побаивался, как бы мама не помешала исполнению моих обязанностей. Боже сохрани, я никогда не высказывал ей своих сомнений, но она научилась читать мои мысли.

— Не беспокойся,— заверила она меня.— Я умею принимать.

— Послушай, мама, речь не об этом...

— Если ты стыдишься своей матери, то так и скажи.

— Мама, прошу тебя...

— Но потребуется много денег. Отец Илоны должен дать за ней хорошее приданое. Ты не невесть кто. Я съезжу к нему. Мы все обсудим. Я знаю, что ты любишь Илону, но не надо терять голову. Я скажу ему: «Вот что у нас есть, вот что мы даем. А вы что дадите?»

Я зажал руками уши. Я улыбался, но слезы катились по моим щекам.

— Ну хорошо, мама, хорошо. Пусть будет так. Пусть. Я сделаю, как ты хочешь. Я стану посланником. Великим поэтом. Гинемером. Только дай мне время. И следи за своим здоровьем. Регулярно обращайся к врачу.

— Я старая кляча. Если уж до сих пор дожила, то и еще протяну.

— Я договорился, чтобы тебе присылали инсулин через Швейцарию. Самого лучшего качества. Одна девушка, что плывет с нами, обещала позаботиться об этом.

Мэри Бойд обещала мне позаботиться об этом, и, хотя с тех пор я никогда больше ее не видел, в течение многих лет и еще год после войны инсулин продолжал приходить из Швейцарии в отель-пансион «Мермон». Мне не удалось разыскать Мэри Бойд, чтобы поблагодарить ее. Надеюсь, она прочтет эти строки.

Я вытер лицо и глубоко вздохнул. На палубе было пусто. Появились летающие рыбы — предвестницы рассвета.

И вдруг в тишине мне явственно и отчетливо послышалось:

— Торопись. Торопись.

Я постоял немного на палубе, стараясь успокоиться или увидеть противника. Но он не показывался.

Сжав кулаки, я ощутил в них пустоту, а над моей головой все, что бесконечно, непреходяще, недостижимо, опоясывало арену нашей жизни миллиардами улыбок, безучастных к нашим вечным сражениям.

Глава XXXVIII

Вскоре по прибытии в Англию я получил первые ее письма. Они тайно переправлялись в Швейцарию, откуда мне регулярно пересылала их одна подруга моей матери. Ни одно из них не было датировано. Вплоть до моего возвращения в Ниццу, спустя три с половиной года, вплоть до моего возвращения домой, эти письма без даты, вне времени, повсюду верно следовали за мной. Целых три с половиной года меня поддерживали более сильный дух и воля, и, через пуповину, моей крови передавалось мужество более закаленного сердца, чем мое собственное. В этих письмах было что-то вроде лирического крещендо, похоже, матери хотелось верить, что я уже совершаю чудеса, демонстрируя непобедимость человеческого духа, что я искуснее жонглера Растелли, великолепнее теннисиста Тилдена и доблестнее Гинемера. На самом же деле мои подвиги еще не материализовались, но я старательно поддерживал себя в форме. Ежедневно по полчаса занимался физкультурой, полчаса — бегом и четверть часа — гантелями. Я по-прежнему жонглировал шестью мячами, не теряя надежды дойти до семи. Кроме того, продолжал работу над своим романом «Европейское воспитание», и четыре рассказа, которые я думал в него включить, были уже написаны. Я свято верил, что в литературе, как и в жизни, можно изменить мир по собственному желанию, вернув к его истинному назначению, представляющему собой хорошо продуманное и первоклассно созданное творение. Я верил в красоту и, стало быть, в справедливость. Талант моей матери пробудил во мне желание подарить ей чудо искусства и жизни, о котором она столько мечтала, в который так страстно верила и ради которого трудилась. Мне не верилось, что ей может быть отказано в справедливом исполнении этой мечты, поскольку казалось, что жизнь не может быть лишена артистизма до такой степени. Наивность, фантазия и вера в чудо, заставлявшие ее видеть в ребенке, затерявшемся в захолустье Восточной Польши, будущего великого французского писателя и посланника Франции, продолжали жить во мне со всей убедительностью красивых,

вдохновенно прочитанных сказок. Я продолжал воспринимать жизнь как литературный жанр.

В своих письмах мать описывала мои подвиги, о которых я, признаться, читал не без удовольствия. «Мой прославленный и любимый сын,— писала она.— Мы с восхищением и гордостью читаем в газетах о твоих героических подвигах. В небе Кёльна, Бремена, Гамбурга твои расправленные крылья вселяют ужас в сердца врагов». Хорошо ее зная, я прекрасно понимал, что она хотела сказать. Для нее всякий раз, когда самолет РАФ бомбил цель, я был на его борту. В каждой бомбе ей слышался мой голос. Одновременно я присутствовал на всех фронтах, заставляя содрогаться противника. Я был сразу и истребителем, и бомбардировщиком, и всякий раз, когда английская авиация сбивала немецкий самолет, она, само собой, приписывала мне эту победу. Эхо моих подвигов прокатилось по рядам рынка Буффа. В конце концов она меня знала. Она хорошо помнила, что именно я выиграл чемпионат по пинг-понгу в Ницце в 1932-м.

«Мой горячо любимый сын, вся Ницца гордится тобой. Я побывала в лицее у твоих преподавателей и рассказала им о тебе. Лондонское радио сообщает нам о лавине огня, которую ты низвергаешь на Германию, и они правы, что не упоминают твоего имени. Это могло бы навлечь на меня неприятности». Старой женщине из отеля-пансиона «Мермон» слышалось мое имя в каждом сообщении с фронта, в каждом яростном крике Гитлера. Сидя в маленькой комнатушке, она слушала Би-би-си, которое сообщало ей только обо мне,— я явственно вижу ее счастливую улыбку. Это ничуть не удивляло ее. Как раз этого она и ждала от меня. Она всегда это знала. Всегда это говорила. Она всегда знала, кто я такой.

Так оно и было бы, если бы не одна загвоздка: за все это время мне так и не удалось скрестить шпагу с врагом. С первыми же полетами в Африке я ясно понял невозможность выполнить свое обещание, и небо над моей головой казалось мне теннисным кортом Императорского парка, где юный обезумевший клоун под хохот веселящейся публики забавно выплясывал джигу, пытаясь поймать ускользающие мячи.

В Кано, в Нигерии, наш самолет, попав в песчаную бурю, зацепился за дерево и рухнул, уйдя на метр в землю. Мы, слегка обалдевшие, выбрались из него невредимыми, к величайшему негодованию начальства РАФ, так как летный инвентарь в то время был на счету и дорог, куда дороже, чем жизнь незадачливых французов. На следующий день, оказавшись на борту другого самолета, с другим пилотом, я снова упал, когда на взлете наш «Бленхейм» перевернулся и загорелся, однако мы выбрались из него, лишь слегка опаленные.

Теперь многим экипажам не хватало самолетов. Томясь в Майдагури от полного безделья, оживляемого только продолжительными ска́чками верхом по пустынным дебрям, я вызвался и получил разрешение сопровождать самолеты на крупной воздушной трассе Золотой Берег — Нигерия — Чад — Судан — Египет. Самолеты в довольно потрепанном виде прибывали в Такоради, где их ремонтировали, и потом через всю Африку направлялись на фронт в Ливию.

Мне удалось сопроводить один-единственный самолет, и снова мой «Бленхейм» не долетел до Каира. Он разбился в джунглях на севере Лагоса. Я находился на борту в качестве пассажира, осваивающего маршрут. Пилот-новозеландец и штурман разбились. Я не получил ни единой царапины, но мне пришлось туго. Нет ничего ужаснее зрелища изуродованных лиц погибших, облепленных роем мух, которые внезапно настигают вас в джунглях. К тому же люди начинают казаться великанами, когда вам голыми руками приходится рыть им последнее пристанище. Быстрота, с которой мухи способны скапливаться, отсвечивая на солнце всеми цветами голубого и зеленого, перемешанного с кровью, просто пугающа.

Через несколько минут от их жужжания у меня стали сдавать нервы. Когда разыскивавшие нас самолеты начали кружить надо мной, я стал размахивать руками, пытаясь отогнать их, путая их шум с насекомыми, норовившими сесть мне на лоб и губы.

Я видел мать. Со свесившейся набок головой, с полузакрытыми глазами. Она прижимала руку к сердцу. Такой я запомнил ее много лет назад, во время ее первой инсулиновой комы. Лицо ее было серым. Ей надо было сделать колоссальное усилие, но у нее не было сил, чтобы спасти всех сыновей мира. Она смогла спасти только своего.

— Мама,— сказал я, подняв глаза к небу.— Мама.

Она смотрела на меня.

— Ты обещал быть осторожным,— сказала она.

— Не я вел самолет.

Тем не менее я почувствовал прилив сил. Среди бортовых запасов провизии у нас был пакет зеленых африканских апельсинов. Я сходил за ними в кабину. До сих пор помню, как, стоя у разбившегося самолета, я жонглировал пятью апельсинами, несмотря на слезы, порой застилавшие мне глаза. Всякий раз, когда паника сжимала мне горло, я хватал апельсины и принимался жонглировать. Дело не только в том, что я пытался взять себя в руки. Это был своего рода вызов. Все, что я мог сделать, стараясь заявить о своем достоинстве, о превосходстве человека над обстоятельствами.

Так я провел тридцать восемь часов. Без сознания, иссохшего от жажды, меня нашли в кабине с закрытой крышей, в адской жаре, но на мне не было ни единой мухи.

Так было все время, пока я был в Африке. Всякий раз, когда я взмывал ввысь, небо с треском отшвыривало меня, и в шуме моего падения мне слышались раскаты глупого, издевательского смеха. Я падал с поразительной регулярностью: сидя около своей перевернувшейся колымаги и нащупывая в кармане очередное письмо, в котором мама доверительно писала мне о моих подвигах, я, повесивши нос, вздыхал, после чего поднимался и терпеливо начинал все сначала.

За пять лет войны, половину из которых я провел в эскадрилье, с перерывами на госпиталь, я совершил не более пяти боевых вылетов, о которых вспоминаю сейчас со смутной надеждой, что был все-таки хорошим сыном. Месяцы протекали буднично в рутинных вылетах и совместных перевозках и вовсе не походили на будущую приукрашенную легенду. Вместе с другими товарищами меня направили в Банги, в Центральную Африку, для обеспечения воздушной защиты территории, которой угрожали разве что комары. Вскоре наше отчаяние дошло до того, что мы забросали гипсовыми бомбами дворец губернатора, скромно надеясь таким образом дать понять властям о своем нетерпении. Нас даже не наказали. Тогда мы попытались сделаться неугодными, организовав на улицах городка демонстрацию черных граждан, которые несли плакаты с требованием: «Жители Банги требуют: «Летчиков на фронт!» Наше нервное напряжение находило выход в воздушных играх, нередко кончавшихся трагически. Высший пилотаж на борту изношенных самолетов и безудержное стремление к опасности стоили жизни многим из нас. В Бельгийском Конго, идя на бреющем полете, наш самолет врезался в стадо слонов, убив одним ударом и слона, и пилота. Едва выбравшись из-под обломков самолета, я попал в руки лесничего, который сильно отделал меня посохом, возмущенно приговаривая: «Нельзя так обращаться с жизнью». Его слова навсегда врезались в мою память. Я получил пятнадцать суток строгого ареста, которые провел, копаясь в садике бунгало, трава в котором на следующее утро вновь вырастала, быстрее, чем щетина на моих щеках, после чего снова вернулся в Банги и томился там до тех пор, пока Астьé де Виллатт не помог мне перевестись в эскадрилью, действовавшую на абиссинском фронте.

Итак, считаю своим долгом прямо сказать: я ничего не сделал. Ничего, особенно если говорить о надеждах и вере ждавшей меня пожилой женщины. Я отбивался. Но по-настоящему не бился.

Некоторые события той поры совершенно выпали из моей памяти. Мой товарищ Перрье, которому я всегда безгранично доверял, как-то после войны рассказывал мне, что, вернувшись однажды ночью в бунгало, в кото-

ром мы жили вместе с ним в Фор-Лами, он нашел меня под москитной сеткой с приставленным к виску револьвером и едва успел подбежать ко мне, чтобы отвести выстрел. Кажется, я объяснил ему свой порыв отчаянием, которое испытывал, бросив во Франции без средств к существованию больную и старую мать только ради того, чтобы гнить в этой африканской дыре вдали от фронта. Я не помню этого позорного случая. Это вовсе на меня не похоже, так как в минуты отчаяния, столь же неистового, как и мимолетного, я обращаю его вовне, а не на себя самого и, признаться, далек от того, чтобы, как Ван Гог, отрезать себе ухо. В такие минуты я скорее подумаю о чужих ушах. Должен также добавить, что несколько месяцев, вплоть до сентября 1941-го, я помню довольно смутно по причине отвратительного брюшного тифа, которым я в то время болел — дело дошло до соборования — и который стер многое из моей памяти, заставив врачей утверждать, что даже если я выживу, то останусь ненормальным.

Когда я прибыл в эскадрилью, в Судан, война с Эфиопией уже заканчивалась. Вылетая с аэродрома Гордонс-Три, в Хартуме, мы уже не встречали итальянских истребителей, и редкие кольца дыма от зенитных орудий, которые можно было заметить на горизонте, напоминали последние вздохи побежденного врага. Возвращаясь на закате, мы отправлялись вместе в ночные кабаре, куда англичане «интернировали» две труппы венгерских танцовщиц, застрявших в Египте в момент вступления их страны в войну против союзников, а на рассвете снова вылетали, тщетно пытаясь обнаружить противника. Я ничего не мог поделать. Нетрудно себе представить, с каким чувством стыда и недовольства собой я читал письма от матери, в которых она восторгалась мной и верила в меня. Вместо того чтобы восходить на высоты, которые она мне прочила, я был обречен проводить время в компании несчастных девушек, чьи прекрасные лица прямо на моих глазах осунулись под безжалостным майским суданским солнцем. Меня преследовало чувство полной беспомощности, и я изо всех сил старался доказать себе, что во мне еще остались мужские качества.

Глава XXXIX

Мой маразм усугубился болезненной сосредоточенностью на недолговечном счастье, которое я незадолго до этого потерял. Если до сих пор я не говорил об этом, то только из-за недостатка таланта. Всякий раз, когда я собираюсь с силами и беру свой блокнот, слабость моего голоса и скудость моих способностей кажутся мне оскорбительными для всего того, что я хочу сказать, для всего того, что я люблю. Быть может, когда-нибудь найдется большой писатель, которого вдохновит история моей жизни, и тогда я не напрасно пишу эти строки.

В Банги я жил в маленьком, затерявшемся среди банановых деревьев бунгало, у подножия холма, на вершине которого каждую ночь, как на насесте, восседала луна, похожая на светящуюся сову. Вечерами я сидел на террасе клуба, выходившей на реку, и, глядя на другой берег, на Конго, слушал одну и ту же пластинку:

«Remember our forgotten men» [1].

Однажды я увидел ее: она шла по улице с обнаженной грудью, неся на голове корзину с фруктами.

Прекрасное женское тело во всей прелести его трогательной юности, обаяние жизни, надежды, улыбки, и к тому же такая походка, что все ваши заботы как ветром сдувает. Луизон было шестнадцать лет. И когда я сжимал ее в своих объятиях, то у меня часто бывало такое чувство, будто я всего достиг в этой жизни. Я поговорил с ее родителями, и мы отпраздновали наш союз по законам ее племени. Австрийский князь Штаремберг, по превратности судьбы ставший летчиком нашей эскадрильи, был моим свидетелем. Луизон переехала жить ко мне. Никогда еще я не испытывал большей радости, чем глядя на нее и слушая ее. Она не знала

[1] «Помнить наших забытых парней» *(англ.)*.

по-французски, я не знал ни слова на ее языке и понимал из ее речей лишь то, что жизнь прекрасна, счастлива и непорочна. У нее был такой голос, после которого любая музыка оставляла вас безразличным. Я не спускал с нее глаз. Тонкие черты лица, пленительная гибкость, веселые глаза, мягкие волосы — какими словами описать ее совершенства, не предав своих воспоминаний? Чуть позже я заметил, что она слегка кашляет, и, испугавшись туберкулеза, вечно угрожающего прекрасным созданиям, отправил ее на обследование к военному врачу Виню. Кашель был пустяковым, но на руке у Луизон оказалось странное пятнышко, которое ужаснуло врача. В тот же вечер он пришел ко мне в бунгало. Он был смущен. Он знал, что я счастлив. Это бросалось в глаза. Он сказал, что у девчонки проказа и мы должны расстаться. Но сказал неуверенно. Я долго отказывался в это поверить. Упрямо все отрицал. Не мог примириться с таким ужасом. Я провел с Луизон страшную ночь, глядя, как она спит у меня на руках; даже во сне ее лицо озаряла улыбка. До сих пор не знаю, любил ли я ее или просто не мог отвести от нее глаз. Я еще долго не отпускал от себя Луизон. Винь ничего не говорил мне, даже не упрекал меня. Он только пожимал плечами, когда я начинал браниться, богохульствовать и угрожать. Луизон начала курс лечения, но каждый вечер возвращалась ночевать ко мне. Еще никогда я не прижимал к себе никого с такой нежностью и болью. Я согласился расстаться с ней только после того, когда мне объяснили, показав для убедительности статью в газете — я не верил,— что в Леопольдвиле недавно открыли новое лекарство против бациллы Хансена и уже получены значительные результаты, затормаживающие и, быть может, исцеляющие болезнь. Я посадил Луизон на самолет по прозвищу «Летающее крыло», который летчик Субабер водил из Банги в Браззавиль. Она улетела, а я все стоял на аэродроме, без сил, сжав кулаки и чувствуя, будто не только Франция, а весь мир оккупирован врагом.

Дважды в месяц «Бленхейм», управляемый Ирлеманом, делал рейс в Браззавиль, и было решено, что в следующий раз полечу я. Всем телом я ощущал пустоту, каждой клеточкой чувствуя отсутствие Луизон. Руки казались мне никчемными.

Самолет Ирлемана, возвращения которого я ждал в Банги, потерял винт над Конго и упал в затопленном лесу. Ирлеман, Бекар и Крузе погибли. Механик Куртио раздробил себе ногу. Не пострадал только радист Грассе. Чтобы дать знать о своем местонахождении, ему вздумалось шпарить из пулемета каждые полчаса. И всякий раз жители из соседней деревушки, видевшие, как упал самолет, и бросившиеся на помощь, в ужасе обращались в бегство. Так продолжалось трое суток, и Куртио, который не мог передвигаться из-за своей травмы, чуть не сошел с ума, с утра до ночи сражаясь с рыжими муравьями, набрасывавшимися на его рану. Меня часто включали в экипаж Ирлемана и Бекара; к счастью, приступ малярии, ниспосланный провидением, сразил меня на неделю и заставил забыть обо всем.

Таким образом, мой полет в Браззавиль отложили на следующий месяц, до возвращения Субабера. Но Субабер тоже пропал в лесах Конго вместе со своим загадочным «Летающим крылом», который умели водить только он и американец Джим Моллисон. Я получил приказ прибыть в свою эскадрилью на абиссинский фронт. Тогда я еще не знал, что бои с итальянцами фактически закончились и что я там никому не нужен. Я подчинился. Мне никогда больше не суждено было увидеть Луизон. Товарищи несколько раз сообщали мне о ней новости. Лечение шло успешно. Была надежда. Она спрашивала, когда я вернусь. Была весела. И после этого тишина. Я писал письма, делал запросы через вышестоящие инстанции, отправил несколько угрожающих телеграмм. Никакого ответа. Военные власти хранили гробовое молчание. Я неистовствовал, протестовал: самый нежный голос в мире взывал ко мне из скорбного африканского лазарета. Меня направили в Ливию. Подвергли медосмотру, чтобы выяснить, нет ли у меня проказы. Ее не оказалось. Но я был болен. Никогда не

думал, что голос, шея, плечи, руки могут так неотступно преследовать. Я только хочу рассказать, как сладко было погружаться в ее глаза, и что с тех пор я не нахожу себе места.

Глава XL

Письма от матери стали короче. Написанные наспех, карандашом, они приходили сразу пачками. Она хорошо себя чувствует. Инсулина у нее достаточно. «Славный мой сын, я горжусь тобой... Да здравствует Франция!» Сидя за столиком на крыше отеля «Руаяль», откуда были видны Нил и миражи, среди которых плыл город словно по тысячам пылающих озер, я предавался мечтам, окруженный венгерскими танцовщицами и канадскими, южно-африканскими и австралийскими летчиками, которые толпились на танцплощадке и около бара, стараясь снискать на эту ночь благосклонность какой-нибудь красивой девушки. Платили все, кроме французов, что еще раз доказывает, что даже после поражения Франция не утратила своего престижа. Я читал и вновь перечитывал нежные, доверчивые слова, в то время как Ариана, возлюбленная одного из наших доблестных авиаторов, временами, в перерывах между танцами, подсаживалась к моему столику и с любопытством смотрела на меня.

— Она любит тебя?

Я уверенно и без ложной скромности кивал.

— А ты?

Я, как всегда, изображал из себя старого ловеласа.

— О, ты знаешь, что для меня женщины... вместо одной потерянной десять новых.

— А ты не боишься, что она тебе изменяет, пока тебя нет?

— Ну знаешь, нет! — отвечал я.

— Даже если война будет длиться годы?

— Даже если годы.

— Ты что же, думаешь, что нормальная женщина годами станет обрекать себя на одиночество ради твоих прекрасных глаз?

— Представь себе, думаю,— ответил я.— Мне это знакомо. Я знал одну женщину, которая долгие годы жила в одиночестве ради чьих-то прекрасных глаз.

Мы перебазировались в Ливию, готовя новое наступление на Роммеля. Там в первые же дни самым трагическим образом погибло шестеро французов и девять англичан. В то утро дул сильный khamsin (ветер, подобный ветру сирокко в Египте), и, взлетев против ветра, пилоты трех наших «Бленхеймов», которыми командовал Сен-Перёз, увидели, как из песчаного облака внезапно появились три английских «Бленхейма», которые потеряли ориентацию и неслись им навстречу, подгоняемые ветром. На борту каждого самолета было по три тонны бомб, и обе тройки, уже набрав взлетную скорость, находились в этот момент в таком положении, когда невозможно маневрировать. Только Сен-Перёз, благодаря своему штурману Бимону, смог избежать столкновения. Все разбились вдребезги. Потом еще долго можно было видеть собак, пробегавших с кусками мяса.

Мне повезло, я не летал в тот день. В момент взрыва меня соборовали в военном госпитале Дамаска.

У меня был тиф с кишечным кровоизлиянием, и врачи — капитан Гион и майор Винь — считали, что у меня был только один шанс из тысячи, чтобы выжить. Я перенес пять переливаний крови, и товарищи сменяли друг друга у моего изголовья, отдавая мне свою кровь. За мной с истинно христианской самоотверженностью ухаживала одна армянка, сестра милосердия Фелисьен из ордена Святого Иосифа, которая живет теперь в монастыре неподалеку от Вифлеема. Горячка длилась пятнадцать дней, но разум окончательно вернулся ко мне только через шесть недель. Я долго хранил прошение, которое через высшие инстанции намеревался в бредовом состоянии подать генералу де Голлю и в котором протестовал против административной ошибки, в результате чего, по моим словам,

я больше не фигурирую в списке живых; это в свою очередь привело к тому, что рядовые и унтер-офицеры больше не отдают мне честь, делая вид, будто меня не существует. Надо сказать, что меня только что произвели в младшие лейтенанты, и после инцидента в Аворе я очень дорожил этим повышением и внешними знаками внимания, которые полагалось мне оказывать.

Наконец врачи решили, что мне остается жить всего несколько часов, и вызвали моих товарищей с воздушной базы Дамаска для несения почетного караула у моего тела в госпитальной часовне, в то время как санитар-сенегалец водворил в моей палате гроб. На минуту придя в сознание, а это обычно случалось после кровотечения, вследствие оттока крови, я заметил гроб у своей кровати и, видя в этом новые козни, тут же пустился наутек. Я нашел в себе силы подняться и дотащиться на своих тонких, как спички, ногах до сада. Там грелся на солнышке молодой человек, выздоравливавший после тифа. Видя, что к нему направляется шатающийся и совершенно голый призрак в офицерской фуражке, бедняга испустил вопль и бросился в медпункт. В тот же вечер у него начался рецидив. Будучи в бреду, я нахлобучил фуражку младшего лейтенанта с абсолютно новенькой, недавно полученной кокардой. Я не желал расставаться с ней. Это явно доказывает, что шок, полученный мной от унижения в Аворе, был сильнее, чем я предполагал. Мои предсмертные хрипы напоминали свист пустого сифона. А мой дорогой друг Бимон, примчавшийся из Ливии проведать меня, потом сказал мне, что нашел шокирующим и даже неприличным упорство, с которым я цеплялся за жизнь. Я перебарщивал, по его мнению. Начисто забыл о хорошем тоне и изящных манерах. Как говорится, лез из кожи вон. Это производило неприятное впечатление. Я напоминал скупого, цепляющегося за свои деньги. И с чуть насмешливой улыбкой, которая так его красила и которую, надеюсь, он сохранил до сих пор, живя в своей Экваториальной Африке, он сказал мне:

— Похоже, тебе очень хотелось жить.

Прошла неделя после соборования. Признаю, что не стоило создавать столько проблем. Но я был плохим игроком и не умел проигрывать. Я отказывался признать себя побежденным. Я не принадлежал себе. Мне необходимо было выполнить свое обещание и, одержав сто великих побед, вернуться домой увенчанным славой; написать «Войну и мир»; стать французским посланником, короче, дать раскрыться таланту своей матери. Главное, я отказывался мириться с поражением. Истинный художник не может сдаться, не завершив творения. Он стремится передать свое вдохновение грубому материалу, старается придать магме форму, смысл, выражение. Я был против того, чтобы мамина жизнь так глупо закончилась в инфекционном отделении дамасского госпиталя. Любовь к прекрасному, то есть к справедливости, не позволила мне бессмысленно прервать свою жизнь, хотя бы на мгновение не озарив окружающий меня мир созвучным и волнующим смыслом. Я не поставлю своей подписи под актом, который протягивают мне боги, абсурдным актом небытия и бесследного исчезновения. Я не настолько бездарен.

И все же было огромное искушение сдаться. Все мое тело было покрыто гнойными язвами. Иголки, через которые мне по капле вводили физиологический раствор, часами торчали из моих вен, вызывая такое чувство, будто я запутался в колючей проволоке. Воспаленный язык распух. Левая челюсть, треснувшая во время аварии в Мериньяке, загноилась, и кусочек кости, отколовшись, торчал из десны наружу. Его боялись трогать, опасаясь заражения крови. Я продолжал истекать кровью, и у меня был настолько сильный жар, что, когда меня обертывали ледяной простыней, мое тело за несколько минут восстанавливало свою температуру, а в довершение всего врачи с интересом обнаружили, что все это время во мне сидел огромный солитер, который метр за метром теперь выходил из моих внутренностей. Через много лет после моей болезни, когда я встречал кого-нибудь из лечивших меня врачей, они всегда недоверчиво смотрели на меня и говорили:

— Вам никогда не узнать, откуда вы вернулись.

Возможно, но боги забыли перерезать мне пуповину. Приходя в ярость от вида любой человеческой руки, пытающейся придать судьбе форму и смысл, они злобно набросились на меня, превратив мое тело в сплошную кровоточившую рану, но так ничего и не поняв в моей любви. Они забыли перерезать мне пуповину, и я выжил. Воля, жизненная сила и мужество моей матери продолжали передаваться мне и поддерживать меня.

От гнева искра чуть теплящейся жизни вдруг вспыхнула во мне со всей силой священного огня, когда я увидел святого отца, входившего в палату, чтобы причастить меня.

Видя, что этот бородатый старик в бело-фиолетовом одеянии решительно направляется ко мне с распятием в руках, я понял, что он мне предлагает, и принял его за Сатану. К удивлению поддерживавшей меня сиделки, я, способный до этого только хрипеть, громко и отчетливо произнес:

— Ничего не поделаешь — вопрос снят.

После чего ненадолго потерял сознание и когда вновь выплыл из небытия, произошло исцеление. Хотя окончательно я все еще не верил в это. Тем не менее я твердо решил вернуться в Ниццу в офицерской форме, с грудью, усыпанной орденами, и провести мать под руку по рынку Буффа. Затем под аплодисменты можно будет пройтись и по Английской набережной. «Поприветствуйте эту знатную француженку из отеля-пансиона «Мермон», о ней так много говорили, она прославила нашу авиацию, ее сын может ею гордиться!» Пожилые господа почтительно снимают шляпы, звучит «Марсельеза», кто-то шепчет: «Они все еще связаны пуповиной». И я и вправду вижу длинную резиновую трубку, которая торчит из моей вены, и торжествующе улыбаюсь. Вот что значит истинное искусство! Вот что значит верность обету! А они надеялись, что я откажусь от своей миссии под предлогом, что врачи приговорили меня, что меня уже причастили и товарищи в белых перчатках уже приготовились нести почетный караул у моего гроба с зажженными свечами. Ну нет, никогда! Лучше уж жить — как известно, я никогда не пасовал перед опасностями.

Я не умер. Выздоровел. Правда, не сразу. Жар спал, потом прошел. Но я продолжал оставаться в беспамятстве. Впрочем, в бреду я мог только лепетать что-то нечленораздельное: у меня от язвы треснул язык. Потом разразился флебит, и все боялись за мою ногу. Верхнюю левую сторону лица в том месте, где была воспалена челюсть, окончательно парализовало, что и по сей день придает моему лицу интересную асимметричность. У меня было расстройство пузыря, продолжался миокардит, я никого не узнавал, не мог говорить, но пуповина продолжала функционировать. Но главное, я не сделался инвалидом. Как только сознание окончательно вернулось ко мне и я смог наконец говорить, правда, страшно сюсюкая, то сразу же спросил, когда смогу вернуться на фронт.

Вопрос развеселил врачей — по их мнению, для меня война закончилась. Они даже не были уверены, что я смогу нормально ходить, вероятно, у меня сохранится порок сердца, что же касается возвращения на военный самолет — они лишь пожимали плечами и вежливо улыбались.

Через три месяца я был уже на борту своего «Бленхейма», выслеживая подводные лодки в восточной части Средиземного моря, вместе с Тюизи. Спустя несколько месяцев он погиб на «Москито», в Англии.

Мне хочется поблагодарить некоего Ахмеда, смуглого египтянина, шофера такси, который за жалкие пять фунтов согласился облачиться в мою форму и прошел за меня медосмотр в госпитале РАФ, в Каире. Он был некрасив, от него пахло раскаленным песком, но он успешно прошел осмотр, что мы и отпраздновали с ним мороженым на террасе «Гропи».

Мне оставалось только пройти врачей воздушной базы Дамаска, майора Фитучи и капитана Берко. Тут уж нельзя было схитрить. Они меня знали. Меня, так сказать, видели в деле, на больничной койке. Им было также известно, что порой у меня темнело в глазах и я терял сознание без малейшего повода. Короче, мне предложили на месяц съездить в отпуск

в долину Фараонов, в Луксор, прежде чем помышлять о возвращении в авиацию. Так я посетил гробницы фараонов и очень полюбил Нил, по которому дважды прошел вверх и вниз по течению в его судоходной части. Более красивого пейзажа я в жизни не видел. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. Здесь отдыхает душа. Моя же в этом действительно нуждалась. Я часами простаивал на балконе «Винтер-паласа», глядя на проплывающие фелюги. И вновь взялся за свою книгу. Написал несколько писем матери, чтобы восполнить три месяца молчания. Однако в письмах, которые до меня доходили, не чувствовалось беспокойства. Она не удивлялась моему долгому молчанию. Это казалось мне немного странным. Последнее письмо, судя по дате, было отправлено из Ниццы после того, как она не получала от меня вестей, по меньшей мере, в течение трех месяцев. Но, похоже, она этого не заметила. Видимо, мама списывала это на счет почты, которая доставлялась кружными путями. И потом, она хорошо знала, что я преодолею все трудности. И все же теперь в ее письмах проскальзывала какая-то грусть. Впервые я почувствовал в них странную нотку, что-то недосказанное и волнующее. «Дорогой мой мальчик. Умоляю тебя, не думай обо мне, не бойся за меня, будь мужественным. Помни, ты больше не нуждаешься во мне, ты больше не ребенок и можешь самостоятельно стоять на ногах. Дорогой мой, поскорее женись, так как тебе всегда необходима будет женщина рядом. Быть может, в этом моя вина. Но главное, постарайся быстрее написать хорошую книгу, так как потом она будет тебе большим утешением. Ты всегда был художником. Не думай слишком много обо мне. Я хорошо себя чувствую. Старый доктор Розанофф мною доволен. Он передает тебе привет. Мой дорогой мальчик, будь мужественным. Твоя мать». Я читал и десятки раз перечитывал это письмо, стоя на балконе и глядя вниз на медленный Нил. В нем была нотка отчаяния, необычные серьезность и выдержка. И впервые мать ни слова не говорила о Франции. У меня сжалось сердце. Что-то не так, что-то в этом письме скрывалось от меня. К тому же этот странный призыв к мужественности, который все настойчивее звучал в ее письмах. Это даже немного раздражало. Уж она-то должна была знать, что я никогда ничего не боюсь. В конце концов, главное, что она жива, и моя надежда успеть вернуться крепла с каждым зарождавшимся днем.

Глава XLI

Вернувшись в эскадрилью, я занимался поиском и уничтожением итальянских подводных лодок, большей частью в районе палестинского побережья. Дело это было спокойное, и, как правило, я возвращался назад с боеприпасами. Однажды, атаковав неподалеку от Кипра подводную лодку, только что всплывшую на поверхность, мы промазали. Наши глубоководные снаряды упали слишком далеко.

Наверное, с этого дня я стал испытывать угрызения совести.

Множество фильмов и романов посвящено этой теме раскаяния: когда воина неотступно преследуют воспоминания о том, что он совершил. Я не исключение. До сих пор я иногда просыпаюсь с криком и в холодном поту. Мне снится, что я опять, в который раз, упустил эту подводную лодку. Это всегда один и тот же кошмар: я упускаю цель, так и не потопив двадцать человек экипажа, к тому же итальянского,— что не мешает мне очень любить Италию и итальянцев. Не вызывает сомнений тот простой и грубый факт, что мои ночные страхи и угрызения совести вызваны тем, что я *не убил*. Возможно, мое признание смутит добропорядочных людей, и я нижайше прошу извинить меня всех тех, кого я этим оскорбил. Я слегка утешаю себя мыслью, что я плохой человек и что другие — честные, хорошие, не такие. Это немного поднимает мне настроение, так как больше всего на свете мне необходима вера в человека.

Половина «Европейского воспитания» была уже закончена, и все свободное время я посвящал сочинению романа. Когда в августе 1943-го нашу эскадрилью перевели в Англию, я стал торопиться. Близилась высадка

союзных войск, и я не мог вернуться с пустыми руками. Мне представлялось, как обрадуется и будет гордиться мама, когда увидит мою фамилию на обложке. Ей придется довольствоваться литературной славой, так как с Гинемером я тягаться не могу. По крайней мере, сбудутся наконец-то ее артистические амбиции.

Условия для литературной работы на военно-воздушной базе в Хартфорд-Бридже оставляли желать лучшего. Было очень холодно. Я писал по ночам в хибарке из гофрированного железа, где мы помещались втроем. Надев летную куртку и меховые сапоги, я устраивался на кровати и до рассвета писал. У меня коченели руки, изо рта в морозном воздухе валил пар, и мне не стоило ни малейшего труда воссоздать атмосферу польских заснеженных равнин, среди которых происходило действие романа. К тремчетырем часам утра я оставлял ручку, садился на велосипед и ехал выпить чашечку чая в офицерской столовой, после чего поднимался в самолет и промозглым серым утром вылетал с боевым заданием к яростно обороняемым целям. Почти всегда кто-нибудь из нас не возвращался. Однажды, вылетев в Шарлеруа и пересекая побережье, мы потеряли сразу семь самолетов. В таких условиях трудно было заниматься литературой. Да я и не занимался. Для меня это было лишь частью одной битвы. Ночью, когда мои товарищи спали, я вновь принимался писать. Только однажды я оказался один в хибарке. Когда весь экипаж Пети́ погиб.

Небо для меня пустело все больше и больше.

Шлёзинг, Беген, Мушотт, Маридор, Губи и легендарный Макс Гедж исчезли один за другим, потом пришел черед новобранцев: де Тюизи, Мартелл, Колканап, де Мэмон, Маэ, и настал наконец день, когда из всех, кого я знал с момента прибытия в Англию, в живых остались только Барберон, двое братьев Ланже, Стоун и Перрье. Мы часто молча глядели друг на друга.

Закончив «Европейское воспитание», я отправил рукопись Муре Будберг[1], другу Горького и Г. Уэллса, и больше ничего о ней не слышал. Вернувшись однажды утром после особо сложного задания — в то время мы летали бреющим полетом в десяти метрах от земли и в этот день потеряли троих товарищей,— я обнаружил телеграмму от одного английского издателя, который сообщал мне о своем намерении перевести мой роман и опубликовать его в кратчайшие сроки. В летной форме, сняв шлем и перчатки, я долго стоял, глядя на телеграмму. Это было мое второе рождение.

Я сразу же телеграфировал эту новость матери, через Швейцарию, и с нетерпением ждал ответа. У меня было чувство, что наконец-то я что-то для нее сделал́; я знал, с какой радостью она будет перелистывать страницы книги, автором которой сама является. Наконец-то начали сбываться ее артистические мечты, и кто знает, вдруг ей повезет и она прославится. Поздно она дебютировала: сейчас ей шестьдесят один год. Не став ни героем, ни французским посланником, ни даже секретарем посольства, я все же начал сдерживать свое обещание — придать смысл ее борьбе и самопожертвованию,— и моя книга, какой бы тонкой и легкой она ни была, брошенная на чашу весов, кажется, начинает перевешивать.

Я ждал. Читая и перечитывая ее письма, я старался уловить хотя бы намек на свою первую победу. Но она, похоже, не догадывалась о ней. Наконец я понял смысл ее немого упрека, заключавшегося в явном отказе говорить о моей книге. Пока Франция оккупирована, она ждет от меня военных, а не литературных побед.

Но ведь не по моей вине мои военные успехи были менее блистательны. Я старался изо всех сил. Ежедневно вылетал навстречу врагу, и нередко мой самолет возвращался, изрешеченный осколками снарядов. Я был не истребителем, а бомбардировщиком, и наша профессия не была достаточно зрелищной. Мы сбрасывали бомбы на указанную цель и возвращались либо не возвращались. Я даже начал сомневаться, не дошел ли до матери слух

---

[1] Речь идет о баронессе Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг (1892—1974).

о той подводной лодке, что я упустил неподалеку от Палестины, и не сердится ли она на меня.

Издание в Англии «Европейского воспитания» сделало меня чуть ли не знаменитым. Всякий раз, возвращаясь с боевого задания, я находил новые вырезки из прессы, а агентства присылали своих репортеров, чтобы сфотографировать меня при выходе из самолета. Приняв эффектную позу и не забыв закатить глаза к небу, я стоял в летном комбинезоне, держа шлем под мышкой и слегка сожалея, что у меня уже нет черкески, которая мне очень идет. Я был уверен, что матери понравятся эти похожие друг на друга фотографии, и бережно хранил их для нее. Госпожа Иден, супруга британского министра, пригласила меня на чай, и, держа чашку чая, я очень старался не оттопыривать мизинец.

Помимо этого, я часами лежал на летном поле, подложив под голову парашют и стараясь побороть в себе чувство вечной неудовлетворенности, возмущенный шум крови, свое стремление возродиться, преодолеть трудности, победить и вырваться отсюда. До сих пор не знаю, что я имел в виду, говоря «отсюда». Думаю, участь человека. Во всяком случае, я не хочу, чтобы были брошенные.

...Временами, приподнимая голову, я дружелюбно смотрю на своего брата — на Океан: он притворяется бесконечным, но я-то знаю, что он тоже всюду наталкивается на границы: вероятно, поэтому он волнуется и шумит.

Я совершил еще пятнадцать боевых вылетов, во время которых ничего особенного не произошло.

Хотя однажды у нас был нелегкий полет. За несколько минут до цели, в то время как мы лавировали в гуще снарядов, я в наушниках услышал, как вскрикнул наш пилот Арно Ланже. После минутного молчания его голос холодно сообщил:

— Меня ранило в глаза. Я ослеп.

На «Бостоне» пилот отгорожен от штурмана с пулеметчиком бронированными перегородками, и в воздухе мы ничем не могли друг другу помочь. В тот момент, когда Арно сообщал мне, что ранен в глаза, я почувствовал острую боль в животе. Кровь мгновенно окрасила мне брюки и залила руки. К счастью, перед этим нам раздали стальные шлемы. Англичане и американцы, естественно, надевали их на голову, но мы, французы, поголовно использовали их для прикрытия более драгоценной, с нашей точки зрения, части тела. Я быстро приподнял шлем и убедился, что с этим все в порядке. Мое облегчение было столь велико, что серьезность нашего положения не очень взволновала меня. Я всегда умел отличать в жизни главное. Облегченно вздохнув, я обдумал наше положение. Пулеметчик Бодан не был ранен, но пилот ослеп; мы продолжали идти на сближение, а я был главным штурманом, то есть ответственность за бомбардировку ложилась на меня. Нам оставалось всего несколько минут до цели, и я подумал, что проще всего лететь дальше, сбросить бомбы на цель, а там будет видно. Что мы и сделали, подвергшись обстрелу еще дважды. На этот раз досталось моей спине, и когда я говорю «спине», то это из вежливости. Мне все же удалось сбросить бомбы на объект, причем с таким удовольствием, как если бы я кого-то осчастливил.

Какое-то время мы продолжали двигаться вперед, потом стали управлять Арно, подавая ему команды, и отклонились от остальной группы самолетов, передав командование экипажу Аллегре. Я потерял немало крови, и от вида липких брюк подкатывала тошнота. Один мотор не работал. Пилот пытался вытащить из глаз осколки. Оттягивая пальцами веки, он видел контур своей руки, что, видимо, означало, что глазной нерв не был задет. Мы решили прыгать с парашютом, как только самолет достигнет английского побережья, но Арно обнаружил, что сдвижная крыша над кабиной повреждена снарядом и не открывается. Не могло быть и речи, чтобы бросить слепого пилота на борту; оставалось лишь, подавая ему команды, попытаться приземлиться. Дважды наши усилия не увенчались успехом, дважды нам не удалось сесть. Помню, при третьем заходе

на посадку, когда земля под нами ходила ходуном и я, сидя в своей стеклянной клетке на носу самолета, чувствовал себя взболтанным яйцом, которое, того и гляди, вывалится из скорлупы, раздался голос Арно, по-детски прокричавший в наушники: «Дева Мария, храни меня!» И мне сделалось горько и досадно, что он просил только за себя, забыв о своих товарищах. Помню также, что, когда самолет коснулся земли, я улыбнулся — и эта улыбка, пожалуй, стала одним из моих литературных, давно вынашиваемых творений. Я упомянул здесь о ней в надежде, что она войдет в полное собрание моих сочинений.

Думаю, что впервые в истории РАФ почти абсолютно слепому пилоту удалось посадить самолет. В донесении командованию говорилось, что «в момент приземления пилоту удалось разомкнуть рукой веки, несмотря на осколки, которыми они были забиты». За этот подвиг Арно Ланже получил английский крест «За летные боевые заслуги». Зрение полностью вернулось к нему: его веки были пригвождены к глазному яблоку осколками плексигласа, но глазной нерв не был задет. После войны он стал летчиком транспортной авиации. В июне 1955-го, в Фор-Лами, когда он заходил на посадку всего за несколько секунд до торнадо, надвигавшегося на город, очевидцы видели, как молния, будто кулак, вылетела из тучи и ударила в пульт управления самолета. Арно Ланже был убит на месте. Только вероломный удар судьбы мог заставить его выпустить штурвал.

Меня поместили в госпиталь; в бюллетене о здоровье мое ранение расценивалось как «проникающее ранение брюшной полости». Но ничего существенного задето не было, и рана быстро затянулась. Куда более неприятным было то, что в процессе различных осмотров обнаружилось плачевное состояние моих органов, и главный врач подал рапорт с требованием, чтобы меня исключили из летного состава. Тем временем я покинул госпиталь и, благодаря дружеской поддержке товарищей, успел сделать еще несколько боевых вылетов.

И тут случилось самое замечательное событие в моей жизни, в которое до сих пор я не могу окончательно поверить.

За несколько дней до этого нас с Арно пригласили на Би-би-си и взяли интервью о нашем полете. Я понимал необходимость пропаганды, жажду французской публики получить известия о своих летчиках и не обратил на это особого внимания. Однако я был несколько удивлен, когда на следующий день «Ивнинг стэндард» опубликовал статью о нашем «подвиге».

После этого я вернулся на базу в Хартфорд-Бридж и сидел в офицерской столовой, когда дневальный вручил мне телеграмму. Я взглянул на подпись: Шарль де Голль.

Меня представили к кресту «За Освобождение».

Не знаю, жив ли сейчас хоть кто-нибудь, способный понять, что означал тогда для нас этот черно-зеленый бант. Лучшие наши товарищи, павшие в бою, были почти единственными, кто его удостоился. Думаю, что число погибших и здравствующих поныне кавалеров этого ордена не превышает шестисот. Часто, судя по вопросам, я без удивления замечаю, как редки те, кто знает, что такое крест «За Освобождение» и что означает этот бант. Это даже и хорошо. В наше время, когда почти все забыто или опошлено, пусть уж лучше невежество сохранит и оградит память, верность и дружбу.

На меня нашло какое-то отупение. Я бесцельно бродил, пожимая протягиваемые мне руки, и пытался извиняться, так как мои товарищи прекрасно знали, что я не заслужил такой чести.

Но всюду встречал братские рукопожатия и счастливые лица.

Я хочу и считаю нужным хоть сегодня объясниться по этому поводу. Откровенно говоря, я не вижу ничего в своих жалких усилиях, что могло бы оправдать такую награду. То, что я пытался и что мне удалось сделать, смехотворно, жалко, ничтожно по сравнению с тем, чего ждала от меня мать и чему учила, рассказывая о моей стране.

Крест «За Освобождение» пришпилил к моей груди несколько месяцев спустя под Триумфальной аркой сам генерал де Голль.

Как вы догадываетесь, я поспешно телеграфировал в Швейцарию, чтобы хоть намеком сообщить матери эту новость. Для большей верности я также написал в Португалию одному сотруднику британского посольства, прося при первой же возможности переправить с оказией письмо в Ниццу. Наконец-то я смогу вернуться домой с высоко поднятой головой: моя книга принесла матери писательскую славу, о которой она мечтала, а теперь я могу сложить к ее ногам высочайшие военные французские награды, которые она с честью заслужила.

Близилось время высадки союзников и окончания войны, и в письмах из Ниццы чувствовались радость и спокойствие, как будто бы мама знала, что конец близок. В них даже сквозил тонкий юмор, который я не совсем понимал. «Дорогой сын, вот уже долгие годы, как мы в разлуке, и надеюсь, что теперь ты привык меня не видеть, так как и я не вечна. Помни, что я всегда в тебя верила. Надеюсь, что, когда ты вернешься, ты все поймешь и простишь меня. Я не могла поступить иначе». Что она еще сделала? Что я должен простить ей? У меня мелькнула идиотская мысль, что она вышла замуж, но в шестьдесят один год это маловероятно. Я чувствовал за всем этим тонкую иронию, и мне мерещилось ее чуть виноватое лицо, которое бывало у нее всякий раз, когда она бросалась в крайности. Сколько у меня с ней было хлопот! Теперь почти в каждом ее письме чувствовалось замешательство, и я догадывался, что она совершила очередную глупость. Но какую? «Все, что я сделала, я сделала потому, что была тебе нужна. Не сердись. Я хорошо себя чувствую. Жду тебя». Напрасно я ломал себе голову.

Глава XLII

Вот я и подошел к последнему слову, и по мере приближения к развязке у меня возникает все большее искушение бросить эту тетрадь и уронить голову на песок. У концовки всегда одни и те же слова, и мне бы не хотелось присовокуплять свой голос к хору побежденных. Но осталось сказать всего несколько слов, и надо уметь доводить свое дело до конца.

Париж вот-вот должны были освободить, и я договорился с командованием, чтобы меня сбросили на парашюте в Приморских Альпах для связи с Сопротивлением.

Я ужасно боялся опоздать.

Тем более что в моей судьбе произошло необычайное событие, неожиданно дополнившее ту странную цепь приключений, которые мне пришлось пережить с момента отъезда из дома. Я получил официальное письмо из министерства иностранных дел с предложением выдвинуть свою кандидатуру на пост секретаря посольства. Причем я не знал никого ни в министерстве иностранных дел, ни в каком бы то ни было другом правительственном учреждении: у меня буквально не было знакомых среди штатских. Ни с кем и никогда я ни словом не обмолвился об амбициях своей матери, которые она питала в отношении меня. Мой роман «Европейское воспитание» наделал некоторый шум в Англии и в кругах Свободной Франции, но это был недостаточный повод для объяснения неожиданного предложения войти в должность без экзаменов «за необычайные заслуги, оказанные делу Освобождения». Я долго и недоверчиво рассматривал письмо, вертя его в руках. Оно было составлено в выражениях, далеких от официального тона деловой корреспонденции; напротив, оно было проникнуто симпатией и дружелюбием, что сильно смущало меня: это было новое чувство — сознавать себя известным и к тому же кем-то выдуманным. В это мгновение я почувствовал, как меня коснулось божественное провидение, оберегающее свет и справедливость, подобно огромному и безмятежному Средиземному морю, стоящему на страже древнего людского побережья и следящему за справедливым распределением света и тени, радостей и горестей. Судьба моей матери принимала новый оборот. Однако к моим самым радужным восторгам всегда примешивается капля яда с горьковатым привкусом опыта и осмотрительности, заставляющая меня трезво смотреть на чудеса,

и за маской провидения мне вовсе не трудно было различить чуть виноватую улыбку, которую я так хорошо знал. Мама, по своему обыкновению, снова сделала глупость. Как всегда, она суетилась за кулисами, стучала в двери, дергала за ниточки, превозносила меня там, где надо, короче, она вмешалась. Видимо, это и объясняет то замешательство и виноватость, которые сквозили в последних ее письмах, создавая впечатление, будто она просит прощения: она в который раз подтолкнула меня вперед, хотя прекрасно знала, что не должна была этого делать, что никогда ничего не стоит просить.

Высадка десанта на Юге Франции положила конец моему плану с парашютным прыжком. Я немедленно получил категорический и безоговорочный приказ от генерала Корнильон-Молинье — в моем документе, в соответствии с формулировкой, ловко найденной самим генералом, говорилось: «Срочное излечение и возвращение в строй» — и благодаря помощи американцев домчался на «джипах» до самого Тулона; дальше было несколько сложнее, но и тут пропуск с категорическим приказом генерала открывал мне все дороги. Мне запомнилось замечание Корнильон-Молинье, когда он с присущей ему сардонической любезностью подписывал документ, а я благодарил его:

— Но для нас очень важна ваша миссия. Победа, это очень важно...

Даже воздух был победоносно пьяным. Небо казалось ближе и сговорчивее, каждое оливковое дерево дружелюбно улыбалось, а Средиземное море рвалось ко мне сквозь кипарисы и сосны, сквозь проволочные заграждения, напролом через перевернутые пушки и танки, как отыскавшаяся кормилица. Я предупредил мать о своем возвращении десятью различными весточками, которые должны были дойти до нее со всех сторон через несколько часов после вступления в Ниццу союзников. Кроме того, неделю назад партизанам было передано закодированное сообщение. Капитан Ванурьен, за две недели до высадки сброшенный в этом районе на парашюте, должен был немедленно связаться с ней и сообщить о моем приезде. Друзья-англичане из подпольной организации «Бакмастер» обещали позаботиться о ней во время боев. У меня было много друзей, и они меня понимали. Они прекрасно знали, что речь идет не о ней, не обо мне, но о вечной человеческой солидарности и братской поддержке в поисках всеобщей правды и справедливости. Мое сердце переполняли молодость, вера, чувство благодарности, которые, должно быть, были хорошо знакомы древнему морю, нашему вечному свидетелю, еще с тех пор, когда впервые вернулся домой один из его доблестных сыновей. С черно-зеленым бантом «За Освобождение» на груди, на самом видном месте, чуть повыше ордена Почетного легиона, Боевого креста и пяти-шести других медалей, из которых я не забыл ни одну, с капитанскими нашивками на погонах черной походной формы, в фуражке, надвинутой на глаза, мужественный, как никогда, по причине паралича лица, со своим романом на английском и французском в рюкзаке, набитом вырезками из прессы, и с письмом в кармане, распахивавшем передо мной двери карьеры, с необходимым количеством свинца в теле для солидности, опьяненный надеждой, юностью, верой и Средиземным морем, стоя наконец-то на залитом солнцем благословенном побережье, где ни одно страдание, ни одна жертва, ни одна любовь никогда не бросались на ветер, где все имело значение и вес, где все подчинялось золотому правилу искусства, я верил, что возвращаюсь домой, сдернув с мира паутину и придав смысл жизни любимого человека.

Черные солдаты-американцы, сидевшие на камнях с такими огромными и сияющими улыбками, что казалось, будто они светятся изнутри, как будто свет шел из их сердец, вскидывали в воздух автоматы, когда мы проходили мимо, и в их дружеском смехе слышались радость и счастье выполненных обещаний:

— Victory, man, victory!

Победа, парень, победа! Наконец-то мы снова вступали во владение миром, и каждый перевернутый танк напоминал останки поверженного бога. Конники арабской кавалерии, в тюрбанах, с желтыми, осунувшимися

лицами, сидя на корточках, жарили на костре тушу быка. Из развороченных виноградников, словно надломленная шпага, торчал хвост самолета, а среди оливковых деревьев и под кипарисами виднелись полуразрушенные казематы, из которых нередко торчали мертвые пушки, низко опустив свой круглый и глупый глаз побежденного.

Я стоял в «джипе», посреди этого пейзажа, где виноградники, оливковые и апельсиновые деревья, казалось, со всех сторон бросались мне навстречу и где перевернутые поезда, рухнувшие мосты, искореженные и перепутавшиеся, будто поверженная нечисть, проволочные заграждения на каждом углу не резали глаз, омытые светом. Только на понтоне Вара я перестал замечать руки и лица, уже не стараясь узнавать тысячи родных уголков, не отвечая на радостные возгласы женщин и детей, и стоял, вцепившись в ветровое стекло и вытянувшись навстречу приближавшемуся городу, кварталу, дому и силуэту матери, уже, должно быть, ждавшей меня под победоносным флагом.

Здесь мне стоило бы прервать свой рассказ. Не для того я пишу, чтобы бросить на землю еще бóльшую тень. Мне тяжело продолжать, и я сделаю это как можно быстрее, наскоро дописав последние слова, чтобы кончить и уронить голову на песок пустынного Биг-Сура, на берегу Океана, где я напрасно надеялся уйти от обещания кончить этот рассказ.

У отеля-пансиона «Мермон», где я остановил «джип», меня никто не встречал. О моей матери что-то слышали, но никто ее не знал. Мои друзья разъехались. Мне потребовалось немало времени, чтобы узнать правду. Моя мать умерла три с половиной года назад, через несколько месяцев после моего отъезда в Англию.

Но хорошо зная, что я не выстою без ее поддержки, она приняла меры. За несколько дней до смерти она написала около двухсот пятидесяти писем и переслала их своей подруге в Швейцарию. Я не должен был знать — письма должны были посылаться мне регулярно — вероятно, это-то она тайно и обдумывала, когда я поймал ее хитрый взгляд в клинике Сент-Антуан, где в последний раз видел ее.

Итак, мать продолжала вселять в меня силу и мужество, необходимые для продолжения борьбы, в течение трех с лишним лет, хотя ее уже не было.

Пуповина продолжала действовать.

Ну вот и все. На пляже Биг-Сур ни души на сотню километров, но порой, когда я поднимаю голову, то на одной из скал, прямо перед собой, вижу тюленей, а на другой — тысячи бакланов, чаек и пеликанов, а иногда и фонтанчики китов, проплывающих в открытом море, а если час-другой я неподвижно лежу на песке, то надо мной начинает кружить ястреб.

Теперь уж прошло много лет с тех пор, как завершилось мое падение, и мне кажется, что я упал именно сюда, на прибрежные скалы Биг-Сура, и скоро вечность, как я прислушиваюсь и пытаюсь разобрать шепот Океана.

Если честно, то я не был побежден.

Теперь у меня начали седеть волосы, но они плохо маскируют меня, я нисколько не состарился, хотя скоро дорасту до своих восьми лет. Главное, мне бы не хотелось, чтобы думали, будто я приписываю этому слишком большое значение, я отказываюсь придавать своему падению универсальное значение, и, поскольку уж у меня вырвали из рук факел, я с надеждой и с упованием улыбаюсь, думая о других руках, готовящихся его схватить, и о скрытых в нас, зарождающихся, еще не проявившихся силах. Не сделав никаких выводов из своего конца, не придя к смирению, я всего лишь отказался от себя самого и, право, не вижу в этом большой беды.

Конечно, судьба обделила меня. Видимо, нельзя так сильно любить одного человека, даже если это ваша мать.

Я заблуждался, думая, что можно победить в одиночку. Теперь, когда меня уже нет, все встало на свои места. Люди, народы, имя которым легион, стали моими союзниками; я не разделяю их внутренние распри

и как забытый часовой стою на горизонте, устремив взгляд вовне. Я по-прежнему узнаю себя в каждом обиженном существе и сделался абсолютно неспособным к братоубийственным войнам.

Но что касается остального, то после моей смерти прошу внимательно взглянуть на небосвод: вы увидите рядом с Орионом, Плеядами или Большой Медведицей новое созвездие — эдакого Злюку, всеми зубами вцепившегося в некий божественный нос.

Случается, что и теперь я бываю счастлив, как, скажем, здесь, в этот вечер, лежа на пляже Биг-Сур, окутанном серой дымкой, когда до меня доносится крик тюленей и достаточно слегка приподнять голову, чтобы увидеть Океан. Я внимательно прислушиваюсь, и мне все время кажется, что я вот-вот пойму, что он хочет мне поведать, что я наконец-то расшифрую код и разберу настойчивый, нескончаемый шепот прибоя, который упорно пытается что-то сказать мне, что-то объяснить.

А иногда я перестаю прислушиваться и просто лежу на берегу и дышу. Это заслуженный отдых. Я действительно выбивался из сил, делая то, что мог.

В левой руке у меня зажата серебряная медаль чемпиона по пинг-понгу, которую я завоевал в Ницце в 1932 году.

Довольно часто можно видеть, как, сняв куртку, я вдруг бросаюсь на коврик и начинаю сгибаться, разгибаться, снова сгибаться, крутиться и вертеться, но тело держит меня крепко, и мне не удается вырваться из его пут, раздвинуть его стенки. Обычно люди думают, что я просто занимаюсь гимнастикой, а один крупный американский еженедельник сфотографировал меня в разгар такого упражнения и напечатал мое фото на целый разворот как пример, достойный подражания.

Я достойно сдержал и продолжаю сдерживать свое обещание. Всем сердцем я служил Франции, так как это все, что у меня осталось после смерти матери, не считая ее маленькой фотокарточки с удостоверения личности. Кроме того, я пишу книги, сделал карьеру и одеваюсь полондонски, как и обещал, несмотря на свое отвращение к английскому покрою. Сверх того, я сослужил человечеству большую службу. Однажды, например, в Лос-Анджелесе, где я был Генеральным консулом Франции, что, естественно, накладывало некоторые обязательства, войдя утром в салон, я увидел колибри, которая доверчиво влетела туда, зная, что это мой дом, но порыв ветра захлопнул дверь, сделав ее пленницей в четырех стенах. Она сидела на подушке, крохотная и сраженная непониманием, вероятно отчаявшаяся и упавшая духом, и плакала одним из самых печальных голосов, какие мне когда-либо приходилось слышать, ведь мы никогда не слышим собственного голоса. Я открыл окно, и она улетела: я редко бывал так счастлив, как в эту минуту, и понял, что живу не напрасно.

В другой раз, в Африке, я вовремя дал пинка одному охотнику, который целился в газель, неподвижно стоявшую на дороге. Были и другие, подобные этим, случаи, но мне не хочется, чтобы обо мне думали, что я слишком хвастаю своими подвигами на земле. Я рассказал это только для того, чтобы доказать, что я и вправду старался изо всех сил. Я никогда не был ни циником, ни пессимистом, наоборот, часто полагался на надежды и предчувствия. В 1951 году, в пустыне Нью-Мексико, я сидел на скале из лавы, когда две маленькие, совершенно белые ящерицы вскарабкались на меня. Они доверчиво и бесстрашно изучили меня вдоль и поперек, а одна из них, спокойно опершись передними лапками на мое лицо, приблизила свою мордочку к моему уху и надолго замерла. Нетрудно себе представить, с каким волнением и надеждой, с каким предчувствием я, замерев, ждал. Но она ничего не сказала мне, или же я не расслышал. Тем более странно считать, что человек абсолютно открыт и не составляет загадки для своих друзей. Мне также не хотелось бы, чтобы обо мне думали, будто я все еще жду какой-то тайны, какого-то откровения, это не так. К тому же я не верю в перевоплощения и во все эти наивности. Но раньше я не мог помешать себе во что-то верить. После войны я был тяжело болен — не мог наступить на муравья, видеть тонущего майского жука и кончил тем, что написал

толстую книгу, требуя, чтобы человек взял защиту природы в свои руки. Не знаю, что я, собственно, вижу в глазах зверей, но в их взгляде таится какой-то немой вопрос, какое-то непонимание, которое что-то напоминает и глубоко волнует меня. Впрочем, дома у меня нет зверей, поскольку я легко привязываюсь и поэтому предпочитаю Океан, который умирает не так быстро. Друзья считают, что у меня есть странная привычка неожиданно останавливаться посреди улицы, поднимать глаза к свету и надолго замирать в красивой позе, как если бы я все еще хотел кому-то понравиться.

Ну вот и все. Пора уже уходить с пляжа, где я слишком давно лежу, слушая, как шумит море. Вечером на Биг-Сур опустится легкий туман и станет прохладно, а я так и не научился самостоятельно разжигать огонь. Попробую остаться еще немного и послушать, потому что мне все время кажется, что я вот-вот пойму, о чем мне говорит Океан. Я закрываю глаза, улыбаюсь и прислушиваюсь... Со мной опять происходят странности. Чем пустыннее становится берег, тем более людным кажется он мне. Тюлени на скалах затихли, и я лежу с закрытыми глазами и улыбаюсь, воображая, как один из них тихонько подкрадется ко мне и ткнется в щеку или под мышку своей ласковой мордочкой... Жизнь прожита не зря.

Литературное наследие

ДЖУЗЕППЕ ДЖОАКИНО БЕЛЛИ

Сонеты

Перевод с итальянского ***ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА***

«Есть в Риме поэт...»

23 июня 1839 года, сразу по возвращении из Италии, французский критик Сент-Бёв рассказывал в письме другу: «Есть в Риме поэт (и я сожалею, что не встретил его), причем поэт истинный, как говорили мне люди сведущие. Его имя Белли, он пишет сонеты на транстеверинском наречии, сонеты, которые образуют последовательный ряд и составляют единую поэму. Он оригинален, остроумен, по всеобщему мнению, особенно же — в глазах художника; похоже, это действительно большой поэт, чьи стихи вобрали в себя жизнь Рима; он не печатается, его вещи остаются в рукописи и почти совершенно не имеют распространения...»

В тех же словах, лишь едва изменив их, Сент-Бёв напишет о Белли в 1845 году, откликаясь на вышедшую во Франции под названием «Русские новеллы» книгу Гоголя, однако на этот раз он раскроет инкогнито «людей сведущих»: «...Гоголь рассказал мне, что познакомился в Риме с истинно народным поэтом по фамилии Белли...».

«Иностранная литература» уже обращалась к творчеству Белли, приурочив публикацию к 175-летию со дня рождения Гоголя и предпослав сонетам эссе Н. Томашевского «Гоголь и Белли», посвященное одной из самых знаменательных страниц в истории русско-итальянских литературных связей [1].

Свод стихотворений, задуманный Белли как памятник римскому простонародью, составил в итоге более двух тысяч сонетов, написанных на римском (транстеверинском) диалекте между 1830 годом и серединой сороковых годов. Из этого числа при жизни поэта и с его ведома был напечатан лишь один сонет (еще около двух десятков тиснули не только без ведома автора, но и в искаженном виде).

Обладая искуснейшим даром перевоплощения, Белли выступает в своих римских сонетах от лица обывателя, живо реагирующего на то, что происходит в его собственном доме и в доме соседа или соседки, на улице и в трактире, в кукольном театре и на раскопках вечного города, в чертогах богача и в бедном жилище, в судьбе государства и в судьбах его подданных. Рим Белли — это столица Папского государства, где не только духовная, но и светская власть принадлежала первосвященнику, и антиклерикализм поэта следует прежде всего воспринимать как бунт против тоталитарного господства церкви, против ее засилия. Белли то и дело выводит на авансцену представителей духовенства, что не случайно: на 165 000 римлян в ту пору приходилось 49 епископов, 2968 священников, 3110 монахов, 1500 монахинь. А кардиналы? А папа? Кстати, по частоте употребления слово «папа» в словаре римских сонетов Белли занимает второе место.

Сонеты Белли можно сравнить с маленькими спектаклями или даже уподобить сценам из одного большого спектакля — своего рода «Человеческой комедии», автор которой является одновременно и режиссером. Пусть же читатель представит себя зрителем и приготовится перенестись в город, что так любил Гоголь. Через секунду поднимется занавес. Вход в зрительный зал разрешен и после третьего звонка, ведь, по утверждению автора, в его римских сонетах «каждая страница — начало книги, каждая страница — конец».

Е. С.

---

[1] Сонеты Дж. Дж. Белли (1791—1863) см. в «ИЛ», 1984, № 7.

Первый кусочек

Который из грехов страшнее всех?
Все беды в мире отчего поперли?
Без лишних споров побожусь, на спор ли —
Чревоугодье самый главный грех.

Все с яблочка пошло — ну просто смех!
Через него отметина на горле
У тех, кто жив, у тех, что перемерли,—
У всех кадык: у этих и у тех.

Да, по Адаму плакала дубина!
А Ева лучше, лакомка прамать?..
Я думаю, тебе ясна картина.

Была бы в этом мире тишь да гладь,
Так Бог Отец единственного Сына
Не стал бы на подмогу посылать.

Просьбы не докуки, как не пусты руки

С тех пор, когда Адам испортил Еву,
Все женщины слабы на передок.
Чего ж ты мне поешь про недотрог
И меришь всех по этому припеву?

Дурак! Бояться, что обидишь деву!
Любую можно — вдоль и поперек,
Но только помнить надобно, телок,
Что с женщиной нельзя без подогреву.

Гребенку или веер подари,
В трактирчик пригласи — потраться малость,
И все оттает у нее внутри.

Уж до чего моя кума ломалась —
Не подступиться, черт ее дери,
Но преподнес передник — и поймалась.

Святейшее папское благословение

Быстрее, ну чего ты, в самом деле!
Небось уже носилки на пути,
А мы с тобой плетемся еле-еле,
Прошляпим папу, если так ползти.

Кто хворый, едет прямо из постели,
Так что нельзя извозчика найти...
Ну, слава Богу, кажется, поспели!
Ого, толкучка в храме — не войти!

Ага, сейчас толпа в сторонку примет,
Пропустит папу... Вот он — выше всех!
Теперь он руки, как всегда, подымет...

Но ежели какой угодно грех
Святой отец благословеньем снимет,
Грешить безбожно можно без помех.

Доброе сердце дона Клементе

Жить бобылем не то чтоб надоело,
Но дон Клементе мне нашел жену —
Присватал прихожаночку одну,
И впрямь красотку, можешь верить смело.

Он так сказал: «Послушай, Раффаэлло,
Твое земное счастье на кону,
Женись, я вам деньгами подмогну,
На кольца дам, за мной не станет дело».

Он тратится вовсю уже сейчас,
Открыть собрался лавочку для нас,
Чтоб нам с женой ни в чем нужды не знать бы.

Таддео, я женюсь: святой отец
Так рад меня отправить под венец,
Что сроку только месяц дал до свадьбы.

Столпотворение

Смекай, зеваки зря бы не стояли,
Гляди, какая давка — не пройдешь!
Не то кому всадили в драке нож,
Не то вора на Консульской поймали.

С чего понабежали? Не поймешь...
Ух ты! А вдруг сыскали клад в подвале?
Нет, головы наверх позадирали.
Пожар? А если не пожар, так что ж?

Поближе протолкаться бы немножко...
А вдруг какому умнику с тоски
Приспичило бросаться из окошка?

Смеются, что ли? Тьфу ты! Поглазей-ка,
Нашли на что дивиться, дураки:
Из клетки упорхнула канарейка.

Ревнивый любовник

Заворковала, гадина, страшила!
Шалишь, я улестить себя не дам,
Хотя, сдается, ты уже решила,
Что улестила,— вижу по глазам.

Теперь юлишь, заглаживаешь страм,
Не выйдет ни хрена, поскольку шила
В мешке не утаишь: я слышал сам,
Как ты с другим условиться спешила.

Попробуй, ведьма, отрицать, посмей,
Проклятая, сказать, что не хотела...
Ага, молчит?! А я-то, дуралей!

Выходит, и взаправду было дело!
Брехунья! Ну, гляди, тебе видней!
Другую заведу! Осточертело!

Мальчишкам, мешающим послеобеденному отдыху в жаркий день

Ишь, разорались под окном, щенки!
Учить вас надо, коли бестолковы,
Проваливайте, так-растак, не то вы
Дождетесь у меня, озорники!

Оденусь только... Где мои портки?
Гляди, как смачно кроют, сквернословы,—
Нас, мастаков, перешибить готовы,
А ведь еще малявки, сосунки.

Вы не даете людям жить на свете,
Но вам, паршивцам, это все равно.
Я вас давно имею на примете

И собираюсь всыпать вам давно,
Так что молите Бога, сучьи дети,
Чтоб снова камень не попал в окно.

Не будем шептаться

Послушай, надо быть добрее к людям
И видеть в них достоинства одни,
А недостатки — Боже сохрани,
Шептаться о дурном и то не будем.

Мы даже негодяев не осудим,
Давай кричать, что ангелы они,
Не то, когда окончим наши дни,
Мы в Царствии небесном не пребудем.

И ты в пример Франческу не бери,
Она и Богородицу поносит,
Что, мол, не дева, черт ее дери!

Ну язычок, напропалую косит!..
А вечером на стерву посмотри:
Ложится перед каждым, кто попросит.

Папская кухня

Приятель повар допустил с утра
Меня святейшей кухне подивиться.
Такое и во сне-то не приснится,
Не кухня — пристань, полная добра.

Но по порядку рассказать пора:
Телячьи ножки, рыба, яйца, птица,
Свинина, дичь, ну, в общем, чтоб не сбиться,—
Диковин разных цельная гора.

Приятного желаю аппетита
Святому папе. А дружок в ответ:
«И кладовая доверху набита».

А я: «Наверно, он хоть по разочку
Зовет преосвященных на обед?»
«Не-е! — говорит.— Вкушает в одиночку».

Нунциата и капрал, или Знай меру

Джованни, ну куда опять полез-то?
Уже и так пять с половиной раз!
Еще поцеловать тебя? Сейчас.
Но только руки убери на место.

Ну что ты мнешь? Ведь я тебе не тесто.
Никак оставил силы про запас?
Прошу тебя без этих выкрутас,
А то не поцелую в знак протеста.

Однако ты горяч не по цене!
Да, около казармы клиентура —
Не разжигешься... Дай одеться мне!

Теперь плати — всему законный срок,
А то я в церковь не успею, дура...
Увидимся, даст Бог, под вечерок.

Решение конклава [1]

Слышь — пушки? О-го-го! Палят дай Боже!
Слышь — растрезвонились колокола?
Считай, бодяга кончилась. Похоже,
Что церковь папу нового нашла.

Кого мы получили? Спросишь тоже!
Наверняка обычные дела:
Одна взамен другой унылой рожи,
Дай Бог, чтоб только хуже не была!

Пока мы тут с тобою балагурим,
Начнет он выпускать воров из тюрем,
Велит деньжат для бедных отгрести.

Ну, а недельки через три-четыре,
Как все другие папы в этом мире,
Собакой станет — Господи, прости.

Запор

У немцевой жены, у бедной Розы,
Шесть дней уже как начался запор.
Касторки дать — и весь бы разговор:
Прочистило бы от хорошей дозы.

Она и слушать не желает — в слезы,
Так и сидит без стула до сих пор,
А муженек, рогатый живодер,
Не видит в этом никакой угрозы.

В трактире на моих глазах вчера
Тарелку потрохов и полбарашка
Умял за разговором немчура.

Видать, и самому-то было тяжко:
Хватило бы и на двоих добра,
Но ведь жена не может есть, бедняжка.

---

[1] Сонет датирован 2 февраля 1831 г., днем окончания конклава, который продолжался почти два месяца и завершился избранием на папский престол кардинала Бартоломео Альберто Каппеллари, взявшего имя Григория XVI. (*Прим. перев.*)

Воспитание

Тебе, сынок, запомнить бы не худо:
Отцовская наука такова,
Что раз тебя ударят — стукни два,
Недаром в каждом кулаке полпуда.

Начнет тебе какой-нибудь зануда
Мораль читать, ты плюй на все слова:
У каждого своя, мол, голова.
А то пошли его: «Катись отсюда!..»

Стаканчик заработал на пари —
Дружкам ни капли не давай смотри:
У самого, мол, пересохло в глотке!

И главное, все время помни, сын,
Что ты, как твой отец, христианин,—
Держи в кармане острый нож и четки.

Чичероне не у дел

Я вам скажу, мусью, что в этом мире
Я самый разнесчастный человек:
Меня не нанимали целый век,
И я уже не емши дня четыре.

Я дождь имею прямо на квартире —
Хоть по примеру Ноя ладь ковчег! —
И дождь, и град, и натуральный снег,
Как будто мы в какой-нибудь Сибири.

Небось монах бы нипочем не лег
Спать на подстилке, на которой сплю я,—
Мешок с картошкой мягче, видит Бог.

Сто раз просил — видали обалдуя? —
Чтобы святейший папа мне помог,
И знаете, чего дождался?..

Мужская доля

Сначала девять месяцев торчи
Без воздуху — недурно для почину! —
Потом в пеленках ножками сучи,
Потом постромки надевают сыну.

Потом, бедняга, грамоту учи,
Чуть что не так — исполосуют спину,
Прибавь матрас в разводах от мочи,
Прибавь краснуху, корь и скарлатину.

Потом труды, голодное житье,
Знакомство с каталажкой, с лазаретом,
С властями, с кредиторами, бабьё,

Зимою холода, жарища летом...
А там и смерть, когда Господь ее
Дарует нам, глухим к его заветам.

ЯН ЮЗЕФ ЛИПСКИЙ

ДВЕ РОДИНЫ — ДВА ПАТРИОТИЗМА

(Заметки о национальной мегаломании и ксенофобии поляков)

Перевод с польского и вступление ВЛАДИМИРА БРИТАНИШСКОГО

Великий зверь перед зеркалом

Эта статья Яна Юзефа Липского (скончавшегося осенью 1991 года) написана одиннадцать лет назад, в 1981-м. Вышла тогда отдельной брошюрой в польском самиздате, тут же была перепечатана в польском эмигрантском журнале «Культура» в Париже (откуда я ее и перевожу), тут же была переведена на немецкий (во «Frankfurter Allgemeine Zeitung») и на французский (в журнале «Esprit»), вызвала шум в польской прессе — и в Польше, и в эмиграции.

Жизнь публицистской публикации зачастую оказывается столь же короткой, как шум вокруг нее. Иной раз приходится слышать, будто публицистика по самой природе своей, «по определению»,— жанр сиюминутный и недолговечный. Это совсем не так. Недавно, рассказывая по радио об Александре Сумарокове, я прочел некоторые фрагменты его публицистики, и люди, не знавшие его как публициста, были поражены, сколь современно звучат его высказывания двухсотлетней давности.

Одиннадцать лет — не двести, но последние годы были временем таких колоссальных и лавинообразных перемен и в Польше, и во всей Восточной, Центральной и Южной Европе, и особенно у нас, в бывшей метрополии бывшего социалистического лагеря, что очень многое писанное в 1981 году совершенно устарело. А вот в статье Липского устарели только немногие строки, привязанные к тому времени. Сама же статья жива, актуальна, к сожалению, даже гораздо актуальнее, чем в момент написания, и боюсь, что будет актуальной еще долго.

«Призрак витает над Восточной Европой, призрак национализма»,— с удивлением воскликнул в 1990-м один из авторов одного из польских журналов. А сейчас, в 1992-м, мы — уже не с удивлением, а с ужасом — видим, как этот призрак то тут, то там материализуется (и в Европе, и на границе с Азией, и в Азии), удваивается, раздваивается, и два соседних народа, до сих пор добрососедски сосуществовавшие, вдруг начинают братоубийственную резню — горят города и села, гибнут люди, кровоточат нации. Кто бы мог подумать! Кто бы мог прогнозировать такое десять лет назад!

А тогда, в 1981-м, мыслящие люди менее всего думали о национализмах. Все засмотрелись на Польшу. Сквозь шум глушения разбирали фамилии деятелей польской оппозиции, в том числе фамилию Липского, он «был сердцем и гордостью демократической оппозиции», сказал кто-то над его гробом недавно, но сказал правду. Липский был в центре событий; 15 декабря 1981-го, на третий день военного положения, он проберется на бастующий завод «Урсус». В это горячее время он пишет статью «Две родины — два патриотизма». Это писалось как нечто срочное, как неотложная, немедленная реакция на замеченный автором неожиданный рост национализма в Польше, сопутствовавший, как это часто, увы, бывает в истории разных народов, рождению массового движения, каковым была «Солидарность» 1980-1981 годов. Он угадывает, что после грядущих — в Польше, в Европе, в мире — перемен именно проблема национализмов и межнациональных отношений станет важнейшей, самой больной. Межнациональные отношения — тема всей его статьи. На материале истории целого тысячелетия. Он ведь историк по призванию.

Семнадцатилетним юношей он был участником Варшавского восстания, был тогда ранен, награжден Крестом за Отвагу. Отвагу он проявлял и позже. В сентябре 1982-го, едва оправившись после операции на сердце, сделанной ему в Лондоне, вылетел в Варшаву, где шел процесс и его должны были арестовать, и арестовали.

Писать бы ему об истории литературы, как писал он поначалу. Ведь этот «вечный» диссидент, многократный политзаключенный, а в конце жизни — сенатор и руководитель возрожденной им (после сорока лет политического небытия) Польской социалистической

партии, «по происхождению» был филологом, в первые годы своего диссидентства успел защитить диссертацию. Особенно любил он поэзию, любил и умел писать о ней, тонко, умно, аналитично, поблескивая и позвякивая всеоружием литературной и философской эрудиции. Но действительность заставляла его писать о другом. Он автор книги из новейшей истории — о «Фаланге»: о польских фашистах 1930-х годов, память о которых заслонена памятью о других фашизмах и тоталитаризмах Европы, но о которых тоже забывать не следует. Сейчас в Польше готовится к изданию его том «Очерки о литературе и о национализме». Печаталась его книга из истории наиновейшей — о польском Комитете защиты рабочих (КОР, 1976 — 1981), одним из создателей которого он был.

Но говорят, что и в последние свои годы, в вихре политики, он продолжал следить за поэзией. А значит, не мог пропустить, не прочесть в 1988 году новое стихотворение Чеслава Милоша — о Великом Звере:

...Многомиллионноголовый Зверь
хочет слышать лишь приятные вещи.
Хочет слышать, что он великолепный,
героический, мудрый, благородный,
Толерантный, милосердный, великодушный,
нравственно безупречный,
Хочет, чтобы им восторгались,
называли вдохновеньем мира,
Ставили его в пример за его достославные деянья...

С горечью и с иронией Милош констатирует, что любви и хвалы может удостоиться лишь демагог:

...То есть тот, кто льстит, улещает,
Успокаивает Великого Зверя,
Шепчет ему: «Спи, лишь твои враги
находят в тебе изъян».

Отдельные черточки Великого Зверя в стихотворении Милоша можно отнести к полякам: «героическими» видят поляков все беспристрастные люди среди их соседей, «толерантными» же особенно любят видеть себя сами поляки, слово «толерантность» — одно из самых затрепанных в польской журналистике и в исторической популярщине.

Но стихотворение — о нации как таковой, о любой нации. Об этом Великом Звере, который, глядя в «зеркальце» своей публицистики или поэзии со всегдашним вопросом «Я ль на свете всех милее?», хочет слышать лишь положительный ответ, не хочет знать о себе ничего плохого, на правду о себе сердится (и тогда ему сразу же начинают мерещиться «враги»).

Статья Липского — правдивое и беспощадное зеркало. В это зеркало, поставленное им перед поляками, должна взглянуть на себя каждая нация. Не «кумушек считать», а «на себя оборотиться».

Отвечая одному из читателей-поляков, упрекнувшему автора, что он слишком выпячивает грехи поляков в отношении украинцев и недостаточно «уравновесил» их грехами украинцев в отношении поляков, Липский писал, что о грехах украинцев он надеется прочесть статью «какого-нибудь из украинских историков».

Статья Липского — вызов, брошенный историкам, публицистам, интеллигенции всех наций. В Польше нашелся автор такой статьи — найдется ли он среди русских, украинцев, немцев, литовцев, евреев, армян и всех, всех?

Статья Липского — продолжение прекрасной старопольской традиции. Да, поляки порой грешат самовосхвалением и самолюбованием, но всегда живо было среди поляков и умение посмеяться над этой своей чертой. Начиная с давних плебейских шуток о Солдате Самохвале. Всегда находились люди, способные сказать полякам горькую и гневную правду о них самих. Начиная с выдающегося проповедника рубежа XVI — XVII столетий Петра Скарги, восхвалявшего «любовь к отчизне», но и клеймившего «явные грехи» поляков и пророчившего гибель их государству, если они не опомнятся («От этой вашей надменности... и что других презираете, и о самом Господе Боге не думаете, погибнете... Эти жестокости, которые вы вашим подданным чините, себя обогащая, а их вконец губя, на вас обратятся. Попадете в жестокие руки неприятелей ваших, которые угнетать вас будут хуже, нежели вы подданных угнетали...»). Собственно, такова и была роль пророка в любом народе, с библейских времен: говорить правду своему народу о его «беззакониях» и «грехах». В Польше такую правду говорили поэты-«пророки», будь то Словацкий или Норвид.

А другой поэт-«пророк», Мицкевич, лелеял мечту (поведанную им Пушкину)

...о временах далеких,
Когда народы, распри позабыв,
В единую семью соединятся...

Эти времена остаются по-прежнему далекими. Распри, даже давние распри, забывают-

ся нелегко. Обиды помнятся веками. Нужно разорвать этот круг взаимного счета обид. И Липский советует полякам помнить не те обиды, которые причинили им, а те обиды, которые причинили другим они сами. Так вернее будет прийти ко взаимному забвению обид, ко взаимному прощению друг друга.

Задача Липского в этой статье — практическая. Он убеждает не сыпать соль на собственные раны, не расцарапывать их собственными когтями. Не искать в истории аргументы в свою пользу, аргументы против «врага». Он не обходит больные и конфликтные эпизоды прошлого. Но и разрушает удобные стереотипы мышления, напоминает то, чего народ помнить не любит. Приходится и мне как комментатору по его следам касаться именно польских «грехов», в том числе таких, которые в польском сознании объяснены или даже «оправданы» худшими грехами других народов. Липский таких «оправданий» не признает.

В давней польской Речи Посполитой существовало право вето: один депутат сейма мог опротестовать своим личным несогласием все решения целого сейма. Это было крайностью, крайним выражением, но выражением уважения к отдельной личности, к ее мнению. В стране, где была такая вековая традиция, мог быть воспитан этой традицией Липский. Умеющий не только «истину царям с улыбкой говорить» (этим он тоже занимался: он был инициатором многих писем-протестов польской интеллигенции в 1960-х годах в адрес высшей власти), но и говорить истину своему народу.

Родина существует только в том случае, если существует чужбина; нет «своих», если нет «чужих». От отношения к «чужим» форма патриотизма зависит более, чем от отношения к «своим». Есть всегда что-то парадоксальное в том, что любовь к своей стране и к своему народу может быть определена лишь через отношение к другим странам и другим народам, но это парадокс, присущий всякому умственному или эмоциональному вычленению.

Кто это «свои» — и кто «чужие»? Чем отличается «моя» страна — от не моей? Мой народ — от не моего?

В таких вопросах речь идет не о каком-то описуемом содержании: что мы говорим по-польски, а «они» на других языках, что мы, например, живем в иной культурной структуре, нежели «они»,— поскольку мы приняли христианство в X веке с Запада, поскольку с Запада пришли к нам Ренессанс, Просвещение, романтизм и т. д.,— ведь если даже кто-нибудь из нас считает, что величайший поэт, какого дало человечество,— это Гёте, или Данте, или Шекспир,— все же Мицкевич и Словацкий как-то иначе живут в нас (или мы в них), потому что навсегда в нашу национальную память вросли годы неволи и борьбы за освобождение и т. д., и т. д.; что даже, может быть (хоть это спорно), нас отличает в большинстве нечто такое, как национальный характер. Дело не в описательных утверждениях, а в ценностях и оценках; или мы считаем себя лучшими или только иными; полагаем ли мы, что в этой инакости есть какая-то особая ценность (и какая?); полагаем ли мы, что нам надлежат на каком-то основании особые права и привилегии — а может быть, обязанности? В зависимости от ответа на эти вопросы мы исповедуем разные патриотизмы. В случаях крайних мы, по существу, люди, имеющие разные родины,— если родина — это прежде всего духовные блага и ценности, а не только факт той или иной этнической принадлежности.

Мир ценностей, из которого нужно смотреть на проблему родины,— это прежде всего (хотя и не только) мир ценностей нравственных. Мы принадлежим к тому культурному кругу, этические понятия которого сформировало, главным образом, христианство. Верующие или неверующие, мы сформированы заповедью любви к ближнему, основным нравственным ориентиром нашей культуры. Я не хотел бы таким утверждением оспаривать важность нравственного итога иных религий и мировоззрений. Иудаизм, из которого вышло христианство, ислам, буддизм, индуизм, наиболее светская из них этическая культура конфуцианства и т. д. выработали достойный уважения итог в области этики. Мыслители нашего культурного круга, представляющие нерелигиозное, светское направление,— также обогатили нашу этическую мысль и сознание. Тем не менее воспитало нас прежде всего именно христианство — и в пределах основных идей этой этики мы хотим остаться.

Я полагаю, что шовинизм, национальную мегаломанию, ксенофобию, или ненависть ко всему чужому, национальный эгоизм нельзя совместить с христианской заповедью любви к ближнему. Патриотизм же — совместить можно. Как

особенная любовь в семье не должна быть препятствием для любви к ближнему — так и особенная любовь к членам той же самой национальной общности должна быть подчинена этой же наивысшей нравственной норме. Патриотизм возникает из любви — и к любви должен вести; всякая иная его форма — это нравственная деформация.

*

«Любовь ко всему, что польское» — это часто встречающаяся формула национальной, «патриотической» глупости. Потому что «польскими» были ведь и ОНР [1], и погромы во Львове, Пшитыке и Кельце [2], и «гетто» в университетских аудиториях [3], и пацификации украинских сел, и Брестский процесс [4], и Береза Картуская [5], и лагерь в Яблонне в 1920 году,— если ограничиться лишь двадцатью годами нашей истории. Патриотизм — это не только уважение и любовь к традиции, но также беспощадная селекция элементов этой традиции, обязанность интеллектуальной работы в этом плане. Вина за ложную оценку прошлого, за увековечивание нравственно ложных национальных мифов, за служащее национальной мегаломании замалчивание темных пятен нашей истории — эта вина, вероятно, меньше с нравственной точки зрения, чем практическое причинение зла ближнему, но она — предпосылка нынешнего зла и путь к будущему злу.

Мы не любим припоминать, как огнем и мечом покоряли ятвягов [6],— это портило бы нам образ польского народа, который якобы никого никогда не покорял. Мы не любим помещать в наших исторических компендиумах сведения об истреблении гарнизона Великих Лук [7] после капитуляции — потому что это противоречит рыцарско-гуманистическому стереотипу нашей истории. Мы забываем о методах подавления украинских бунтов и восстаний, о рейде нашего национального героя Стефана Чарнецкого [8], истреблявшего поголовно деревню за деревней, вплоть до младенцев; о безумном коловороте реваншей и контрреваншей, составляющих вот уже лет двести-триста мрачное содержание польско-украинской истории. Мы гордимся польской веротерпимостью [9] — но лишь мимоходом вспоминаем, когда она кончилась и как. Мы гордимся трагическим участием польских солдат в Испанской кампании Наполеона — так, как если бы Сомосьерра, разгром солдат, защищающих независимость своей родины, была страницей славы, и стараемся сделать все, что можно, чтобы забыть о позоре Сарагосы или извратить это событие [10]. О некоторых темных страницах межвоенного двадцатилетия я уже вспоминал.

Нельзя нам так поступать! Каждое умолчание подливает масла в огонь национальной мегаломании, это болезнь; каждое уклонение от признания собственных вин губит национальную нравственность.

В польской исторической литературе мы имеем две традиции, одна служит национальной мегаломании, другая — это традиция Жеромского, горькая традиция расчетов с прошлым: здесь Сарагоса — и трагедия и национальный позор одновременно [11]; оккупант-австриец приходит с законодательством, несущим известный социальный прогресс; польский крестьянин времен восстания 1863 года показан с натуралистической правдой, сколь же далекой от «патриотических» олеографий; независимая Польша, ее аппарат власти страшно — и предостерегающе — обвинены в «Кануне весны»[12]. Мы должны вернуться к Жеромскому и к его патриотизму, выраженному в его творчестве. Нужны были парадоксы шестидесятых годов в ПНР, чтобы Анджея Вайду [13] с «патриотических» позиций атаковали именно за то, что он нашел у Жеромского; чтобы творчество автора новеллы «Расклюет нас воронье» [14] стало темой историко-литературных спекуляций в период наступления мочаровщины [15].

Будем же остерегаться и подозрительно смотреть на каждое новое наступление «патриотизма», если он состоит в некритическом тиражировании излюбленных лозунгов национальной мегаломании. За фразеологией и реквизитами, милыми сердцу поляка, нас подстерегают циничные социотехники, которые смотрят, клюет ли рыба на уланский кивер, на картинку крылатых гусар [16], на куртку варшавского повстанца. «Опасная тут скрыта сила: засасывает, как трясина»,— пишет Милош в «Нравственном трактате» [17].

Родимой патриотической фразеологии в официальной прессе сопутствует уже многие годы травля тех, кто осмеливается портить картинки и панорамки, рассчитанные на дурачков. Особенно застряли у меня в памяти нападки на «По-

чтовые вариации» Казимежа Брандыса [18]. Это одна из самых значительных и самых умных книг писателя. Целая свора «патриотичных» журналистов и критиков бросилась на него как на того... который смеется и издевается над нашим прошлым. Это было поразительно. Брандыс волнующе изобразил судьбу польской семьи, которая в каждом очередном поколении подымается вместе со всей нацией на борьбу за независимость родины — и в каждом поколении терпит поражение, сталкивающее побежденных на самое дно нужды, болезней, социального и психического краха. Именно такова трагическая правда о судьбе если не целой нации, то, по меньшей мере, элиты, несущей в себе ее самосознание. Я читал эту книгу так, как читаешь реляции историков об очередном поражении нации, я был почти болен во время чтения, я еще раз переживал трагизм нашей истории. И потом узнаёшь, что автор «Почтовых вариаций»... смеется и издевается. Поистине, у кого какое чувство юмора...

Кампанию эту и другие подобные вели, как правило, те же самые журналы и те же перья, которые стали нам известны в памятном 1968 году. Советский лакей переоделся в уланский мундир...

Над этим следует задуматься: какую функцию должен выполнять этот маскарад «раковецких улан» [19]? Кого он должен оболванить, поймать на «патриотическую» приманку, кого отравить ядом шовинизма? Что общего это имеет с любовью к родине? И к какой родине?

Старый лозунг «Бей жида, спасай Россию» (в оригинале — по-русски, латинскими буквами, *прим. перев.)* ожил на наших глазах. Как при царе, как при охранке. Даже методы мало изменились по своей сути, хотя «патриотический» камуфляж в таком масштабе и в таком стиле есть нечто новое: ОНР тоже был «патриотический», но на сей раз речь идет о государственном антисемитизме несуверенного государства. «Спасай Россию».

Если бы это было только делом официальной прессы, если бы никто не клевал на эту «патриотическую» наживку, если бы не было в польских традициях тех мотивов, которые вдруг, как чуткий камертон, начинают резонировать,— было бы не о чем писать и не с чем полемизировать. К сожалению, все обстоит иначе. Акценты национальной мегаломании и ксенофобии можно найти также в прессе неподцензурной, а стало быть, аутентичной.

Нужно тут сказать ясно и четко: диалог не всегда возможен; часто сама попытка его начать бывает позорной (если не является обыкновенной глупостью). С героями антисемитских выходок в «мартовской» прессе [20] не может быть диалога — так же и с теми, которые видят в этой грязной публицистике выражение своих убеждений. У нас нет с ними общей родины, и мы не хотим иметь с ними вообще ничего общего. Но между патриотизмом Слонимского, Оссовских, Ясеницы [21-22] (я специально называю авторов, очень различающихся между собой и в то же время схожих по общему знаменателю гуманизма и патриотизма; ближайших идейных патронов,— больше, со-творцов сегодняшнего движения демократической оппозиции) и «патриотизмом» Филипских, Гонтажей, Конколей [23] простирается огромное социальное пространство, густо заполненное людьми, за которых и идет борьба: которую родину они выберут? Нельзя ни под каким предлогом отказаться от всех тех, кто одурманен национальной мегаломанией и ксенофобией, если ненависть и национальное высокомерие еще не деформировали окончательно и бесповоротно их разум и чувства. Борьба за облик польского патриотизма будет решающей для судеб нашей нации — для судеб нравственных, культурных, политических.

*

Ксенофобия и национальная мегаломания взаимно питают и поддерживают друг друга. Мы знаем, как настрадалась Польша от русских и от немцев,— что не оправдывает глупости и ненависти в отношении к этим народам; глупостью и ненавистью человек и народ сами себе вредят. Фашизированные украинцы дали нам себя почувствовать в сороковых годах — но здесь взаимный счет обид и вин уже иной, чем с немцами, хоть это и не помогает украинцам в массовом польском сознании. Но почему поляк так часто презирает чеха? Здесь видно, как сплетаются ксенофобия и кретинство, чтобы вместе довести в августе (1968 года, *прим. перев.)* некоторых наших земляков до внутреннего согласия на то, что противоречило как нравственности, так и нашим национальным интересам,— на вторжение в Чехословакию.

Вернемся к вопросу об отношении

огромного большинства поляков к немцам и русским. Нужно повторить, что ненавистью и глупостью человек и народ сами себе вредят. Попытка не замечать нравственные проблемы там, где они есть, нравственно развращает. К немцам у нас испокон века много претензий. Это германские императоры нападали на нашу страну, чтобы ее себе подчинить, а не наоборот. Тевтонский орден Креста Святейшей Девы Марии был кошмаром для пруссов, литовцев, поморян и поляков. Пруссаки вместе с русскими и — немецкоязычными, что ни говори,— австрийцами разделили 1-ю Речь Посполитую. Сгон польских крестьян с земли, «Хаката» [24], национально-религиозные преследования в захваченной пруссаками части Польши были уже первым предвестием того, что произошло во время второй мировой войны. О колоссальности гитлеровских преступлений на польской земле нет смысла распространяться. Должен был, однако, наступить момент, чтобы — если мы хотели остаться в кругу христианской этики и западноевропейской цивилизации — сказать: «Прощаем и о прощении просим» [25]. В ситуации, когда нация была порабощена, это сказал наивысший независимый нравственный авторитет: польская церковь. Эти слова — несмотря на все возражения, обоснованные действительно причиненным злом — мы должны признать своими. Чтобы их признать, достаточно было бы их нравственного содержания. Но, кроме нравственного содержания, есть в них также национальное и культурное: как народ, ощущающий свою принадлежность к западному кругу средиземноморской культуры, мы мечтаем о возвращении к нашей более широкой родине, к Европе. Отсюда необходимость помириться с немцами, которые в этой Европе уже находятся — и останутся дальше. То, что Польский епископат протянул руку Немецкому епископату,— было самым смелым и самым дальновидным поступком в послевоенной истории Польши.

Однако обращение епископата Польши к епископату Германии ставит прежде всего проблему, которую не обойдешь, если хочешь остаться верным христианству: проблему также и наших вин по отношению к немцам. В Польше не выносят, чтобы вопрос ставился так,— и нетрудно это понять, потому что пропорции очень уж неравные. Нельзя, однако, мириться с пренебрежением собственными винами, даже если они несравнимо меньше чужих.

Мы приняли участие в том, чтобы лишить родины миллионы людей [26], из которых одни наверняка виновны в поддержке Гитлера, другие — в пассивном согласии на его преступления, иные — только в том, что не решились на героизм борьбы со страшной машиной террора в ситуации, когда их государство вело войну. Зло, причиненное нам, даже самое большое, не является, однако, и не может являться оправданием зла, которое причинили мы сами. Выселение людей из их домов может быть в лучшем случае меньшим злом, но никак не добрым поступком. Это правда, что несправедливо было бы народу, на который напали два бандита, самому в довершение всего платить всю цену за это. Выбор выхода менее несправедливого, выбор меньшего зла не может, однако, делать нас нечувствительными к нравственной проблеме. Зло — это зло, а не добро, даже когда это меньшее и неизбежное зло. Что поделаешь: или ты хочешь быть христианином или нет... Если ты христианин, то ты знаешь, что принцип коллективной ответственности не имеет ничего общего с этикой, которую мы исповедуем; что даже если мы вынуждены были выбрать меньшее зло, нельзя нам зло называть добром; что причинение зла создает нравственный долг, хотя бы тот, кто от нас его претерпел, причинил нам стократ больше зла, и к тому же лишь в слабой степени ощущал потребность искупить его.

Принцип меньшей несправедливости, необходимость обеспечить условия жизни миллионам поляков, покидающим по необходимости свою родину на восточных землях 2-й Речи Посполитой [27],— это, впрочем, единственное оправдание того, что стало. Никоим образом не оправдают этого ни исторические аргументы — весьма сомнительные, как мы дальше увидим,— ни этнические, за исключением, может быть, Ополья [28], что тоже дискуссионно. Пройдемся по Вармии и по Мазурам [29], чтобы собственными глазами увидеть, сколько мы там встретим автохтонных поляков, то есть мазуров и вармяков. Тем тревожнее как симптом отравления нашей национальной этики национализмом, что время от времени появляются статьи, авторы которых похваляются, что еще до второй мировой войны — стало быть, до напа-

дения на Польшу, до истребления миллионов польских граждан немцами, до возникновения проблемы найти территорию для жизни миллионов поляков с восточных окраин — политические группы, с которыми эти авторы были связаны, требовали Польши до Одры и Нысы, со Щецином и Вроцлавом. Это не статьи, констатирующие любопытный факт,— это одобрение тогдашних программ, которые были планами захватническими, противоречащими принципам отношений между народами в духе христианской этики. Вспоминать эти постыдные эпизоды идеологической истории с одобрением — симптом этической дегенерации, а к тому же еще и политическая глупость.

В польском сознании наших исторических отношений с немцами наросло множество мифов и ложных представлений, от которых нужно когда-то избавиться — во имя истины и с целью лечения самих себя: ложные представления о собственной истории — это болезнь духа нации, они служат, главным образом, пищей для ксенофобии и национальной мегаломании.

Почти каждый поляк (даже образованный!) верит сегодня, что мы вернулись после второй мировой войны на земли, захваченные у нас немцами. Это может касаться Гданьска и Вармии, которые от Торуньского мира (1466) [30] до разделов принадлежали 1-й Речи Посполитой — хоть, впрочем, и Гданьск и Вармия были и тогда и до конца второй мировой войны в большинстве своем этнически немецкие. Остальная часть Восточной Пруссии никогда польской не была, а немцы захватили эти земли не у поляков, а у пруссов — народа, родственного литовцам. Польское меньшинство на этой территории (мазуры), в массе, впрочем, слабо себя осознающее, это пришлое население, переселенное, главным образом, Альбрехтом Гогенцоллерном [31] из Польши; не знал бедняга, что он должен реализовывать идею Drang nach Osten и Пруссию заселять только немцами. Западное Поморье — этнически тоже не польское, хотя славянское — несколько раз упрямо освобождалось от зависимости от Польши и создало собственную государственную организацию, уничтоженную шведами лишь в XVII веке. Пруссаки взяли эти земли, заселенные не поляками, у шведов, а не у Польши [32]. Онемечивание Западного Поморья произошло без насилия, естественным путем. Силезия еще в средние века стала платить дань Чехии и вместе с Чехией вошла в состав австрийской монархии. Пруссия отобрала ее — у австрийцев, не у Польши,— лишь в XVIII веке, когда процессы онемечивания Нижней Силезии, тоже естественного, совершавшегося без принуждения, зашли уже далеко. Опольская Силезия и Верхняя Силезия сохранили свою этническую польскость. Организованный и в какой-то мере эффективный германизирующий натиск на этих землях — это уже вторая половина XIX и XX века.

А мы со своей стороны не хотим сегодня помнить, что это земли, на которых две-три сотни лет цвела немецкая культура [33]. Мы читаем трогательные статейки о силезских Пястах [34], их замках и дворцах, но никто нам не говорит, что уже Генрих Пробус [35] известен немецким учебникам литературы как Minnesänger (то есть немецкоязычный трубадур), сочиняющий на том же языке, что Вальтер фон дер Фогельвейде, что Герман фон Ауэ, тогда как польская лирика возникнет и расцветет лишь два столетия спустя. Это символическая фигура в истории Силезии.

После многих столетий развития немецкой культуры бок о бок с польской в Силезии, в Любушской земле, в Вармии и на Мазурах, в Гданьске (преимущественно немецком) — а в Западном Поморье издавна исключительно немецкой — нам досталось в результате исторических перемен богатое наследие архитектуры и других произведений искусства и немецких исторических памятников. Перед лицом человечества мы — хранители всего этого. Отсюда наша обязанность — с полным сознанием, что мы оберегаем достижения немецкой культуры,— хранить эти сокровища для будущего, также и нашего.

В Польше бытует миф Drang nach Osten, выхваченный из глупой и преступной мифологии вильгельмовской Германии. Расправлялся когда-то с распространением этого мифа польской публицистикой Антоний Голубев [36] в «Тыгоднике повшехном» [37], в статье слишком мало замеченной, которая, однако, должна войти в основной круг чтения польского интеллигента. Известно, что западная граница 1-й Речи Посполитой была в течение многих веков одной из самых спокойных и самых постоянных в Европе. Агрессивность государства крестоносцев была лишь фрагментом истории средневековой Германии.

Зато не любят у нас писать и помнить о том, чем мы обязаны немцам в области цивилизации и культуры. О том, что черепица и кирпич, что каменщик, печатник, живописец и гравер, что сотни слов польского языка свидетельствуют, сколь многим мы обязаны нашим соседям из-за западной межи. Великолепные создания архитектуры и скульптуры, живописи и других искусств и ремесел в Кракове и многих других городах и городках Польши, не только в средневековье, но частично и позднее, включая даже XIX век,— это в значительной части произведения немцев, которые здесь селились и обогащали нашу культуру. Почти каждый поляк знает о Вите Ствоше, не каждый знает, что это был этнический немец (хвала польской науке, что она доказала это окончательно работами ксендза Болеслава Пшибышевского), многие думают, что он был поляком, и готовы дать пощечину каждому, кто это оспаривает; никто, кроме специалистов, не знает сотен, а может быть, тысяч имен и фамилий художников-немцев, оставивших неизгладимый след в нашей культуре.

История должна быть вратами в будущее. Что мы хотим выбрать как символ для будущего: Грюнвальд — или же Легницу, где поляки и немцы вместе преградили путь тьмам (сегодня мы сказали бы: конным дивизиям) хана Батыя? [38] Грюнвальд, разумеется, навсегда останется в национальной памяти, но должен ли это быть только Грюнвальд? Что должно доминировать в нашем сознании — уничтожение польской культуры гитлеровцами во время второй мировой войны или ее обогащение Витом Ствошем и сотнями менее известных превосходных художников? Хотим ли мы запомнить из Освенцима только немцев-палачей или также и тех немцев, хоть их была всего лишь горстка, которые не только как узники, но также как члены коллектива лагеря боролись со злом? (Об этом пишет эмигрантский писатель и историк Юзеф Гарлиньский в своей документированной, изданной лет десять-пятнадцать назад в Лондоне работе «Освенцим борющийся» — а польские таможенники отбирают эту книгу на границе.) Должны ли быть немцами в нашем сознании только гестаповцы и «СС»? Разве не были немцами также герои из союза «Weisse Rose“ [39] из Мюнхена, предпринявшие в самом сердце тьмы труднейшую борьбу, борьбу против «своих», притом во время войны?

«Weisse Rose» — это была безрассудно смелая группа подлинных христиан, которые делом — таким, на какое они были способны,— свидетельствовали, что в отличие от большинства их земляков в те годы они были христианами не только по названию, что они готовы были принять мученичество во имя истины и добра. Культ их памяти — хоть с Польшей они не имели непосредственно ничего общего — должен жить и у нас: во-первых, именно потому, что это немцы, что это люди, принадлежащие к той же самой нации, что и убийцы миллионов во время второй мировой войны; во-вторых, чтобы довести до нашего сознания нравственный императив, гласящий, что когда твой народ и твое государство вступают на путь преступления и зла, твоя нравственная обязанность — противостоять этому, хотя бы даже народ и государство вели в это время войну с внешним противником. Разве герои из «Weisse Rose» недостойны называться немецкими патриотами? Разве они были предателями своего народа? Наоборот, это они спасли остатки достоинства и моральных ценностей своего народа — и они создавали ценности, необходимые для будущей Германии. В своих душах они носили иную отчизну, чем та, в которой они имели несчастье жить и умереть мученической смертью.

Страх и недоверие, какие питает по отношению к немцам значительная часть поляков, понятны. Было бы легкомыслием и глупостью предполагать, что в немцах, в их отношении к нам и вообще в их ментальности без следа исчезли токсины национализма, накапливавшиеся еще с бисмарковско-вильгельмовской эры, а если хотите, то, может быть, и раньше, с начала XIX века. И в жизни современной Германии нет недостатка в фактах,— раздуваемых, впрочем, сверх меры нашей казенной пропагандой,— доказывающих, что мы должны внимательно следить за состоянием потенциальной готовности части немцев к рецидиву. В то же время, однако, мы должны сделать максимум возможного, чтобы с нашей стороны создать оптимальные предпосылки для примирения наших народов. Прежде всего мы многое должны изменить в себе самих и в нашем историческом сознании, чтобы это было возможно.

В отношении русских состояние среднего польского сознания выглядит иначе, чем в отношении немцев. К немцам накопилось много ненависти, смешанной со страхом,— но и уважение. В отношении к русским превалирует — тоже вместе с ненавистью (пожалуй, значительно менее глубоко укорененной, чем в отношении немцев, и менее резкой) и страхом (страх из кошмарных снов о советских танках, стреляющих во взбунтовавшихся поляков) — пренебрежение, ощущение превосходства. Откуда оно взялось — черт его знает, но поляки, в общем, убеждены, что русская культура ниже польской. Культурная «высшесть» и «низшесть» народов — тема тонкая и опасная. Народы напоминают во многих отношениях человеческие личности. Так же, как для человека, воспитанного в христианской этике и сознательно, осмысленно ее воспринимающего, каждая человеческая личность имеет ценность и достоинство не меньшее, чем другая личность, хотя один умный, другой глупый, один хороший, другой плохой,— так и каждый народ имеет свою ценность и достоинство, независимо от того, одурманен ли он в данный момент гитлеризмом, богатое ли он имеет искусство и т. д. Я знаю, что у литовцев нет поэтов масштаба Мицкевича и Словацкого, драматургов ранга Выспяньского и т. д. (с «и так далее» лучше быть осторожным: Чюрлёнис принадлежит, по моему мнению, к самым выдающимся художникам своей эпохи), и, несмотря на это, я не осмелился бы ощущать превосходство в отношении их национальной культуры. Здесь нет места для рассуждений, почему это так. Может быть, дело в том, что я знаю: человек, живущий в литовской культуре, находит в ней достаточную основу, чтобы развить полноту человечности в себе. Но тем более странно, откуда столь частое в Польше убеждение о собственном культурном превосходстве в отношении русских?

Иметь ощущение культурного превосходства в отношении народа, который дал Достоевского и Толстого, не считая по меньшей мере двух десятков писателей, которые могли бы быть гордостью любой европейской литературы, в отношении народа Рублева, Менделеева, Стравинского — это, пожалуй, огромное недоразумение. Это народ, создавший былины и великую иконопись еще тогда, когда наша национальная литература пребывала в полном убожестве, а изобразительное искусство было в пеленках. Ни один из польских писателей не оказал такого влияния на литературу Запада, того Запада, к которому мы хотим принадлежать,— как Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов. Ничто не указывает также, чтобы духовная культура польских крестьян была богаче, чем русских. Они лишь другие. Есть что-то гротескное и в то же время плачевное в мегаломанском ощущении превосходства многих поляков над русскими.

Эту позицию, впрочем, обосновывают также и с другой стороны. В польской идеологии издавна, со времен романтизма, имеют хождение концепции, согласно которым русская культура была обусловлена двояко — и негативно — скрещиванием влияний византийских и монгольско-татарских (туранских). В последнее время можно заметить в прессе и в бесцензурных публикациях головокружительную карьеру концепции Феликса Конечного [40]. Коротко можно сказать, что результатом этого византийско-туранского скрещивания является культура, в которой подчинение личности иерархической власти есть нечто само собой разумеющееся, коллективизм господствует над «я», этика орды — над этикой личности.

Как обычно в случаях таких обобщений — в чем-то это верно, и в то же время очень уж многое не сходится. Традиции московского деспотизма, вероятно, генетически что-то имеют в себе от образца китайской власти, а позиция и роль царя и его двора в этой системе наверняка сознательно опирались на пример Византии. Но против этой традиции есть в России другая, традиция духовной независимости, начинающаяся от князя Курбского или еще давнее: традиция несогласия и поисков идейной опоры на Западе. Россия декабристов, Герцена, Безкишкина [41] и других участников восстания 1863 года, «Земли и Воли», народников — это не византийско-туранская Россия. В наше время русские создали недавно слово «самиздат» (в оригинале — по-русски, латинскими буквами, *прим. перев.),* которым и мы часто сейчас пользуемся, они были первые, показали дорогу, платя за это большую цену, а комитет великого Сахарова — вдохновение и образец для

нас. У них, к тому же, труднее и больше нужно отваги.

Будем помнить, что освобождение всей Центральной и Восточной Европы от советского тоталитаризма зависит главным образом от освободительных движений в СССР. Самый многочисленный, играющий самую важную роль, русский народ далек еще от того, чтобы домогаться демократических законов. Как всякий угнетенный народ он при этом, естественно, особенно деморализован. Тут более всего расцветает новое явление: «советский» патриотизм (к сожалению, с этим явлением можно столкнуться не только у русских); тут легче всего найти сторонников политики интервенций и пацификаций, политики, держащей в повиновении страны-сателлиты; тут любая фраза о том, что самоопределение народов СССР может стать фактом, рождает преимущественно гнев. Тем большее уважение, без гротескного и глупого ощущения превосходства, должны вызывать у нас русские, и тем более живое братство должно объединять нас с русскими, борющимися за свободу. Еще несколько лет тому назад и в Польше не много было отважных, готовых противостоять полицейской и тоталитарной системе, а если сосчитать русских, которые отважились на это, если сравнить последовавшие репрессии у них и у нас, можно выразить лишь удивление и уважение.

Им труднее, чем нам, ибо за ними — десятилетия самого кровавого в мировой истории внутреннего террора, за ними — страшная и в значительной части кровавая негативная селекция, совершающаяся так давно, а карающие репрессии бьют по ним сильнее и беспощаднее.

Мы, поляки, когда речь идет о русских, не хотим также помнить, что хотя СССР — наследник и продолжатель стремлений и даже стиля царизма и поэтому русский национализм играет огромную роль в советской экспансии, в то же время советизм, пытаясь уничтожить национальное самосознание поляков, литовцев, латышей, украинцев, грузин, армян и т. д., с большой силой уничтожает также национальное самосознание, традиции, культуру русских. Советизм — грозен и убийствен как для поляков, так и для русских.

*

Особое место в нашем сознании должны занимать литовский, белорусский и украинский народы. Здесь следует еще раз напомнить проповедь ксендза Яна Зеи [42] в соборе св. Яна в Варшаве 17.IX.1975 года, которая — я верю в это — является фактом исторического значения не только в нравственном аспекте, хотя речь в ней шла о нравственных принципах. Это народы, веками связанные с нами общей судьбой. Однако мы мало отдаем себе отчет в том, что они меньше хвалят эту общность судеб, чем мы. Полонизация шляхетских элит в Литве и на Руси [43] столкнула эти нации в ряд «неисторических» народов, которые лишь во второй половине XIX века с трудом начали создавать свои новые элиты, интеллигенцию.

Полонизация была, правда, процесом естественным, без использования силы — но она была также и катастрофой, задержавшей образование наций sensu stricto. Это легко не забывается. Украинцы помнят очень даже хорошо века XVII и XVIII, а это значит, что помнят страшные, варварские польские пацификации казацких бунтов и украинских крестьянских восстаний, но не хотят помнить об ужасах истребления ими поляков и евреев в 1648 году и об уманской резне [44]. Поляки — наоборот. 1-я Речь Посполитая не оставила слишком хороших воспоминаний.

2-я Речь Посполитая этого не исправила. Напротив. Польско-литовский конфликт из-за Вильно [45], действительно, трудно было разрешить. Оба народа ощущали свою эмоциональную связь с этим городом — в то время как (мы редко об этом помним), по крайней мере, юго-западную Виленщину вместе с Вильно по большей части населяли поляки. Решения в форме федерации, к которому стремился Пилсудский, мало кто хотел, окончательно его сделали невозможным польские националисты. До сих пор литовцы питают к нам жгучую ненависть за Вильно, умноженную памятью того идиотического года, когда по улицам польских городов шли манифестации, скандировавшие: «Вождь, веди нас на Ковно!» [46], как если бы в польском национальном гербе был не белый орел, а Козленок Кретиненок [47]. Мы до сих пор питаем к литовцам неприязнь за то, что они дали во время второй мировой войны коллаборационистские формации, особенно допекавшие поляков (еще больше — евреев). Этот замкнутый круг мы должны разорвать! Когда в Каунасе недавно возник-

ли волнения на национально-религиозной почве, настроения солидарности (к сожалению, только настроения) были в Польше всеобщими. Может быть, это хорошее предзнаменование на будущее.

С мягкими, тихими белорусами мы никогда не имели столь острых конфликтов, как с украинцами. Стоит, однако, припомнить, что 2-я Речь Посполитая тоже немало провинилась перед белорусами, это касается тенденций полонизации, главным образом, дискриминации белорусских школ. Мы должны стремиться, чтобы такого рода явления не повторялись.

Хуже всего было с украинцами. Первой войной 2-й Речи Посполитой была — о чем не каждый помнит — польско-украинская война в Восточной Галиции [48]. Львов, город, в котором польское население явно превышало украинское, сросся в ходе веков с историей и культурой Польши до такой степени, что трудно было себе вообразить в то время отказ от него. Решила дело сила. Это грустно, но не необычно в истории, что два народа не находят иного разрешения конфликтов, кроме войны. Счет обид, причиненных украинцами, начинается позже. Украинское освободительное движение, неустанно стимулируемое — что тут скрывать — фашиствующими украинскими националистами, ищущими поддержки то в Германии, то в недоброжелательной к нам Праге, было трудной проблемой для 2-й Речи Посполитой. Однако же воевода Юзевский [49] на Волыни умел разряжать напряжение и для блага Речи Посполитой поддерживать культурные начинания украинцев. Игнорирование национальных и культурных потребностей украинцев было дорогой в никуда. Пацификации — так, как они делались — наш позор, независимо от того, сколь трудную ситуацию создавали актами террора и саботажа украинские националисты. Для будущего обоих народов лучше было бы, если бы период 2-й Речи Посполитой остался в памяти украинцев как эпоха, когда в Восточной Галиции и на Волыни процветали украинские культурные учреждения под покровительством Республики, с украинским университетом прежде всего во Львове. Такой итог приносил бы плоды и сегодня и в будущем обоим народам. Случилось иначе.

Вторая мировая война не в равной мере увеличила счет вин, которыми оба народа взаимно друг друга попрекают. Зато сразу по окончании войны, когда отряды УПА после поражений, нанесенных им советской армией, были отброшены на юго-восточную периферию польского протектората и разгорелась война в Бе́щадах [50], зародился план решения проблемы, которую представляло украинское партизанское движение на этих землях, путем превращения их в пустыню, то есть путем выселения лемков [51] и рассеяния их по Польше. Это был дьявольский помысел, родившийся наверняка в голове какого-нибудь «советника» из КГБ, талантливо применившего римский принцип divide et impera и знавшего куда более масштабные прецеденты в собственной стране.

*

Еще только несколько слов о наших отношениях с чехами, хоть об этом уже упоминалось. У чехов нет никаких оснований считать, что их совесть по отношению к нам абсолютно чиста. Одностороннее решение с помощью вооруженной силы проблемы Заользинской Силезии [52] в момент, когда само существование польского государства в 1920 году было под угрозой, не приносит чехам чести. Но, несмотря на это, участие Польши в разделе Чехословакии [53] вместе с Гитлером было позорно. В 1968 году, то есть 30 лет спустя, польские войска приняли участие в оккупации Чехословакии. В прекрасном зонге о Градце Краловом, который поют с 1968 года до сего дня в кругах польской оппозиционной молодежи, верно сказано в публицистичной последней строфе: «Не по твоему приказу сапоги грохочут снова, но что же ты сделал, но что же ты сделал для Градца Кралова?» Польский народ не может отвечать за власть, навязанную нам чужими и опирающуюся на чужую, главным образом, силу, но тот факт, что в большой стране с прекрасными традициями борьбы за «нашу и вашу свободу» голос протеста подняли только Ежи Анджеевский и Зыгмунт Мыцельский в своих письмах к чешским и словацким братьям [54] и маленькая группка студентов в Варшаве, пытавшихся распространять листовки с протестом [55], не делает чести нам, которые боялись. Хуже: можно было встретить людей столь неумных, что они одобряли это вторжение, бессмысленно бредя или о немецкой угрозе или о враждебности чехов по отношению к нам... Национальная мегаломания и ксенофобия

вновь привели к тому, что мы оказались неспособны на солидарность с теми, кто должен быть нам всегда, а уж особенно теперь особенно близок,— с братьями из-за Судетов, из-за Ользы, из-за Карпат.

Каждый поляк должен сегодня понимать, что существуют два резона, по которым наши традиционные фобии и мегаломании в отношении всех окружающих нас народов самоубийственны. Нравственный резон и политический резон. Резон нравственный — то обстоятельство, что мы уже в большой степени отравлены советизмом, что нам грозит утрата духовной связи с нашим прошлым и с культурой Запада, с этическими традициями христианства. То, что прежде было темным пятном на нашей истории и национальной ментальности — и подобные пятна можно заметить у многих других народов,— сегодня может оказаться предвестием смерти и разложения. Политический резон говорит нам, что от угрозы смерти и разложения мы освободимся или все вместе — как народы СССР, так и народы, от СССР зависящие,— или никто. Ничтожно мала вероятность того, что кто-то сможет заставить тоталитарный и держащий в повиновении народы СССР советизм выпустить из когтей свою добычу, каковой мы сегодня в какой-то степени являемся.

*

Антисемитизм — это настолько особый вид ксенофобии, с настолько отличной функцией и ролью в истории, что требует отдельного разговора.

Прежде всего вопрос: что такое ксенофобия? Когда в Польше жили люди, отличавшиеся всем: языком, национальным самоощущением, религией, традициями, обычаями, часто одеждой и т. д., и антисемитизм был направлен против них — это была, конечно, ксенофобия. Когда антисемитизм был направлен также и против людей, не отличающихся языком и одеждой и оторвавшихся уже от религии своих предков,— можно было думать, что это происходило все же по причине их действительной или вымышленной солидарности с теми прежними — и это все еще была ксенофобия. Когда, однако, антисемитизм переносился на людей, часто уже в нескольких поколениях полонизованных, во многих случаях исповедующих не формально, а фактически ту же самую религию, что и большинство поляков, на людей, проникнутых до мозга костей польской культурой, а часто даже имеющих за спиной годы борьбы за независимость и свободу Польши — это уже больше и хуже, чем обычная ксенофобия, которая есть явление отрицательное и нежелательное, но не обязательно все же граничащее с общественной психопатологией.

Единственной возможностью обоснования такого антисемитизма является расизм — часто подсознательный, вслух не высказываемый. Убежденность в меньшей, неполной ценности людей по причине их биологических, расовых признаков находится, однако же, в непримиримом противоречии с нашим христианским этическим наследием, с заповедью любви к ближнему и с заветом Павла — «нет ни Еллина, ни Иудея».

В практике известна еще одна попытка обоснования антисемитизма — религиозная, псевдохристианская. То, что евреи отвергли Христа и даже приняли на себя и потомков [56] Его кровь, пролитую под их давлением, якобы должно иметь для евреев тот же результат, что и первородный грех человечества, стало быть, имманентное зло, которое они приняли в себя. Конструкция эта — скорее дело рук темной толпы, чем теологов, и совершенно антихристианская. Христианство не знает ни коллективной вины, ни наследования вины, ни коллективной ответственности за вину. Первородный грех в христианской теологии связан не с наследованием вины, а с порчей человеческой природы. Так, может быть, евреи, согласно этой концепции, имеют человеческую природу вдвойне испорченную? В таком случае как ближние они должны быть предметом особой заботы, а не преследований — крещение же окончательно смывало бы эту порчу, что для эндецкой [57] и оэнэровской темной толпы — концепция неприемлемая. Но 2-й Ватиканский Собор, после многих столетий терпимости церкви по отношению к этой позиции и даже фактического, хотя и осторожного ее приятия, отбросил и такой вариант обоснования антисемитизма [58]. Жаль, что так поздно, но лучше поздно, чем никогда. Существенный компонент христианской этики, усвоенной как верующими, так и неверующими,— это убеждение, что человека можно оценивать только по его поступкам, что все люди в этом отношении равны (верующие добавляют: перед Бо-

гом) и что никакая оценка поступков человека не может отменить заповеди любви к ближнему.

Однако же в христианском вот уже многие века польском народе антисемитизм укоренился настолько, что это тревожит.

Антисемитизм — или антисемитизмы? Мы хорошо знаем, сколь они разнообразны: от чувства превосходства и презрения (это особенно гротескный вид ксенофобии — применительно к народу, который открыл или изобрел единого, всеохватывающего, всемогущего, чисто духовного Бога; который дал столько великих ученых, художников, писателей, сколько не дал пропорционально, пожалуй, ни один народ мира; который явил образец нечеловеческой несокрушимости, тысячелетиями сохраняя в самых неблагоприятных условиях свою религию, культуру, национальное самосознание) через такие варианты, как ощущение угрозы и вытекающие из этого дискриминации разного рода, и вплоть до ненависти, высвобождающейся в массовых убийствах. Нельзя сказать, что все это одно и то же — разница огромная, тем не менее, однако, правы и те, которые указывают, как легко «умеренные», «добродушные» формы антисемитизма становятся питательным раствором для форм самых грозных. И все они — хоть и по-разному — непримиримо противоречат заповеди любви к ближнему.

История Польши веками была в этом отношении одной из прекраснейших (относительно) в Европе. Беспорядки и другие отталкивающие явления в Речи Посполитой случались, однако ж не в таких масштабах, как при средневековых погромах в Западной Европе. Просвещенные короли и правящая элита умели разумно управлять сосуществованием народов в Речи Посполитой. Павел Ясеница в «Польше Ягеллонов» [59] со справедливой гордостью указывает на братьев Юзефовичей, из которых один, выкрест, основатель рода Юзефовичей-Глебницких, стал одним из высших сановников Речи Посполитой Обоих Народов, а другой, оставшись при иудейском вероисповедании, был посвящен Зыгмунтом Старым в рыцари [60]. В золотом веке [61] все это было еще возможно: еврей, посвящаемый в рыцари, крестьянин — один из ведущих поэтов эпохи, мещане в интеллектуальной и даже в политической элите.

Несмотря на последующий упадок государства и нации, лишь вторая половина XIX века принесла с собой начало «современного» антисемитизма («современного» — то есть выходящего за рамки и антипатии к чужому вероисповеданию) и шляхетского ощущения ненарушимости сословных барьеров. Это было уже тогда, когда в период борьбы за независимость сформировалась традиция, связанная с именем офицера Восстания и Легионов [62] Берко Иоселевича, павшего под Коцком в 1809 году (меньше помнят о солдатах его полка, отдавших жизни в 1794-м при обороне варшавской Праги), и его ровесника и земляка из Литвы Янкеля из «Пана Тадеуша»; традиция раввинов Мейселься и Цилкова [63], вводивших польский язык в синагогах, солидарных с польским духовенством в борьбе против русских оккупантов; традиции манифестации на Краковском предместье в 1861 году, когда после залпа, от которого пал монах, несший во главе шествия крест, молодой ученик раввинской школы Ланды поднял этот крест («крест поляков»,— читаем мы в тогдашних сообщениях), чтобы пасть от следующего залпа; традиция евреев — офицеров и солдат восстания 1863 года. Традиции эти всегда были тормозом для польского антисемитизма, но, увы, несовершенным, несмотря на то что они были поддержаны традицией польских патриотов еврейского происхождения, боровшихся за польскую культуру и науку, за польское просвещение во времена разделов Польши, а позже участием евреев в вооруженном выступлении Легионов [64]. Болеслав Прус гениально почувствовал этот процесс, когда на пороге новой эпохи, вызванной индустриализацией в Царстве Польском, дороги тех, кто был вместе в 1863 году, расходятся, когда евреев отталкивают от польскости; для доктора Шумана [65], вросшего в польскую культуру,— это трагедия; для Шлангбаума, не ассимилированного в такой степени, это предпосылка, чтобы чувствовать себя чужим. А мы помним, что они оба — как Вокульский! — повстанцы 1863 года.

Антисемитские настроения, все более охватывающие польское мещанство и разжигаемые провокациями охранки и в других частях империи царей и в Царстве Польском (сейчас уже более или менее известно, кто организовал волну погромов после 1905 года и откуда пошли в мир «Протоколы Сионских

мудрецов»), вошли в идеологию и практику эндеков, постепенно заостряясь и все более дегуманизируясь: от лозунгов экономического бойкота к высказыванию сомнений, может ли иметь гражданские права еврейское меньшинство, и наконец к кровавым погромам в местечках и в высших учебных заведениях — иначе говоря, от Национальной лиги [66] через Национально-демократическое движение и Лагерь Великой Польши — до ОНР и младоэндецких групп. В прессе ОНР стали слышны даже голоса, предлагающие уничтожение евреев в Польше.

К сожалению, сопротивление польского общества было слишком слабым. Главная, самая авторитетная партия польских левых, ППС, сильная в рабочей среде, была слаба в учебных заведениях, откуда главным образом и набирались боевые группы ОНР. Левая и либеральная интеллигенция отваживалась высказывать солидарность с жертвами боевиков, но это были преимущественно акты индивидуальной отваги (интересно, что случались они и среди старой эндецкой профессуры). Власть, все более эволюционировавшая после смерти Пилсудского к фашиствующим правым, не очень уж энергично препятствовала скандалам, чинимым частично группами, находящимися в оппозиции против санации, частично, однако, ее союзниками (ОНР «Фаланга») [67]. Католическая церковь смотрела на это равнодушно (за исключением столь вопиющих случаев, как избиение в костеле ксендза Пудера, новообращенного), и даже часть католической прессы (например, «Малы дзенник») поддерживала антисемитизм.

И тут наступила война и оккупация, вместе с ужасным гитлеровским геноцидом евреев. Оценка экзамена, который держали в этой ситуации поляки, не может быть, к сожалению, простой и однозначной.

На Западе, главным образом, среди евреев, пораженных трагедией истребления миллионов, появились безответственные и почти ничего не имеющие общего с действительностью обвинения польского народа в соучастии. Появились даже оскорбительные определения, как «нация шмальцовников» («шмальцовниками», от немецкого «шмальц» — «взятка», называли в годы оккупации тех, кто брал выкуп с евреев за недонесение на них в гестапо,— *прим. перев.*). Антиполонизм должен считаться не менее позорным, чем антисемитизм. Фраза «все поляки — антисемиты» или «все поляки — пьянчуги» равносильна фразе «все евреи — мошенники».

«Шмальцовничество», то есть шантаж скрывающихся евреев и сотрудничество с гестапо в их истреблении, в чем упрекают поляков Запад и многие евреи,— явление маргинальное. Каждое общество имеет своих преступных маргиналов. Для евреев это были маргиналы столь грозные, что многим они заслонили собой всю остальную Польшу. Трудно упрекнуть в деформации зрения людей, которые несколько лет были объектом охоты. Нужно, однако, помнить, что гестапо, пользуясь предателями, не только вылавливало скрывающихся евреев, но и расконспирировало целые отряды подпольной армии (ср. провал диверсионного отряда Главного командования Армии Крайовой «Оса — Коса») и деятелей даже такого ранга, как главный комендант АК «Грот»-Ровецкий. Так что в принципе речь шла не об антисемитизме, а об омерзительной деятельности, направленной против всех, кого выслеживало гестапо.

В полемическом запале против несправедливых мнений об отношении польского общества к евреям пропаганда ПНР обобщенно утверждала, что такова позиция всех евреев на свете, но это ложь с антисемитской тенденцией, ложь, рассчитанная на плохую информированность. Список поляков, награжденных израильской медалью «Праведный среди Народов», длинен и наверняка не закончен. Он свидетельствует, что евреи в Израиле оценивают заслуги поляков в деле спасения евреев в Польше во время второй мировой войны. Более того, присуждая недавно эту медаль бывшему шефу руководства Подпольной Борьбы, институт Яд Вашем, который решает вопрос о присуждении награды, в качестве обоснования официально указал на заслуги польского подпольного государства в этом деле. Еврейские ученые, такие как Филип Фридман [69], внесли существенный вклад в выяснение правды об участии поляков в спасении евреев. Антиполонизм среди части евреев на Западе нельзя приписывать всей общности — как нельзя целому польскому народу приписывать антисемитизм.

Нужно, однако, с болью, но отважно сказать, что правда в этом вопросе не кажется столь простой и ясной, как это часто представляют. Не в преследовании

и выслеживании скрывающихся евреев виновны поляки главным образом (хотя были среди них и такие), а в равнодушии. Это правда, что нужен был буквально героизм, чтобы спасать евреев. Я знаю людей, которых немцы схватили с оружием в руках и которые, однако, выжили в концлагерях,— но не знаю ни одного человека, укрывавшего еврея, который был бы пойман на этом и остался жив, и я не слышал о таком. Больше того: солдат АК знал, что если его арестуют, его ждут пытки, может быть, арестуют его жену, наверняка его вскоре расстреляют; но он мог рассчитывать, что маленькие дети уцелеют. Кто укрывал еврея, не мог рассчитывать и на это. Французы и голландцы не платили такой цены — и, несмотря на это, их успехи в спасении евреев не чрезмерно велики, а вина французов при выдаче евреев даже, можно сказать, значительна. Усилия польского общества в деле спасения евреев были велики, достойны уважения, щедро оплачены кровью — и небезуспешны. Речь не только об отдельных лицах и семьях, спасавших своих друзей,— действовали такие организации, как Совет помощи евреям, пользовавшийся поддержкой и помощью польского подпольного государства. Позиция польских властей в этом деле была ясной. Я считаю, однако, что значительная часть общества была равнодушна к истреблению евреев и что вину за это несет, в частности, и предвоенный антисемитизм. Да что там, конспиративная пресса крайних правых оставалась антисемитской даже во время войны! Более того, разве мы не слышали во время оккупации фразу: «После войны Гитлеру будет поставлен памятник!»? Если бы перед войной не отравляли польский народ антисемитизмом, наверняка меньше было бы равнодушных. Не было бы, может быть, и тех подонков, которые в местечках Мазовша занимались грабежами и разбоем, когда из гетто вывозили людей, их сограждан, об этом писал открыто -- протестуя и грозя репрессиями — «Информационный бюллетень», официальный орган АК.

История антисемитизма в Польше на этом не кончается. Сразу же после войны всю страну потрясло сообщение о келецком погроме. Многое указывает на то, что это была провокация НКВД и службы безопасности. Нужно было мнению Запада представить Польшу как страну гитлеризованную, в которой только коммунисты могут установить порядок. Но стопроцентных доказательств мы не имеем, и если бы даже они нашлись — остается фактом, что такого рода провокации удаваться могут только тогда, когда падают на подготовленную почву.

Сталинские годы дали стимул антисемитизму. Случилось то, что можно было предвидеть: перед войной, как это обычно бывает с бестерриториальными меньшинствами, подвергающимися разным дискриминациям, крайние интернационалистические левые были популярны среди еврейской молодежи и интеллигенции — и в аппарате новой власти, а особенно в аппарате подавления (назовем вещи своими именами: в аппарате безопасности) оказалось немало евреев или людей еврейского происхождения. Кто знает, не способствовал ли такому явлению и макиавеллизм, идущий из Центра в Москве; меньшинства хорошо подходят для такой роли благодаря их отчужденности (ср. кровавую роль поляков, евреев, латышей в ЧК), а в случае чего хорошо подходят и для роли козла отпущения.

Это явление — участие значительной части уцелевших польских евреев, а также поляков еврейского происхождения в службе безопасности, а впрочем, и во всем аппарате коммунистической власти — наложилось на память 1939 года, когда значительная часть еврейского населения восточных окраин Польши с демонстративной — недолгой — радостью приветствовала крушение Республики и советскую оккупацию. Нельзя, однако, помнить только об этом и забывать, например, о героических актах лояльности вождей Бунда Альтера и Эрлиха [70] по отношению к Республике и об их протесте против советских властей. Они заплатили за это жизнью — и не вошли в пантеон польской памяти.

Октябрь 1956 года показал, однако,— несмотря на единичные эксцессы,-- что антисемитские мотивации не так сильны, чтобы вызвать стихийные и опасные общественные действия, хотя они тлеют и доныне. Однако некоторое время спустя была организована попытка использовать этот мотив в политической борьбе. Группа, идущая к власти под руководством Мечислава Мочара, бросила вначале полуявно, в 1967-м явно, а в 1968-м с барабанами и фанфарами — лозунг антисемитизма (под прикрытием сбивающего с толку лозунга борьбы

с сионизмом). Это был, впрочем, целый комплекс пропагандистских приемов, которые стыдно назвать идеологией, но употребленных в этой роли: «патриотизм», подыгрывающий национальной мегаломании («Мы, поляки,— храбрые вояки»,— как в детской считалке), курс на некритическое отношение к национальным мифам, попытка присвоить их себе, апеллирование к средней ментальности ветеранов, милитаризация воображения, пропаганда репрессивных действий органов правопорядка, ксенофобия, направленная, в частности, против наших связей с Западом и против солидарности с чехами и словаками. Определенные успехи были достигнуты, но как раз не в антисемитской кампании. Можно было опасаться, что она больше всколыхнет общество, которое, однако, реагировало апатично и осторожно, а в довольно значительной части — недоброжелательно, даже враждебно. Сам факт, что это шло сверху, обрекал акцию на лишь посредственный успех. По сути дела оказалось, что только партийный актив и аппарат (плюс пристройки такого типа, как, например, «ПАКС» [71], с оэнэровскими традициями) заинтересовались этим делом, на той же основе, на какой до войны польский мелкий буржуа ненавидел еврея-конкурента. Место мелкой буржуазии заняло темное партийное чиновничество, ненавидящее конкурента на бюрократскую должность — что в 1968 году было еще актуально. Особенно враждебно в своей массе приняла антисемитизм польская молодежь.

Вышвыривание из Польши в 1968 году тысяч евреев и поляков еврейского происхождения — одно из позорных событий в истории нашей страны. Советский полицейский антисемитизм, шалевший в СССР тогда, когда в ПНР его еще ничто не предвещало (в частности, уничтожение значительной части еврейской интеллигенции в СССР, в том числе почти всех писателей, писавших на языке идиш), был теперь привит нам. Не случайно несколько месяцев спустя все главные «мартовские» партийные публицисты были награждены Золотыми знаками Общества польско-советской дружбы. Кроме неисчислимого морального ущерба, который причинили эти люди и их союзники из аппарата, нужно отметить и ущерб исчислимый: исход из Польши тех, чьи нервы не выдержали,— и среди них многих незаменимых специалистов.

У меня нет общей родины с мартовскими публицистами и аппаратчиками, организовавшими в 1968 году антисемитскую травлю. Мне стыдно за ветеранов из ЗБОВиДа [72], которые позволили, чтобы их прошлое использовали как фирменный знак этой мерзости. Были среди них, к сожалению, мои товарищи по оружию, разного ранга, из АК.

*

В паре с разными вариантами ксенофобии идет национальная мегаломания. «Мы, поляки,— храбрые вояки». Мы якобы несравненно лучше, умнее, талантливее и т. д., чем все народы мира, а особенно те народы, которые живут ближе к нам. Уже ксендз Демболенцкий [73] написал на эту тему массу вздора в начале XVII века и так это продолжается и развивается. В безнадежной международной ситуации, после поражения восстания 1830 года, расцвел польский мессианизм. Крупнейшие наши поэты и мыслители увлеклись этой идеей [74]. Было в ней подлинное величие, окрыленное их гением. Думаю, что оно сыграло какую-то роль, помогая переживать то поражение, хотя еще вопрос, не послужило ли причиной последующих. Но наследство, которое до сего дня сохранилось в средней ментальности более или менее образованного поляка после этих романтических взлетов,— плачевно: это ощущение некоего особенного превосходства только на том основании, что ты поляк, превосходства, часто приправленного религиозной экзальтацией. Может быть, впрочем, экзальтация — слишком большое слово: это скорее карикатура экзальтации, вечный театр с национально-религиозным реквизитом.

Стоит и следует обратить внимание на переплетение национальных и религиозных мотивов в этой позиции (она имеет, впрочем, ту хорошую сторону, что патриотическая партийно-збовидовская трескотня слабо доходит о общества). Что означает «поляк-католик», об этом писал подробно, компетентно и точно Богдан Цивиньский в книге «Генеалогии непокорных» [76]. Тем не менее я хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты этой проблемы, потому что для ответа на вопрос «патриотизм — но какой?» [76] они имеют принципиальное значение.

Лозунг-утверждение о нераздельности польскости и католицизма может интерпретироваться по-разному. Обычно его

провозглашают без уточнений — и это делается так часто, что можно усмотреть в этом метод. Поскольку лозунг этот в наиболее навязчивой интерпретации может значить, что тот, кто не католик, тот не есть полноценный, абсолютный поляк (если вообще поляк sensu stricto), то следовало бы каждый раз, пользуясь им, четко обозначать, идет ли речь о таком понимании. Недавно можно было прочесть о неразлучности польскости и католицизма в статье ксендза Сроки в гданьском издании «Братняк». Автор, к которому я обратился лично, ответил, что был не так понят — он имел в виду, что католицизм оказал столь большое и многостороннее влияние на польскую культуру, так в нее врос, что культура эта не может быть оторвана от католицизма, не перестав быть собой. Тезис вполне разумный и никого не должен задевать, хотя мог бы быть предметом дискуссии. Можно было бы, например, спросить, зная, как сильно православие определило культуру России: а что, если бы вдруг религиозное возрождение там совершилось бы путем воссоединения со столицей Петра,— что же, русский народ перестал бы быть собой? Или — обобщая — католизация какого-либо нехристианского народа должна вызвать утрату им своего национального облика? Но оставим эту дискуссию в стороне — меня больше интересует первая интерпретация польско-католического лозунга, довольно распространенная, как мне кажется, всюду, где мы встречаемся одновременно с ксенофобией и национальной мегаломанией, и питаемая неуточненными фразами, которые мы тут обсуждаем.

В этом толковании — ложь и дурная услуга национальной традиции и сегодняшнему состоянию национального самоощущения. Потому что от национальной традиции отчуждаются огромные и важные ее области, а от современной национальной жизни — те люди, которые католиками себя не чувствуют.

Что было некатолического в польской истории и традиции? Оставляя в стороне эпизоды, которые мало повлияли на ход нашей истории — например, польских гуситов,— нужно начать с польской традиции реформации и протестантства. В XVI и XVII веках это традиции важные — традиции Миколая Рея [77] и польских ариан [78], сосуществование разных вероисповеданий во взаимной терпимости, закрепленное актом Варшавской конфедерации [79]. Бывали и протестанты среди наших национальных героев (пример: генерал Совиньский [80]), бывали и пасторы среди национальных польских деятелей. Верно, что католическая церковь сыграла большую роль в поддерживании польскости, особенно в прусской части разделенной Польши и на далеких окраинах под властью России. Но в Цешинской Силезии и на Мазурах польскость поддерживали евангелики и их пасторы. Последним актом героической национальной позиции польских евангеликов было мученичество несгибаемых пасторов и деятелей в период гитлеровской оккупации. Символична здесь фамилия Бурше [81], но она не единственная. Вклад польских протестантов в польскую культуру и в борьбу за национальное бытие так велик, что всякие попытки исключить их из нашей польской национальной общности должны рождать резкий протест.

Подобным образом нельзя согласиться с отрицанием живого и богатого участия в польской культуре со времен Просвещения, а особенно интенсивно со времен позитивизма, людей внеисповедного светского направления, часто атеистов, иногда агностиков, среди них большинства героев книги «Генеалогии непокорных» Богдана Цивиньского и их продолжателей. Трудно вообразить себе польскую культуру последнего столетия без Эдварда Абрамовского и супругов Давид, без Вацлава Налковского и Игнация Радлиньского, без Стефана Жеромского и Анджея Струга, без Стефана Чарновского и Тадеуша Котарбиньского, без Эдварда Липиньского и Марии и Станислава Оссовских, без Антония Слонимского и Марии Домбровской, без Лешека Колаковского. А это лишь имена-сигналы, представляющие часто целые школы и направления польской мысли, сотни имен поляков, внесших огромный и неуничтожимый вклад в польскую культуру.

*

Один из вариантов ксенофобии — это культ «своего», «нашенского», противопоставленный «модам», идущим извне (главным образом с Запада). Забавность этой позиции заключается в том, что ее сторонники, как правило, провозглашают одновременно тезис о нашей связи с культурой Запада. Странная связь, которая должна заключаться в самоизоляции.

Как если бы сторонники этой позиции считали, что связи связями — но хорошенького понемножку.

Позиция смешная и бессмысленная. Никакой культуре изоляция не принесла ничего доброго. Поляки в этом убедились на собственном примере. От братьев чехов мы взяли христианство, привитое затем у нас и теми же чехами, и немцами, и другими людьми с Запада. За наукой поляки ездили в Париж, Прагу, в итальянские и немецкие университеты, поначалу это был тонкий ручеек, постоянно расширявшийся с пользой для нашей культуры. Западные менторы, немцы и французы, учили нас воздвигать романские, а позже готические храмы, полные скульптур и картин, произведений цеховых художников немцев. Привились в Польше и обычаи западноевропейского рыцарства. Приглашенные с Запада ордена насаждали цивилизацию и культуру. В конце XV века мы начали черпать полными горстями из Италии, переживавшей Ренессанс, а затем из всей ренессансной Западной Европы, приглашая оттуда художников, писателей и ученых. Вся польская элита училась в западноевропейских университетах, главным образом в Италии и в Германии. Из Германии пришла Реформация, которая обогатила польскую умственную жизнь. С близкого турецко-татарского Востока польская шляхта взяла костюмы, интерьеры, оружие (и, к сожалению, варварский обычай сажать на кол). В польской литературе с XVI века невооруженным глазом видны стимулы, идущие из Италии, Германии, Франции, Испании. Лишь XVIII век принес с собой ослабление этих связей и ослабление импорта культуры, с трагическим для Польши результатом. К счастью, уже с середины XVIII века связи эти снова усилились, польские художники снова ездят учиться в Италию, просвещенная часть аристократии обращается к Западу не только за фраком и париком, но и за мыслью Просвещения, которая расцвела у нас Эдукационной комиссией [82] и реформами Великого Сейма [83]. И с тех пор мы черпаем дальше полной горстью: с Запада приходит романтизм и позитивизм, символизм и импрессионизм, экспрессионизм и футуризм.

Это вещи известные и очевидные, но все время приходится о них напоминать. Польская культура расцветает всегда в симбиозе с этими стимулами, а не в оппозиции к ним. Редко когда мы черпали так обильно, как в XVI веке,— и с таким великолепным успехом для национальной культуры. Мицкевич весь проникнут западным романтизмом,— и в то же время оригинальный, творческий, необыкновенный. И так далее. Прерывание таких связей может загнать нас лишь в неосарматизм, подобный сарматизму саксонской эпохи [84].

Больно бывает, что мы значительно больше взяли, нежели дали. Правда, в общей европейской культуре учитывается не только экспорт, но и сам факт создания оригинальных ценностей. Тем не менее мы хотели бы участвовать в европейском синтезе не только самим фактом наличия у нас богатой культуры. За немногими исключениями, наши влияния — лишь региональные. Многим обязаны нам украинцы, белорусы, литовцы, мало — французы, англичане, немцы, итальянцы. Насколько же в лучшей ситуации находятся русские — с Достоевским и Толстым, с древнерусской иконописью... Думаю, что, не впадая в национальную мегаломанию, можно считать, что Европа много теряет за счет фактического незнания Мицкевича, Словацкого, Норвида. Зато она сравнительно неплохо знает Гомбровича и Виткация. Это свидетельствует о том, что оригинальные художественные ценности, имеющие шанс выйти за границы нашей национальной культуры, по-прежнему возникают на распутьях, ведущих из мира к нам — и обратно в мир.

*

Выраженные здесь мысли — не открытия, а многие затронутые здесь проблемы, несомненно, требовали бы более углубленного рассмотрения. Я, однако, представляю себе, что для довольно многочисленной группы читателей это будут мысли, по меньшей мере, спорные, а отчасти и неприемлемые. Именно потому и родилась эта статья, с мыслью о том, как широко распространяется в Польше ксенофобия и национальная мегаломания, хоть я не считаю, что это всегда равнозначно острому шовинизму. В некоторых случаях различия и границы между позициями стерты. Отчасти по вине истории, не благоприятствующей расцвету христианских принципов в отношениях между народами. Отчасти за счет навыков воспитания. Так что и автор этих заметок, хотя и считает верным то, что пишет, отнюдь не может

утверждать, будто он усвоил полностью, во всех пунктах ту позицию, которую провозглашает, так, чтобы она руководила его эмоциональными реакциями безошибочно. Тем необходимее пропагандирование такой позиции. Я убежден, что одна из важнейших проблем нашей современности и будущего — это избавление от национальной мегаломании и ксенофобии и уж по меньшей мере их приглушение до состояния, не опасного для дальнейших судеб польского народа. Если этого не произойдет — тогда любой агент, переодевшись в уланский мундир и повесивши на грудь металлическую пластинку с гербом, будто польский рыцарь, любой такой поведет нацию куда захочет, подыгрывая «национальной гордости» и манипулируя фобиями; мы утратим все шансы, даже если они представятся, взаимодействия с другими народами, так же, как мы, угнетаемыми советизмом,— а ведь нам нельзя ждать счастливого стечения обстоятельств, мы должны начать работу по созданию солидарности угнетенных; в результате мы закроем себе дорогу к Западной Европе, в которой видим нашу культурную колыбель,— закроем навсегда; не будем обманывать себя, будто мы еще в этой Европе находимся,— может быть, лишь чуть-чуть: воспоминаниями, мечтами, желаниями. С году на год мы погружаемся все глубже в советизм, разлагающий нашу систему ценностей, общественные связи, наше собственное видение наших национальных традиций. Иногда кажется, что мы сами к этому рвались, во всяком случае, так это выглядело в 1968 году. Будем, однако, надеяться, что народ наш окажется достаточно умен и не поддастся больше подобным манипуляциям.

Примечания

[1] Липский начинает статью с перечисления язв Польши 1918—1939 годов, того периода, который в момент написания статьи (1981) особенно идеализировался и противопоставлялся Польше послевоенной. В первую очередь он называет ОНР — Обуз народово-радикальны, то есть Национально-радикальный лагерь, крайне правую политическую группировку, созданную в 1934 году, тогда же распущенную властями и продолжавшую деятельность нелегально. В отличие от старых, традиционных национал-демократов, ОНР опирался на молодежь (студенческую и мелкобуржуазную). Его лозунги: классовая солидарность поляков, антисемитизм, национализация иностранного и еврейского капитала. Распался на группы ОНР АБЦ и ОНР Фаланга, эта последняя организовала отряды боевиков, нападавшие на еврейские лавки, на студентов-евреев, на рабочие митинги и демократические организации.

[2] Во Львове — в ноябре 1918-го. В Пшитыке — в марте 1936-го. В Кельце — в 1918-м и, особенно знаменитый, 4 июля 1946-го, ставший толчком к эмиграции уцелевших во время войны евреев из Польши на Запад.

[3] Особые скамьи для евреев.

[4] В 1930 году был распущен сейм, многие депутаты оппозиции были арестованы и заключены в Брестскую крепость. В конце 1931-го состоялся в Варшаве их процесс, вызвавший возмущение в обществе. Пятеро приговорены к трем годам заключения, пятеро — к меньшим срокам.

[5] Лагерь для политзаключенных, созданный в Польше в 1934-м: «для лиц, угрожающих безопасности и общественному порядку».

[6] Ятвяги занимали обширные земли на стыке нынешних Беларуси, Польши, Литвы и Калининградской области. Кроме польских князей систематическим истреблением ятвягов занимались князья киевские, а позже галицко-волынские, иногда Польша и Русь действовали вместе, как в походе 1251 года, о котором рассказывает С. М. Соловьев (именующий ятвягов не иначе как «дикарями» и «варварами»). Польские историки ятвягов не жалуют, честь польской интеллигенции спас поэт Ян Хуща, посвятивший памяти ятвягов прекрасные стихи (в книге 1973 года).

[7] При осаде Великих Лук гетманом Яном Замойским в 1580-м поляки подожгли крепость, осажденные начали переговоры о сдаче, но венгры, входившие в польское войско, как рассказывает С. М. Соловьев, «боясь лишиться добычи, самовольно ворвались в город и начали резать всех, кто ни попадался. Поляки последовали их примеру. Замойскому удалось спасти только двух воевод».

[8] Чарнецкий руководил двумя походами против восставшей Украины: в 1653-м и в 1654-м.

[9] Во второй половине XVI века, когда в Европе были религиозные войны, в Париже — Варфоломеевская ночь, в Польше — веротерпимость. Но кончилась эта веротерпимость XVI—XVII вв. изгнанием ариан (1658), запрещением католикам, под страхом смерти, отказываться от католичества (1668) и постановлением сейма, что дворянское звание могут получать лишь католики (1673).

[10] Часть польских легионов, организованных в 1797 году, вошла в состав наполеоновской армии и воевала в Испании, поляки участвовали в битве при Сомосьерре в 1808 году, в осаде и штурме Сарагосы, жестоко расправляясь с защитниками и жителями города.

[11—12] Речь идет о романе Жеромского

«Пепел» (1904), о рассказе «Расклюет нас воронье» (1894) и о романе «Канун весны» (1925) — последнем романе писателя.

[13] Фильм А. Вайды «Пепел» (1965), по Жеромскому, вызвал дискуссию. Некоторые говорили, что Вайда изображает историю поляков в черном свете. Сам Вайда считал, что «беспощадность эпизодов штурма Сарагосы» (особенно смущавшая и шокировавшая) в его фильме, по сравнению с Жеромским, «ослаблена».

[14] См. прим. 11—12.

[15] Генерал Мочар (1964—1968 — министр внутренних дел) в борьбе за власть опирался на свою биографию партизана, на положение руководителя ЗБОВиД — Союза борцов за свободу и демократию — организации ветеранов, на сильные позиции в средствах массовой информации. Разыгрывал «патриотическую» карту.

[16] Крылья польских крылатых гусар XVI—XVIII веков прикреплялись к седлу или к наплечнику панциря.

[17] Поэма Чеслава Милоша «Нравственный трактат» (1948) анализировала нравственную и психологическую ситуацию польской интеллигенции в первые послевоенные годы; в цитируемом фрагменте Милош иронизирует над теми, кто углубляется в «старопольские» эмоции.

[18] Роман К. Брандыса «Почтовые вариации» (1972) в форме писем отцов к сыновьям и сыновей к отцам представляет судьбы нескольких поколений одной семьи на фоне польской истории 1770—1970 годов.

[19] Парижский журнал «Культура» дал в этом месте сноску «для читателей, не знающих Варшавы: на улице Раковецкой находится Министерство внутренних дел».

[20] После мартовских студенческих выступлений 1968 года в Варшаве развернулась «антисионистская» кампания.

[21—22] Антоний Слонимский (1895—1976) и Павел Ясеница (1909—1970) — писатели. Оба пользовались авторитетом у интеллигенции и молодежи так же, как Мария (1896—1974) и Станислав (1897—1963) Оссовские, выдающиеся ученые, историки культуры, социологи.

[23] Липский называет двух наиболее ретивых официозных журналистов и одного такого же театрального деятеля.

[24] «Хаката» (по первым буквам фамилий ее основателей) — немецкая националистическая организация, основанная в 1894 г. с целью германизации земель и населения прусской части Польши. Слово «хаката» стало нарицательным, например, в 1920-х годах депутат Сохацкий говорил в сейме о «хакате» поляков в отношении национальных меньшинств Польши.

[25] В сентябре 1965 года, в связи с приближавшимся 1000-летием крещения Польши, польские епископы направили послание к своим немецким братьям во Христе. Послание говорит об исторической памяти поляков (от немецких крестоносцев до второй мировой войны) и кончается словами: «Но несмотря на все это... протягиваем Вам наши руки, прощаем и о прощении просим». Послание вызвало резкую кампанию в официальной польской прессе, правительство обвинило кардинала Вышиньского, примаса Польши, в нелояльности, но и в обществе реакция была разная. (Ответное послание немецких епископов, в декабре, заканчивалось словами: «Бог мира да сделает так... чтобы упырь ненависти никогда уже не разъединил наши руки».) Слова «прощаем и о прощении просим» нынешний примас Польши Юзеф Глемп повторил в одном из недавних высказываний по поводу отношений поляков с украинцами и литовцами.

[26] В 1945—1948 годах из Польши в советскую и британскую зоны оккупации Германии было выселено более 3 миллионов немцев. На эти земли — Западные земли и Поморье — переселяли поляков с бывших восточных окраин.

[27] Речь Посполитая — калька латинских слов «Res Publica»; в XVI—XVI веках Польша была республикой с выборным королем. 2-я Речь Посполитая (или 2-я Республика) — Польша 1918—1939 годов. 3-ей иногда называют нынешнюю, начиная с вступления Валенсы в должность президента.

[28] Ополье, Опольская Силезия — часть Верхней Силезии.

[29] Вармия (от названия племени вармов, когда-то здесь живших) — историческая область на побережье Балтийского моря. В XIII веке завоевана крестоносцами, в 1466—1772 входила в состав Польши, при первом разделе отошла к Пруссии. Мазуры — регион, включающий Мазурское приозерье, принадлежал крестоносцам, затем Пруссии, но заселили его мазовецкие крестьяне: мазурские деятели с 1922 года входили в Союз поляков в Германии.

[30] Торуньским миром 1466 года закончилась тринадцатилетняя война Польши с Орденом крестоносцев.

[31] Последний великий магистр Ордена перешел в лютеранство и стал первым светским князем Пруссии (с 1525).

[32] Остатки своих владений здесь шведы потеряли в 1815 году.

[33] Некоторые поляки помнили об этом. Ружевич в книге 1955 года посвятил стихотворение двум мальчикам немцам и их надгробию в бывшем немецком соборе XV века, а вроцлавский журнал «Одра» часто вспоминал немцев, писателей и художников, работавших в этом городе.

[35] Пясты, вернее было бы Пястовичи,— древняя польская династия. В XII веке разделилась на несколько линий князей удельных княжеств. Линия силезских Пястов угасла в 1675 году, с XIV века они были связаны с Чешским королевством и признали себя его данниками.

[35] Генрих Пробус (или Правый) — князь вро-

цлавский (1270—1290) и краковский (1288—1290). При его дворе (как, впрочем, и при других польских княжеских дворах) говорили по-немецки, распространялась немецкая рыцарская культура, князь поощрял города и торговлю, в том числе немцев-горожан и немцев-торговцев. Все это встретило сопротивление части населения, во главе с епископом Томашем, который удалился из Вроцлава, проклял князя и город, князь вынудил его покориться и снять проклятие.

[36—37] Антоний Голубев — автор исторической прозы, публицист, член редакции еженедельника «Тыгодник повшехны», самого авторитетного католического издания в Польше (1945—1953 и с 1956 до сего дня).

[38] В битве при Легнице в 1241 году польские и немецкие рыцари (крестоносцы) противостояли Батыю, в 1410-м при Грюнвальде поляки и воины Великого княжества Литовского противостояли немцам (крестоносцам).

[39] Группа студенческого сопротивления в Мюнхенском университете (1942—1943).

[40] Польский историк (1862—1949).

[41] Матвей Безкишкин — русский офицер, перешедший на сторону повстанцев и ставший повстанческим командиром. Попал в плен и был повешен царскими карателями. С. Жеромский в юности написал поэму «Безкишкин».

[42] Один из членов-основателей, вместе с Липским, Комитета защиты рабочих. В книге об этом комитете (КОР) Липский цитирует слова из проповеди ксендза: «Помолимся за свободу братьев литовцев, братьев белорусов, братьев украинцев». Во время Варшавского восстания Ян Зея был капелланом того полка повстанцев, в котором сражался Липский.

[43] Чеслав Милош — из полонизованной литовской шляхты, Костюшко и Мицкевич — из полонизованной белорусской; полонизовались и верхи мещанства: польский поэт XVII века Юзеф Бартломей Зиморович, бургомистр Львова,— из украинцев.

[44] «В 1768 г. Максим Железняк и Гонта с помощью уманских казаков взяли город, разграбили его и перерезали много поляков и евреев» (Энц. Брокгауза и Ефрона, на слово «Умань»).

[45] После польско-литовской и польско-советской войн 1919—1920 годов Вильно осталось за Литвой, но в октябре 1920-го польский генерал Л. Желиговский занял силой Вильно и Виленщину, провозгласив так называемую Среднюю Литву, в 1922-м, по решению виленского сейма, Вильно и Виленщина вошли в состав Польши.

[46] В марте 1938-го, после инцидента на границе с Литвой, когда был убит польский пограничник. «Вождь» — маршал Рыдз-Смиглый.

[47] «Приключения Козленка Кретиненка» (1933—1934) — сказка в стихах Корнеля Макушиньского.

[48] 31 октября 1918 года завязалась борьба поляков и украинцев за Львов. Украинские отряды заняли территорию восточнее р. Сан — была провозглашена Западноукраинская Народная республика, Западная Украина, перед лицом превосходящих сил поляков, обратилась за помощью к киевскому правительству Петлюры, но вскоре Петлюра в безнадежной ситуации «уступил» Польше право на Западную Украину за помощь против Советской России.

[49] Генрих Юзевский был назначен волынским воеводой в 1928 году.

[50] Во время боев в Бещадах в марте 1947-го погиб заместитель министра обороны ПНР генерал К. Сверчевский.

[51] Лемки — этнографическая группа, издавна живущая в Карпатах. Отождествляют себя с украинцами. Православные. В 1945 году были выселены в северные и западные воеводства Польши. В 1981 году, одновременно с брошюрой Липского, появилась статья М. Козловского «Лемки»: «...гибнет очередная группа наших земляков... через несколько десятков лет след по лемках загинет так же, как загинул по пруссах и ятвягах...» Прекрасные стихи о лемках писал в 1960-х годах польский поэт Ежи Харасымович.

[52] Город Цешин на р. Ольза и его окрестности были предметом спора поляков и чехов.

[53] 1 октября 1938-го немцы вошли в Судеты, 2 октября поляки вошли в Заользье.

[54] В сентябре 1968-го Ежи Анджеевский опубликовал открытое письмо к председателю Союза писателей Чехословакии, З. Мыцельский — открытое письмо к чешским и словацким музыкантам.

[55] Студенты за распространение листовок были арестованы.

[56] Так трактовали стих 25 главы 27 Евангелия от Матфея: «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших».

[57] «Эндеция» — разговорное польское название национал-демократов, Национал-демократической партии (основана в 1897-м), в 1934-м из этого движения выделились крайне правые — ОНР, Национально-радикальный лагерь.

[58] 2-й Ватиканский Собор, проходивший в 1962—1965 годах, принял в октябре 1965-го как один из итоговых документов декларацию об отношении римско-католической церкви к нехристианским религиям, пункт 4 декларации целиком посвящен отношению к иудаизму и к евреям. Сказано было, в частности: «Хотя еврейские власти и их сторонники домогались смерти Христа, однако то, что произошло во врёмя Его мук, не может быть вменено в вину ни всем без различия евреям, живущим тогда, ни евреям теперешним. Хотя Церковь есть новый Народ Божий, не следует представлять евреев как отвергнутых или проклятых Богом, якобы на основании Священного Писания. Пусть же все стараются в науке и в проповеди Божьего слова не учить ничему, что не отвечало бы

истине Евангелия и духу Христову». В декларации провозглашалось также: «Поскольку духовное наследие, общее для христиан и евреев, столь велико, настоящий святой Собор желает оживить взаимное понимание и уважение, которое является плодом прежде всего библейских и теологических исследований и братских диалогов».

[59] Первое издание «Польши Ягеллонов» — 1963 год. Авраам Эзофович, киевский еврей, купец, крестился в 1488-м, в 1507-м получил дворянство, брат его в 1514-м был назначен «старшим» над евреями в Литве, получил дворянство и рыцарское звание в 1525-м.

[60] Зыгмунт Старый — польский король XVI в.

[61] «Золотым веком» (иногда «зыгмунтовским веком») называют польские историки культуры XVI и начало XVII века, время правления Зыгмунта I Старого, Зыгмунта Августа, Стефана Батория и Зыгмунта III Вазы (умер в 1632-м), то есть польский Ренессанс и начало польского барокко. Это и эпоха веротерпимости в Польше.

[62] Восстание Костюшко (1794), легионы Домбровского (с 1797).

[63] Раввин Исаак Цилков перевел Библию на польский язык, к нему и к его переводу привлек недавно внимание Чеслав Милош.

[64] Здесь — легионы, созданные Ю. Пилсудским (1914—1917).

[65] Вокульский, Шлангбаум и доктор Шуман — персонажи романа «Кукла».

[66] Национальная лига, основанная в 1893-м, дала начало Национально-демократической партии (или движению, с 1897), выделившийся из нее крайне правый Лагерь Великой Польши (Обуз Велькей Польски, ОВП с 1926-го) был распущен властями в 1933-м как угрожающий общественной безопасности, но нашел свое продолжение в ОНР с 1934-го, см. прим. 1.

[67] «Санацией» в Польше 1926—1939 годов стали называть правящие круги Пилсудского и его преемников, провозглашавших лозунг «санации», «нравственного оздоровления» общественной жизни в стране. О «Фаланге» см. прим. 1.

[68] «Малы дзенник» — дешевая газета, с тиражом до 120—140 тыс. экз., издававшаяся францисканцами монастыря в Непокаляново (1935—1939).

[69] Филипп Фридман (1901—1960) — известный историк.

[70] Виктор Альтер (1890—1941) и Генрих Эрлих (1882—1941) были арестованы советскими властями и казнены в Куйбышеве в декабре 1941-го.

[71] «ПАКС» (от латинского «pax» — «мир») — нецерковная католическая организация, созданная в Польше сразу же после войны советскими «кураторами» для манипулирования настроениями и эмоциями польских католиков, получила издательство, газеты, клубы, представительство в сейме. Во главе «Пакса» был поставлен Болеслав Пясецкий, до войны — один из вождей «Фаланги».

[72] ЗБОВиД — Союз борцов за свободу и демократию — ветеранская организация. В 1964—1972 годах руководителем ее был генерал Мочар.

[73] Ксендз Войцех Демболенцкий (1575 — ок. 1646), доктор теологии, автор нескольких книг. В одной из них утверждает, что «стародавнейшее в Европе королевство польское, или же скифское, одно только на свете имеет правдивых наследников Адама, Сета и Яфета, которые Богом в раю владычествовать миром предустановлены, и поэтому поляки сарматами зовутся. А сего ради и показывается (в книге — *В. Б.)*, что славянский язык первоначальный есть на свете...».

[74] Польский мессианизм считал польский народ «мессией народов», призванным «спасти» человечество. Нашел отражение в творчестве Мицкевича и Словацкого, Красиньского, нескольких философов. Интереснейшие исследования по сопоставлению польского и русского мессианизмов XIX века публиковал последние лет двадцать пять польский историк Анджей Валицкий.

[75] Один из разделов этой книги (1971) называется «Литературный портрет поляка-католика». Но главная тема книги — поколение нонконформистов, «непокорных», вступавшее в польскую жизнь в конце XIX века. В монографии о Комитете защиты рабочих Липский пишет, что именно книга Б. Цивиньского дала «историческо-идейную формулу единства» «католической и светской части оппозиции» в Польше 1970-х годов.

[76] Формула «Польша — но какая?» восходит к знаменитой эпиграмме Словацкого: «Шли с криком «Польша! Польша!..»

[77] Миколай Рей (1505—1569) — один из крупнейших, наряду с Яном Кохановским, писателей польского Ренессанса, в 1541 году принял лютеранство, позже — кальвинизм.

[78] Ариане, или «польские братья»,— наиболее радикальные представители польской Реформации, выделившиеся в 1560-х годах; отвергали догмат Троицы (считая Отца источником божественности Сына, а Сына считая человеком, вознесенным после смерти до божественного величия), в религии выделяли ее нравственное содержание. В 1658 году были изгнаны из Польши. Оказали влияние на формирование религиозного рационализма и деизма в Западной Европе.

[79] Варшавская конфедерация — решение сейма в Варшаве в 1573 году о вечном мире между разноверцами, о равноправии некатоликов с католиками. (Напомним, что в 1572-м в Париже — Варфоломеевская ночь.)

[80] Герой восстания 1830—1831 годов; ему посвящено известное стихотворение Словацкого (есть русский перевод).

[81] Юлиуш Бурше (1862—1942) — епископ, суперинтендант евангелическо-аугсбургской церкви в Польше, борец за польскость Силезии, Вармии и Мазур, в 1939-м арестован гестапо, вывезен в концлагерь.

[82] Эдукационная комиссия (1773—1794) реформировала систему образования в Польше.

[83] Великий (четырехлетний) Сейм — 1788—1792 — принял конституцию 3 мая 1791 года (сейчас этот день — национальный праздник в Польше).

[84] Саксонской эпохой поляки называют время правления королей из саксонской династии (1697—1763), время упадка польской культуры; сарматизм — идеология, сложившаяся в XVI—XVII веке: идеализация польской старины (согласно тогдашнему историческому мифу, поляки — потомки сарматов), неприязнь к иностранцам, к европеизму; сарматизм, особенно поздний, привел к отсталости Польши, но в то же время был источником некоторых самобытных и ценных явлений польской поэзии, искусства.

Критика

Г. КНАБЕ

ЭНТЕЛЕХИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ *

Энтелехия — одно из самых значительных, самых глубоких философских понятий, переданных античностью Европе Нового времени. Тексты, в которых оно разъясняется, кратки и редки — несколько абзацев в «Метафизике» Аристотеля и чуть больше в его сочинении «О душе», один параграф в «Монадологии» Лейбница, одна пронзительная страница в «Кризисе европейских наук» Эдмунда Гуссерля. Причины такого положения очевидны: «разъяснить», сделать ясным — значит обнажить логическую рациональную и именно потому каждому внятную основу явления и структуру мысли, но есть явления и мысли, отражающие те последние глубины бытия, на которых противопоставление рациональности и интуиции, логики и воображения упраздняется; поэтому их естественней и проще понять, в них вжившись, чем на основе разъяснений. Энтелехия относится к этому числу. Она происходит везде, где материя, физическая или духовная, принимает облик и форму, где потенция становится воплощенной реальностью, а общее обретает индивидуальность. Сила тяготения, законы тектоники, напряжение при встрече тяжести с опорой — рационально постигаемые и поддающиеся расчету, самые общие и непосредственно незримые свойства материи. Они обретают иной модус бытия в акте энтелехии — становясь архитектурным ордером или данным произведением зодчества, воплотясь в пластику и образ, связавшись с местом и временем, вызвав живое и индивидуальное эстетическое чувство.

Понятие энтелехии незаменимо при анализе соотношений общемировой (или, соответственно, общерегиональной) культуры и культуры здешней, национальной. Так, литература, искусство, философия, бесчисленные личные судьбы говорят о господстве в Европе между серединой прошлого и началом нынешнего столетия особой духовной тональности. В качестве высшей ценности здесь все более активно утверждалась жизнь в ее полноте, интенсивности, в ее свободе — но не в ее повседневности; последняя, напротив того, воспринималась как унижающее человека царство обыденности и пошлости. Чтобы стать Жизнью, жизнь должна была от этой обыденности и пошлости освободиться, в частности, путем погружения в особую атмосферу, а по возможности и в практику старинных народных художественных промыслов, в связанный с ними особый способ существования. Процесс был всеобщим, и английский прерафаэлитизм, венский Сецессион, Абрамцево и Талашкино равно были его центрами. Учет их взаимосвязей, влияний и заимствований — необходимый предварительный этап их изучения. Но только предварительный. Суть в том, чтобы суметь затем ощутить, как эта субстанция всеобщего заполняет поры национально-культурного организма, видоизменяется в нем, становится частью неповторимоданной художественной и нравственно-психологической традиции, не утрачивая при этом своего «фонового», цельного, общеевропейского качества,— словом, понять происшедшее здесь как энтелехию и пережить ее как экзистенциальный акт культуры.

Цель нижеследующих заметок — показать, как примерно в те же годы переживало в России свою энтелехию одно из самых общих и самых постоянных начал тысячелетней европейской культуры — живое наследие античной (прежде всего антично-римской) классики.

Народы подобны людям: каждый принадлежит себе и есть то, что он есть, до тех пор, пока он остается верным своим исконным началам, своей неповторимой индивидуальности; но в то же время каждый принадлежит своей среде, находится в постоянном с ней взаимодейст-

* Доклад на международной конференции по русской религиозной философии и ее рецепциям сегодня. (Академия церковного округа Роттенбург-Штуттгарт Вайнгартен.) Штуттгарт.

вии и в большой мере представляет собой результат такого взаимодействия. Вечная и одновременная принадлежность к двум стихиям — к непосредственно национальному началу и к началу мировому — создавала и создает во многих странах — как, например, в Соединенных Штатах — острые политические, идеологические и социально-психологические проблемы. Нигде, однако, эти проблемы не вставали и не встают так остро, не укоренены столь глубоко в культуре, как в России.

После падения в 1453 году Византии Россия осталась практически единственной крупной страной, население которой исповедовало православие. Соответственно не только церковь, но и народ, а в особенности правители воспринимали себя как последний оплот «истинной веры» и видели свою задачу в противостоянии «ложной» римско-католической вере и всему с ней связанному стилю мысли, культуры и жизни. После Флорентийского собора 1439 года, где православная церковь Византии — Царьграда вступила в унию с католической церковью Рима, митрополит Московский Филипп писал, обращаясь к жителям Новгорода: «И о том, дети, подумайте: Царьград непоколебимо стоял, пока в нем, как солнце, сияло благочестие, а как скоро покинул он истину да соединился с латиной, так попал в руки поганых». Отсюда возникали определенные черты национального самоощущения, которые один из крупнейших русских историков В. О. Ключевский называл «русским одиночеством» и «национально-церковным самомнением» [2]. «Единая ныне святая соборная апостольская церковь восточная паче солнца во всей поднебесной светится, и один православный великий русский царь во всей поднебесной подобно Ною в ковчеге, спасенному от потопа»,— писал в начале XVI века ученый монах одного из псковских монастырей отцу Ивана Грозного Василию III.

На протяжении столетий правители России вели себя в соответствии с таким умонастроением народа и идеологией церкви. Алексей Михайлович ([1629] — 1645—1676) устроил жизнь своего двора в подчеркнуто византийско-русском стиле. Екатерина II ([1729] — 1762—1796) писала в манифесте в связи с восстанием Пугачева, что цель последнего — «святую нашу восточную греко-кафоличекую веру вконец попрать и подвергнуть римскому стулу», хотя было совершенно ясно, что такой цели у Пугачева никогда не было и не могло быть. Николай I([1796]) — 1825—1855) формулировал свою идеологическую программу словами «православие — самодержавие — народность». Оба последних русских царя чувствовали себя все менее и менее дома в наполненном римско-европейскими тенями Санкт-Петербурге и все более и более тяготели к первопрестольной Москве, демонстрируя это в своем стиле жизни и официальной идеологии [3].

Примечательно, что коммунисты в очевидном противоречии со своей официальной программой постоянно следовали той же тенденции. Они воплотили в жизнь мечту Александра III и Николая II и перенесли столицу из Петербурга в Москву. Правительственное постановление о пьесе Демьяна Бедного «Богатыри» (1936) означало запрет на господствовавшее дотоле в официозных кругах иронически-нигилистическое отношение к дореволюционной русской истории и культуре. В годы второй мировой войны в армии (которая к тому времени перестала быть «Красной» и сделалась «Советской») было восстановлено множество дореволюционных чинов и званий, а вышедшее из-под пера Алексея Толстого примитивное славословие «Русский характер» усиленно распространялось по каналам партийно-правительственной пропаганды. Так называемая кампания борьбы с космополитизмом в советской прессе 1949—1953 гг. и ее позднейшие отзвуки достаточно широко известны, равно как и двойственное отношение руководства КПСС к «консервативно-патриотическому обществу «Память» и его деятельности.

Но, с другой стороны, в то же время государство постоянно должно было следить за тем, чтобы распространялось и крепло взаимодействие с развитыми странами Западной Европы, чтобы Россия все более уверенно шла по пути общеевропейского прогресса, а ее цивилизация становилась и оставалась органической составной частью цивилизации Европы и мира. Тот же Алексей Михайлович появлялся на людях в немецком

[2] *В. О. Ключевский.* Курс русской истории, ч. III. М., 1957, с. 292 и 296—297.

[3] Ср. слова Александра Бенуа: «Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда высказывал чувство неприязни к Петербургу, однако тем самым он отворачивался и от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества». *А. Бенуа.* Мои воспоминания. М., «Наука», 1980, с. 12.

платье, поощрял изучение латинского языка своими детьми и детьми придворных, приглашал все большее и большее число специалистов из-за рубежа. Они приезжали сотнями, а впоследствии и тысячами, со своими семьями. К концу XVII столетия на окраине Москвы возникает уже целая немецкая деревня, а духовная жизнь столицы во многом сосредоточивается на борьбе староверов православия и так называемых латинцев. После реформ Петра Великого вся русская знать облекается в немецкое платье, начинает строить свои дворцы и дома в имениях в палладиевом чине, окрашивать свое существование в западноевропейские тона. Цари все это всячески поощряли — в неразрывной связи и в прямом противоречии с подчеркнуто национальными тенденциями в их политике и пропаганде. «Правительство по-прежнему остается единственным европейцем в России»,— писал Пушкин в 1836 году. Образовательные путешествия молодых дворян, а после, в XIX веке, молодых ученых, оставляемых при университетах для подготовки к профессорскому званию, во Францию, в Италию и прежде всего в Германию становятся правилом. Насыщение русского общества XIX и начала XX века немцами и элементами немецкой культуры явилось в последнее время предметом многочисленных научных разысканий (прежде всего в работах Ф. фон Лилиенфельд). Коммунистическое правительство, особенно на первых порах, сочетало описанные выше тенденции с энергичной пропагандой интернационализма и западничества.

Одна из основных характеристик русского культурного развития состоит в том, что в ходе его обе эти установки неизменно оказывались нераздельными и в то же время никогда до конца не сочетаемыми. Царство и империя, Москва и Петербург, луковицы церквей и классические фронтоны, зипун и фрак иногда вполне явно, в большинстве же случаев подсознательно воспринимались народом не только как две стороны русской жизни, но и как две противоположные друг другу системы ценностей, как противоположность истинной и неистинной культуры, чуждого и своего. В высшей степени важно и показательно при этом, что ни одна из этих установок, взятая в своей противоположности другой и в изоляции от нее, не породила никаких подлинно высоких, мирового значения художественных и культурных ценностей. Все подлинно великое и прекрасное в русской культуре от Киевской Софии до Пушкина и от Сергия Радонежского до романов Толстого возникало из взаимодействия обоих начал и из их синтеза.

Это общее положение засвидетельствовано на протяжении русской истории по крайней мере тремя явлениями всемирно-исторического масштаба: всей эпопеей русского исихазма XIV—XV столетий; феноменом Петербурга и связанным с ним классическим периодом русской литературы и искусства; возникновением, судьбой и сущностью русской интеллигенции. Все три вполне очевидно входят в самое средоточие национальной культуры и все три столь же очевидно возникают из взаимодействия обеих глубочайших потребностей русского духа в традиционно-национальном и европейски-мировом.

Этот синтез обладает двумя примечательными особенностями. Первая состоит в том, что мировое представлено в нем почти исключительно европейской традицией при почти полном отсутствии традиций средне- или дальневосточных культур. Вторая — в том, что культура Европы представлена в этом синтезе не столько своей актуальной текущей практикой, сколько выступает в обобщенной парадигматической форме — в той, которую придало ей постоянное многовековое воздействие греко-римской античности.

Центральное понятие русского исихазма — Троица; центральное его экзистенциальное переживание — обóжение, или греческий theiōsis, то есть непосредственное и целостное единение человека с Богом; то самое главное и самое прекрасное, что оставил исихазм храмостроительству — иконостас,— все соотнесено с духовным миром поздней античности вообще и неоплатонизма в частности. Феномен Санкт-Петербурга с этой точки зрения сомнений, кажется, не вызывает. Основанный как город святого Петра, то есть как новый Рим, и как столица империи, призванной если не всегда духом, то, во всяком случае, обликом и структурой воспроизвести в новых условиях империю Рима, с триумфальными арками, триумфальными колоннами, с фасциями на фасадах и парковых оградах, с ордерной греко-римской застройкой центра, этот город должен был стать символом России как мировой державы и именно в силу этой своей миро-

вой ориентации — явлением, стране, народу и их тысячелетней истории в определенной мере чуждым, «немцем в своем отечестве», как выражался Гоголь [4].

Третий акт русской античности представлен — и представлен совершенно особым образом — интеллигенцией так называемого Серебряного века, занимающего в истории отечественной культуры период примерно с середины 90-х годов XIX века до начала 20-х годов века XX. Синтез русского и мирового начал или, по крайней мере, отрицательное отношение к абсолютизации какого-либо одного из этих начал остается для подавляющего большинства значительных мыслителей этой эпохи условием и целью культурного развития. Евгений Трубецкой говорит об «универсализме» Владимира Соловьева, «который заставлял его восставать против идолов». «Таких идолов,— продолжает Трубецкой,— он находил в самых противоположных воззрениях — в славянофильстве и в западническом либерализме» [5]. Для Александра Блока суть истории и духа была сосредоточена в платоновском anamnēsis, и каждое значительное явление современной русской жизни представало перед ним как напоминание о чем-то уже бывшем в недрах мировой культуры. В 1905 году он писал о русском символизме: «Путь символов — путь по забытым следам... путь познания как воспоминания (Платон)»; в 1919 году он объясняет тип русского большевика как повторение «римского большевика» Катилины и т. д.

Так или иначе, при всех вариантах в мышлении интеллигенции этой эпохи (за немногими, но знаменательными исключениями) оппозиция русского и мирового представляется снятой. Н. А. Бердяев выразил это с полной ясностью: «Кроме бескровного отвлеченного космополитизма и насильственного безнравственного национализма, может быть еще третья, идеалистическая, точка зрения на национальность, полагающая национальный путь не в задачах государственности, а в самобытном, творческом осуществлении универсальных общечеловеческих задач» [6].

На протяжении обеих обозначенных выше великих эпох русской культуры в эпопее исихазма и в санкт-петербургском императорском кругу взаимодействие национальной традиции и мировой культуры выступало в форме, которую мы назвали «русской античностью». В начале XX века обращение к этой форме представлялось исключенным по крайней мере по двум причинам. Во-первых, в греко-римском классицизме человек в принципе рассматривается в идеально-героическом аспекте или в аспекте эстетического совершенства, в мировоззрении же предреволюционного русского общества в отношении к нему отчетливо преобладали сострадание, понимание его смятенности, стремление вывести его к более человечным и достойным условиям жизни — преобладало, короче говоря, восприятие его в христианско-экзистенциальном аспекте и в аспекте социальной справедливости. Во-вторых, классицизм в эти годы в сознании передовой интеллигенции жестко ассоциировался с Петербургом, последний же был неотделим от представлений о военно-бюрократическом правительственном духе и реакционном монархизме, давно уже ставшими для этой интеллигенции неприемлемыми [7].

И в самом деле, знакомясь с философской публицистикой, с искусством и литературой времени, убеждаешься в том, что вряд ли могло что-либо быть им более чуждым, чем античность, особенно русская, петербургская античность. Гёте еще в 1824 году сказал в одном из разговоров с Эккерманом: «Римская история, в сущности, уже не отвечает нашему времени», и критика классического канона, критика всей антично-римской парадигмы европейской цивилизации становится с тех пор одним из ведущих мотивов художественного и философского творчества в Германии, Франции, Англии. Русское общество рубежа века могло, по всему судя, полностью солидаризироваться с этим мнением, и подобное настроение было вполне созвучно общей атмосфере времени. Думали о страдающем человеке, о тяжелых условиях его жизни и о возможности эти условия улучшить, о возвращении к христианской простоте народной жизни, и любая античность казалась от всего этого слишком далекой, любой класси-

---

[4] «Петербург — русский город, но это — не Россия», сказал Николай I Кюстину (см.: *А. де Кюстин.* Николаевская Россия. М., 1990, с. 110). Эта сторона «мифологии Санкт-Петербурга» подробно и глубоко исследована в книге: *Н. Анциферов.* Душа Петербурга (1925). Л., 1990, и в сборнике «Семиотика города и городской культуры. Петербург». Тарту, 1984 (Труды по знаковым системам. XVIII.).

[5] *Е. Трубецкой.* Личность В. С. Соловьева. «Наше наследие», 1988, № 2, с. 76.

[6] *Н. Бердяев.* О творчестве национального духа. Публикации в журнале «Декоративное искусство СССР», 1989, № 3, с. 41.

[7] А. Н. Бенуа в своей широко известной статье о значении Петербурга для русской культуры писал: «Мнение о безобразии Петербурга настолько укоренилось в нашем обществе, что никто из художников последних 50 лет не пожелал пользоваться им, очевидно пренебрегая этим «неживописным», «казенным», «холодным» городом... За Петербург из больших поэтов второй половины XIX века никто не заступался». «Мир искусства», 1902, № 1.

цизм — слишком помпезным [8]. Господствовавшая атмосфера хорошо выражена в строчках, которые впоследствии посвятил своему настроению в эти годы Борис Пастернак:

Я льнул когда-то к беднякам
Не из возвышенного взгляда,
А потому, что только там
Шла жизнь без помпы и парада...

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

Ясное представление о ней дает также доклад Блока «Россия и интеллигенция» (1908) да и многие другие материалы времени.

Высшее свое выражение эта антиклассицистическая тенденция находит во взгляде интеллигенции тех лет на Санкт-Петербург. Мережковский совершенно ясно различает на лице города черты смерти — «те, что медики называют facies Hippocratica», и это представляется ему вполне заслуженным, ибо и спустя двести лет после своего основания «он все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня, невытанцовывающаяся и уже запачканная Европа» — плод насильственного и потому ненастоящего бракосочетания России и Европы. Зинаида Гиппиус тогда же посвящает столице империи стихотворение «Петербург», насыщенное презрением и ненавистью:

Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг!
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк!

Блок, на протяжении всей жизни страстно любивший Петербург, проживший там от рождения до смерти, называвший его «мой город», постоянно и упорно избегал центральных районов с их классическими тенями, с римскими фасадами, колоннами и триумфальными арками. Здесь прошли годы его младенчества и раннего детства, но, едва став сознательным и самостоятельным, он выбрался отсюда и никогда больше сюда не возвращался. Для долгих своих пеших прогулок он выбирал пригороды или отдаленные кварталы Петроградской стороны, привокзальные районы, острова. В его «петроградских стихах» реальные подробности и бытовые детали воспроизводят повседневную жизнь неприметного населения этих мест. («В соседнем доме окна жолты...»; «Открыл окно. Какая хмурая...»; «Ты смотришь в очи ясным зорям...»; «Вновь богатый зол и рад...»; «Поднимались из тьмы погребов...»; «Опустись, занавеска линялая...» и многие другие.) Священник Павел Флоренский шел в том же направлении если не в отзывах о Петербурге, то в статье о Хомякове, где он критикует этого вождя славянофильства за слишком глубокую связь с западной традицией.

На протяжении столетий в высших проявлениях русской культуры греко-римское наследие выступало как форма соединения и взаимодействия исконного и мирового — теперь эта роль представлялась исчерпанной и завершенной.

И тут наступило самое неожиданное и самое поразительное, с точки зрения же глубиного движения русской культуры самое значительное.

Анна Ахматова написала однажды о зиме 1913/14 г.— последней зиме мирного времени и нормального развития России:

Белее сводов Смольного собора,
Таинственней чем пышный Летний сад,
Она была. Не знали мы, что скоро
В тоске предельной поглядим назад.

Ощутив трагизм надвигавшихся лет, интеллигенция с нежданной ясностью почувствовала, что «глядеть назад» стоило едва ли не в первую очередь на те образы русской культуры, в которых на первый план выступали не абстрактно космополитическое неверие в национальное начало родной истории и не псевдопатриархальная почвенная традиция в ее изоляции от традиции мировой и противопоставлении этой последней, а на те, где русское выступало как энтелехия мирового, а пластическим воплощением этой энтелехии оказывались слившие эти два начала воедино образы русской античности. Если позволить себе на минуту избавиться от неприязни к патетике и красивости, можно было бы сказать, что интеллигенция услышала голос своей далекой родины.

Первым откликнулся на этот голос Осип Мандельштам. В декабре 1915 года вышел в свет его поэтический сборник «Камень». Он состоял из 67 стихотворений, среди которых девять, то есть каж-

[8] Такой оценке на первый взгляд противоречит классическая традиция в модерне начала XX в. в музыке и особенно в архитектуре, явившейся в последние годы предметом усиленной исследовательской разработки в отечественном искусствознании. Противоречие это — кажущееся. Классицизм такого типа подчинен обрисованной выше господствующей атмосфере времени, сначала контрастируя с ней как ушедший и элегически вспоминаемый классический миф, потом — растворяясь в «Новой музыке» и в доходно-промышленном строительстве 1910-х годов.

дое седьмое, или четырнадцать процентов, были связаны с древним Римом. В критических отзывах прессы тут же было отмечено, что «в стихах последнего времени г. Мандельштам почему-то считает своим долгом непременно упоминать Рим». Стихи, созданные на протяжении следующих семи лет, составили новую книгу поэта, изданную в 1922 году и названную словом, плотно окутанным многообразными древнеримскими ассоциациями, — Tristia. В этой книге сорок процентов стихотворений навеяны историей, мифологией и искусством античной эпохи. Нет никакой возможности рассматривать «античные» стихотворения обеих книг в плане академических реминисценций или как традиционную дань гимназическому классицизму. Чувство, которое пронизывает все эти стихотворения и сводит их в единое целое,— это чувство неразрывной связи природы, истории и культуры, и Рим важен постольку, поскольку он выступает как воплощение и средоточие этой связи.

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

Неотъемлемой составной частью этой связи, этого единства является Россия. Мы находимся в едином культурном пространстве, в котором русская национальная традиция постоянно взаимодействует с традицией античной, столь долго оплодотворявшей культуру позднейшей Европы.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Здесь в принципе нельзя сказать, о каком «городе» идет речь — о Москве, как явствовало из первой строфы («...И в дугах каменных Успенского собора...»), или об Афинах, как следует из третьей строки приведенной строфы. Противоположность оказывается «снятой».

Тем более так обстоит дело в стихотворении «На площадь выбежав, свободен...». Принято с полным основанием считать, что в нем описан Казанский собор в Петербурге, поскольку посвящено оно столетней годовщине со дня смерти А. Н. Воронихина, архитектора, этот собор создавшего. Автор думал так же, поскольку первоначальное название стихотворения, скорее всего (хотя не безусловно) данное самим О. Э. Мандельштамом, было «Казанский собор». Поразительно наблюдать, как эта определенность адреса, времени и места, подчиняясь каким-то странным импульсам, идущим из подсознания культуры, начинает прорастать совсем другими образами. Или, может быть, они вовсе не «совсем другие», а именно эти же самые? Как иначе объяснить все эти странные смысловые сдвиги — в первом стихе: Казанский собор, как известно, стоит не «на площади», а вплотную к красной линии Невского проспекта, описанию же Мандельштама наиболее полно соответствует собор Святого Петра в Риме, действительно «выбежавший на площадь»; в пятом — что удивительного в том, что русский архитектор, к тому же сын крепостного, построивший русско-православный собор в столице России, «не был итальянец, но русский» и к тому же русский не у себя в России, а «в Риме»? в седьмом стихе: почему поэт, проживший почти всю жизнь в Петербурге, идет «сквозь рощу портиков» «как иностранец» — значит, если он русский, то собор не русский, выходит — итальянский? Или собор в самом деле русский, тогда поэт — итальянец или, что в данном случае не менее важно, чувствует себя таковым. Примеры таких смысловых сдвигов могли бы быть умножены.

Взаимопронизанность русского и римского начал ощущается на протяжении всей книги. Автор прогуливается в деревне неподалеку от Петербурга, «Капитолия и Форума вдали», но именно здесь он ясно ощущает, что «в Риме родился, и он ко мне вернулся» (стихотворение «С веселым ржанием пасутся табуны»). Примечательно, что за этим признанием следует скрытая цитата из Пушкина: «печаль моя светла» — после нее стоит двоеточие, и слова «я в Риме родился» представляют собой, таким образом, как бы расшифровку слов Пушкина — он тоже втягивается в «римский» регистр культурного самоощущения. В этом отношении Пушкин не одинок, в том же регистре воспринимается поэтом и Чаадаев. Известно, с каким увлечением читал Мандельштам в 1914

году только что появившееся тогда двухтомное издание сочинений и писем Чаадаева [9]. Результатом явилась статья о Чаадаеве и стихотворение «Посох», статья — комментарий к стихотворению. Особенно важны в этом комментарии места, оставшиеся в черновике,— никак не противореча окончательному тексту, они в то же время как бы выявляют мысль в момент рождения, в ее непосредственности. «Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада... У России нашелся для Чаадаева только один дар: нравственная свобода, свобода выбора. Никогда на Западе она не осуществлялась в таком величии, в такой чистоте и полноте. Чаадаев принял ее, как священный посох, и пошел в Рим... Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева... Чаадаев знаменует собой новое, углубленное понимание народности, как высшего расцвета личности, и России как источника абсолютной нравственной свободы. Наделив нас внутренней свободой, Россия предоставляет нам выбор, и те, кто сделал этот выбор,— настоящие русские люди, куда бы они ни примкнули» [10].

Позволим себе повторить: все, о чем здесь идет речь,— не академические реминисценции, не классицизм. На последние, как правило, обращается внимание при характеристике культуры Серебряного века, но совсем в ином смысле, нежели тот, что имеется в виду здесь. В такого рода характеристиках со времен ранних работ В. М. Жирмунского принято говорить о сближении постсимволистской литературы «с четким и сознательным искусством французского классицизма» [11], понимая под этим реакцию на принципиальную туманность символистской лирики, на ее поэтику намеков: «поэзия намеков и настроений заменяется искусством точно вымеренных и взвешенных слов», отныне сами переживания, «даже восставая из дионисийских глубин символизма, носят след «аполлинийской» ясности» [12]. Говоря о «новом классицизме» Серебряного века, историки культуры и сегодня имеют в виду признания художников и мыслителей этой поры, утверждавших, что «широкий путь аполлонизма, который грезится нам, не может совпасть с легкой, утоптанной школьными учителями всех веков дорожкой, ведущей к Парнасу и в холодные академические кумирни. Аполлон — только символ, дальний зов из еще непостроенных храмов, возвещающий нам, что для искусства современности наступила эпоха устремлений... к новой правде, к глубоко сознательному и стройному творчеству: от разрозненных опытов — к закономерному мастерству, от расплывчатых эффектов — к стилю, к прекрасной форме и животворящей мечте» [13]. Классицизм Серебряного века — явление эстетики и в первую очередь поэтики; прощание с окрашенным в греко-римские тона синтезом национальной традиции и мировой культуры — явление жизни и философии истории.

До «Камня» Мандельштам почти не касался русской античности. Поэтому появление в его творчестве этой темы не предполагало слома, пересмотра и отказа. Более характерен опыт художников этой эпохи, которые еще несколькими годами раньше были весьма далеки от русской античности или настроены враждебно к ее мотивам, теперь же, когда, говоря словами Ахматовой, ко всем порогам и по всем дорогам «приближался медленно гул», и несколькими годами позже, когда этот гул превратился в завывание бури, обратились к образам русско-античной классики.

Особенно ясно представлен этот поворот в жизни и творчестве Блока. На протяжении всего 1920 года он не был в состоянии создать ни единого стихотворения. Неожиданно в начале 1921-го он откликнулся на просьбу знакомой дамы написать «какие-нибудь строки» на годовщину со дня гибели Пушкина и создал свое фактически последнее стихотворение, «Пушкинскому дому», посвя-

---

[9] О значении этого издания для Мандельштама см.: *Б. Лившиц*. Полутораглазый стрелец. Л., 1933, и материалы, собранные и прокомментированные П. Нерлером: *О. Мандельштам*. Слово и культура. М., 1987, с. 267—268 и 287—289.

[10] *О. Мандельштам*. Слово и культура, ук. изд. с. 267—268.

[11] *В. М. Жирмунский*. Преодолевшие символизм (1916). В кн.: *В. М. Жирмунский*. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, с. 110.

[12] Там же, с. 110; 108.

[13] См.: *Т. Левая*. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991, гл. IV «Предпосылки и симптомы нового классицизма». Процитированный текст взят из статьи-манифеста журнала «Аполлон» № 1 за 1909 г. и приведен нами по книге Т. Левой с. 74—75. Ср. последнюю работу по данной проблеме: *Г. И. Ревзин*. Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX века. М., 1992, с обильными библиографическими указаниями.

щенное не одному лишь Пушкину, а в не меньшей степени окрашенному в пушкинские тона образу Петербурга — образ петербургской классики par excellence, которая здесь, однако, выглядит совсем по-другому, чем в его творчестве прежних лет. К. И. Чуковский вспоминал, как, слушая впервые это стихотворение в чтении самого Блока, был потрясен второй строкой заключительной строфы:

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената,
Тихо кланяюсь ему.

Потрясение было оправданно: через несколько дней у Блока открылась болезнь сердца, которая за три с небольшим месяца свела его в могилу; поэт предчувствовал свою судьбу — уже с февраля месяца он был спокоен, отрешен и как бы прощался с жизнью. Надо представить себе реально, чему именно кланялся Блок, «уходя в ночную тьму» с белой площади Сената. Перед ним, на противоположном берегу Невы, расстилался один из самых значительных, самых палладиевских, римски-классических ансамблей державно-императорского Санкт-Петербурга. Справа, над зданиями Биржи, поднимались барабан и купол таможни (1829—1832, Лукини, Стасов[?]), чуть ближе — сам «храм Плутоса» — здание Биржи (1805—1810, Томон, Захаров): «оно решено по типу античного храма на высоком гранитном подиуме с окружающей центральный объем дорической колоннадой; на подиум ведут широкие торжественные лестницы и пологие пандусы» [14]. Перед Биржей Ростральные колонны — над массивными фигурами, символически изображающими великие русские реки Волгу, Днепр, Неву и Волхов, поднимается сам ствол колонны, пронизанный носами кораблей; создатель ростральной колонны как особого архитектурно-мемориального типа — римский консул Дуилий, создатель символических скульптур — вологодский крестьянин Суханов. И дальше в том же направлении справа налево — Кунсткамера, основанная Петром, при нем заложенная, выдержанная в тонах, для его времени характерных. Главное здание Академии наук (где в те годы и помещался Пушкинский дом), созданное Кваренги. Заложенное Петром здание Двенадцати коллегий, с 1835 года — Университет; здесь прошли детские годы поэта в квартире его деда, ректора университета А. Н. Бекетова, здесь, ребенком, впервые увидел он свою будущую жену, Л. А. Менделееву, здесь истончалось до предела различие между его жизнью, историей города и историей русской культуры. И еще дальше — новое здание университета, дворец Меншикова — все то, что в жизни представлялось ему таким официальным и помпезным, холодным и чуждым, но чему, понял он, должно ему поклониться перед смертью. Нелишне вспомнить, что кланяется он «с белой площади Сената», то есть стоя рядом с Фальконетовым памятником Петру. Всего четырнадцатью годами ранее он писал про него: «Там, на скале, веселый царь // Взмахнул зловонное кадило», теперь это «Всадник бронзовый, летящий // На недвижном скакуне» [15]. Здесь, к сожалению, нет возможности подробно остановиться на черновых набросках третьей главы «Возмездия», относящихся к январю — июлю 1921 года, то есть в какой-то части созданных уже в предсмертной болезни, в том состоянии сознания, в котором обнажаются самые глубокие, самые интимные импульсы и чувства. Здесь описывается тот «уголрая», которым стали для поэта «старый дом» и «столетние кусты сирени», где «всей весенней красотою // Сияет русская земля...» и припоминаются характерные обертоны этого мира и этого образа жизни — «идей Платона великолепные миры», «латынь и греки», «И строй возвышенной души». Сопоставление этого круга образов с образами, владевшими поэтическим сознанием Блока в первое время после революции, в эпоху «Двенадцати» и «Скифов», черновых записей про «дорогую память трупа», говорит само за себя.

Изменение отношения к Петербургу, его классике и его основателю отмечается в эти годы не только в творчестве Блока. Выше упоминалось стихотворение Зинаиды Гиппиус «Петербург» (1909); 14 декабря 1914 года, день в день в годовщину восстания на Сенатской площади, она пишет «Петроград» — стихотворение, посвященное переименованию столицы России.

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук

[14] Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1972, с. 97.

[15] Контраст выступает еще резче при сопоставлении с черновым текстом стихотворения 1907 года: «Проснусь и я. В глазах царя // Прочту проклятые заветы. // Ты, Петербургская заря! // Буди в иных сердцах ответы!». Первоначальный текст заключительного двустишия выглядел так: «Как встарь, заставит смолкнуть речь // Рукой, простертой над столицей».

Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?

...Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Восстанет он, все тот же бледный, юный,
Все тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,—
Создание революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

В литературе Серебряного века намечается еще одна линия отношения к Риму. Она началась некогда у Гоголя в отрывке «Рим» (возможно, восходя через него к восприятию Рима в творчестве немецких романтиков), завершиться же ей предстояло в обоих «Прологах в Риме», которые М. А. Булгаков предпослал своим инсценировкам «Мертвых душ» для театра и для кино. Главное в ней — восприятие Рима в тональности «прекрасного далека», как уходящей, некогда великой цивилизации, окутанной сгущающимися вечерними тенями и навсегда погружающейся, прощаясь, в ночное небытие истории. Таким видел Рим П. Муратов, временами — Д. Мережковский, что-то подобное, по-видимому, испытывали по отношению к Риму и в кружке Бердяева, по крайней мере если судить по некоторым сохранившимся материалам такого близкого Бердяеву человека, как Е. К. Герцык. Свою автобиографическую до сих пор не изданную повесть она назвала «Мой Рим». Смысл этого названия она раскрыла в опубликованных «Воспоминаниях»: «Если Флоренция — вся порыв, то Рим — покой завершенности... Время, что ли, покрыло все золото тусклой патиной, не видно в нем напряжения мускулов, восстания духа — невыразимая, всеохватная тишь. Земля к земле вернулася» [16]. Те же настроения вечера, ухода, погружения в сон, прощания с былым блеском ощущаются при обращении к древности Рима и Италии у Блока в «Равенне», которая спит, «как младенец», «у сонной вечности в руках», у Вячеслава Иванова, в чьих сонетах «скитаний пристань, вечный Рим» «помнит в ласке золотого сна» все катастрофы истории и понимает их относительность [17]. Современнику оставалось чувствовать и решать, с каким прошлым ему предстояло прощаться — Рима, России, своим собственным.

Особое значение для проблемы русской античности в контексте культуры Серебряного века имеет статья П. Флоренского «Троице-Сергиева лавра и Россия» (1921). В те годы он жил неподалеку от Москвы в этом маленьком городе, основанном некогда преподобным Сергием Радонежским и навсегда тесно связавшемся с ним в памяти народа. На четвертом году революции отец Павел Флоренский, священник и человек строго православных правил, приходит к выводу, что и эта колыбель русского православия, и самой своей сутью русская культура в целом ведут духовное начало из античной Греции. Выписка из этой работы — пусть несколько пространная — дает о ней более точное представление, чем любой анализ. «Можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи — энтелехия, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре! Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное — ее провинция и окраины... Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией преподобного Сергия, к тому слову, которому пока все еще никак не удается найти себе выражение. Это слово — *античность*. Вжившийся в это сердце России, единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также и непосредственно,— древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, в Лавре, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах, в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном, подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голосов, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства» [18]. В качестве

[16] *Е. К. Герцык*. Воспоминания. Париж, 1973, с. 128.
[17] *Вяч. Иванов*. Римские сонеты. I. «Вновь арок древних верный пилигрим...»
[18] *П. Флоренский*. Троице-Сергиева лавра и Россия. В кн.: Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991, с. 275.

примера и доказательства своей мысли Флоренский приводит учение преподобного Сергия и возникшую под его прямым влиянием икону Троицы Андрея Рублева. Содержание этой иконы, «величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти», Флоренский видит прежде всего в соединяющей представленных на иконе ангелов «вечной безмолвной беседе» [19], в которой для него заключена также суть всего учения Сергия и всей питающейся эллинскими истоками русской культуры.

На протяжении тысячи лет обеспечивала русская античность — будь то в виде восприятия греко-византийского религиозно-философского наследия, будь то через усвоение и переработку государственных и художественных форм древнего Рима — реальность диалога культур. Может быть, она эту свою роль выполнила и исчерпала. Общее наше будущее, однако, зависит от того, может ли быть успешно продолжен диалог, ею начатый.

[19] Там же, с. 282. Усмотрение в Троице Рублева «ноуменального центра» русской культуры и связь ее с мироощущением древней Эллады — мысль не только Флоренского; она родилась из всего духа Серебряного века и неоднократно высказывалась деятелями, принадлежавшими этой эпохе или испытавшими ее воздействие. См.: *И. Е. Данилова.* Андрей Рублев в русской и зарубежной искусствоведческой литературе. В кн.: Андрей Рублев и его эпоха. М., 1971; а также: Троица Андрея Рублева. Антология. Сост. Г. И. Вздорнов. М., 1989.

К нашим иллюстрациям

ИВАН ЛАЦКОВИЧ-КРОАТА

О югославском примитивизме, или, как его еще называют, «наивном» искусстве, написано очень много. Мы же хотим остановится на одном из целой череды известных имен в этой области — Иване Лацковиче-Кроате, выставка которого состоялась в прошлом году в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

Выступая на открытии своей выставки в Москве, художник сказал: «Я родился в деревне. У меня было богатое детство, но не потому, что наша семья была богатой. Просто у меня были дом, хлеб и семья». Этого богатства Лацковичу хватило на многие годы, насыщенные творчеством, в нем он до сих пор находит новые и новые темы, нюансы, образы.

Иван Лацкович-Кроата с двадцатипятилетнего возраста живет и работает в Загребе, но деревня, природа остались главной и постоянной темой его творчества. Лирические пейзажи его родного Подравья — это одновременно и страстная ода покою и миру, незамутненному счастью, разлитому в природе.

Стремление к творчеству проявляется у разных художников по-разному. У Лацковича все началось с того, что он перерисовывал на стены деревенских домов открытки, иллюстрирующие сцены из жизни святых. С этих в полном смысле слова наивных и примитивных изображений начался его путь к известности. А известен он едва ли не на всех континентах, его работы находятся в фондах сорока югославских музеев, а также более чем в тридцати известных музеях и галереях мира. И как в отроческие годы деревенский мальчик изображал на своих картинах идеальное — жизнь и деяния святых, так и в картинах зрелого мастера Ивана Лацковича-Кроаты перед нами мир, во многом уже ставший далеким и идеальным для человека, живущего среди машин, автоматов, бетонных домов, бешеных скоростей, смертоносного оружия, войн. Его рисунки и картины кажутся волшебными оазисами чистой и простой красоты, чем-то лежащим между явью и сном, между вспоминаемым и воображаемым: душа трепещет, ощущая свою крошечность и одновременно соизмеримость с бескрайностью природы и вечности.

Лацкович воспевает окружающий мир совершенно свободно. Он как бы не обременен опытом и знанием, которые, таясь в глубинах его творческого существа, заявляют о себе через высокий профессионализм, чистоту и чувство гармонии; его работы имеют и еще одно исключительное качество — музыкальность.

Конечно же, работы Лацковича-Кроаты поэтизируют и романтизируют деревенскую жизнь. Здесь нет ни нищих, ни бедноты, ни грязи. Но все это — сознательная позиция художника, который считает, что и природа и человек, живущий в ней, должны быть подняты на пьедестал.

Картины Лацковича отличают нежность красок, изысканная тонкость линий, благородная сдержанность эмоций. Его любимые цвета — голубой, белый, все оттенки коричневого, вплоть до горячего, светящегося изнутри золотисто-оранжевого. Удивительной силы всплеск ответного чуства вызывают эти работы. Как горели глаза ребенка, стоявшего перед картиной Лацковича на московской выставке: он, быть может, впервые видел воплощение своей мечты — дуб, расцветший незабудками, или цветы, выросшие до небес. А взрослый, возможно, не только восхищался красотой представших перед ним волшебных грез, но и ощущал боль утраты своих детских иллюзий, горькую недостижимость и того, что в прошлом, и того, что в будущем...

Обращаясь к тем, кто в нашей стране увидит его работы, Иван Лацкович-Кроата написал: «Дорогие друзья, сердечно приветствую вас из далекой Хорватии, далекой по расстоянию, разделяющему нас, но близкой по общим славянским корням. Я принадлежу к старому народу, о котором еще в десятом веке написал византийский император Константин Багрянородный. В моей стране Хорватии в основном живут хорваты, а вместе с ними и другие народы: сербы, македонцы, словенцы, мусульмане, евреи, черногорцы, венгры, чехи, словаки, русины, немцы, итальянцы...

Мою родину с одной стороны омывает Адриатическое море, с другой — возвышаются горы и расстилается обширная Подравская долина. Вот как раз там, где течет река Драва, я и родился шестьдесят лет назад. С 1957 года живу и работаю в Загребе.

Мир моих картин — это воспоминания о родном крае, о детстве, о времени, которое уже прошло... Но все это часть моего мира. Красота преходящей жизни и природы всегда привлекала меня. Рисунок — моя вторая любовь, которой я отдал всю свою жизнь, с ней я не расстаюсь и сегодня. Эта черная линия, с помощью которой я оживляю мои родные места, все еще тянется. Она вызывает воспоминания о детстве, она фиксирует драматические моменты сегодняшнего дня.

Я обращаюсь к вам от имени всех моих единомышленников, верящих в то, что искусство больше, чем все остальное, свидетельствует о том, что для него нет непреодолимых границ и закрытых дверей.

Сердце человека должно чаще радоваться в этом маленьком мире, в котором нам так нужны общение и доброта. Мы должны строить мосты дружбы, пусть даже небольшие, но мы должны строить их ради того, чтобы континенты и народы жили общей жизнью.

Искусство всегда оставляет место надежде, напоминая и свидетельствуя о том, что человек рожден для жизни и любви. Но человек всего лишь путник во времени и природе, и он обязан быть другом и человеку, и волку, и безобидной птице, и ястребу, и другу, и недругу. Ибо искра, высеченная искусством, светит всегда...»

Л. САВЕЛЬЕВА

У книжной витрины

ЖАН-МАРИ ГЮСТАВ ЛЕКЛЕЗИО

Блуждающая Звезда

Jean-Marie Gustave Le Clézio. **Etoile errante. «Gallimard»**

Известный французский писатель вновь обращается к тем натурам, чей ум проницателен, совесть чиста, а душа искренна, чтобы глазами таких персонажей увидеть несколько трагических страниц мировой истории. Действие в романе — он составляет дилогию с предыдущей книгой «Онитша» (1991; см. о ней «ИЛ» 1991, № 10) — охватывает период с 1943 по 1982 год и разворачивается сначала в Европе, а затем на Ближнем Востоке.

Тринадцатилетняя еврейская девочка Элен — в домашнем кругу ее зовут Эсфирь, то есть «звезда»,— живет с родителями в окрестностях Ниццы. Из оккупированной нацистами Франции семья вынуждена бежать в восточные земли — туда, где впоследствии будет вместе с остальными возрождать государство Израиль.

Поворотным моментом в жизни повзрослевшей «блуждающей Звезды» становится мимолетная дорожная встреча с ее двойником — палестинкой Неджмой. Не зная языка друг друга, они знакомятся, выведя свои имена в чистой тетради Неджмы. На большее времени не отпущено: колонна евреев-переселенцев, исполненных чувства собственной правоты, отправляется дальше, на историческую родину; колонна палестинцев, изгнанных с этой территории, движется в обратном направлении. «Куда они теперь?» — взволнованно спрашивает у окружающих Эсфирь, впервые усомнившись в справедливости происходящего. «В Ирак,— отвечает ей одна из женщин и добавляет, словно угадав ее мысли: — Невиновных среди них нет. Это матери и жены тех, кто убивал нас». «А как же дети?» — не сдается мучимая угрызениями совести Эсфирь, но ее вопрос повисает в воздухе...

ДАРДЕН АСБЕРИ ПАЙРОН

Дочь Юга

Darden Asbury Pyron. **Southern Daughter. Oxford University Press.**

В новой биографической книге об авторе знаменитого романа «Унесенные ветром» представлен любопытный и порой довольно неожиданный портрет Маргарет Митчелл, изложение фактов переплетается со своеобразным их толкованием. Однажды дома в Атланте маленькая Маргарет играла слишком близко к камину, и ее пышное платьице загорелось; хотя ребенок не пострадал, мать настолько испугалась, что до самой школы одевала Маргарет как мальчика, а соседи звали ее «Джимми». По мнению Д. А. Пайрона, «мужская роль» в раннем детстве наряду с прочими обстоятельствами повлияла на формирование независимого и отчасти конфликтного характера Маргарет и ее последующее стремление утвердить себя в мире мужчин, что в условиях консервативного американского Юга сделать было не так просто. Один из путей — получить хорошее образование, однако училась девочка посредственно; она выделялась, скорее, богатым воображением, зачитывалась романами и уже в юности пробовала сочинять пьесы и рассказы, главной темой которых был вопрос, волновавший ее всю жизнь: реальное место женщины в обществе. Биограф считает, что постоянный интерес к этой проблеме определял многое: от увлечения психологией и психоанализом до интереса к порнографии. Впрочем, в жизни физическая сторона секса была ей отвратительна, как и перспектива беременности.

В 1920-е годы «благопристойную» Атланту эпатировали непосредственность, прямота и смелость суждений молодой женщины, отчего она прослыла «доступной»; но желавших проверить эту сплетню ждало жестокое разочарование. Ее единственный возлюбленный, офицер, погиб в первую мировую войну; после короткого и неудачного брака с бездарным и грубым пьяницей Маргарет Митчелл, уже работая журналисткой в «Атланта джорнэл мэгэзин», вышла замуж за чиновника Джона Марша — флегматичного ипохондрика. Этот брак дал «дочери Юга» покой и возможность уединения: Джон Марш спал по двенадцать часов в сутки и не докучал жене всуе. В итоге появился роман, разошедшийся более чем миллионным тиражом за полгода и ставший затем запоминающимся (хотя и слегка приукрашенным по сравнению с оригиналом) фильмом.

ДОРИС ЛЕССИНГ
Подлинное

Doris Lessing. **The Real Thing. «Harper Collins»**

Новая книга одной из старейших писательниц Великобритании имеет подзаголовок «Рассказы и зарисовки». В сборнике «Подлинное» Дорис Лессинг разворачивает яркое полотно жизни в современном Лондоне.

В центре многих рассказов — женщины, наши современницы. Печальную историю поведала о себе сбежавшая из дома беременная девушка, которую приютила у себя лондонская проститутка. Пронзительна по тону новелла о пакистанке — матери семейства, посмевшей не отказаться от своей любви. В других рассказах автор исследует непонимание, разделяющее раздражительную дочь и ее мягкую, добрую мать; описывает внезапно возникшее единение женщин с разными характерами, попавших в одну больничную палату. Как и в предыдущих своих произведениях, Дорис Лессинг подробно раскрывает сложность отношений между людьми, столь типичную для наших дней. В рассказе «Преисподняя» стареющая женщина, случайно встретившись с бывшим мужем, с горечью вспоминает прошлое и делает неожиданное для себя открытие. Другая уже немолодая женщина, стремясь избавиться от гнетущего чувства вины, признается, как много лет назад из эгоистических побуждений затеяла интригу, которая поломала судьбу знакомому юноше (новелла «Какова цена истины?»). А в рассказе, давшем название сборнику, английская писательница ставит во главу угла то «подлинное», что тонкой, незримой нитью связывает давно разведенных супругов,— их родительский долг.

СУЗАН СОНТАГ
Вулкан любви

Susan Sontag. **The Volcano Lover. «Farrar, Straus and Giroux»**

Свой третий (и первый за последние двадцать пять лет) роман Сузан Сонтаг называет «исторической книгой, написанной с современных позиций». Главные персонажи — вполне реальные и знаменитые люди. Это прежде всего сэр Уильям Гамильтон — посол Британии при неаполитанском дворе, аристократ, увлекавшийся науками и искусством. В свободное время он изучал вулканы (и даже совершил более двадцати восхождений на Везувий), а также пополнял свою богатейшую коллекцию античных редкостей, будучи страстным собирателем всего ценного и поклонником красоты. Видимо, поэтому его второй женой стала Эмма Харт, слывшая в ту пору красавицей, что, впрочем, судя по портретам, можно считать преувеличением. К этому дуэту в Неаполе присоединился прославленный адмирал Горацио Нельсон, и из образовавшегося трио вскоре выделился иной дуэт, а сэр Гамильтон приобрел репутацию рогоносца. С этого момента вулкан вообще — и Везувий в частности — неизбежно превращается в романе в символ: под внешне прочной поверхностью все кипит и бурлит...

Сузан Сонтаг работала над книгой три года и постаралась максимально использовать документальные материалы. Довольно прохладный прием у литературных критиков не помешал «Вулкану любви» занять место в списке бестселлеров.

МАРИЗА КОНДЕ
Последние волхвы

Maryse Conde. **Les derniers rois mages. «Mercure de France»**

Мариза Конде, уроженка Гваделупы,— не новичок во франкоязычной литературе Антильских островов (о ее романах «Я — Титюба, чернокожая сейлемская ведьма» и «Переход через мангровые леса» см. «ИЛ», 1988, № 3 и 1990, № 8). В своей новой книге писательница обращается к излюбленным сюжетам, овеянным таинственными преданиями ее загадочной родины. Главные герои романа живут на острове Мартиника; стремясь избавиться от царящей вокруг скуки, они начинают выдавать себя за последних волхвов. Но «потомков» босоногих властелинов мира поднимают на смех. Ничем не примечательных мужчин, разыгрывающих из себя волхвов, в конце концов поддерживают лишь их собственные жены: приятно хотя бы помечтать о своем высоком предназначении, когда в доме — ни крошки, а на дворе — нескончаемые ливни. И пусть соседи считают трех друзей бездельниками и пустозвонами — неугомонные фантазеры твердо знают, что истина не в деньгах и даже не во владении плодородной землей.

ЭММА ТЕННАНТ
Фаустина

Emma Tennant. **Faustine. «Faber»**

За двадцать восемь лет из-под пера англичанки Эммы Теннант вышла череда разнообразных произведений, которые, однако, объединены стремлением автора по-новому представить традиционные жанры и темы. Роман «Фаустина» принадлежит к числу книг, в которых писательница преобразует классические мужские персонажи в женские. Как явствует из названия, Э. Теннант предлагает дамский вариант доктора Фауста.

В романе прослеживаются три этапа в раз-

витии женщины — молодость, зрелость, старость — на судьбах трех героинь. Рассказ ведется от лица младшей из них, Эллы, в форме ее отрывочных воспоминаний о своей бабушке. Мюриэл (или Фаустина) — серенькая служащая со взглядами домохозяйки — снедаема жгучей ревностью к любовнику своей дочери Анны. Однажды, отправившись в мастерскую, чтобы сдать в ремонт телевизор, Мюриэл с изумлением видит на множестве телеэкранов свое лицо — непонятным, а вернее, дьявольским образом помолодевшее. В обмен на известное условие сатана предлагает ей молодость, славу и любовника Анны. Мюриэл соглашается и становится знаменитостью, между тем как ее дочь стареет и дурнеет, а внучку сбывают с рук в далекую Австралию...

ПАТРИК ШАМУАЗО

Тексако

Patrick Chamoiseau. **Texaco. «Gallimard»**

Патрик Шамуазо — молодой, но уже зарекомендовавший себя франкоязычный писатель, уроженец острова Мартиника. Несколько лет назад он и его друг, коллега и соотечественник Рафаэль Конфьян (см. о нем «ИЛ» 1989, № 5), а также их старший собрат по перу и учитель Эдуард Глиссан (см. «ИЛ» 1985, № 6; 1986, № 4) поставили перед собой задачу: определить «коллективное бессознательное» антильского устного творчества, исследовать европейские, африканские, индийские и индейские корни своего народа и запечатлеть итоги этих поисков на бумаге, придав им художественную форму.

Одним из этапов выполнения этой совместной литературной программы явился роман «Тексако», действие которого охватывает полтора столетия (с 1823 по 1980 год) мартиникской истории. Главная героиня — Мари-Софи Лаборьё — родилась в 1913 году в семье рабов, получивших затем вольную. Независимость, мужественность Мари-Софи привлекает к ней людей, и вскоре вокруг ее хижины образуется целый креольский поселок под названием Тексако. Будучи предместьем или даже кварталом большого города (в котором легко угадывается Фор-де-Франс, столица Мартиники), Тексако не теряет своего лица и живет особой, неповторимой жизнью. Мари-Софи становится душой общества, свидетелем и участником веселых и печальных, радостных и трагических событий, летописцем отдельных судеб, переплетенных с судьбами народа и страны. История рабства, богатая мрачными эпизодами, тайнами, легендами, фантастическими преданиями, может просто исчезнуть, ибо не оставляет письменных свидетельств. Именно поэтому Мари-Софи берет на себя роль хроникера — и к Патрику Шамуазо попадают двадцать шесть ученических тетрадей, в которых слились воедино прошлое и настоящее уголка его родины.

КАРЛО ЭМИЛИО ГАДДА

Очерки, дневники, притчи и другие произведения

Carlo Emilio Gadda. **Saggi, giornali, favole e altri scritti. «Garzanti»**

В нынешнем году литературная Италия отмечает столетие со дня рождения Карло Эмилио Гадды. Его творческое наследие обширно и многообразно, однако до недавних пор читатели не имели возможности оценить его во всей полноте: часть публикаций стала библиографической редкостью, а немалое число произведений после смерти писателя в 1973 году так и осталось в рукописях. Восстановить справедливость взялось миланское издательство «Гарцанти», выпустив в 1988 году первый том из задуманного четырехтомника сочинений К. Э. Гадды. Приуроченный к юбилею последний том — «Очерки, дневники, притчи и другие произведения»,— видимо, будет все же предпоследним, ибо обилие «белых пятен» требует расширить рамки собрания.

Вышедший четвертый том вобрал в себя прозу из числа редких изданий, стихи и автобиографические очерки. Среди прозаических произведений выделяется группа наиболее значительных в творчестве крупного мастера итальянской словесности: «Первый сборник притчей», «Людовики французские», «Эрос и Приап» (в котором автор осудил фашизм и свою прежнюю приверженность ему), «Воин, амазонка и поэтический дух в бессмертных стихах Фосколо» (сатирический шарж на поэта-романтика Уго Фосколо, которого он стойко ненавидел), «Фронтовые и лагерные дневники» (автобиографические материалы, частично публиковавшиеся начиная с 1955 года и лишь теперь представленные в полном объеме).

Двадцатый век: от 1900-го до наших дней

The Twenieth Century: from 1900 to the Present Day. «Bloomsbury»

Начатая в 1989 году издательством «Блумсбери» серия литературоведческих справочников пополнилась еще одной книгой. Она посвящена англоязычной литературе XX века и содержит критические очерки и краткий энциклопедический словарь крупнейших мастеров, произведений и литературных течений нашего столетия. Кроме того, в словарь включены литературоведческие термины и понятия.

Книга вышла под редакцией Линды Уильямс — преподавателя Ливерпульского уни-

верситета, автора ряда работ по современной беллетристике и викторианской поэзии. В предисловии Л. Уильямс поясняет, по каким принципам отобраны материалы для этого справочника. Желая подчеркнуть преемственность англоязычной литературы XX века, составитель внесла в словарь именитых писателей и философов XIX века. С другой стороны, не стремясь к исчерпывающему освещению всей англоязычной литературы, Л. Уильямс отдала предпочтение тем авторам, чье творчество либо наиболее сильно сказалось на британской литературе, либо само подвержено ее влиянию. По этой причине «Двадцатый век» столь калейдоскопичен: Эзра Паунд, Т. С. Элиот, Стивен Кинг, Зигмунд Фрейд, Симона де Бовуар, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов.

Не обойдены вниманием представители стран Содружества: это, например, новозеландская писательница детективного жанра Нгайо Марш и Маргарет Этвуд из Канады, тринидадец В. С. Найпол и нигериец Чинуа Ачебе. Особое место отведено австралийской литературе, а также англоязычным произведениям писателей Шотландии, Ирландии и Уэльса.

БЕН МАКИНТАЙР

Забытый фатерланд

Ben Macintyre. **Forgotten Fatherland. «Macmillan»**

Эта книга имеет подзаголовок «В поисках Элизабет Ницше» и рассказывает о судьбе сестры известного немецкого философа. Ее муж, Бернхард Фёрстер, был ярым поклонником Вагнера, антисемитом и вегетарианцем. В 80-х годах прошлого века он вместе с женой и группой немногочисленных сторонников отправился в Парагвай, где основал небольшое поселение, названное «Новая Германия». Просуществовало оно недолго, и неудачник Фёрстер забросил колонию, начал есть мясо, пристрастился к спиртному и в итоге покончил с собой в отеле под Асунсьоном приблизительно тогда же (январь 1889 года), когда у Фридриха Ницше случился последний и на сей раз необратимый приступ душевной болезни: проживавший в Турине философ, выйдя на улицу, стал обнимать запряженную в экипаж лошадь.

Между тем Элизабет Фёрстер-Ницше вернулась в Европу и решила добиться славы, эксплуатируя имя и известность брата. При этом она активно и без особых угрызений совести искажала и переиначивала философское наследие Ницше в угоду собственным расистским, националистическим, а впоследствии и нацистским убеждениям. В книге подчеркивается, что развернутая ею пропагандистская деятельность имела мало общего с идеями Ницше, который, в частности, презирал антисемитов и не одобрял ни парагвайскую авантюру, ни ее вдохновителя. Тем не менее амбициозная Элизабет кое-чего добилась: была трижды выдвинута на соискание Нобелевской премии по литературе, соорудила в Веймаре гробницу Ф. Ницше, свела близкую дружбу с верхушкой третьего рейха, а ее пышные похороны (она умерла в 1935 году в возрасте 89 лет) даже почтил своим присутствием фюрер... Работая над книгой, Бен Макинтайр использовал новые документы из веймарского архива Ницше, посетил бывшую парагвайскую колонию («забытый фатерланд»), а для оформления подобрал редкие старинные фотографии.

Авторы этого номера

БОББИ ЭНН МЕЙСОН (BOBBIE ANN MASON) — американская писательница. Ее первый сборник рассказов «Шайло» («Shilon & Other Stories») появился в 1982 г. и был удостоен премии Хемингуэя. Затем вышли повесть «Спенс плюс Лила» («Spence + Lila», 1987); сборник рассказов «Жизнь в любви» («Love Life», 1989).
Роман «Там и здесь», вышедший в США в 1985 г., принес Б. Мейсон известность и признание («In Country». New York, Harper & Row Publishers, 1985).

РОМЕН ГАРИ (ROMAIN GARY; наст. имя РОМАН КАСЕВ; 1914—1980) — французский писатель, дипломат. Юношей приехал во Францию, где получил среднее образование в Ницце и юридическое в Париже. В 1938 году окончил летное училище, служил во французской эскадрилье в составе Британских ВВС, участвовал в освобождении Франции от фашистской оккупации во время второй мировой войны. С 1945 г.— на дипломатической службе. Автор романов: «Европейское воспитание» («Education Europiènne»; премия Критики, 1945), «Корни неба» («Les Racines du ciel»; Гонкуровская премия, 1956), «Глотатели звезд» («Les mangeurs d'étoiles», 1966), «Ночь будет спокойной» («La nuit sera calme», 1974), под псевдонимом ЭМИЛЬ АЖАР «Жизнь впереди» («La vie devant soi», Гонкуровская премия, 1975; рус. пер. в Библиотеке «ИЛ», 1988) и «Печаль царя Соломона» («L'angoisse du roi Salemon», 1979). Роман «Жизнь и смерть Эмиля Ажара» («Vie et mort d'Emile Ajar») опубликован посмертно в 1981 г. По произведениям Р. Гари поставлено девять фильмов, в том числе «Обещание на рассвете».
Роман «Обещание на рассвете» вышел во Франции в 1960 году («La promesse de l'aube». Paris, Gallimard, 1960).

НИКОЛАЙ КЫНЧЕВ (НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ; род. в 1937 г.) — болгарский поэт, переводчик. Окончил филологический факультет Софийского университета. Печатается с 1957 г. Автор сборников стихов «Присутствие» («Присътствие», 1965), «Как горчичное зернышко» («Колкото синапеното зърно, 1968), «Послание пешехода» («Послание от пешеходец», 1980), «Ночной сторож зари» («Нощен пазач на зората», 1983), «Волны вероятности» («Вълни на вероятността», 1985), «Время, розданное другим» («Времето, раздадено на другите», 1989) и др.
Стихи Н. Кынчева переводились на многие языки. На русском публиковались в сборниках и периодике.
Публикуемые стихотворения взяты из сборника «С солнцем на сердце» («Със слънце на сърцето», 1989) и журнала «Современник» (№ 4, 1990).

ЯН ЮЗЕФ ЛИПСКИЙ (JAN JOZEF LIPSKI; 1926—1991) — польский историк литературы, критик, публицист, общественно-политический деятель. Автор двухтомной монографии «Творчество Яна Каспровича» (1967, 1975). В 1976—1981 гг.— один из создателей и член Комитета Защиты Рабочих. Был репрессирован в 1977 и 1981 гг. Организатор и руководитель возрожденной им Польской социалистической партии (1987). Сенатор Польской Республики (1989). Публикуемая статья была напечатана в польском журнале «Культура» («Kultura». Paryż, 1981, № 10).

КНАБЕ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ (род. в 1920 г.) — кандидат филологических наук, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, специалист в области истории языка и культуры Древнего Рима, русской античности, общей теории и семиотики культуры. Вице-президент Российской ассоциации антиковедов. Автор работ: «Тацит: Время, Жизнь, Книги» (М., 1982), «Древний Рим. История и повседневность» (М., 1986) и ряда статей, опубликованных в журнале «Вопросы философии» и др. изданиях.

ПЕРЕВОДЧИКИ:

ЛИТВИНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — молодая поэтесса, переводчик с английского. Ее стихи печатались в журналах «Юность» и «Перспектива». Перевод романа Б. Мейсон «Там и здесь» — ее вторая большая работа.

ПОГОЖЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА — переводчик с французского и болгарского языков. В «ИЛ» в ее переводе опубликована глава из книги Алена Бросса «Агенты Москвы» — «Групповой портрет с дамой» (1989, № 12).

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933г.) — переводчик итальянской поэзии и прозы. В «Иностранной литературе» печатались его переводы из Данте, Петрарки, Белли, Монтале, Луци, а также роман Дж. Д'Агаты «Америка о'кей». Переводы Е. Солоновича из классической и современной итальянской поэзии отмечены в Италии рядом литературных премий.

Вниманию издателей

Журнал «Иностранная литература», объединяющий ведущих специалистов по зарубежной литературе, лучших переводчиков и опытных редакторов, а также имеющий обширные связи на мировом книгоиздательском рынке, предлагает новые формы сотрудничества.

По вашей заявке мы составим любую тематическую книжную серию, выберем из океана мировой литературы всех стран и времен нужную вам книгу, организуем и осуществим ее перевод на высшем профессиональном уровне и в сжатые сроки. Кроме того, мы готовы оказать вам помощь в приобретении авторских прав на новые произведения мировой литературы.

И — гарантия того, что ваше издание удовлетворит самый взыскательный вкус.

Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, «ИЛ», проект «Инолит».
Телефон: 233-51-90.

ЧИТАЙТЕ В «ИЛ»
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1993 г.

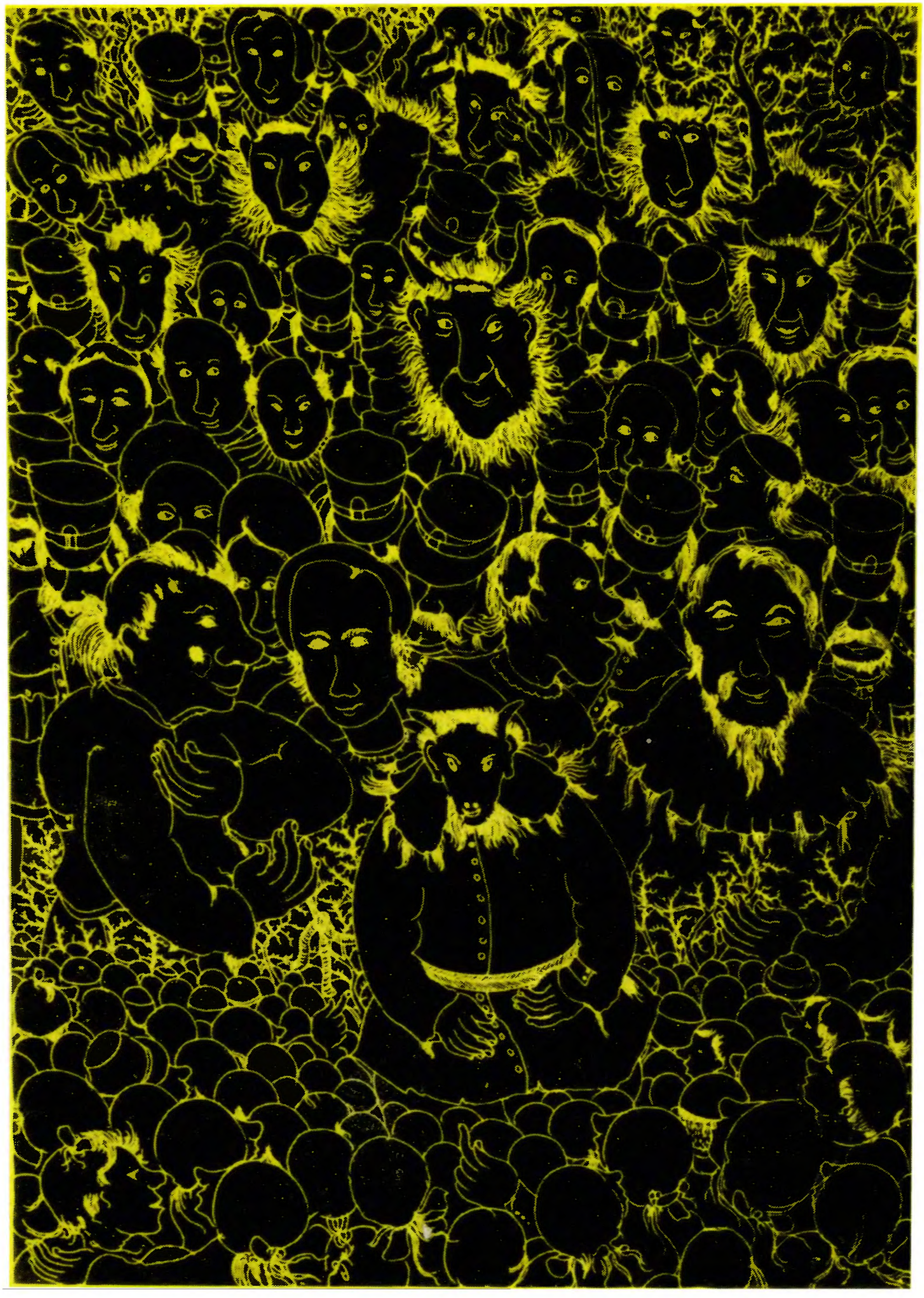
Роман ПИТЕРА АКРОЙДА «Завещание Оскара Уайльда», роман ДЖУЛИАНА БАРНСА «История мира в 10 ½ главах», новые рассказы ДЖОНА АПДАЙКА и немало иных литературных новинок. В разделе **«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И КЛАССИКА XX ВЕКА»** — повесть ЭЛИАСА КАНЕТТИ «Другой процесс, письма Франца Кафки к Фелице», новеллу ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО «Леда без лебедя», рассказы ВЛАДИМИРА НАБОКОВА и Г. КОЛЕТТ, роман И. Б. ЗИНГЕРА «Люблинский штукарь».

В разделе **ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ** — уникальную книгу рисунков и мини-эссе ЭЖЕНА ИОНЕСКО «Черное и белое», а также два американских бестселлера минувшего года: биографию Дэн Сяопина, написанную известным советологом и китаистом ХАРРИСОНОМ СОЛСБЕРИ, и книгу адвоката ЭДВАРДА ДЕ ГРАЦИА о знаменитых процессах века над литературными произведениями — «Улиссом», «Тропиком Рака», «Любовником леди Чаттерли».

Будет продол[illegible]ерия **«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД»**, в которой предпо[illegible]ть тематические номера *«ПИСАТЕЛЬ [illegible] ЛИТЕР[illegible] МЕНН[illegible]»*, *«ЕМЕННАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЮДЕРНИЗМА»*, *«СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»*.

Где [illegible]ом «ИЛ», вы окажетесь в [illegible]еменного мира.

ИНДЕКС 70394



ISSN 0130 6545 Иностранная литература. 1993, № 2, 1—256.